

НИКОЛАЙ ЖИВОТОВ

УБИЙЦА

Николай Николаевич Животов

Убийца (Слово сыщика)

Макарка-душегуб в очередной раз сбегает от правосудия и исчезает. Зато вскоре в Петербурге появляется некий зажиточный купец Куликов, который открывает питейное заведение... Там, где Куликов, – интриги, разбой, шантаж, убийства... Перед ним пасуют даже самые жестокие представители уголовного мира. Лютые злодеяния, пороки, разгул сопровождают жизнь опустившихся обитателей столичных трущоб...

В романе известного петербургского писателя Николая Животова (1858–1900) описываются жестокие тайны уголовного мира Петербурга в конце XIX века.

Содержание

Пролог	0008
Часть первая	0021
1 «Красный кабачок»	0021
2 Ганя	0032
3 На черной половине	0044
4 У Коркина	0055
5 Снова Ганя	0067
6 Замыслы громил	0078
7 Иван Степанович Куликов	0088
8 Елена Коркина	0100
9 Решение Гани	0111
10 Тумба у себя дома	0122
11 Визит	0133
12 Борьба	0145
13 Мир водворяется	0156
14 На Горячем поле	0168
15 Таинственный гость	0178
16 Призраки	0190
17 Луч спасения	0203
18 Сенька-косой	0215
19 В крови	0227
20 Исповедь	0239
21 Розыски	0251
22 Расправа	0264
23 Убийство камердинера	0277

24 «Прости»	0289
25 У следователя	0299
26 Надежды исчезают	0312
27 Облава	0325
28 Допрос	0337
29 «Машкин кабак»	0349
30 Ганя – невеста	0362
31 Ликвидация	0374
32 Убийца найден	0388
33 Болезнь Коркиной	0402
34 Поздно!	0415
Часть вторая	0425
1 В доме Куликова	0425
2 Болезнь Петухова	0437
3 В пути	0448
4 Двойник Куликова	0461
5 Виновен ли?	0473
6 Настенька	0485
7 Объяснение	0496
8 Дознание	0508
9 У холма	0521
10 Да, виновен...	0533
11 В «салошке»	0537
12 Ужас друга	0545
13 Три тома	0558
14 Исчезновение Игнатия	0570
15 Заговор	0582
16 Разрытый холм	0595

17 Новые препятствия	0608
18 Таинственная шкатулка	0621
19 Мщение	0632
20 Тяжкие улики	0643
21 Вечная память	0654
22 Роковой день	0667
23 В поисках	0678
24 На жизнь и на смерть	0692
25 Бутыль кваса с красной ниткой	0703
26 Карты открыты!	0717
27 Нашли	0730
28 В тюрьме	0743
29 Облава на Куликова	0753
30 Арест злодея	0765
31 Подземелье	0778
32 В больнице	0791
33 Еще одна жертва	0803
34 Обвинительный акт	0814
35 Два трупа	0825
36 На похоронах	0836
37 Каторжная музыка	0848
38 В больнице	0861
39 Поиски	0873
40 Облава	0884
41 Виновна ли?	0898
42 Отъезд	0910
43 Превращение Густерина	0922
44 Поймали	0935

45	Макарка ранен0947
46	В Москве	0961
47	Макарка при смерти	0965
48	Возвращение Коркиной	0972
49	Смерть Коркина	0983
50	Труп Макарки	0995
51	Пропавший труп1007
	Эпилог1013

**Николай Николаевич
Животов
Убийца**

Пролог

В полторацком флигеле знаменитой Вяземской лавры, в квартире без окон, никогда не выдавшей дневного света, занимал угол молодой еще парень, лет двадцати шести, с рябым от оспы лицом, широкими раздутыми ноздрями, круглыми навывкате глазами и всклокоченной войлоком головой. Огромного роста, косая сажень в плечах и плотного телосложения, он славился геркулесовой силой и без труда разгибал и ломал подковы. Кто он, как и когда появился в Петербурге, никто не знал, но среди товарищей его прозвище было Макарка-душегуб. Он иногда на собаках или кошках показывал опыты вскрытия живота и черепа и проделывал это с такою ловкостью и искусством, что мог бы поспорить с любым профессором-хирургом. Он сам хвастался, что может в тридцать секунд зарезать и вынуть внутренности у самого большого быка.

– А что, Макарка, много ты на своем веку загубил душ? – спрашивали его иногда товарищи.

Макарка искривит рот, посмотрит при-

стально на спрашивающего – и у того самого поджилки затрясутся:

– Ты мне товару не поставлял, так нечего тебе и спрашивать.

«Товаром» на их жаргоне назывались жертвы.

– А все-таки?

– А вот пойдем за Обводный канал, я тебе «панораму» покажу.

– Спасибо.

– Рук только марать не стоит! Разве ты «душа»?! Ха-ха...

Обитатели полторацкого флигеля боялись и не любили Макарку, но никто не смел этого обнаружить. Макарка требовал полного себе повиновения и известного почтения. Если иногда кто-нибудь проявлял непослушание, то стоило Макарке искривить рот и уставить глаза, как непокорный превращался сейчас же в овечку и беспрекословно исполнял приказания Макарки.

Так прожил Макарка в своем углу около года, никогда не бывая дома днем и редко ночью. Где он проводил время и чем занимался – никто не знал, хотя, разумеется, не рабо-

той, потому что у него и паспорта вовсе не было, так что, если б он и хотел наняться куда-нибудь, то не мог.

Не один раз Макарка приходил весь в крови, обмывал руки, застирывал пятна на белье, чистил сапоги и затем опять уходил. Никто не думал его спросить, чья это кровь и чью душу он опять загубил.

Во всем полторацком флигеле был только один человек, осмеливавшийся иногда противоречить Макарке и уличать его в нехороших делах. Это была Алёнка-поденщица, красивая женщина, лет двадцати пяти, но горькая пьяница, зарабатывавшая себе хлеб поденной работой, стирая белье в разных домах. Алёнка сошлась с Макаркою вскоре после его появления в полторацком флигеле и перешла жить в соседний с ним угол, но, несмотря на любовь, они часто ссорились, и Алёнка говорила своему приятелю в глаза такие вещи, что посторонним становилось за нее страшно.

Однажды – это было в начале осени – Алёнка вернулась позже обыкновенного. Она стирала белье у богатого купца Смирнова и хотела кончить стирку. Купец Смирнов занимал

небольшую квартиру при своей лавке. Сам он уехал в деревню, так что в квартире оставалась только жена с грудным ребенком и подручный мальчик; приказчик жил отдельно. Макарка очень заинтересовался этой семьей и все расспрашивал Алёнку о подробностях.

– Да что это, не собрался ли к ним с визитом? – испугалась Алёнка.

– Собрался и через час буду у них! – На слове «буду» он сделал такое ударение, что соседи вздрогнули.

– А я тебя не пуцую! Слышишь, не пуцую! Полиции донесу!

Макарка усмехнулся, ничего не ответил и, взяв с печки свой картуз, вышел.

Купец Смирнов и его лавка занимали нижний этаж большого каменного дома. Окна выходили в глухой переулок. Когда Макарка подошел к дому, все нижние окна были темны и только в одном отсвечивала лампада, горевшая у образов. Макарка несколько раз прошелся по тротуару и внимательно осмотрел все рамы, форточки и задвижки. Наконец, он остановился на окне, соседнем с дверью. Опытной рукой, вооруженной долотом, он от-

крыл форточку и пошел по переулку удостовериться, нет ли где бодрствующего стража в лице городского или дворника. Все было тихо, темень непроглядная и сон в это время самый крепкий. Осторожно Макарка открыл форточку, отодвинул задвижки окна и легко влез в окно, после чего плотно его прикрыл. Очувтившись в лавке, Макарка стал внимательно присматриваться. В темноте он рассмотрел шкафы, прилавок. Всматриваясь ближе, он увидел на полу спавшего подручного мальчика. Дверь из лавки в квартиру была приотворена. Макарка на цыпочках вошел в небольшую чистенькую гостиную, из которой была настежь открыта дверь в спальню. На широкой двухспальной кровати спала молодая женщина, которую крепко обнял грудной ребенок. С минуту Макарка любовался ими. Лицо его нахмурилось, и какие-то воспоминания роились в голове. Затем губы искривились, появилась та ужасная усмешка, которая пугала даже его сотоварищей. Он ощупал за пазухой большой финский нож, на цыпочках подошел к кровати. При слабом мерцании лампадного огонька сверкнуло лезвие но-

жа. Два паса, и голова молодой женщины почти отделилась от туловища. Кровь потоком полилась на ребенка, который проснулся и заплакал. Макарка нетерпеливо схватил малютку за ножки и, размахнувшись в воздухе, разможил головку о стену. Ни крика, ни сто-на – только один глухой удар, похожий на падение чего-то на пол. Оставался еще подруч-ный мальчик, спавший в лавке. Совершенно спокойно Макарка пошел обратно в лавку. Он нагнулся над спавшим. Мальчик лежал на бо-ку. Макарка опустил левую руку ему на голо-ву и правой нанес удар в шею. Лезвие ножа вошло по самую рукоятку. Никакого звука.

Отерев нож об одеяло, Макарка спрятал его за пазуху и пошел к выручке. Он был в игри-вом настроении. Как профессионал своего де-ла, он был доволен полным успехом. Никакой ошибки, фальши или промаха. Все как по но-там. Собрав выручку, он пошел искать в сто-лах, шкафах. Взгляд его упал на кивот с лам-падой, из-за которого торчал угол белой бума-ги. Достав бумагу и развернув ее, он увидел целую пачку акций, билетов и крупных кре-диток.

Он даже щелкнул языком от удовольствия.

– Bravo! Вот это я понимаю. По крайней мере, не даром работал. Недурно!..

Уложив деньги в карманы, он тем же ходом вышел в окно и быстрыми шагами направился домой.

Был третий час утра, когда он подошел к Вяземской лавре. Дежурный дворник спал у ворот. Он перешагнул его и скрылся в воротах.

– Макарка, ты? – окликнула его Алёнка, когда он начал возиться в своем углу.

– Я.

– Где был?

– Не твое дело!..

– Скажи! Неужели ходил к Смирновым?

– Молчи, я тебе говорю!

– Ты горло не дери, я не из пугливых! Отвечай, когда у тебя спрашивают!

– Ну, у Смирновых, а тебе какое дело?

– Врешь! – почти вскрикнула она и приподнялась на постели.

– Шучу, шучу, так просто погулял.

– Ну, то-то. Я даже испугалась!

Через несколько минут водворилась тиши-

на. Все спали. В комнате ночевало, кроме восьми постоянных угловых жильцов, еще человек пятнадцать ночлежников, так что дышать приходилось не воздухом, а одними испарениями. Однако обитатели беззаконной квартиры спали богатырским сном, не замечая даже мириадом всех пород насекомых, двигавшихся по полу и по стенам целыми полчищами.

Не спалось только Алёнке. Ей было жутко за Смирновых, и она боялась, не был ли Марка у них. Неужели?! Воображение рисовало ей одну картину за другой, и одну другой ужаснее. Спрашивать его не стоило. Все равно не скажет. Не дождавшись рассвета, Алёнка тихонько встала, оделась и неслышно вышла из квартиры. Бегом пустилась она к Обводному каналу и скоро достигла знакомого переулка. Вот и лавка. Все тихо. Темно. Она разбудила дворника. Тот знал ее.

– Чего в рань такую?

– Пора прачечную топить.

Она начала стучать в заднее окно. Ответа нет. Стучала громче, еще громче.

– Чего барабанишь? Окна перебьешь, –

огрызнулся дворник.

– Голубчик, Степан, посмотри, чего они не открывают.

– Спят, стало быть.

– Да Петрушка-то не спит крепко. Он открыл бы.

Они стали стучать вместе. Ответа не было. Обошли кругом с улицы.

– Степан! Голубчик, – закричала Алёнка, – смотри-ка, окно отворено!

– И впрямь открыто! Ох, ты напасть! Верно грех какой-нибудь! Надо полиции дать знать.

Дворник побежал к местному околоточному надзирателю. Через четверть часа собрались понятые, городской с поста. Решили ломать двери. На Алёнке лица не было. Она предчувствовала роковую истину. Когда двери были открыты и присутствовавшие увидели страшную картину, Алёна закричала:

– Он, он подлец! Это он их перерезал, Марка-душегуб проклятый! Я вам выдам его головой! Пойдемте со мной скорее, скорее.

Все смотрели на Алёнку подозрительно, недоверчиво.

– Или она с ума спятила, или... это дело не

миновало ее рук. Верно, кто-нибудь из ее приятелей!

Идти всем было нельзя. Сообщили сыскной полиции, прокурору. А Алёнка все повторяла:

– Пойдемте, пойдемте скорей, а то он исчезнет.

Только через час с ней отрядили двух сыщиков, околоточного и нескольких городовых.

– Скорее, скорее, – торопила Алёнка. Ее глаза горели, щеки пылали, весь хмель из головы улетучился.

Уже начинало светать, когда они подошли к Вяземской лавре. Дежурный дворник побежал за другими товарищами, и облава целой толпой направилась к полторацкому флигелю.

– Вот, вот он, ловите, хватайте! – закричала Алёнка.

У дверей флигеля стоял Макарка, совсем готовый уходить. Он, вероятно, и уходил уже, но не успел миновать ворот. Все бросились к нему, но Макарка скрылся позади во флигеле.

Флигель окружили, расставили дежурных

и начали самый тщательный, подробный осмотр. Обошли все квартиры, коридоры, углы, чердаки и подвалы – нигде нет! Точно провалился или обратился в невидимку. Бились до самого вечера, перерывали все вещи, выворачивали чуланы, обходили по нескольку раз одни и те же углы – ничего.

– Куда же мог он деваться? Ведь он вернулся во флигель!

– Вернулся! Все видели. А найти невозможно.

Приехало еще несколько высших полицейских чинов, прокурор. Все пожимали плечами, советовали еще поискать, искали сами, но результатов никаких. Макарка бесследно исчез.

Больше всех беспокоилась Алёнка.

– Если вы его не найдете, то возьмите меня под арест, – просила она.

– Почему? Разве вы принимали участие в убийстве?

– Боже, сохрани! Но мне нельзя остаться на свободе: он убьет меня!

– Пустяки! Не убьет, а мы арестовать вас не можем... Против вас нет никаких подозрений

и улик.

– Да это все равно. Ведь я сама вас прошу!

– Никак нельзя.

Алёнка махнула рукой. Вечером хотели прекратить облаву во флигеле и начать розыски общим порядком.

– Верно, это вовсе не он был. Алёнка издали могла ошибиться.

– Вероятно, так и есть! Напрасно день потеряли!

– Господа, поищите еще, – умоляла Алёнка, – он наверняка здесь! Ищите хорошенько!

– Нет, уж довольно!

«Осада» с полторацкого флигеля была снята.

Алёнка с замиранием сердца пошла в свой угол и прилегла на свою койку. Каков же был ее ужас, когда она над самым ухом услышала голос Макарки:

– Что, взяла? Предала? Помни, ты заплатишь мне головой за этот донос!

Алёнка что-то сказала в свое оправдание и оглянулась. Никого не было. Что это? Не привидение ли? Нет, его голос.

Опять все стихло в квартире. Наступила

ночь. Алёнка сначала не спала, но потом утомление взяло верх, и она уснула.

На следующее утро Алёнку нашли в своей постели с... перерезанным горлом. Кто и когда совершил это новое преступление – неизвестно, хотя в сильном подозрении остался тот же мифический Макарка-душегуб.

Но где его искать, когда никто не знает даже его настоящего имени.

Часть первая

1

«Красный кабачок»

У одной из городских застав только что открылся хорошенький и чистенький трактирчик средней руки, с уютными кабинетами и двумя половинами: купеческой и черной. Хозяин заведения, названного «Красный кабачок», петербургский второй гильдии купец Иван Степанович Куликов, солидный человек, лет сорока, с окладистой русской бородой. Он устроил помпезное открытие, пригласил всех окрестных торговцев, заводчиков, фабрикантов, домовладельцев и устроил угощение на славу. Почти все «именитые граждане» околотка откликнулись на приглашение и пожаловали самолично или прислали Ивану Степановичу хлеб-соль на новоселье, с пожеланием всего лучшего. По распоряжению хозяина, на черной половине всем рабочим и простолюдинам подавали бесплатно по большому стакану водки и куску кулебяки.

Обед для приглашенных был из шести блюд и представлял изобилие всевозможных вин, не исключая ликеров и шампанского.

С утра и до позднего вечера пировали дорогие гости. Иван Степанович зарекомендовал себя таким радушным, хлебосольным и гостеприимным хозяином, что многие коммерсанты просили его бывать у них и выразили искреннее желание познакомиться с ним поближе.

На следующий день «Красный кабачок» открылся для публики и стал торговать очень бойко. Хороший оркестр, свежая, лучшая провизия, недорогие цены, а главное, новенькая, приличная обстановка собирали постоянно массу посетителей, и «Красный кабачок» отбил торговлю у всех соседних трактиров. Иван Степанович поставил за буфет ответственного приказчика, но сам первое время почти постоянно находился тут же. Он знакомился с каждым посетителем, беседовал, расспрашивал, интересовался всем и охотно выпивал по рюмочке с каждым гостем своего заведения. Неудивительно, что Иван Степанович очень скоро сделался популярен и при-

обрел обширнейшие знакомства. Особенно близко он сошелся с местным кожевенным фабрикантом Петуховым, почтенным, белым, как лунь, стариком-раскольником. У Петухова было огромное состояние и единственная дочь Ганя, которой минуло 22 года. Несмотря на многочисленность женихов, Ганя не спешила выходить замуж.

Куликов сделался большим приятелем старика Петухова. Они часто просиживали целые вечера или в «Красном кабачке», или в конторе завода. Разговор носил чаще всего оживленный характер.

– Что за народ нынче стал! Пьяницы, гуляки. Хорошего работника днем с огнем не сыщешь. Никто работать не хочет!

– И не говорите, Иван Степанович, вон у меня на заводе мальчишки тринадцати-четырнадцати лет уже пьянствуют и путаются! Верите ли, ни одного мастера сносного нет: или пьяница горький, или не умеет ничего, лентяй, тупица. Поневоле приходится иностранцев брать.

– Ваши единовѣрцы-беспоповцы много порядочнее, трудолюбивее!

– Ох, и наши начинают портиться, забывать советы стариков. Посмотрите на нашу молодежь: пиджаки носят, сигарки курят, в клубы ходят.

– А все-таки по старой вере лучше!

– Да лучше-то оно лучше, а все прежде не то было!

– Вот, к примеру, ваша дочь, Ганя. Разве много таких скромных, трудолюбивых, нравственных девушек?

– Да, моя Ганя неиспорченная девушка.

– Вы думаете, отчего я холостым остался? Все не мог найти подходящую невесту.

– Трудно, трудно. А вы давно в купечестве состоите?

– В петербургском – первый год. Раньше я в Орловской губернии подрядами занимался.

– Т-а-а-к. Что же это вы надумали сюда приехать, трактир открывать?

– Да ведь что-нибудь надо же делать. Говорили – это дело прибыльное.

– Было, а теперь нет. Теперь в Петербурге все в упадке, все сбито, вот и наше дело упало.

– И странно. Отчего это? Кажется, причин

нет.

– Причина все та же: людей нет, люди избалованы, мазуриков развелось множество, а людей с трудом, знанием – нетути! Ну, что ж поделаешь? Коли вон с двенадцати-тринадцати лет парни уже от рук отбиваются, так чего же вы хотите?!

– Ваша речь справедлива. Только я вам доложу, и у нас в Орловской губернии не лучше.

– Что ж делать! Может быть! Как-нибудь тянуться надо.

– Именно тянуться... Не жить, а тянуться!..

– Нынче вот, кто успел в былые годы скопить – тот и капитал имеет, а не сумел – теперь уже не наживешь! Дай бог только концы с концами свести.

– Справедливо... Ну, я, благодаря бога, ма-люю толику имею.

– Да ведь и я не жалуясь... Так, к примеру говорится...

Иногда Петухов советовался с Куликовым.

– Как вы полагаете, Иван Степанович, на-счет этой самой куверции.

– То есть какой «куверции»?

– Да вот что пропечатано от банка... У ме-

ня, видите ли, серий пятипроцентных тысяч на сорок будет, а теперь предлагает банк или деньги получи обратно, или прими четыре процента. Это говорят «куверция» пришла, теперь все ведь по-новому. На людей флюенция, а на капиталы куверция. Совсем туго...

– Да, ведь вам придется взять четыре процента, а то после эту четырехпроцентную будете у менял покупать, дороже заплатите...

– Расчет ведь, Иван Степанович, пятую часть дохода терять приходится!

– Говорят, вон скоро три процента будут давать! Денег много.

И старик Петухов, кряхтя и сетуя, собирался делать «куверцию».

В числе других посетителей Куликова, с которыми он сошелся ближе, был богатый лавочник Коркин, женившийся на вдове с приданым сто тысяч. Коркин был одних лет с Куликовым, но веселый и добродушный малый, отрастивший на воле солидное брюшко. Он был не промах выпить и даже кутнуть, но вообще пил мало, и дома у него водка и вино имелись только для гостей. Куликов редкий день с ним не видался.

– О, дружище, – встречал его Коркин, – ну как твой кабачок, поди, на славу торгуешь.

– Ничего, жаловаться грех, да ведь, поди, и вы на хлебце насущном не без убытка... Хе-хе-хе...

– Ну, наш барыш не вашему чета! Мы рупь на рупь не берем!..

– Где вам рупь на рупь! Вы, если копеечку на копеечку наживете, вам и довольно... Хе-хе-хе...

– Ишь, ты острый какой! Ладно, давай графинчик.

– А закусить что?

– Сам выбирай, только проворней, а то моя благоверная распеканцию мне задаст, коли долгое время домой не вернусь.

– Ваша Елена Никитишна – ангел, а не женщина! Таких женщин поискать днем с огнем!

– А все ж разрешения от нее нет по кабакам таскаться.

– Извините, у меня не кабак, а ресторан. Во как!

– Ну, наливайте, Иван Степанович.

– Тороплюсь, тороплюсь!

– За здоровье вашей супруги!

– Спасибо. Да что ты хоть бы зашел к нам как-нибудь. Стуколку устроим.

– С полным удовольствием! Хоть сегодня!

– Заходи сегодня. Кое-кто навернется, а не хватит для стуколки – пошлем за соседом другим. Далеко ли тут! Все равно что в деревне.

– А правда! Совсем большое село! У нас в Мышкинском уезде есть, пожалуй, и побольше торговые села. Вы не бывали у нас?

– Да что вы то тыкаете, то выкаете. Давайте выпьем на брудершафт.

– Выпьем.

– Вот так! Ну теперь поцелуемся! Важно! А теперь продолжай. Что ты спрашивал?

– А я и забыл уж! Ну ладно в другой раз. Наливай, наливай, бежать надо.

– Успеешь, еще графинчик раздавим.

– Довольно! Тяжело будет!

– Не свалишься! Не ребенок!

И Коркин выходил из трактира Куликова обыкновенно нализовавшись до чертиков.

Куликов совершенно отделил черную половину своего трактира и поставил там отдельно буфетчика, которому дал широкие

полномочия и обещал вовсе не заглядывать к нему, если только он будет приносить хороший доход. Куликова предупреждали, что он берет в буфетчики человека с плохой репутацией, который якшается с ворами, но Куликов хладнокровно отвечал:

– А мне какое дело? Он и отвечать будет, если попадется. Зато у меня торговля удвоится. Без воров и мазуриков черные половины трактиров, да еще на окраинах, не могут существовать.

Очевидно, Куликов хорошо знал свое дело, потому что расчет его оказался верным. В короткое время его черная половина сделалась центром всех громил окрестностей заставы и притом разных бродяг и рецидивистов, скрывающихся за городской заставой. Мало того, здесь образовалась биржа ворованных вещей, так что в определенные дни и часы сюда съезжались маклаки с нескольких рынков. Бриллиантовый перстень, брошь с алмазами, гайка от колеса, ручка от дверей, кастрюля, мокрое белье, серебряные ложки – все это продавалось вместе одним владельцем, и никто не спрашивал этого владельца, где и как

он приобрел все эти вещи. Способ приобретения вещей был виден уже из того, что продавец отдавал свой товар прямо за предложенную цену, хотя бы эта цена была, например, двугривенный за серебряную ложку или полтинник за кольцо с бриллиантом. Нечто похожее на настоящую цену дают продавцам только в том случае, когда между маклаками не достигнуто почему-нибудь «соглашение» на условиях «вязки». Однако маклаки не жалуют угощения, и в дни закупок ими «слепого товара» в трактире Куликова происходило море разливанное. Перепивались все, и продававшие, и не продававшие перепивались до того, что многие сваливались на пол и тут же мертвецки спали до утра. Буфетчик Куликова не стеснялся в таких случаях обсчитывать и приписывать, елико возможно, и маклаки платили без проверки счета.

– Как нам проверять? Ведь и он участие принимал не последнее! У него часто хранятся ворованные вещи, он случается посредником между ворами и маклаками. Вообще буфетчик не оставляет желать лучшего.

– Смотри, Иван Степаныч, неладное у тебя

творится на черной половине, – говорил несколько раз Коркин.

– Ни-че-го, – махал он рукой, – поверь, все грязные трактиры делают то же самое. Без участия постоянных дворов, чайных, кабаков и черных половин трактиров не существовало бы и половины всех петербургских воров, мазуриков, громил и душегубов. На одном рабочем народе далеко не уйдешь, а эти мазурики – аристократы черных половин. Они проживают больше нас с вами.

– Каким же это образом?

– А очень просто. Все, что он зарабатывает – он пропивает. Ему деньги ни на что больше не нужны; у него ни квартиры, ни кола, ни двора – ничего! Что добыл, то и пропил. А добыть им иногда удается десятки, а то и сотни рублей! Вот в чем разница между честным работником с мозолистыми руками и старым опытным громиллой! Поверь, все кабатчики дорожат последними и уважают их гораздо больше первых. Бродяга не только пропивает во много раз больше всякого мастерового, но он еще гораздо тише, покладистее; безответнее. Мастеровой заведет скандал и кричит

«зови полицию», а громила не только не позовет сам полицию, но удерет, если речь пойдет о ней.

– Но вот что меня удивляет, – протянул Коркин, – откуда ты, Куликов, постиг в таких тонкостях все трактирные секреты. Ты в первый раз в Питере, раньше занимался подрядами. Откуда ты изучил черные половины наших трактиров?!

Куликов отмолчался и отшутился.

– Ну, и коммерсант же, брат, ты ловкий! Торговать будешь, не проторгуешься!

2

Ганя

Широко раскинулся за заставой кожевенный завод Тимофея Тимофеевича Петухова, маститого 65-летнего купца, жившего уединенно и скромно со своею взрослою дочерью Ганей. Завод Петухова славился далеко за пределами Петербурга и по обороту был один из крупнейших. Старик жил с дочерью душа в душу, передав в ее руки все хозяйство дома. Однажды Тимофей Тимофеевич позвал дочь

раньше обыкновенного.

– Ганя, ты сегодня приберись пораньше – сказал он. – К нам приедет обедать Иван Степанович Куликов.

– Это, папенька, трактирщик?

– Да, мой приятель... Хороший он человек и умен.

– Я видела его на заводе несколько раз. Не нравится он мне, папенька. В его лице есть что-то нехорошее, отталкивающее. Я и теперь вздрагиваю, когда вспомню, как он на меня посмотрел. Точно зверь, который съесть меня хотел! Брр!..

– Полно тебе, дурочка, – засмеялся старик и погладил девушку по густой русой косе.

Ганя была настоящая русская красавица: белая, розовая, полная, с пунцовыми губами и большими голубыми глазами. Она в детстве лишилась матери и сделалась единственным другом и помощницей отца. Веселая, довольная, счастливая, отличная хозяйка, работница с утра до ночи, Ганя наполняла отцу всю жизнь.

– Знаешь, дочка, пора тебе замуж, – говорил иногда старик Петухов. – Я стар стал, не

сегодня-завтра помру, и останешься ты непристроенной, одна-одинешенька на свете!

– Полно, папенька, зачем вам себя расстраивать и меня в слезы вводить. Поживем еще, а там, что Бог пошлет! Я не хочу пережить вас! Не хочу замуж!

– Глупенькая! У тебя еще целая жизнь впереди. Одной нельзя век прожить! С мужем легче будет. Состояние у тебя хорошее, на век хватит, а человека можно найти.

Ганя вскакивала, целовала старика отца и зажимала ему рот рукой.

– Не хочу, не хочу и не хочу!.. Довольно. Скажите мне лучше, зачем вы пригласили этого кабатчика к нам обедать? Боюсь я его пуще зверя какого. Предчувствие чего-то недоброго томит. Нехороший он, папенька, человек.

– Перестань ты, Ганяша! Не знаешь человека и говоришь так. Поверь мне, он прекрасный человек. Не сошелся бы я с ним, если б он сомнительный мужичонка был! Слава богу, умею ведь людей понимать.

Ганя замолчала, понурила головку, печать уныния легла у нее на лице.

– Ваша воля, папенька, нравится вам, так и мне понравится.

Она побежала на кухню – распорядиться обедом. Какая-то тоска, злое предчувствие защемило ей душу.

– И почему в самом деле я так боюсь его, так он неприятен мне? Он мне не жених, не родственник, шут с ним! Мало ли на свете людей, которые не нравятся!

И она успокоилась.

Иван Степанович Куликов пожаловал за целый час до обеда.

– Слышали вы, новый закон о фабричных рабочих выходит. Моложе семнадцати лет ребят нельзя будет заставлять ночами работать. У вас много ребят?

– Да, порядочно. Всё льготы, облегчение дают...

– Это хорошо.

– Ох, хорошо-то, хорошо, только надо бы о деле подумать. Теперь все об отдыхе толкуют, а о работе ничего; народ избалованный, ни к чему не приучен, распущенный. Нет, в старину не так мы жили! Меня мальчиком к кожевнику отдали, так я и отдыха не знал. Семь

потов, бывало, сойдет; с пяти часов утра и до глубокой ночи. А ничего! Здоров был, духом бодр и телом крепок. До старости не знал, что такое усталость! До сорока лет не имел понятия о трактирах. И вот, благодаря Бога, шестой десяток доживаю, а еще хоть жениться впору! Так-то. А нынешняя молодежь? Куда она годится? Трактиры да отдых, да гулянки.

– Справедливо, Тимофей Тимофеевич, а как здоровье дочери вашей?

– Спасибо, здорова. Она вся в меня. Хлопочет с утра до ночи и краснощекая, веселая.

– Замечательная девица! На редкость, можно сказать.

– И характер ангельский, всегда всем довольна, счастлива. Меня, старика, любит, бережет. Всем женихам отказала!

– А замуж-то красотке следовало бы выйти. Пора старику отцу и покой дать. Поберечь. Ведь с заводом-то да с делом хлопот не оберешься, а женское дело маленькое. Зятек-то и подмогой был бы! Право слово!

– Да, верно, Иван Степанович, верно, кто спорит, а только что ж поделаешь с девкой, коли не хочет и слышать!

В комнату впорхнула Ганя. Две большие косы спускались ниже колен. На ней было светлое платье, плотно облегавшее пышный бюст. Грациозные движения, легкая походка, добродушное выражение симпатичного личика – все делало ее более чем привлекательной. При виде гостя девушка сделала такую испуганную мину, что Куликов даже засмеялся.

– Неужели я такой страшный, что вы испугались?!

– Нет, нет, я ничего... Папенька, обед готов. Прикажете подавать?

– Подавай, Ганя, да что же ты не поздоровалась с гостем? Это наш сосед Куликов, торговец.

– Ах, извините, – произнесла она, не глядя на гостя и протягивая ему свою крошечную ручку.

Куликов крепко и выразительно пожал ручку, стараясь встретиться с девушкой глазами, но она, так и не взглянув на него, выбежала из комнаты.

– Видите, какая вертушка! Точно ветром ее носит! И так готова день и ночь летать!

– Хлопочите, Тимофей Тимофеевич, ей жениха! Не ровен час, все под богом ходим! Загубите вы дочь свою!

– Да вы уж не собираетесь ли предложение сделать? Ха-ха-ха!

– А вы думаете не сделал бы! Не пойдет только Ганя за меня, а то лучшей жены и во сне не увидишь! Золото, сокровище, а не жена! На руках носить бы стал.

– Что ж, пробуйте: может, и пойдет. Я, со своей стороны, готов благословить. Вы человек серьезный, степенный.

– Где мне! Гане нужно жениха молодого, красивого, а я уж старик для нее.

– Папенька, суп на столе, – послышался голос Гани. Она приотворила дверь и просунула голову.

– Идем, идем. Пожалуйста, Иван Степанович.

В столовой было многочисленное общество. Все холостые главные мастера завода, конторщики, несколько человек соседей, знакомых. Тимофей Тимофеевич представил им нового гостя, и Куликов пошел со всеми здороваться за руку.

«Удивительный чудак, чего это он мастеров насажал», – подумал Куликов.

Наконец все уселись. Куликов хотел сесть рядом с Ганей, но ему приготовили место на противоположном конце стола, подле хозяйна. Ганя всем разливала, поминутно вскакивала и бегала в кухню. Выпили по рюмочке, по другой. Разговор не вязался. Большинство молча ели и не умели вовсе поддерживать праздную беседу.

Куликов был не в духе. Он рассчитывал, что у старого Петухова никого не бывает и Ганя ведет затворническую жизнь, а между тем тут целое общество. Правда, общество не из особенно интересных, но все-таки кавалеры есть молодые и недурные, во всяком случае не хуже его. Может быть, она уже занята? Любит? Он пристально следил за обращением девушки со всеми сидящими и не мог подметить ни малейшей разницы. Если было исключение, то только по отношению к нему. К нему Ганя относилась явно нелюбезно и во весь обед не обращалась ни с одним вопросом или замечанием. Это его коробило и злило. Он готов был наговорить молодой хозяйке

грубостей.

– Что вы ничего не кушаете? – обратился к нему Петухов.

– Благодарю, я ем.

– Может, не нравится наш стол?

– Что вы, что вы, отличный стол.

Иван Степанович был рад, когда начали вставать. Он сейчас же попрощался с хозяином и ушел, даже не поклонившись Гане и остальным гостям. Впрочем, гости сами сейчас же разошлись.

– Ну, что, Ганя, понравился тебе Куликов?

– Ах, папенька, чем больше я смотрю на него, тем больше он мне противен! Нет, воля ваша, а он дурной, злой человек.

– Наружность бывает обманчива. Напротив, он очень хороший и добрый человек, а главное – умный и толковый.

– Оставим мы его, папенька, в покое! Пусть он себе будет какой есть.

– А знаешь ли ты, что он тобой интересуется?

– Что вы, что вы! Благодарю покорно! Он для меня противнее нашего дворника.

– Какая ты глупенькая, Ганя! Неужели ты

всю жизнь думаешь так порхать?! Куликов человек с положением, солидный, серьезный; он и мне хорошим помощником был бы: я стар становлюсь, мне тяжело уже управлять одному заводом.

Ганя опустила голову, и на глазах ее появились слезы.

– Ну, что ты, дурочка, чего нахмурилась. Пойди, я тебя поцелую, перестань, я ведь так только. Я тебя неволить не буду.

– Отчего вы, папенька, не приучите меня к своим делам, чтобы я могла помогать вам?

– Дурочка ты! У тебя своего дела по горло. Ты не можешь разорваться, да если бы и хотела, многое ты не можешь сделать. Это мужское дело, требуется мужчина.

– Отчего я не родилась мальчиком! Господи, какая я несчастная!

И у нее опять выступили на глазах слезы.

– Никак в толк не возьму, что тебе так не нравится в Иване Степановиче.

– Я и сама не могу сказать. Только страшен он мне и противен, как никто еще! Ни одной-то черточки у него нет хорошей, ни одного слова приятного! Брр!..

– А я думаю, что это пустяки! Ну, как может человек не нравиться так, без причины! Вот, если бы он сделал что-нибудь худое или у него недостатки были бы...

– А почему вы знаете, что он делал? Кто он? Откуда? Чем занимался? У нас он первый год! Мы ничего о нем не знаем!

– Как не знаем? Слухами земля полнится. Он в Орловской губернии подрядами занимался, деньги имеет, хочет теперь семьей обзавестись. Все это в порядке вещей. Ничего нет ни подозрительного, ни удивительного.

– Того, что мы знаем, слишком мало для того, чтобы идти за него замуж, связать с ним свою жизнь. Я не знаю почему, но мне он кажется человеком гадким, злым.

– Кажется... Не говори ты этого глупого слова. Нужно знать, а не «казаться»!

– Оставьте, папенька, его в покое. Неужели вы серьезно хотите выдать меня за первого встречного?

– Не хочу, но только ты не говори зря худого про людей. Это грех тяжкий. Он ничего нам не сделал злого, и мы отзываться о нем, как ты отзываешься, не имеем права.

Ганя не могла не заметить, что отец сердится и недоволен. Он никогда не говорил с ней таким тоном. Что бы это могло значить? Господи! Неужели, в самом деле, он ее сватает?! Нет, этого быть не может!

Ганя тихонько вышла из комнаты и ушла в свою светелку. Тяжело ей было на душе. Она не помнила, чтобы ей когда-нибудь было так грустно! Точно пропасть какая-то разверзлась под ее ногами и в эту пропасть ее толкают... Кто же? Отец!!

Она закрыла лицо руками и зарыдала. Слезы несколько облегчили ее. Она вытерла глаза и пошла в комнаты. Отец, против обыкновения, не пошел после обеда на завод и сидел у себя в кабинете. Ганя заглянула к нему. Он посмотрел и ничего не сказал. Этого тоже никогда не было. Не приласкал, не подозвал к себе. Точно чужой.

Какая-то роковая стена стала расти между ними.

Ганя опять зарыдала.

На черной половине

Седьмой час утра... Черная половина трактира Куликова «Красный кабачок» переполнена до тесноты. Все столы заняты, и многие ждут своей очереди потребовать парочку. Говор, шум и оживленная беседа сливаются в один общий хаос, в котором ничего нельзя уловить и разобрать. Преобладающий элемент посетителей – рабочие соседних фабрик, заводов, лесных бирж и ремесленных мастерских. Они пришли из дому напиться чаю перед работой. Ночуют они по углам и приютам, где никто самоваров им не ставит, да если бы и захотели ставить, негде было бы напиться. Необходимость заставляет тружеников целыми артелями посещать чайные три раза в день: утром, в обед и вечером, после работы. Но не одни рабочие пополняют черную половину трактира Куликова. Она уже давно сделалась излюбленным пунктом большинства петербургских громил, бродяжек и разных жуликов. Они здесь как дома: их все зна-

ют и относятся к ним, как к хорошим покупателям с большим почетом и уважением, предоставляя лучшие столы, расторопнейших слуг и всякого рода льготы и преимущества.

– Мотри, Мишуха, – говорит один каменщик другому, – как Митрич ухаживает за мазуриками. Поди-ка, вот, мы шестнадцать лет работаем без устали и не нажили ничего, а они грабежами да кражами одними занимаются, и к ним с почтением, точно к купцам первогильдейским.

– Да! Зато мы с тобой больше одиннадцати копеек никогда не потратим, а они иной раз две-три сотенные бумажки швыряют! Во как!

– И точно! Эх, Мишуха, хорошо им живется! Как птицы небесные. Зиму в остроге, на казенных харчах, а с весной на подножный корм, гуляют, кутят, охотятся.

– Не завидую я, брат, такому житью! Упаси, Господи!

Громилы и бродяжки заняли почти половину чайной и держали себя «аристократами», с пренебрежением третируя остальных посетителей. По внешнему виду они мало от-

личались от рабочих. Такой же приблизительно костюм, такие же манеры, только физиономии их какие-то одутловатые, припухшие.

– Что это Гуся долго нет? – громко заметил рослый, рыжий детина в картузе и с ручищами мясника.

– Обещал прийти, видно не проспался еще со вчерашнего.

– Не забрали ли его при обходе? – вставил черный субъект, с кудлатой головой и огромным синяком под правым глазом.

– Не заберут! Гусь не так легко дастся, – воскликнул кривой парень лет восемнадцати, с рябым лицом и атлетическими плечами.

– Так, стало быть, он с «французинкой» где-нибудь застрял.

– А разве вчера у него тоже дело было? – спросил сидевший в стороне оборванец.

– Гусь без дела не сидит.

Минут через десять двери распахнулись, и в трактир с шумом вошел худощавый, высокий оборванец в фуражке с околышем и с густыми баками, скрывавшими лицо.

– А! Гусь! Наконец-то! – произнесло

несколько голосов. – А то мы хотели объявку в полицию подавать о розыске пропавшего.

– Ха-ха-ха! Здорово, братцы! Ну, доклады-вайте живей, у кого что нового есть?

– Нового масса. Лабазник Туров получил несколько тысяч и запер их в выручке лабаза.

– Умник, спасибо ему.

– Чиновник Долин, молодожен, уехал вчера с женой прокатиться в Лугу. Квартира и все обнови брошены на попечение кухарки.

– И это дело! Надо ему урок дать! А где Рябчик?

– Рябчик не был.

– Ага, он, значит, в сливочной лавке в Почтамтской улице! Вот тоже народ. Оставляют в выручке по несколько тысяч и вводят только нас в искушение! Ну, судите сами: благодаря вот таким ротозеям, я совершил двести сорок одну кражу, из которых попался только в двух и отсидел по пяти-восми месяцев. А сколько было неудавшихся покушений? Тьма! И все сами потерпевшие виноваты! Ведь не пойдём мы красть, где хорошие запоры, стража или приняты меры предосторожности! Однако, ребята, надо выпить... Эй,

Митрич!

Буфетчик подбежал.

– Пошли-ка сюда самого хозяина.

– Их нет дома.

– Ну, ладно, скажи, что я хочу лично его видеть. Пусть завтра подождет меня. А теперь дай нам водки хорошей да закусочки.

– Сколько прикажете?

– Сколько выпьем! Тебе, чай, не жалко!

– Помилуйте, чего же жалеть, да еще для таких дорогих гостей, как вы!

– Ну, ладно, пей да дело делай...

Началось огульное пьянство. Бутылка сменялась бутылкой.

Когда уже все были хорошо заложивши, вошел новый гость, встреченный общим готанием. Он тащил огромный узел, оказавшийся с мокрым бельем.

– Рябчику почет и уважение. Наше вам глубочайшее с кисточкой!.. Тебя, кажется, спрыснуть надо.

– И так спрыснут. Насилу приволок проклятое: мокрое, хоть выжимай.

– Митрич, забирай узел да раскинь просохнуть.

– Слушаю-с! Водки еще прикажете?

– Давай, давай! Больных только спрашивают, а мы все, кажется, в добром здравии.

Оргия продолжалась.

– Ну, братцы, на бильярде сыграем?

– Сгоняем партию.

– Постойте, – остановил Гусь. – Надо сначала дело обсудить. Как же мы условимся насчет лабаза и молодоженов?

– Да что же условливаться? Сегодня, ночью, обоих посетить надо, – ответил Рябчик. – К чиновнику я пойду с Архипом, Степаном и Ильей, а ты иди в лабаз с Дмитрием, Иваном и Павлом. Зевать не следует.

– Идет! А теперь можно пока сыграть в пирамидку.

Нетвердой походкой компания перешла в бильярдную. Подали шары. Рябчик с Гусем поставили по три рубля и взяли кий. Остальные держали «мазу». На столах выстроили батарею пивных бутылок. День клонился уже к вечеру. Начинало смеркаться. Некоторые из упившихся уснули на столах, другие еще брюзжали заплетающимся языком. Рябчик был в проигрыше. Последнюю партию играли

по 10 рублей, и Гусь опять выиграл.

– Кончено! Ставь угощение! – вскричал Рябчик, бросая кий.

– Не много ли будет? Ведь нам на работу сегодня!

– Успеем. Заказывай кофе с бенедиктином.

– Ладно! Эй, Митрич, командуй!

– Артамон Ильич, – шепнул Гусю на ухо буфетчик, – хозяин приехал, прикажете доложить?

– Конечно! Живо!

Через несколько минут мальчик прибежал:

– Пожалуйста. Просит наверх.

Не без труда Гусь поднялся со стула и, тяжело переваливаясь, поплелся за мальчиком.

Совсем уже стемнело. На черной половине «Красного кабачка» раздавался богатырский храп. Не спали только Рябчик и Андрюшка Тумба, занимавший среди громил пост «подводчика», то есть караульного и сыщика.

– Андрюшка! – окликнул его Рябчик.

– Чего.

– Ты видел?

– Што?

- А куда Гусь пошел?
- Видел. Ну?
- Что у него за дело с хозяином?
- А кто его знает?
- Смотри. Ухо держи востро.
- Ты думаешь, они продать нас полиции хотят?
- А ты думаешь нет?
- Ни в жисть! Гусь на это не пойдет!
- Ой, смотри!
- Полно дурака валять! С какой стати?! Мы ведь мирные громилы, мы крови не проливаем! Чем мы рискуем? Посидеть несколько месяцев?! Эка важность. Стоит ли из-за этого заговор делать?! Нет, пустое.
- Чего же Гусь постоянно таскается к хозяину?
- Тогда бы он нам сказал. Нет, тут есть какая-то тайна. Надо разнюхать.
- Что-то есть, только нам не все ли равно?
- Извини. Гусь играет у нас слишком видную роль, чтобы для нас было безразлично его поведение. Мы не имеем от него секретов, и он не должен иметь от нас!
- А не спросить ли прямо его?

– Спрашивал я, а он ответил «не суй свой нос, куда тебя не зовут». Так ничего больше и не сказал!

– Что Гусь преданный нам товарищ и простой человек, в этом мы имеем тысячу доказательств. Стыдно было бы подозревать его в чем-нибудь.

– Ах, как ты не понимаешь, что иногда обстоятельства заставляют делать то, чего и сам не хотел бы. Ты тоже хороший товарищ, а прижмут тебя и выдашь брата родного.

– Что он застрял там? Митрич, пошли мальчика узнать, скоро ли Гусь вернется?

Буфетчик побежал сам.

– Однако одиннадцатый час. Пора нам будить наших да трогаться в путь. Надо ведь еще предварительную разведку сделать.

– Эй, молодцы! По-ли-ция!..

Все разом вскочили и, протирая глаза, бросились к выходу.

– Стойте, стойте! Ха-ха-ха... Никакой полиции нет, это мы пошутили, чтобы разбудить вас. Пора в путь собираться. Кто с кем?

– А где же Гусь?.. Митрич! Ты посылал за Гусем?.

– Сейчас мальчик ходил. Хозяин сказали, что Артамон Ильич давно уж ушли от них. Иван Степанович уж спать ложатся!..

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – произнес Рябчик. – А что я говорил? Есть тут какая-то тайна! Неспроста это! Куда же он мог уйти, не простившись? Ему сегодня нужно было работать с другими. Куда же он мог пойти?

– Рябчик, сходи к хозяину, узнай, – предложил Тумба.

– Митрич, пошли-ка за хозяином, скажи – очень нужно.

– Они легли спать и не велели никого принимать.

– Пошли! Скажи, очень нужно. Куда делся Гусь?

– Никак не могу беспокоить хозяина, когда они легли. Извините... Артамон Ильич давно ушли, хозяин сказал...

– Ты слушай, ослиная голова, что тебе говорят, а то мы сами пойдём! Живо...

Митрич побежал сам и через минуту вернулся.

– Спит... Не могут принять...

Товарищи переглянулись.

– Плохо, ребята! Надо грозы ждать. Соберайтесь-ка скорей, – заявил Тумба.

– Чего собираться? Гуся нельзя так оставить. Может, хозяин ловушку ему устроил. Пойдемте-ка все к нему на квартиру.

– Господа, – откликнулся Митрич, – хозяин велел за полицией послать, если вы его тревожить станете.

– Слышите? Что я говорил, – произнес Рябчик, – значит, Гуся он предал! Ах ты ракалия! Ну, постой же, мы тебе покажем! Митрич, говори правду, или сейчас тебе капут!

– Ей-ей, господа, я ничего не знаю. Ведь я все время здесь был, вы сами видели.

– Идемте искать Гуся! Придется работу на сегодня отложить! Вот оказия-то, спишь да выспишь.

У громил весь хмель пропал. Положение осложнилось.

– Западня, западня, – говорили они.

У Коркина

Богатый купеческий особняк у самой заставы занимал Илья Ильич Коркин, женившийся недавно на владелице этого дома, вдове Елене Никитишне Смулевой. Оба они молодые еще люди, лет тридцати с небольшим, казались довольными и счастливыми. У Елены Никитишны, кроме дома, был кругленький капиталец, а у Ильи Ильича несколько мелочных лавок и пекарня. Они, по-видимому, были счастливы в своей семейной жизни, хотя редко случается, чтобы супруги не сходились так характерами, привычками, вкусами и взглядами на жизнь. Илья Ильич веселый, разбитной, любил в приятельской компании подвыпить, а Елена Никитишна серьезная, сосредоточенная, сумрачная. Она любила мужа, но не понимала его поведения, когда он спешил пьяненький скорее домой, тихонько пробирался спать в свой кабинет и на утро выпрашивал прощение у своей благоверной.

Однажды после такого «покаяния» Илья

Ильич прибавил:

– Сегодня, Леночка, я пригласил вечером на стуколку Куликова, содержателя «Красного кабачка». Хороший малый.

– Разве ты сегодня стуколку устраиваешь? Кто же еще будет? Ты мне ничего и не сказал!

– Да никого нового не будет, кроме Куликова. Все свои, церемониться нечего!

– Надо же все-таки холодный ужин приготовить! А я собиралась сегодня в оперу. И к чему ты все это выдумываешь?! Ты знаешь, как я не люблю карт; только смотри, по-крупному не играй, а то опять продуешься! Тебе не везет ведь в карты!

– А в любовь? Вишь какая у меня жена красотка! Ну, дай я тебя обниму! Ты на меня не сердишься?

– Не сержусь, только ты не думаешь никогда обо мне... Пустяк, я пойду распорядиться на кухню.

– А я поеду лавки осмотреть, да, кстати, проеду на Калашниковскую пристань, муки надо купить, к концу подходит... Вели заложить шарабан.

– Только не пей, пожалуйста, с ними, не хо-

ди в трактир! Скажи, что тебе доктор запретил! Тебе ведь в самом деле вредно!.. Я ненавижу, когда ты пьян. Не будешь пить? Обещаешь?

– Обещаю, обещаю... Сегодня вечером придется еще выпить несколько рюмок...

Илья Ильич строго держал свои обещания, и как господа калашниковцы ни тащили его в трактир, он ни за что не пошел... На него даже обиделись и нашли, что он «не коммерческий человек» и с ним «нельзя дела делать».

К 8 часам вечера стали собираться гости. Куликов пожаловал в числе первых. Он был в отличном расположении духа. Илья Ильич представил его жене.

– Я так давно хотел с вами познакомиться, – произнес он, целуя ручку хозяйки.

– Очень приятно, – ответила Елена Никитишна и мило улыбнулась. Куликов завязал разговор сначала о погоде, потом о торговле и не отходил от хозяйки. Видимо, она не тяготилась этим разговором и охотно беседовала с новым знакомым. Гости продолжали собираться. Елена Никитишна извинилась и ушла распорядиться по хозяйству, а Илья Ильич со-

ставил стол для стуколки. Все уселись, кроме Куликова.

– Я после, господа, мне что-то не хочется...

– Садитесь, что ж вам зевать! Полно ломаться!..

– Нет, не хочу... Играйте... Еще время будет... Успею вам проиграть!

Куликов умышленно не сел. Он хотел продолжить прерванную беседу с хозяйкой, но она не появлялась. Пришлось заняться рассмотрением картин, альбомов. Перелистывая большой альбом, Куликов увидел карточку седого господина и вдруг, страшно побледнев, чуть не выронил альбома из рук.

– Что с вами, – удивилась Елена Никитишна, появившаяся в зале. – Отчего вы не играете?

– Так, не хочется. Я сегодня не совсем здоров. Скажите, Елена Никитишна, чья это карточка, – указал он на седого господина.

– Это мой первый муж. Отчего вы спрашиваете?

– Очень умное, выразительное лицо; он напомнил мне одного знакомого. – Куликов положил альбом в сторону. – Скажите, Елена

Никитишна, вы ведь не в Петербурге жили с первым мужем?

– Нет, в Саратове. Я там первый раз вышла замуж, но после смерти мужа переехала в Петербург и купила вот этот дом.

– Извините за нескромный вопрос. Ваш муж чем занимался?

– Он был агентом американских машин.

– И умер в одну из поездок в Нью-Йорк?

– Вы почему знаете?! – воскликнула Елена Никитишна.

– Слышал. Это было лет восемь тому назад. Тогда писали, кажется, в газетах.

– Но что же вы могли слышать? Корабль «Свифт», на котором он находился, погиб в открытом океане, и никто из пассажиров не спасся. Спустя шесть лет я вышла второй раз замуж за теперешнего своего мужа.

– Если память мне не изменяет, вашего первого мужа звали Онуфрий.

– Да, но как вы могли все это запомнить?! Вы что-то не договариваете!

– Помилуйте, Елена Никитишна, смею ли я! Уверяю вас...

Коркина слегка побледнела.

– Вы бывали когда-нибудь в Саратове?

– Я, собственно, уроженец Орловской губернии, но бывал и в Саратове...

– Вы, может быть, знали моего мужа или встречали его? – произнесла она, и голос ее дрогнул.

– Нет, не имел удовольствия. Даже фамилию не помню.

– Откуда же вы знаете, что его звали Онуфрием?

– Тогда, при крушении, подробный список погибших был приведен, и я запомнил это имя, потому что оно стояло отдельно. Присутствие его в числе пассажиров никем не было констатировано... Так, кажется?

Елена Никитишна тряслась точно в лихорадке.

– Да, но после это было удостоверено русскими властями... Простите, я не понимаю, к чему весь этот разговор?

– Ах, извините, я так только к слову. Я никак не думал, что эти воспоминания могут быть вам неприятны.

– Они вовсе не неприятны, но мне странно слышать их от человека, которого я в первый

раз в жизни вижу. – И она встала, чтобы выйти из комнаты.

– Позвольте еще один только вопрос... Не знавали ли вы там, в Саратове, некоего Серикова?

Елена Никитишна побледнела, как полотно, и чуть не упала.

– Нет, – резко произнесла она и вышла из комнаты. Куликов пристально посмотрел ей в глаза, усмехнулся и прошептал:

– Ага. Я не ошибся! Наконец-то...

– Иван Степанович, – послышался голос хозяина, – что ж, вы так и не будете играть?

– Иду, иду...

– Вы почему играете?

– По шести гривен обязательных.

– Ну, наживайте деньги! Я ведь плохо играю!

– А я отлично, – засмеялся Илья Ильич, – только жена не хвалит.

– У него нет жены, некому журить, – вставил кто-то.

Куликов был рассеян и играл невнимательно. То стучал на простого короля, которого принял за козырного, то брал второго

«гольца» за первого. Над ним смеялись, но он нехотя только улыбался и выглядел очень расстроенным.

– Что с вами, Иван Степанович, – удивлялся Илья Ильич, – я не узнаю вас сегодня. Неприятность какая-нибудь?

– Нет, ничего, так, не совсем здоровится.

– Пойдемте, господа, по маленькой пропустим, веселее будет.

Все поднялись. Куликов искал глазами хозяйку, но ее не было. Выпили в столовой, закусили и опять уселись.

Игра поднялась до 3 рублей и сделалась азартной. Куликов сильно проигрывал, но никак не мог сосредоточиться. Поминутно он смотрел на дверь, то и дело ошибался.

– Уж вы не влюбились ли, Иван Степанович, – заметил ему один из партнеров. – Говорят, вы к Петухову зачастили, за его Ганей влочитесь.

– А-а-а... Вот вам и разгадка! Ну, батюшка, влюбленные в карты не могут играть! Понятно, что вы все путаете.

– И охота людям сплетнями заниматься, – почти зло ответил Куликов, – я у Петухова

всего один раз обедал и единственный раз видел его дочку.

– Можно и раз видеть, да влюбиться. Без огня, батюшка, дыму не бывает!

Куликов ничего не ответил и насупился еще больше.

– Господа, когда ужинать хотите? – вошла в комнату и спросила Елена Никитишна.

– Рано еще, рано. Пойдите, у нас ремиз во семьдесят рублей, надо разыграть.

– Попролам?

– Нет сразу, не стоит.

Куликов взял второго гольца и поставил 160 рублей.

– Молодец! Почаще так!

– На то и игра.

Елена Никитишна встала за стулом мужа и посмотрела на Куликова. Глаза их встретились. Коркина смотрела гневно и решительно, так что Куликов даже смутился и опять поставил 160 рублей ремизу.

– Однако! Не разделить ли ремиз, – предложил Илья Ильич.

– Мне решительно все равно, – хладнокровно произнес Куликов.

– Пойдемте ужинать, – предложила хозяйка.

– В самом деле, приостановим игру... ремиз Ивана Степановича.

– Нет, ремиз лучше разыграть, – заметил Куликов.

– Ну, разыгрывайте!

Сдали. Куликов взял гольца.

– Опять ремиз! Но это чересчур! Бросьте, Иван Степанович.

– Как же я брошу! Ведь я на первой руке был!

– Пойдемте ужинать, после доиграете!

– Ну, идем.

Все встали. Куликов подошел было к Елене Никитишне, но она взяла мужа под руку и пошла с ним впереди. За столом Куликов сидел на противоположном конце от хозяйки. Он наблюдал ее и не мог не заметить, что Елена Никитишна сильно менялась в лице, хотя старалась сохранить внешнее спокойствие. Она избегала смотреть в сторону Куликова, но несколько раз бросила на него молниеносные взгляды. Никто из посторонних не заметил этих взглядов.

Когда все встали из-за стола, Куликов подошел благодарить хозяйку и успел шепнуть ей:

– Дело серьезное. Мне необходимо с вами поговорить наедине.

Елена Никитишна гордо откинула голову и также шепотом ответила:

– У меня не может быть с вами секретов!

– Как вам угодно! Я в ваших интересах...

– Прошу о моих интересах не заботиться.

Куликов молча поклонился и пошел разыгрывать свой ремиз. Игра затянулась до трех часов ночи. Куликов первый отказался играть и встал. Он прошелся в гостиную, где неожиданно столкнулся с Еленой Никитишной. Они помолчали.

– Не угодно ли вам прямо сказать, о чем вы желаете говорить со мной?

– Сударыня, я имею основание думать, что вы уже догадались об этом и, если продолжаете отказывать мне в аудиенции, то совершенно напрасно.

– Я ничего не догадываюсь и не могу догадаться!

– Дело ваше, но я опасаясь, что скоро вы об этом пожалеете.

Елена Никитишна помолчала и потом, стиснув зубы, произнесла:

– Хорошо. Завтра в три часа я буду дома одна.

– Извините. Я не могу к вам прийти.

– А что же вы хотите?

– Я живу совершенно одиноко. У меня никого не бывает, и если бы вы...

– Как вы смеете мне это предлагать?

– Я ничего не предлагаю, потому что лично мне совершенно безразлично.

– Вы... вы... – Елена Никитишна прошептала какие-то слова и вышла. Куликов отклонился хозяину и ушел.

Снова Ганя

Отношения Петухова с дочерью начали портиться с каждым днем, и жизнь Гани все более становилась невыносимой. Объяснения у них никакого не было. Да, собственно, объяснения и не могло быть: ничего существенного не произошло. Куликов предложения не делал, Петухов ничего от дочери не требовал, и сама Ганя ничего не хотела и не просила. А между тем что-то произошло, что-то неясное, неопределенное, даже непонятное, а есть. Старик не звал к себе, не ласкал Гани, не толковал с ней долгими часами. Целыми днями они теперь не говорили друг другу ни слова. Ганя несколько похудела, побледнела, улыбка исчезла у нее с лица. Она все о чем-то задумывалась, и печаль легла у нее складками на лбу. Куликов бывал у них часто, но не оставался обедать и с Ганей почти не виделся. Можно было подумать, что любовь и привязанность старика перешли с дочери на Куликова. С ним Петухов был безгранично ласков,

любезен и выражал даже радость, когда он приходил. Они толковали о делах, и Петухов почти ничего не предпринимал теперь без совета Куликова.

– Иван Степанович, а я думаю уволить Гесенера.

– Это ваш младший мастер, который недавно поступил?

– Да, он служил раньше у Брускина.

– Ненадежный малый, да и дело плохо знает. Не бережет хозяйского добра! Это уж не слуга.

– Намедни испортил мне три шкуры, а вчера совсем на работу не вышел; жена у него, видите ли, именинница.

– У него жена именинница, а вы машины остановите по этому случаю! Вот они как к хозяйскому интересу относятся! Нет уж, таких работников гнать следует! Они разорить завод могут.

– Я думаю совсем сократить эту должность. Надо уменьшать производство. Теперь кожаный товар подешевел. Чуть что не в убыток работать приходится.

– А разве за границу не идут ваши выдел-

ки?

– Куда там. Мы у себя-то, дома, с заграничными кожами не можем конкурировать, а где тут думать о заграницах!

– И совсем напрасно вы так думаете. У нас из Орла огромные партии разных товаров шли за границу и очень выгодно сбывались! Все дело в предприимчивости. Наши купцы не хотят шевелиться, сидят дома и довольствуются тем, что есть.

– Да, – протянул Петухов, – если бы все купцы были так образованы, ловки и энергичны, как вы, Иван Степанович.

– Я имел дело с Гамбургом. Из Орла поставлял им лесные изделия, а из Петербурга-то рукой подать. Вы подумайте, право, Тимофей Тимофеевич, насчет этого. Вам легко открыть себе сбыт. Я готов помочь, если хотите.

– Потолкуем, потолкуем, Иван Степанович. Теперь надо не сокращать, а развивать производство, потому что капитал все меньше и меньше приносит. Вон новая, говорят, «куверция» будет. Мы считаем, что почитай в убыток работаем, когда четыре-пять процентов не наживем... Хорошее дело легко и без риска

дает двенадцать, а понатужишься, рискнешь, мозгами пошевелишь, так и двадцать схватишь... А с капиталом далеко не ускачешь!..

– Совершенно верно. Давно пора нашему купечеству сознать это!

– Сознаем! Вы думаете, не сознаем! Обстоятельства принуждают! Вот, к примеру, мое дело... Сам стар, сына нет, близкого человека тоже... Одна дочка... что ж дочь может? Ее дело женское... Вот зятя бы хорошего Бог послал, да нет... дочь и слышать не хочет.

– Странно... Девушке двадцать два года минуло и не хочет подумать об устройстве судьбы своей и отца своего... Ведь, храни бог, осиротеет она... И пропала! Все прахом пойдет.

– Вот это-то меня и кручинит! Спать не могу покойно... Сон и аппетит теряю!

– А вы воздействуйте! Урезоньте! Проявите власть свою, волю. Она ведь девушка, много ли она понимает? Растолкуйте, что она поступает легкомысленно и каяться будет потом, страдать...

– Ох, больно прибегать к крутым мерам, а придется, видно... ведь характерная какая! Ни с одним мужчиной говорить не хочет!

– Смотрите, не приглянулся ли ей какой-нибудь работник или мальчик соседский... Это случается!

– Что вы, что вы! Да я ее с глаз не спускаю...

– На что другое, а на это у девушек много ума и хитрости!

– Нет, этого быть не может!

– А если нет, так вам, Тимофей Тимофеевич, жениха не искать. Всякий сосед, всякий, кто видел Ганю, с руками и ногами возьмет без всякого приданого. Я, Тимофей Тимофеевич, если не делаю предложения, то потому, что уверен в отказе. А если бы я мог надеяться, я был бы счастливейший человек в мире! Я полюбил вашу дочь, как увидел, не смею только признаваться. Да и Ганя не хочет на меня смотреть, а не только разговаривать.

– Откровенно говоря, я очень рад был бы иметь вас своим зятем... Надо будет поговорить с Ганей...

Тимофей Тимофеевич позвонил.

– Попросите сюда дочь, – сказал он вошедшей служанке.

Через минуту вошла Ганя, по обыкнове-

нию теперь скучная, побледневшая. Даже о туалете своем она перестала заботиться и вошла в какой-то старенькой кофточке.

– Вы меня звали, папенька?

– Да. Иван Степаныч хочет с тобой поздороваться и побеседовать. Ты точно прячешься.

– Мне не совсем здоровится, – произнесла она, посмотрев исподлобья на Куликова и протянув ему руку.

– У вас лихорадка, кажется. Ручка горячая такая, – заметил Куликов, не выпуская из рук протянутой руки девушки.

Ганя почти насильно выдернула руку и отвернулась.

– Я вам нужна, папенька? – спросила она упавшим голосом.

– Сядь с нами, посиди. Я тебя не вижу теперь целыми днями.

– Я никуда не выхожу из дому, папенька, и всегда около вас.

– Ты никогда ничего не говоришь. Разве тебе не о чем со мной потолковать?

– Вы все заняты, папенька, я не хочу вам мешать, у вас так много дел. Помочь вам я не

могу.

– Правда, правда, но что ж делать! Не хочешь ты сына и помощника мне дать!

Девушка покраснела и потупилась.

– Пора, Агафья Тимофеевна, подумать вам о супружестве, в самом деле, папеньке тяжело. Да и вам покойнее будет.

– Я и так покойна была, – Ганя сделала сильное ударение на последнем слове.

– Это не то. Весь век за отцовской спиной нельзя прожить. Папенька стареет, ему тяжело нести бремя.

Все замолчали.

– Ганя! Иван Степанович говорит, что он был бы счастливейшим человеком, если бы ты пошла за него замуж.

Девушка нагнулась еще ниже, плечи стали вздрагивать, на глазах выступили слезы, и она зарыдала.

– Ну, вот и слезы! Чего же ты плачешь? Я тебя не неволю, я только так говорю.

Девушка порывисто встала и вышла из комнаты.

– Видите. Ну, что ж вы поделаете?

– Всякая девушка так. Без слез нельзя. Это

ничего... Обойдется... Сразу нельзя.

– Вы думаете обойдется?

– Беспременно. Поплакать необходимо. А все-таки следует воздействовать. Убеждать, уговаривать. Женский ум короток, а девичий еще короче. После ведь сама благодарить будет. Это – как дети, которых насильно надо заставлять принимать лекарство. А не заставь их? Помрут...

– Вы справедливо говорите, только...

– Что только?

– Не могу понять, почему она так к вам не расположена.

Когда Куликов ушел, старик Петухов позвал к себе дочь.

Ганя явилась с распухшими от слез глазами и с поникшей головой.

– Что это, дочь моя? Что значит твое поведение! Я не узнаю тебя!

– Папенька! Что я вам сделала? За что вы на меня сердитесь? – произнесла девушка упавшим голосом.

– За глупость твою! Возможно ли относиться так к человеку, как ты относишься к Ивану Степановичу? Вспомни, что он заслуженный,

почтенный и солидный человек, имеющий право на уважение...

– Господи! Да что же мне до Иван Степановича?! Я не трогаю его, ничего ему не говорю... Пусть он оставит меня в покое? Какое он имеет право читать мне нотации, делать выговоры?! Я не девочка ему, и он никакого права не имеет.

– Имеет, – возвысил голос Тимофей Тимофеевич, – имеет, потому что я дал ему это право! Он друг мой, и ты, как дочь моя, должна считать его также и своим другом! Понимаешь?!

– Не могу, папенька! Хоть убивайте, не могу! Ваша воля, делайте со мной что хотите!..

– Не заставляй меня, Ганя, принимать такие меры, которые я не хотел бы принимать! Вспомни, что я был тебе не злым отцом...

Ганя вдруг разрыдалась, всхлипывая, она повторила:

– Был, был, да был и нет!.. За что, за что, боже милосердный! Что я сделала, в чем провинилась?! Ты, Господи, свидетель, как я любила отца, и вдруг... за что, за что...

Старик Петухов сидел молча; у него не на-

ходило слов, чтоб утешить дочь, хотя раньше, если его Ганя задумается, бывало, он спешил разогнать ее печаль ласками и увещеваниями.

«Блажь, дурь одна, – думал он, смотря на рыдающую дочь. – Не понимает счастья своего, бежит от радостей и покоя. Бежит по глупости, и меня старика тащит за собой, не жалеет, не подумает, что мне и отдохнуть пора. Правду говорит Иван Степанович, что девичий ум короток, а уступи вот ей, позволь упустить такого редкостного жениха, и после сама упрекать будет».

– Папенька, – простонала Ганя, – неужели вы стали чужим мне, не жаль вам меня, за что вы меня изводите!

– Не смей говорите мне глупостей, – строго произнес старик. – Думай о том, что говоришь! Уж если я тебя не любил, не жалел, так что же после этого и говорить!

– Любил, жалел... Отчего вы не говорите «люблю», «жалею». Неужели в самом деле вы перестали меня и любить, и жалеть! Помните, говорили ли вы когда-нибудь со мной так, как теперь? Относились ли вы ко мне так

безучастно? Вспомните, когда я стала ходить в школу, вы не отпустили меня ни разу из дому, не проверив все мои уроки! Вы не дали мне ни разу уснуть, не получив вашего благословения! Не проходило дня в нашей жизни, чтобы вы меня не приласкали, не справились, здорова ли я, о чем думаю, чего хочу. А теперь?

– Теперь, теперь, – нетерпеливо перебил старик, – теперь ты не ребенок! Теперь ты сама могла бы позаботиться об отце и дать ему отдохнуть.

И он вышел из комнаты, не взглянув на дочь.

Замыслы громил

Вьюн, Рябчик, Тумба и до двадцати других громил и заставных бродяг, в рубище и с подбитыми физиономиями собрались на черной половине «Красного кабачка».

Компания носила какой-то удрученный характер. Все были точно упавши духом, обездолены, сокрушены. Говорили неуверенно, тихо и боязливо озирались, как дети, внезапно лишившиеся матери, или воины, только что потерявшие своего полководца.

– Рассказывай, Тумба, что тебе сказал Куликов?

– Да что сказал? Заорал, как я смею обращаться к нему, пригрозил полицией и выгнал вон, прибавив: «Если ты, каналья, еще посмеешь подойти ко мне, то я тебя запрячу куда Макар телят не гонял».

– Видишь! Какой важный!! А наш Гусь к нему всегда ходил без доклада, – произнес Рябчик. – Нет, что-то тут совершилось загадочное! Он с нашим Гусем что-нибудь сотво-

рил недоброе! Однако, ребята, во всяком случае, нам надо что-нибудь предпринимать. Надо выбрать вместо Гуся вожака и начинать дела. Помните, что нас никто не кормит и никто не заботится о нас. Положим зубы на полку и насидимся голодными; хоть помирай – никому дела нет. Убогим да нищим хоть копеечку подадут, а нам кто подаст?

Вьон вытянул громадный кулачище и сострил:

– Этакую ручку и протягивать совестно.

Все засмеялись.

– Нечего и протягивать такую ручку, когда она сама может взять за пятью висячими запорами и пятью внутренними!

– Митрич, – скомандовал Рябчик, – выстрой-ка нам две банки сивушного зелья да дюжину пива...

Буфетчик засуетился.

– Ну, ребята, так как же? Я предложил бы Тумбу в вожака, конечно, на время, пока не отыщется Гусь... Тумба бывалый... Два раза из Сибири пришел. Два куля руками поднимает, пятаки гнет пальцами... И опять же большой знаток слесарной премудрости... При случае,

когда надо, не церемонится и перышко запустить!.. Вожалый хоть куда. Далекое ему до Гуся, но по пословице, на безрыбье и рак рыба.

– Согласны, согласны, – загудели голоса.

– Что же, Тумба? Согласен, што ли? Пить спрыски?

– Согласен! Наливай...

Тумба, молодой еще мужчина, лет тридцати, среднего роста, коренастый, с густыми волосами. Его лицо с узким высоким лбом, узенькими прищуренными глазами, приплюснутым носом и безгубым ртом производило отталкивающее впечатление. Прошлого его покрыто мраком неизвестности. Неразговорчивый и необщительный от природы, он терпеть не мог говорить о себе самом, так что даже подруга его жизни не знала ничего из его биографии. Даже имя его составляло тайну. Среди товарищей его всегда называли Тумбой, а паспорта у него или не было вовсе, или был чужой, так что настоящее имя и фамилия его никому не были известны. Он сам острил иногда: переменял столько разных имен и фамилий, что сбился в конце концов и сам – как меня зовут на самом деле...

До исчезновения Гуся Тумба занимал среди заставных бродяг и громил амплуа зачинщика. По указанию или под предводительством Гуся он всегда первый шел на дело, какие бы трудности оно ни представляло. Судился и высылался он несчетное число раз, но каждый раз, как только переходил за пределы столицы, ему удавалось бежать и благополучно возвращаться на Горячее поле или к заставе...

Когда Митрич подал водку и пиво, стаканы были налиты, Рябчик обратился к Тумбе с речью:

– По нашему обычаю, Тумба, мы даем тебе клятву свято исполнять все твои приказания и беречь тебя пуще наших собственных спин. Если будет опасность, то мы обязуемся спасти тебя, рискуя сами, и грудью защищать твою свободу! Тот, кто ослушается тебя, делается нашим общим врагом и выключается из нашей среды, а кто предаст тебя, рискует собственной жизнью. Мы же ждем от тебя, Тумба, таких же забот и попечений о всех нас, какими пользовались мы при Гусе. Мы надеемся, что ты поможешь нам разыскать нашего

бедного Гуся, а если понадобится, то и выручить его. За здоровье, ребята, нашего нового вожакого. Ура!

Все залпом осушили стаканы и потянулись целоваться с Тумбой. Когда бокалы опять были налиты, стал говорить Тумба:

— Братцы, я не учен, как Рябчик. Спасибо вам на добром слове! Помогу, а вот насчет Гуся это точно: надо постараться. Ваше здоровье!

Он опрокинул стакан и низко поклонился. Воцарилась тишина; налили опять стаканы, выпили и снова налили. У всех было тяжело на душе, и даже хмель плохо одушевлял. Неизвестность хуже всякой неприятности. Когда в прошлом году Гусь попался в обходе кобызевского ночлежного приюта и его забрали, все хотя и были огорчены, но не унывали и не падали духом. Теперь же их вожакий исчез как-то таинственно, неожиданно и неизвестно куда. Ни у кого не явилось мысли, что Гусь мог бросить их или продать. Нет, такого коварства не могло быть! Но, несомненно, что с ним приключилось несчастье, потому что иначе ему негде было бы найти себе

приюта, пропитания и прикрытия от сыщиков.

Общее молчание прервал Вьюн.

– Однако наши молодцы заснули. Не развlechься ли нам, ребяташки, в винном погребеке в Можайской улице. Я облюбовал его. В сторонке, одинок, лавок в доме других нет, жилья в погребе – тоже. Если выручка окажется слаба, так запасемся хоть выпивкой основательной. Как ваше мнение, вожалый?

– Отчего же? Только там многим делать нечего, – отвечал Тумба: – возьми себе подвodka, да и действуй; а то прибавь еще карального для поста – все равно теперь дел немного. А я, вы знаете, братцы, не любитель городских взломов. Тут риск велик, всегда спешить надо и сплошь и рядом приходится впустую играть. То ли дело на окраинах, за городом или даже в пригородах. Помните, в Колпино, мы завод грабили, так на возах увозили, свои подводы имели. А здесь что? В выручке три алтына да пару бутылок. Много бутылей не унесешь! Так стоит ли пачкаться?! А риску-то сколько. То дворник соседский, то прохожий, то запоздалый жилец. А коли и все

по-хорошему удалось, так смотри городской на посту задержит «по сомнению», подозрительны они к нашему брату! Нет, за городом, на воле, на просторе куда лучше! У меня, братцы, несколько планов уже есть.

– Что же? Давай, давай! Мы постараемся!

– Во-первых, – продолжал Тумба, – церкви на отдаленных кладбищах, в деревнях пригорода. Не дурно? Во-вторых, мастерские и заводские кладовые на окраинах. В-третьих, дачи, где живут зимой сами владельцы или зажиточные больные. Кто охраняет их? Где там дворники, городовые? А пожить есть чем, да и забраться гораздо легче, не спеша, на досуге; можно в несколько приемов взломы сделать.

– И впрямь! Как это только раньше нам в голову не приходило! Ай, Тумба! Молодчина!

– Но раньше чем действовать нам надо себе сбыт обеспечить, ведь наши маклаки, братцы, хуже обкрадывают нас, чем мы чужие квартиры! Мы ведь рискуем, идем на опасность и часто платим животами и свободой, а они чужими руками жар загребают и львиную долю себе берут. Прошлый раз они за се-

ребряные ложки нам по тридцать копеек отвалили, а две лисьи ротонды оценили в три с половиной. Ну, разве не грабеж это? Вон Петьке-буравчику тогда дворники ребро сломали каблучищами, так били, а опосля в полицию отправили, шесть месяцев в тюрьме продержали да на родину выслали, пришлось оттуда пешком возвратиться, и за все за это три с половиной. А татарин Хабибуло Дарохман за ротонды рублей двести выручил и не почесался! Это не по совести! Ну, дай нам хоть третью, четвертую часть того, что стоит! А то гроши дают и богатеют нашими животами! Поди ведь и нам не всегда сладко!..

– Верно, Тумба, верно, пробовали мы, да ничего не поделаешь! Пойдешь сам закладывать или продавать – рискуешь, что заберут. А они сами приезжают к нам, забирают, и мы знать ничего больше не знаем!

– Понимаю! Все это так, только в цене-то мы не сходимся. Нельзя же для них только работать! Ведь иной раз они нам только и отпустят, чтобы с Митричем за батарею расплатиться. Положим, тут нам не дорого стоит, а все же...

– Действуй, действуй, Тумба! Как хочешь распоряжайся! Твое дело, а все-таки погребок-то почистить сегодня следует!

– Так что ж! Трое идите на погребок, а остальные двинемся за город, – произнес Тумба.

– Двинемся... Как? Все вместе?!

– С ума вы сошли? Разделимся на партии. Трое пойдут на Выборгскую, трое – за Невскую заставу, трое – за Московскую, а трое – за Нарвскую, а остальные – на Голодай и в Чекуши. Сегодня действовать не будем, только хорошенько все осмотрим, облюбруем. А коли случай подвернется – отчего же! На молочишко годится. Только, пожалуйста, осторожнее! Не рискуйте, смотрите в оба и поодиночке не суйтесь. Теперь без Гуся нам плохо.

– А ночевать где? Сюда, к заставе, тащить-ся?

– Ночуйте там, в приютах, где будете. Паспорта у кого есть?

– Ни у кого почти. Только у троих-четверых, и то чужие.

– Тогда лучше собирайтесь сюда. Завтра спать можно до вечера, успеете выспаться. В

приютах плохо то, что в семь часов утра вставать заставляют, а тут можно спать до восьми вечера.

– Да и обходов днем не бывает. Спокойно спи.

– Так трогаемся, братцы?

– Митрич, разгонную порцию давай.

Стол компании, составленный из нескольких столов, сдвинутых рядом, весь был уставлен бутылками.

«Разгонной порцией» называется выпить по большому стакану каждый. Митрич сам принес поднос со стаканами и тарелкой клюквы, посыпанной мелким сахаром. Это угощение только для хороших гостей.

– За успех, братцы, мир, согласие и дружбу!..

– Ура! – проревели все.

– Сколько с нас, Митрич? – спросил Тумба. – Сегодня я всех угощаю.

– Восемь с полтиной-с!..

– Получай!

Тумба вынул из кармана красненькую депозитку и небрежно бросил ее на стол.

Компания встала. Все поблагодарили Тум-

бу, разделились на группы и вышли.

7

Иван Степанович Куликов

Иван Степанович сидел запершись совершенно один в своей небольшой, но уютной квартирке в том же доме, где помещался «Красный кабачок». Его квартирка имела отдельный подъезд с противоположной стороны и в то же время внутри сообщалась с трактиром, что имело для него большое удобство. Дом был устроен так, что под полом находилось несколько погребов и подвалов для хранения провизии, причем погреба соединялись подземным коридором, выходящим к надворным ледникам и упиравшимся в отдаленную часть двора.

В подвалы и погреба был также вход из кухни квартиры Ивана Степановича. Квартирка состояла из трех комнат: кабинета, залы и столовой. Так как Иван Степанович получал обед из своего трактира, то кухня ему была не нужна и он превратил ее в спальню. Обстановка квартиры была довольно комфор-

табельна, хотя не отличалась вкусом или изяществом.

Прислуги личной он не держал, а у него поочередно дежурили слуги трактира. Это тоже большое удобство, потому что, имея все готовым и исполненным, он мог в то же время уединиться, когда это требовалось обстоятельствами. Например, теперь он ждал тайного визита Елены Никитишны и присутствие прислуги было бы более чем нежелательно. А он был уверен, что супруга Коркина, под густой вуалью, непременно к нему явится. Она должна прийти. Куликов потирал руки от удовольствия.

Елена Никитишна – бесспорно, красивая женщина и, хотя она старше несколько Гани, но все-таки, пожалуй, интереснее ее. Полная, румяная, высокая, она отлично сложена и в довершение обладает премиленькой физиономией. Она вся в его власти, она теперь раба его, и он может приказывать ей, что ему угодно. Она не посмеет ни в чем ему противоречить.

Куликов был в отличном расположении духа. Его дела идут блестяще. Почти без гроша

он арендовал «Красный кабачок», произвел за свой счет ремонт, отделку и торговал теперь на славу. Никто не подозревает, что он вовсе не хозяин «Красного кабачка», а только случайный арендатор и притом человек никому неведомый, с прошлым, покрытым мраком неизвестности. Его приняли в этом краю очень радушно, совсем не справляясь о его происхождении, прожитой жизни и т. д. Кожевенный фабрикант даже навязывает ему свою хорошенькую дочку, а более чем интересная жена другого соседа должна прийти к нему на тайное свидание... Худо ли ему?

«Другой на моем месте мог бы успокоиться, счастливо прожить век, но я, – мечтал Куликов, – не привык к такой жизни и не создан для тихой пристани у семейного очага. Мне не то нужно».

Он посмотрел в окно, не видно ли закутанной дамы. Нет, идут только два пьяных мужика и, видимо, держат путь к дверям его кабачка. А там вдали едет кто-то на извозчике. Кто это?

Куликов всматривался пристально, и лоб его покрылся морщинами. Да, это он. Навер-

но, ко мне... Сказать – дома нет! Нельзя... Будет ждать... Ну, все равно... А как же Коркина? Где я приму ее?.. Вот не во время гость хуже татарина!

Он подавил пуговку электрического звонка. Извозчик между тем подъехал к трактиру, и господин скрылся в двери.

– Сейчас подъехал господин, проведите его ко мне, – приказал он вошедшему слуге.

– Слушаю-с...

Через минуту в гостиную входил молодой еще человек, почти лысый, блондин, с длинным выдающимся носом и большими, круглыми совиными глазами.

– Здравствуйте, – приветствовал его хозяин, – прошу садиться, что нового?

– Нового, Иван Степанович, ничего. Граф вернется из-за границы не ранее будущего месяца. Дома, кроме камердинера и кухарки, никого... Семья его находится в имении.

– Что ж! Чудесно! Вы подружились с камердинером?

– Распрекрасно... Почти приятели...

Куликов наклонился почти к уху гостя и стал ему тихо что-то говорить. Он боялся, что-

бы стены его не слышали.

– Поняли? – спросил он наконец громко.

– Понял, только...

– Что только?

– Я не знаю, удастся ли мне все приготовить и устроить так скоро.

– Рассчитывайте на мою помощь.

– Буду стараться!

– Деньги есть у вас?

– Очень немного.

– Вот вам сто рублей, я жду вас на днях с новостями. Сообщайте мне обо всем, что произойдет нового.

– Ах, я забыл вам сообщить. Сейчас, когда я к вам ехал, мне попались навстречу супруги Коркины. Он такой взволнованный, размахивает руками. Разве что-нибудь случилось?

Куликов закусил губу и, стараясь сохранить хладнокровие, отвечал:

– Не знаю, право, я их не видал.

Гость удалился, и Куликов остался один.

– Что же это значит? Неужели она предпочла рассказать все мужу? Нет этого быть не может! Здесь или случайность какая-нибудь, или...

Куликов начал шагать по комнате. Мысли роем носились в его голове. Он начал большую и рискованную игру. Удастся ему выйти победителем – он пан, провалится – пропал.

– Что ж! Не первый раз я завожу такую игру, и не привыкать мне к риску! Бывали риски и почище, да ничего, живу ведь, да еще как! Не хуже многих других.

В дверь кто-то тихо постучался. Куликов вздрогнул от неожиданности и крикнул:

– Войдите!

Появился буфетчик.

– Иван Степанович, я к вашей милости. У нас в погребе что-то не ладно.

– Что такое?

– Шум какой-то, возня и слышатся какие-то крики, стоны.

– Глулости! Что у нас домовые, что ли? Ерунда. С пустяками ко мне лезешь!

– Никак нет-с, Иван Степанович, вчера вечером сам околоточный надзиратель слышал и пришел теперь с понятыми осмотр сделать.

– Околоточный?! Что ж ты, болван, мне раньше не сказал ничего?!

– Я утром хотел доложить вам, но вы изво-

лили с утра не принимать никого.

– Позови их сюда!

Куликов еще больше взволновался.

– Полиция! Осмотр! Коркина не пришла!

Ну, и денек сегодня выдался! На редкость!

Что-то дальше будет?

В прихожей раздались шаги нескольких человек. Куликов пошел навстречу. Впереди шел местный околоточный надзиратель.

– Извините, господин Куликов, нам необходимо осмотреть ваши подвалы. Вчера слышались оттуда какие-то стоны и крики.

– Ха-ха-ха! Уж не думаете ли вы, что у нас привидения завелись в подвалах или домовые какие-нибудь?! Вот это забавно! Вы не ошиблись ли, милейший! У меня на черной половине другой раз такие стоны и крики слышны, что чище всяких леших или домовых! Впрочем, я весь к вашим услугам. Можете осматривать все, что хотите, если у вас есть поручение господина пристава.

– Извините, я пристава не докладывал, пока сам еще ничего не узнал положительного.

– Значит, вы на свой риск и страх решаетесь производить повальный обыск в торго-

вом помещении и частной квартире?

– Это не обыск вовсе, господин Куликов. Это, если вы ничего не имеете против, я хотел только удостовериться...

– Да я ровно ничего не имею. Только обыск-то сам по себе бессмысленный! Посудите сами, откуда же и какие черти возьмутся в подвале?

– Простите, господин Куликов, но, может быть, там вовсе не черти, а попал как-нибудь нечаянно человек.

– Ха-ха-ха! Вот это мило! Во-первых, «попасть» туда невозможно, потому что ледники и погреба на замках и ключи у моих буфетчиков, а во-вторых, все наши жильцы, обитатели и соседи, благодаря бога, живы и здоровы! А впрочем, я прикажу вам дать ключи от всех ледников и подвалов.

– Крики слышались, собственно, не из подвалов, а под землю, рядом с буфетом, Нет ли у вас там какого подземного хода или коридора?

– Это вы, батенька, у архитектора, строившего дом, узнайте или еще лучше разнесите дом по щепочкам и увидите! Ах, я вам и сесть

пригласить забыл, так вы меня чертями напугали. Ну, садитесь. Митрич, принеси нам красненького старого бутылочку; мы выпьем да и пойдем с вами, посмотрим.

– Нет, благодарю вас, мне некогда. Если позволите...

– Как хотите! Что же вам позволить?

– Удостовериться. Посетители ваши говорят, что они и сегодня утром слышали стоны.

– Удостоверяйтесь, пожалуйста. Митрич! Веди господина околоточного куда ему угодно. Хотите, и я с вами пойду.

– Если это не затруднит вас. У нас и понятия с собой; спокойнее, знаете ли. Вы давно изволите жить в этом доме?

– Очень недавно. Всего несколько месяцев. Признаться, я и сам хорошенько дома не знаю.

– Вот то-то и оно. Здесь, рассказывают, когда-то завод был старинный, с подземными ходами и галереями.

– Это любопытно. Пойдемте, пойдемте.

На дворе начинало смеркаться. Шел мокрый, осенний дождь. Завывал ветер.

– Не взять ли фонарей нам? Так ведь ниче-

го не увидим.

– Разумеется. Пусть они нам и освещают.

Процессия тронулась.

– Где же вход? Откуда попасть?

– Пойдемте в первый погреб.

Буфетчик открыл тяжелый висячий замок и распахнул двери. Пахнуло затхлой сыростью. Несколько ступенек вниз... Все спустились в такую духоту, что невозможно было дышать. Куликов первый выскочил назад. Наваленные груды хлама на деревянном помосте мешали сделать тщательный осмотр, да к тому же оставаться в этой атмосфере становилось нестерпимым.

Они хотели уже выходить, как вдруг полицейский вскрикнул:

– Слышите?

Все напрягли слух, и действительно, где-то в отдалении послышался слабый стон, перемешивающийся со стуком. Точно кто-то хотел выйти и не мог.

– Господин Куликов, пожалуйста сюда.

Куликов спустился, стал слушать.

– Да поверьте, это у меня на кухне повар котлеты рубит, а вам в духоте кажутся стоны.

Вы побудьте здесь еще, так совсем в обморок упадете.

– Воля ваша – отчетливые стоны!

– Пойдемте в другие погреба. Может быть, найдем.

– Положительно человеческие стоны и стук...

– Не смею с вами спорить... Ищите...

– Мудрено найти! Если бы мы знали всеходы и выходы, можно было бы осмотреть, а тут не найдешь ничего.

– Стоны в той стороне, около нашей кухни; посмотрите в леднике налево.

– Пойдемте.

Они спустились в ледник, набитый до крыши снегом.

– Ничего... Да здесь и не может быть слышно...

– Не хотите ли кухню осмотреть? Спросите повара, что он сейчас делал?

Когда они подходили к дверям кухни, то отчетливо услышали барабанный стук повара, готовившего битки и мурлыкавшего «Во поле береза стояла...».

– Ну, что я вам говорил! – рассмеялся Иван

Степанович. – Послушай, любезный, – обратился Куликов к повару, – скажи нам по совету: у тебя эти дни не было земляка или землячки?

Повар замялся и запустил руки под фартук.

– Говори правду, я тебе ничего не сделаю, – настаивал Куликов.

– Была-с...

– Ночевала?

– Ночевала-с...

– А ты с ней не дрался?!

– Что вы, что вы, хозяин...

– Правду говори!

– Поучил малость, только она меня ни... ни...

– А она кричала?

– Раза два крикнула, подлая...

Торжествующий Куликов рассмеялся.

– Довольны вы, господин полицейский?

Тот молчал.

– Удовлетворились вы? Или желаете продолжать обыск?

– Помилуйте! Извините, что я вас побеспокоил!

– Вперед с подземными духами не воюйте,

а то себе лишь хлопоты причиняете и людей беспокоите напрасно.

– Извините, пожалуйста!.. Наша обязанность...

8

Елена Коркина

Елена Никитишна не спала всю ночь после загадочного разговора с Куликовым и вообще чувствовала себя нездоровой. На вопрос мужа, что с ней приключилось, она отвечала уклончиво и ушла к себе в спальню. Здесь она дала волю своим чувствам и нервно бегала по комнате из угла в угол. Уже начинало светать, а она все не могла прийти в себя. Картины одна мрачней другой рисовались ее воспаленному воображению, и все прошлое воскресало в памяти.

Вспоминалось ей, как еще ребенком она жила в доме родителей. Отец имел торговлю в Саратове, и они жили в собственном доме. Мать баловала ее, любила, но отец имел крутой характер и часто бил их с матерью. Жизнь их текла однообразно, уединенно. Ее

посылали в школу, но успехов она не показала и с трудом выучилась читать и писать. Когда ей минуло 16 лет, она была совсем развитой, полной и красивой девушкой. Отец сватал ее за своего приятеля, пожилого человека, имевшего торговлю с Америкой. Она совсем еще не понимала жизни и не только не любила будущего мужа, но даже пугалась его. Никто не спрашивал ни ее согласия, ни желания, и через месяц сыграли свадьбу. Старый муж был противен ей, и жизнь с ним сделалась для нее невыносимой. Тянулись тяжелые дни, месяцы, годы. Она чувствовала облегчение только когда муж уезжал в Америку, но случалось это в год раз.

В одну из таких долгих отлучек мужа она познакомилась с молодым, красивым саратовским чиновником Сериковым. Они встретились в театре, потом на балу в купеческом собрании. Сериков не отходил от нее, они танцевали, болтали. Он просил позволения быть у нее с визитом. На другой день он приехал. С тех пор они стали часто видеться. Мало-помалу отношения их перешли в дружеские, но совершенно чистые, товарищеские.

Обращение Серикова было самое утонченно-вежливое, предупредительное и почти-тельное. Однако в городе стали говорить о его посещениях «соломенной вдовы». Суровый отец запретил ей принимать Серикова. Это послужило началом рокового конца. Они стали видеться тайно. Скоро Сериков стал пробираться к ней по ночам, через забор сада и по веревке подниматься на балкон. Отношения само собой изменились, и она привязалась к молодому человеку всей душой. Возвратился муж. Свидания затруднились. Деспотизм и суровость мужа чувствовались ею еще тяжелее, чем прежде. Раньше она, по крайней мере, не знала иной жизни, не видела выхода, а теперь счастье казалось ей так близко. Опять потянулись долгие, скучные месяцы.

Однажды она получила записку от Серикова.

«Постарайтесь выйти в час ночи к трем соснам в конце парка. Необходимо вас видеть».

Они не виделись уже около месяца, и она беспокоилась. Но почему записка такая лако-

ничная? Он не писал никогда так кратко и настойчиво.

И почему он назначает сегодня ночью, когда завтра муж уезжает в Петербург, и они могли бы свободно видеться. В этот вечер было много дела с уборкой и приготовлениями к отъезду мужа. Только в двенадцатом часу все улеглись спать. Не легла одна она... Ее волновало предстоящее свидание и загадочная таинственность его. Ровно в час она заглянула в кабинет мужа. Он крепко спал. Тихонько вышла она в сад и пошла поспешно к трем соснам. Сериков был уже там. Он пошел навстречу и крепко стиснул ее руку.

– Дорогая моя, я принес тебе свободу!..

– Свободу? – изумилась она.

– Да, свободу. Другого выхода нет.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Слушай, Леля! Так жить, как ты живешь, невозможно больше.

– Ах, милый, но что же делать?!

– Я нашел исход.

– Какой?

– Сегодня ночью твой тиран исчезнет. Как и куда, я тебе не скажу. Ты завтра объявишь

всем, что он уехал, как собирался, в Петербург. Я начну хлопотать о переводе в Петербург. Ты скажешь после родителям, что получила письмо от мужа, который зовет тебя в Петербург, и мы вместе уедем. Согласна?

Она вся дрожала и не могла ответить.

– Но, но что ж с ним сделают, куда его денут?

– Это не мое и не твое дело. Нужно будет только заплатить за это пятьсот рублей. У тебя есть деньги?

– Дорогой мой, я не в силах.

– Тогда, Леля, мы расстанемся навек! Так жить я больше не могу, я уеду в Петербург, а ты... ты живи со своим стариком.

И он хотел идти.

– Постой, постой. Ради бога, нельзя ли иначе как-нибудь. Погоди, он уедет. Подумаем.

– Уже все готово, Леля. Через час Макарка-душегуб будет здесь. Это известный разбойник, бежавший из Сибири; он был здесь пойман, но вчера скрылся из нашего острога.

– Неужели ты сговорился с ним?

– Да... Ты можешь ничего не знать, только не помешай ему. Никаких следов не останется.

ся. Он заранее приготовил уже могилу на берегу Волги под тремя березами и стащит туда труп. Никто ничего не будет знать.

– Ах, такой ужасной ценой покупать себе счастье?!

– Как хочешь! Еще есть время отказаться. Решай.

Она зарыдала и, вся трясясь как в лихорадке, упала к нему на руки. Он потащил ее в бредовую палату.

– Убийцы, убийцы, – прошептала она. – Нет, нет не хочу, не хочу.

Она потеряла сознание.

Когда она очнулась, было совершенно светло, около нее был ее дядя и несколько человек. Она все сразу вспомнила и снова грохнулась без чувств. У нее сделалась горячка, и целый месяц Елена была при смерти. Во время бреда она кричала и звала мужа, просила прощения, рвалась на его могилу, на берега Волги. Окружающие слышали этот бред и, когда она приходила в сознание, старались ее успокоить.

– Ваш муж скоро вернется из Петербурга. Он писал, спрашивал о вашем здоровье.

Когда она стала поправляться, то настойчиво потребовала к себе Серикова.

– Скажите мне, – умоляла она, – что ваш план не удался, что он жив.

– Не знаю. Может быть, Макарка обманул меня.

– Ах, если бы это было так.

– Поправляйтесь и не волнуйте себя.

– А где этот Макарка?

– Кто ж его знает? Он давно покинул Саратов. Никакая полиция не в силах его сыскать.

– Отчего вы не узнали от него?

– Я не видал его больше.

Елена Никитишна поправлялась быстро. Молодой, сильный, здоровый организм взял верх над болезнью, и вскоре она могла уже ходить. Первым визитом ее был кабинет мужа. Чемоданы, приготовленные к поездке, платье, вещи – все исчезло. Очень может быть, что в самом деле он уехал с первым парходом и, не найдя жены в доме, не мог проститься с ней. Может быть, он рассердился на нее за ночные похождения и потому не пишет ей. О! Если бы это оправдалось! С какой радостью встретила бы она его!

Но он не возвращался. Однажды Сериков пришел веселый, довольный.

– Я устроил перевод в Петербург.

– Что вы? А мой муж?!

– Мы его там поищем. Кстати, я послал вам письмо от его имени. Будто он вам приказывает ехать к нему. Покажите это письмо родителям, знакомым и собирайтесь. Там мы постараемся узнать, что с ним случилось.

Она в тот же день получила по почте письмо и решила ехать. У мужа оказалось состояние около 100 тысяч. Они вместе с Сериковым устроили все дела и уехали в Петербург, не возбудив никакого подозрения. Здесь, на первых порах они поселились в хорошем отеле. Сериков целыми днями хлопотал, устраивал и разыскивал ее мужа. Наконец, месяца через два, он приносит ей газету, в которой описывалась гибель в Атлантике корабля с пассажирами. В списке пассажиров упоминался и ее муж. Она была поражена и в то же время страшно обрадовалась. Точно у нее камень свалился с груди! Значит, действительно, он уехал тогда! Немедленно они выдали доверенность адвокату и послали его в Марсель

достать свидетельство о смерти мужа и затем в Саратов, для ввода во владение на правах вдовы. Через полгода все было готово. Некоторое затруднение встретилось в Марселе, где никто не мог подтвердить присутствие ее мужа в числе пассажиров погибшего корабля, но с деньгами удалось устранить это препятствие, и все бумаги были получены.

Теперь Елена Никитишна формальная вдова, с солидным приданым, готовилась сочетаться законными узами брака с давно любимым человеком. Она готовила уже приданое. Купила хорошенький домик-особнячок у заставы. Был назначен уже день свадьбы, как вдруг Сериков захворал. Простая простуда осложнилась воспалением легких, и больной через несколько дней скончался, не приходя в сознание. Новое горе поразило Елену Никитишну. Похоронив Серикова, она хотела ехать обратно в Саратов к родителям, но получила известие, что родители несколько месяцев как уже умерли.

Она осталась одинокой на всем белом свете. Ехать в Саратов не имело смысла. Жить одной в малознакомой столице тоже не пред-

ставляло интереса. Елена Никитишна была близка к отчаянию, несмотря на довольно крупное состояние и вполне независимое положение. Как-то случайно познакомилась она с содержателем соседних лавок, молодым веселым Коркиным, и последний стал у нее бывать. Вместе с ним она выезжала кое-куда, появилась на гуляниях, в общественных собраниях. Елена Никитишна, которой только что минуло 30 лет, была безусловно красива, высока, стройна и привлекательна. Пережитое горе хотя и оставило свои следы в виде нескольких морщин на лбу и пары седых волос, но следы эти сглаживались постепенно, по мере того как Елена Никитишна начинала жить нормальной жизнью и пользоваться развлечениями.

Как-то незаметно Илья Ильич сделался вечным спутником Елены Никитишны, и его веселый, оживленный вид действовал на нее ободряюще, воодушевляюще. Если Илья Ильич уезжал куда-нибудь по делам и Елена Никитишна не видала его несколько дней, то она скучала, начинала хандрить...

В один прекрасный день Илья Ильич, вер-

нувшись после недельной отлучки и увидев, как Елена Никитишна обрадовалась его приезде, приступил прямо к делу:

– Елена Никитишна, хотите выйти за меня замуж?

Она приняла это за шутку.

– Нет! Серьезно!.. Вы молоды, хороши собой, свободны... Я тоже еще не старик, имею обеспеченное положение. Почему же нам с вами не соединиться по гроб жизни?..

– Право, Илья Ильич, это так неожиданно...

– Полноте, Елена Никитишна, чего там неожиданно! Неужели вам никогда это не приходило в голову?

– Может, и приходило, только...

– Ну, вот и отвечайте! Я не уйду отсюда, пока вы не скажете «да»...

Он встал на колени, взял ее руки и смотрел в глаза.

Она как-то невольно произнесла «да».

Все это воскресло теперь в памяти Елены Никитишны, когда она шагала ночью по комнате.

– Боже мой! Что бы это могло быть? Что

это за человек, этот Куликов?! Что значат его намеки?!

9

Решение Гани

Старик Петухов, чем больше думал об упорстве дочери, тем больше озлоблялся на нее, и временами ему казалось, что он почти ненавидит Ганю.

– Возможно ли так мало думать об отце, который посвятил ей всю жизнь, отдал ей лучшие свои годы, полные сил, любил ее, заботился, лелеял... И почему? Разве Куликов дурной человек или старик?! Нет! Просто каприз один, своеволие, нежелание даже подумать об отце, ведь я мог бы и не спрашивать ее согласия, просто приказать и только. Но я не хочу! Не хочу прибегать к насилию, а она не ценит этого, не видит, не хочет признавать! Вот наши современный детки! Заботьтесь о них, хольте их, чтобы они после над вами же издевались! И не дура ли? Такой умный, серьезный человек с состоянием делает ей предложение – радоваться должна, Бога

благодарить!.. А она «не нравится». Слышите ли, принцесса какая?! Не нра-вит-ся!.. А почему «не нравится», и сама не может объяснить! Что же, нос велик или борода коротка, что ли?! Нет! Я должен поступить строго! Потакать таким глупостям невозможно!

Старик не переставал размышлять на эту тему и укреплялся все более в необходимости сломить упорство Гани и заставить ее исполнить волю отца... Болезненный вид измучившейся дочери не только не трогал его, но, напротив, еще более ожесточал... От прежних дружеских отношений отца с дочерью почти не осталось и следа. Целыми днями старик выискивал только случая, чтобы придраться к Гане и сделать ей выговор. То обед не вовремя, то суп пересолен, то комнаты не убраны или прислуга не на месте. Если Ганя пробовала оправдываться, то старик накидывался на нее с бранью, упрекая в недостаточности почтения, в своеволии, эгоизме и прочем. Ганя теперь не слышала от отца никогда ласкового слова, и если он звал ее или обращался с каким-нибудь вопросом, то непременно для выговора, замечания или выражения своего

неудовольствия. Бедная девушка решительно не знала, что ей делать; чем больше она старалась за всем уследить и все предусмотреть, тем более оказывалось разных промахов или неисправностей, за которыми неизбежно следовали выговоры.

Куликов по-прежнему часто ходил к ним в дом и постепенно начал вмешиваться во все мелочи их хозяйства и жизни. Неприязнь старика к дочери росла в той же пропорции, как его расположение к Куликову. Чем больше привязывался он к последнему, тем резче выражался его гнев против непокорной дочери.

А между тем у Гани, кроме отца, не было никакого близкого ей человека, не с кем было поделиться своим горем, излить измучившуюся душу. Она страдала ужасно. Инстинктивная неприязнь к противному ей Куликову усилилась теперь сознанием, что из-за него она потеряла горячо любимого отца, потеряла семью, покой и здоровье. У нее теперь не было отца. Старик сделался для нее не только чужим, но явным врагом, с которым она не могла по-прежнему делить свои мысли и чувства, не могла даже и говорить о чем-нибудь.

Предоставленная сама себе, Ганя не в состоянии была разобраться в том, что происходило кругом, и еще менее могла найти себе выход.

– Если бы я знала, чего они хотят от меня! – рыдала она по вечерам, уткнув голову в подушки. – На все, на все я согласна, только, только... не сделаться женой этого человека! У него светится в глазах огонь дикого зверя, и я лучше готова умереть, чем остаться с ним наедине. И как мог он околдовать так папеньку? Неужели отец не видит его так, как я вижу?! Боже, боже, что мне делать?! У кого искать помощи, защиты?! Отец, который так любил меня, который был единственным близким мне существом, сделался его союзником. Кто же, кто защитит меня?!

Случалось, что всю ночь Ганя не могла сомкнуть глаз, дрожала вся от страха и одиночества, ломала руки в отчаянии и под утро засыпала, сидя на стуле, или впадала в какое-то забытье.

Шли дни за днями, и Ганя ясно видела, что опутавшие ее сети сжимались все больше и больше. Куликов перестал уже обращаться с ней деликатно и довольно грубо давал ей чув-

ствовать «опалу», в которой она находилась. Он делал ей выговоры, игнорировал ее присутствие и даже перед прислугой и рабочими ставил в неловкое положение. Ганя не решалась протестовать или вступать в борьбу, потому что хорошо понимала, что все это делается с ведома и согласия отца. Первое время она пробовала защищать свои права, если не хозяйки, то дочери хозяина, но старик Петухов резко объявил ей, что он просил Ивана Степановича распорядиться и она должна слушать его так же, как и отца. После этого она должна была смириться, но все еще не думала сдаваться.

Однажды Петухов сидел у себя в кабинете, разбирая какие-то счета. Ганя осторожно вошла и встала у дверей.

– Что ты? – спросил он, не отрывая головы от бумаг.

– Папенька, я хотела с вами поговорить, – тихо начала она.

– Говори, что тебе.

– Я, папенька, так не могу больше. – И она зарыдала.

– Что не можешь?

– Не могу жить так больше. Отпустите меня.

– Что?! Не можешь жить?! Отпустить! Куда отпустить? – Старик привстал со стула и повернулся к дочери.

– Отпустите на место. Я служить пойду. В горничные, прачки, судомойки, куда угодно пойду.

– Да ты в полном уме?! Или в самом деле ты хочешь, чтобы я тебя в двадцать два года кнутом выдрал?! Ты что, дурище, белены объелась?! Что тебе худо? Ты сама себе худое делаешь! Сама хочешь отца в гроб уложить! Говори! Что это значит?

Рыдания душили девушку. Она в изнеможении опустилась на диван и не могла говорить. Старик дрожал от гнева и стоял перед ней со стиснутыми кулаками.

– Вот что значит распустить девку, волю дать! Правда, говорили мне наставники наши, что гублю я девку баловством. на пагубу воспитываю тебя! Не волю тебе давать следовало, а драть! Тогда ты не стала бы перечить отцу! Не смела бы говорить старику, что он ничего не знает, что ты лучше людей понима-

ешь и знаешь! Твоего ли это ума дела? Неужели отец меньше тебя смыслит? Смеешь ли ты рассуждать, когда отец говорит? Вот до чего доводит своеволие и баловство! Ты в прачки, в судомойки собралась?! Да разве мало у отца места для тебя? Или не хватит прокормить тебя?! Говори, зачем тебе идти на место?!

– Папенька!.. Я... я... из-му-чи-лась, – произнесла девушка сквозь рыдания.

– Измучилась? Да кто же тебя мучает? Кто тебя пальцем трогает? Что тебе делают? Ты сама себя мучаешь! Дури набрала в голову! Да как ты смеешь отцу говорить такие вещи? Что ж, я тебя мучаю? Я? Говори, я?

В эту минуту в кабинет вошел Куликов. Он не считал нужным даже виду сделать, что не решается быть свидетелем семейной сцены. Напротив, он на правах своего человека, присутствие которого не может быть лишним, развязно заметил:

– Что, Тимофей Тимофеевич, опять блажит ваша доченька?

И, не здороваясь с Ганей, как с ребенком, который капризничает, он уселся в кресло и уставил на девушку насмешливый взгляд.

– Представьте, Иван Степанович, дочь пришла мне объявить, что она не может больше жить со мной, что ее здесь мучают и она надумалась искать место судомойки. Слышали, как вам это нравится?

Куликов пожал плечами.

– Признаюсь, этого я не ожидал от Агафьи Тимофеевны! Не оценить такого благодетеля-отца, всю жизнь отдавшего воспитанию дочери, грех тяжкий, да и перед людьми диковинно! Все ведь знают, как вы, Тимофей Тимофеевич, надыхаться не можете на дочь, и вдруг... Непонятно! Право не понятно! Нет ли тут чего-нибудь недоговоренного... Может быть, Агафья Тимофеевна по другой какой-нибудь причине мучается?.. Может быть, у нее тайна есть какая-нибудь... Я давно вам об этом говорил.

Девушка гордо выпрямилась и, смотря в упор на Куликова, произнесла:

– У меня не было и нет от отца никаких тайн! Волю отца я до сих пор чтю свято во всем и до появления вашего в нашем доме я считала себя счастливейшим человеком.

– Вот что? Значит, я помешал вашему спо-

койствию и счастью. Что же? Если Тимофей Тимофеевич разделяет ваше мнение, то я готов сейчас же удалиться и никогда больше не переступить порога вашего дома, Агафья Тимофеевна.

Он встал.

– Не говори глупостей, Ганя, и не смей оскорблять моего друга. – произнес, повысив голос, Петухов, – ты сама не знаешь, что говоришь, и я уверен, будешь после жалеть.

– Простите, Агафья Тимофеевна, – начал опять Куликов, усаживаясь, – но я никак не могу понять, чем, собственно, я мог причинить вам огорчение. Если насчет моего сватовства, то ведь я вам насильно не навязываюсь. Точно, я люблю вас и готов жениться, но до сих пор я вам этого даже не высказывал. А затем... затем я не понимаю, что вы против меня имеете? Может быть, что папенька ваш ко мне расположен. Но согласитесь, смешно требовать, чтобы пожилой человек справлялся у своих собственных детей, кого ему можно принимать и кого следует гнать в шею. Если отец не может дочь свою заставить любить или уважать кого-нибудь, то как же дочь мо-

жет заставить отца прогнать человека, к которому он расположен?! Это что-то совсем несуразное.

– Бросьте, Иван Степанович, стоит ли с душой разговаривать! Ведь она сама не понимает, что говорит!

И, обращаясь к Гане, старик прибавил:

– Я предупреждаю тебя, чтобы ты никогда не осмеливалась больше говорить мне подобных вещей! Ты дочь мне, и я не посмотрю на твои лета... Лучше видеть дочь мертвой, чем слушать на старости лет подобные обвинения, которые я заслужил меньше, чем какой-нибудь другой отец!.. Ступай и подумай о своем поведении!..

Ганя вышла. Несколько минут длилось молчание.

Старик Петухов сидел погруженный в свои мысли. Горе дочери не трогало его, он даже не признавал его, но поведение ее казалось ему каким-то ужасным. И он все больше и больше ожесточался против дочери. Он никак не мог найти никаких смягчающих для нее обстоятельств и не мог стать в ее положение.

А Куликов ловко пользовался этими усло-

виями.

– Да, Тимофей Тимофеевич, от нынешних деток мало утешения для родителей, не жди от них толку! Отдай им все, а сам попроси корку сухого хлеба – и сейчас тиран, враг, злодей...

– Нет! Но такой выходки я от нее никак не ожидал! Ну, не хочет за вас выходить, я ее пока не принуждаю, и вдруг... в судомойки!

– Знай наших! Вот мы каковы! Вздумай-ка приневолить – так я и в полицию пойду, прокурору пожалуюсь! Я совершеннолетняя! Знать вас не хочу!

– Ну, извините! Я ведь тоже шутить не позволю с собой, срамить мои седины! Сумею справиться!

– Слышали вот – в судомойки пойду. Ну, и справляйтесь!

– Пусть еще раз осмелится – я покажу ей! – И старик стиснул кулаки. Глаза его заблестели недобрым огнем.

Тумба у себя дома

Новый вожальный громил принадлежал к числу давнишних обитателей Горячего поля. Это поле начинается за Новодевичьим монастырем и Громовским кладбищем и тянется около полотна царскосельской и балтийской железных дорог на далекое расстояние. Горячее поле, давно излюбленная громилами местность, представляет для них хорошо защищенную засаду, где они могут скрываться годами, делая вылазки к заставе. Поле за Громовским кладбищем почти непроходимо. Оно все болотисто, покрыто кочками и кустами, изрыто канавами и совершенно необитаемо. Не только весной и осенью, но в жаркое лето или суровую зиму дебри Горячего поля непроходимы. Нужно хорошо знать все тайные тропинки и условные вехи, чтобы не заблудиться в этих дебрях и не завязнуть в топком болотистом грунте. После своего избрания вожальым Тумба пригласил своих новых товарищей к себе в гости на стакан вод-

ки.

День был праздничный, летний, погода стояла отличная. Собираться было назначено к 11 часам вечера. Куца Тумбы, в которой он жил зиму и лето и жил не один, а с семейством, находилась на четвертой версте Горячего поля, на девятой тропе левой половины, по прямой линии со Средней Рогаткой, в тридцати верстах от последней. Половины, тропы и версты Горячего поля размечены громами вехами, так что для них найти место жительства товарища легче, чем нам известный номер дома и квартиры данной улицы.

Рябчик и Вьюн пошли на званую ночь вместе. Они вышли из-под мостков кладбища, где отдыхали после тяжелой, подвижнической ночи, полной приключений. В эту ночь они покушались ограбить Невский стеариновый завод и были застигнуты рабочими на месте преступления. Удирать им приходилось от преследований целой толпы рабочих, сторожей и дворников. Скачка была головоломная. Они отстреливались камнями, комками грязи и мчались по полям несколько верст, пока им удалось залечь в ямах и скрыться из виду

преследователей. Пролежали они в воде несколько часов, пока измученная погоня бродила по полю, осматривая все кустики. Уже рассвело, когда они вышли из своих мокрых засад. Вода текла ручьями с их платья, волос. В таком виде они побрели к Громовскому кладбищу, сняли здесь с себя мокрую одежду, развесили ее сохнуть и, завернувшись в рогожки, забрались под мостки и уснули богатырским сном. Солнце давно село, когда они проснулись.

– Пора вставать, – произнес Рябчик, – верно, часов девять уже. До Тумбы час ходу. Надо ко времени поспеть.

– Выползай, – ответил, зевая, Вьюн и сладко потянулся.

Товарищи полезли, облачились в свои высушенные ветоши и протерли глаза.

– А что, брат, ведь холодно, – заметил Рябчик.

– Ничего, до Тумбы доберемся, там будет угощение.

– Ну, в путь!

Они обогнули кладбищенские мостки, по направлению к глухому забору заднего фаса-

да кладбища: здесь под забором была выкопана земля, так что получалось отверстие, в которое свободно можно было проползти по-собачьи. Привычные громилы ловко юркнули поочередно в проход и очутились на свободе. Вечер был тёплый, с болота поднимался туман и окутывал пустынное болото, густо поросшее кустарником. Идти рядом было невозможно. Вьюн скакал по кочкам впереди, а Рябчик не отставал от него. Они держались левее, где местами торчали палки с перевязями из рогож. Чем дальше, тем кустарник становился гуще и прыжки приходилось делать крупнее.

В отдалении послышался резкий свист, повторившийся два раза. Рябчик остановился.

– Что это, тревога?

– Сигналист свищет. Нет ли сегодня обхода?

– Мы-то уж в безопасности!

Свист повторился. Рябчик сунул в рот два пальца и ответил таким же протяжным свистом с двумя перерывами. Послышался ответный свист справа.

– Постой! Да ведь это наши свищут! Нет ли

здесь чьей-нибудь кущи.

– И то правда! Вон у того леска вяземские летом живут.

Свист повторился на близком расстоянии, и через две-три минуты Рябчик с Вьюном увидели несколько голов. Головы быстро выросли, и человек восемь-десять оказались в нескольких шагах.

– Эх, вы напугали нас, а мы думали уже, не обход ли забрался к нам в гости, – приветствовал их шедший впереди.

– Здорово вяземцы! Как живете?

– Спасибо. А вы куда путь держите?

– К Тумбе. Он у нас теперь вожакий всех заставных. Пригласил на стакан водки.

– Кланяйтесь ему. Вы идите теперь прямо. Тут просохло, можно перейти и путь гораздо ближе.

– Спасибо.

Вяземцы опять разбились по кустам, и головы исчезли в траве. Рябчик с Вьюном продолжали путь. Идти было легче по сухой тропинке, расчищенной от кустарников и насыпанной в низких болотистых местах. Очевидно, что тропинку эту устроили человеческие

руки. Товарищи шли молча. Тропинка кончилась, и пошли опять кочки.

– Кто идет, – раздался голос в стороне. Рябчик осмотрелся и увидел на одной из кочек крытую будку, немного больше сторожевой собачьей. Из будки смотрели две кудлатые головы.

– А!.. Пузан! Ты опять разве вернулся? – ответил Вьюн, кивая головой в сторону будки.

– Куда путь держите?

– К Тумбе.

– Постойте, и я с вами пойду.

Голова вылезла и выросла в здоровенную фигуру оборванца. Теперь можно было рассмотреть, что другая голова, лежавшая в будке, принадлежала женщине.

– Ты, Маланья, жди, не вылезай, я скоро вернусь, – произнес Пузан.

– Вернешься! Надрызгаешься! Лучше бы в город сходил. Жрать нечего...

– Молчи!

– Чего «молчи»?! Возьму да уйду. Чего мне тут лежать, не жравши. – Женщина продолжала брюзжать, но ее не слышали. Они втроем теперь скакали по кочкам, пробираясь к

левому леску.

– Давно ли вернулся? – спросил Рябчик Пузана.

– На прошлой неделе. Ох, грехи... Семь месяцев шел!

– Тебя куда доставили?

– Доставили в Колу и пустили. Осень, погода страшная, добычи нигде, ни куска хлеба, в кармане ни гроша, делай, что хочешь. А пригнали нас человек шестьдесят.

– Ну?

– Ну и пошли в тот же день обратно. Из шестидесяти дотащилось до Горячего поля одиннадцать. Из них шесть уж опять сидят, опять в Колу пойдут.

– Неужто одиннадцать? А остальные?

– Кто подход, кто отстал. Сил, братцы, ведь не хватало. Верите ли, мхом да падалью питаться приходилось! Хорошо, как попадался кто на пути, но это за редкость! Там и дорог-то нет настоящих, путники – одни мужички местные. Ну, попадались кто – ау!

– Од-на-че...

– На седьмой месяц только добрались. И вспомнить-то жутко!

– Что же, почин был здесь-то?!

– В тот же день часы сорвал, а на другой – лабаз разнес!.. Натерпелся ведь...

Они пошли молча. Совсем стемнело. Ночь была тихая, теплая. В воздухе не слышалось шелеста, только кваканье лягушек да треск насекомых нарушали могильную тишину.

– Один работаешь? – спросил Вьюн.

– Один, – отвечал Пузан, – хочу вот к Гусю проситься!

– Тю-тю! Гусь в воду канул! Исчез бесследно. Теперь у нас Тумба вожалым.

– Вот и чудесно! Попрошусь к Тумбе.

– Отчего ж? Мы тебя примем! Ты мужик хороший, слаб только.

– Нет, теперь ау! Спуску не даю!

– Что? Прозкзаменовали?! Попробовал Мурмана, так покладистее стал! В нашем ремесле нельзя, брат, миндальничать! Чуть оплошал и пиши письмо в деревню.

Опять все замолчали.

Кочки миновали. Пошла тропа влево, и минут через десять вдали показалась лужайка, переполненная людьми.

– Вон уж наших сколько, – воскликнул

Вьюн. – Верно мы с тобой, Рябчик, проспали.

– Да, опоздали.

Приблизившихся увидели с лужайки, и несколько человек пошли к ним навстречу. Это был сам Тумба с двумя своими старыми товарищами.

– Добро пожаловать, – произнес хозяин, прикладывая руку к козырьку, – что поздно? Али на деле были? А это что за гость? Ба... ба... ба! Да никак Пузан?!

– Он самый, мурманский! – отвечал Пузан, кланяясь и протягивая руку.

– Ну, не ожидал тебя видеть! Все равно что с того света! Здорово! Здорово. Пойдемте.

Они вместе все подошли к площадке. Здесь, на траве, лежало человек пятнадцать. В глубине площадки, около самого леса, была устроена большая палатка, сложенная из глины и хвороста, с двумя окнами и входной дверью. Около палатки стояла высокая женщина с грудным ребенком на руках. Женщине на вид было под 30 лет, и на лице сохранились еще следы красоты.

– Моя Настенька с наследником, – представил ее Тумба новым гостям.

Гости поклонились.

– Шельмец весь в отца. Седьмой месяц пошел. Здесь родился и выйдет верно атаман Горячего поля.

Тумба взял ребенка у женщины и, развернув пеленки, с гордостью стал ласкать малютку. Ребенок действительно крупный, большой; очутившись на руках отца перед многочисленным обществом, с любопытством всех разглядывал и сложил ручонки в кулаки.

– Ишь каким воином смотрит. У-у-у...

Тумба отдал мальчугана матери и обратился к гостям:

– Ну, господа, выпить с дорожки. Наливайте, братцы, выпьем за прибывших. Валяйте.

В стороне разложен был костер, и в чугуне кипятилась похлебка. Все выпили, закусили. Прибывшие тоже разлеглись на траве, разговор происходил оживленный. Все чувствовали себя отлично и были веселы. Здесь они совершенно на свободе, в полной безопасности и в гостях у радушного хозяина.

– Погодите, гости дорогие, сейчас похлебка успеет, поедем как следует и в картишки засядем, а хозяйка самоварчик согреет да чай-

ком нас побалуует.

– Стуколка – дело хорошее. Только не по большой, тридцать копеек обязательная, – произнес Вьюн.

– Там видно будет. Можно две стуколки устроить: одну покрупнее, а другую для мелочей.

– Настенька, посмотри, не упрела ли похлебка? А пока, ребяташки, налейте-ка еще по стаканчику, – суетился радушный хозяин.

Налили. Выпили.

– Ночь-то, ночь, какая благодатная! Это ли не жисть!

Визит

Куликов целую неделю ждал Елену Никитишну.

– Не может быть, чтобы она решилась не прийти! На ее совести слишком большое пятно, и она не может быть спокойна после моих прозрачных намеков. Ну, а если? Если она ответит молчаливым презрением?! О! Тогда я сначала ей, а потом ее супругу напомню анонимными письмами обстоятельства, при которых она овдовела. Если анонимки не подействуют, можно будет написать кое-кому из сильных мира сего. Впрочем, до этого не дойдет. Я убежден, что она явится.

И Куликов бегал по своим комнатам, как зверь в клетке. Коркины поглотили в это время все его внимание. Он даже мало думал о своей невесте Гане, о торговле в кабачке и о тех странных человеческих звуках, которые доносились из подвала. Все его внимание было сосредоточено теперь на Елене Никитишне. Это для него теперь вопрос личного само-

любия. Он заставит ее покориться!

И на его толстых губах играла злая усмешка. Глаза метали молнии. Он походил на кошку, боящуюся упустить мышонка.

В дверь тихо постучались.

– Кто там? – грубо окликнул он. Просунулась голова слуги.

– Иван Степанович, вас какая-то барыня спрашивает.

Куликов весь вздрогнул от неожиданности и засуетился.

– Ага! То-то! Я знал это! Проси, проси, проведи через парадную дверь и никого больше не принимать! Слышал! Говори всем: дома нет!

– Слушаюсь.

Голова скрылась.

Куликов наскоро оправил перед зеркалом туалет, волосы и стал против дверей в ожидании гостя. Двери распахнулись. Слуга пропустил вперед высокую, стройную даму под густой вуалью и, закрыв двери, удалился. Куликов сделал несколько шагов вперед и остановился в недоумении. Перед ним стояла Ганя.

– Агафья Тимофеевна?! Вы как здесь?! Че-

му я обязан вашим посещением? Здоров ли папенька?!

– Иван Степанович, оставьте этот тон! Я пришла к вам, разумеется, без ведома папеньки. Я пришла вас просить...

– Просить? О чем? Я вас не понимаю! Но войдите, пожалуйста, присядьте, побеседуем. Вот неожиданный визит!

Они вошли в гостиную. Ганя опустилась на первый попавшийся стул. Она была бледна, имела измученный вид, но красивые черты лица с кротким выражением чудных глаз казались еще прекраснее. Гордо откинута назад хорошенькая головка на роскошном бюсте делала ее настоящей красавицей в полном смысле слова, и Куликов невольно любовался ею.

С минуту они оба молчали. Ганя не могла собраться с духом, чтобы начать, а Куликов умышленно тянул паузу, чтобы любоваться девушкой. Теперь, когда в ней природная скромность боролась с решимостью и отвагой, когда она совершила целый подвиг рискованного визита и вдруг начала трусить, очутившись лицом к лицу с последствиями

своего подвига, она поминутно то бледнела, то краснела, то глаза сверкали огнем, то вдруг потухали, и она как-то ежилась, уходила в себя, готова была провалиться сквозь землю и бежать назад без оглядки. Куликов следил за этими переменами и, любуясь внешним их эффектом, все хотел угадать, какое состояние возьмет верх.

Наконец Ганя заговорила:

– Иван Степанович, я устала вести эту безгласную, тайную борьбу... Я признаю себя побежденной. Пришла просить пощады. Не добивайте меня. Прекратите борьбу. Диктуйте условия.

На губах Куликова скользнула усмешка... Он отвечал не сразу.

– Извините, Ганя, я не совсем вас понимаю. Мне кажется, что вы вовсе напрасно обвиняете меня в какой-то войне против вас, чуть ли не в мучениях, причиненных вам. Могу вас уверить...

– Постойте, – перебила его девушка, и глаза ее сверкнули, – вы хорошо понимаете, что я пришла к вам не для пустых фраз!.. Если вы продолжаете притворяться, то я буду гово-

рить прямо. Вы завладели доверием и расположением моего отца... Вы получили согласие моего отца на то, чтобы сделаться моим женихом... Вы почти ежедневно настраиваете отца против меня и заставляете его подчинить меня своей воле и вашему решению!.. Я боролась сколько могла... Я положила все свои силы на эту борьбу!.. Теперь я вижу, что дальше бороться не в состоянии... Я пришла к вам, как к честному человеку, просить... Просить, во-первых, отказаться от видов на меня и, во-вторых, прекратить знакомство с моим отцом, перестать нас посещать...

Куликов слушал ее внимательно; его обычная злая, нехорошая улыбка не сходила все время с губ, но Ганя ни разу не взглянула ему прямо в лицо и не видала этой улыбки. Когда она кончила, Куликов готов был расхохотаться, но он сдержался и отвечал:

– Не слишком ли многого, Ганечка, вы у меня просите? Вы сами говорите, что я ваш жених, что бороться вы больше не можете, значит, должны уступить... По вашим же словам, я пользуюсь доверием и расположением вашего папеньки, человека богатого и почет-

ного, с которым я могу породниться. Ради чего же я откажусь от всего этого?

Девушка задумалась.

– Я думаю, что вы, как честный человек, не захотите насильно, против воли пользоваться...

– Против чьей воли? Вы сами же говорите, что папенька ко мне расположен?

– Я говорю о себе, господин Куликов.

– Но почему же вы думаете, что ваша воля для меня дороже воли вашего отца?

– Потому, что вы собираетесь жениться на мне, а не на отце!

– Но сделаться зятем, ближайшим помощником вашего отца... К тому же вы забываете, что воля молодой девушки может меняться, может оказаться ошибочной, тогда как воля почтенного, старого человека должна бы, казалось, и для вас быть священной.

Ганя опустила голову. Из глаз покатались слезинки.

– А я мечтала! Думала, что вы... вы – порядочный человек!

– Сударыня! Какое вы право имеете меня оскорблять?

– Вы обманули, обошли отца и, разумеется, хотите пожинать плоды своего обмана, а я мечтала о вашем великодушии.

– Ганя?! Что это за объяснения?!

– Поймите же, что я вас ненавижу и никогда, никогда не буду вашей женой! Слышите ли? Никогда!

– Полноте, Ганя, любовь и симпатия супругов легко изобретаются впоследствии. Поверьте, что если мне удастся сделаться вашим мужем, а в этом я нисколько не сомневаюсь, то я сумею заставить вас любить и уважать меня.

Глаза Куликова заискрились так, что Ганя почувствовала его взгляд на себе и инстинктивно подняла голову. Встретившись глазами с ним, она вся задрожала от страха.

– Иван Степанович! Еще раз умоляю вас – оставьте меня! Ради всего святого умоляю вас: оставьте, откажитесь.

Куликов засмеялся:

– Не просите, Ганя, невозможного. Если бы на моем месте был ангел с неба, то и тот не внял бы вашим мольбам. Слишком вы хороши!

И он взял руку девушки, но она быстро ее отдернула.

– Значит, никакой надежды на пощаду с вашей стороны нет?

– Ах, какая вы, Ганя, наивная! Вы приходите просить, чтобы человек отказался от богатой красавицы-невесты, которая вся в его власти, а что же вы взамен этого предлагаете? Ну, допустим, я внял бы вашим просьбам, порвал бы с вашим домом все связи, а затем... что же дальше?

– Дальше... Ничего...

– Вот видите! Я потеряю красавицу-жену с хорошим приданым и взамен этого получу... ни-че-го?!. Нет, давайте говорить, что же в самом деле вы могли бы мне предложить «на мировую» за мой отказ.

– Мне нечего предложить... У меня ничего нет!..

– Ай-яй-яй! И с такими ресурсами вы идете просить?! Неужели вы и поцелуя не дали бы?

Куликов хищническими глазами пожирал девушку.

– Наш разговор, кажется, перестал быть серьезным, – произнесла Ганя, – я вижу, что я

ошиблась в своих мечтах...

– Мечтах о моем великодушии... Напрасно! Я, действительно, великодушен; но есть граница, за которой великодушие переходит в глупость... Я не хочу переходить эту границу... Но разве это не великодушно, что, беседуя целый час наедине с хорошенькой девушкой, я еще ни разу не поцеловал даже ее?

Ганя поспешно встала.

– Позвольте надеяться, что по крайней мере мой визит к вам останется тайной?

– Это что же? Опять требование великодушия? Разве я требовал вашего визита, просил вас пожаловать? Почему же я не должен говорить об этом хотя бы, например, вашему папеньке?

– Я прошу вас...

– Опять прошу, прошу и прошу. Все только просьбы. Приучайтесь, Ганя, не просить, а требовать, не выпрашивать, а расплачиваться! Вы желаете, чтобы я никому не говорил о вашем посещении? Извольте, но за это я желаю, чтобы вы позволили вас расцеловать. Вот мы и будем квиты, никому не придется просить. Поверьте, просьбы унижают челове-

ка, а вы...

– Молчите, негодяй! – произнесла девушка, выпрямившись и гордо подняв голову.

Куликов искривил рот, вскочив, схватил руку Гани и стиснул ее с такой силой, что она вскрикнула от нестерпимой боли.

– Вы, может быть, уже не к первому мужчине шляетесь на тайные свидания?! Знаешь ли ты, что в моей власти сделать с тобой что угодно?! Сколько бы ты ни кричала, никто тебя не услышит и никто не придет на помощь! Но я не сделаю этого, потому что скоро по праву, как муж, буду делать с тобой что захочу! И помни, ты дорого заплатишь мне за это оскорбление! А теперь я не выпущу тебя отсюда одну, а пошлю лакея за твоим отцом. Пусть он полюбуется на свою дочь, делающую визиты к холостым мужчинам.

Куликов с силой оттолкнул девушку в глубину комнаты и хотел позвонить.

– Ради бога! – упала Ганя на колени. – Не делайте скандала! Выпустите меня! Умоляю вас!

– Опять умоляешь! Опять взываешь к великодушию и в то же время наносишь

оскорбления! Эх, ты! А еще умницей слы-
вешь, в школу ходила, образование получи-
ла!

Он опять взялся за колокольчик.

– Иван Степанович, – рыдала девушка, –
пощадите!

– Дай мне клятву, что ты согласишься вый-
ти за меня замуж! Клянись перестать мне со-
противляться!

– Не могу. Не могу. Пощадите!

– Поздно просить пощады! Теперь старик
сам просить меня будет скорее повенчаться с
тобой! Ты опозорила его седую голову! Вся за-
става завтра будет это знать! На тебя пальца-
ми начнут показывать! Ворота дегтем выма-
жут!

– О, не говорите, не говорите, – ломала Га-
ня руки, ползая на коленях за Куликовым.

– Последний раз спрашиваю? Клянешься?

Ганя отвечала глухими рыданиями.

– Говори! – и Куликов взял в руки звонок.

– Клянусь.

– Клянись памятью матери!

– Клянусь...

– Ты помни! Если ты вздумаешь нарушить

клятву, я сейчас же расскажу о твоём визите отцу. А чтобы ты не думала, что никто не видел тебя, я прикажу слуге провести тебя, и ты не смей закрываться вуалью.

Куликов позвонил. Явился буфетчик.

– Проводи, – сказал он, – девицу Петухову. Она приходила ко мне, как к своему жениху. Недельки через две наша свадьба. Правда, Ганя?

– Правда, – тихо произнесла девушка.

– Ну, прощай, дай я тебя поцелую.

Он подошел к девушке и поцеловал ее в губы. Ганя не сопротивлялась, но он почувствовал, как она вздрогнула всем телом.

Борьба

Сказать все мужу, или...

Елена Никитишна погрузилась в раздумья, и на лице ее появились морщинки. За эти несколько дней после загадочного разговора с Куликовым она осунулась, как бы постарела, похудела и сделалась еще более сумрачной. Она страдала и томилась не столько от страха, сколько от воскресших воспоминаний и проснувшейся совести. Темное прошлое, успевшее покрыться пеленой забвения и стусеваться всепоглощающим временем, вдруг восстало в памяти, как будто это было вчера или третьего дня. Призраки исчезнувшего мужа, умершего любовника, какого-то таинственного Макарки-душегуба стояли у нее перед глазами. Она видела перед собой дом в Саратове, где они жили, беседку в саду, где Сериков предложил ей избавиться от нелюбимого мужа; крутой берег Волги, где под старой березой была приготовлена заблаговременно могила для живого, здорового че-

ловека. Правда, во всем этом она не принимала ни малейшего участия, но... но разве не в ее власти было спасти мужа, предупредив его о сговоре?! А подложное письмо из Петербурга, которое она показывала всем, как полученное будто бы от мужа?

Она сама перестала верить в убийство мужа после крушения корабля. Почему же он во все время до отъезда не написал ей ни слова? И когда же это бывало, чтобы он отправился в Америку, не дав ей даже знать об этом?!

– Нет! Несомненно, они убили его тогда! Но... Но откуда же Куликов знает ее мужа? Что именно он знает?! А вдруг... вдруг он знает больше, чем она?! О, Господи!

Елену Никитишну бросало то в жар, то в холод. Она не находила себе места.

– Как поступить? Пойти к Куликову... Нет, ни за что! Сказать все мужу!.. Тоже невозможно... Ведь поверит ли он еще, что она воистину сама ничего не знает.

Илья Ильич видел странную перемену в жене и терялся в догадках, чему это приписать. Он хотел уже пригласить доктора, но Елена Никитишна резко протестовала:

– Не надо! Я совершенно здорова... Мне просто не по себе! Оставьте меня, пожалуйста, дайте успокоиться...

Но могла ли она успокоиться? Напротив, с каждым днем ее беспокойство, волнение и угнетенное состояние все увеличивались. Однажды вечером, когда мужа не было дома, горничная подала ей письмо, принесенное каким-то посыльным.

Она быстро разорвала конверт... На маленьком клочке бумажки значилось:

«Я жду вашего ответа только до завтра. Буду ждать весь день».

Подпись «И. Куликов»... без всякого «имею честь»...

Елена Никитишна вызвала горничную.

– Посыльный ждет ответа?

– Никак нет, он подал письмо и ушел...

– Хорошо...

Она опустила руки и сидела, уставив взгляд в пространство.

– Господи! Я, кажется, с ума сойду! Нет, надо пойти! Нечего делать! Что бы ни было – все лучше этой неизвестности!..

И она стала ходить по комнате. Вернувшийся Илья Ильич тихонько вошел в залу.

– Леля, что это за письмо ты получила? – спросил он, указывая на валявшийся конверт.

Елена Никитишна вздрогнула от неожиданности и, быстро схватив записку, спрятала в карман.

– Ах, ты испугал меня! Можно ли так подкрадываться!..

– Я не подкрадывался! Я тихонько вошел, потому что не хотел тебя потревожить... Но что это за письмо, которое ты спрятала в карман?

– Это записка от моей портнихи...

– Покажи?

– Нечего смотреть... Не покажу!

– Леля, покажи, я тебе говорю.

– Не покажу!

– Я, наконец, требую как муж!

Елена Никитишна остановилась, смерила мужа взглядом и произнесла:

– С каких пор это вы стали требовать?! Вы забываете, что я свободна и, если вам угодно, мы можем сейчас же разъехаться!! А шпионить за собой я вам не позволю! Вам нет дела

до моих писем, как и мне до ваших! Я вам сказала, что записка от портнихи, и больше ничего не скажу!..

– А, теперь я все понимаю!! Теперь понятно и ваше странное поведение, и ваша мнимая болезнь. Вы, сударыня, завели себе любовника и страдаете, что не можете от меня отделаться!

– Молчите, – произнесла грозно Елена Никитишна. – Вы говорите вздор! Но если бы я вздумала полюбить, поверьте, разрешения у вас не спросила бы и прятаться не стала бы!..

Илья Ильич стоял как убитый. Весь запас его угроз истощился и, как всегда, не привел ни к чему. Он смотрел на жену и вдруг зарыдал.

– Леля, ангел мой, счастье мое, скажи, что с тобой делается? Ты на себя не похожа, целые дни мучаешься, бегаешь из угла в угол, получаешь письма, которых не можешь мне показать... Леля! Что это?!

Илья Ильич, несмотря на свою тучную представительную фигуру, был в эту минуту так жалок, что Елена Никитишна забыла свое собственное горе и подошла к мужу. Она об-

няла его и тихо произнесла:

– Поверь, милый мой, что я и в мыслях даже не думала изменять тебе, никого не люблю, кроме тебя, и не мучай себя напрасно!..

– Я не знаю, Леля, – говорил рыдающий Илья Ильич, – но что-то такое есть у тебя, чего ты не говоришь мне... Я хорошо тебя знаю, привык к твоему спокойному, хладнокровному, невозмутимому характеру, а теперь ты сама не своя: волнуешься целые дни, меняешься в лице и, мне кажется, страдаешь... Скажи, ангел мой, все, скажи откровенно, подробно и мы вместе обсудим, постараемся помочь беде!

– Уверяю тебя, у меня ничего нет!

– Отчего же ты не показываешь письма?

– Я хочу, чтобы ты верил мне! Я сказала тебе, что от портнихи, и ты должен верить.

– Леля! Меня поздно уже учить, воспитывать. Если все дело только в дрессировке, то покажи письмо! Тогда я успокоюсь и, клянусь, буду всегда тебе верить!

Елена Никитишна колебалась с минуту.

«Сказать ему все? Показать записку? А после что? Куликов предаст ее в руки правосудия, и никто, даже муж, не

поверит ее невинности. Главный свидетель умер. Что она скажет в свое оправдание? Вся ответственность ляжет на нее».

– Ты колеблешься, Леля?! Видишь, я угадал, что у тебя есть тайна, которую ты прячешь от меня! До сих пор у нас не было тайн друг от друга.

– У меня нет, милый, от тебя тайн, но я колеблюсь, уступить ли тебе и отдать эту дурацкую записку... Нет, не хочу; ты должен уважать меня и верить!

Она поспешно вынула записку, небрежно показала ее издали мужу и тут же порвала в клочки, только фамилию «Куликов» она незаметно вырвала и зажала между пальцами, а клочки бросила в угол.

– На, собирай и читай, если хочешь, – прибавила она, смеясь, и поцеловала его в лоб.

Илья Ильич ожил, бросился целовать жену и весь его припадок прошел. Опять живой, веселый, с распухшими только глазами, он стал шутить:

– Ах, я дурак старый! Чуть было не приревновал тебя. И знаешь, к кому? К Куликову! Ха-

ха-ха!

– К Куликову, – переспросила Елена Никитишна слегка дрогнувшим голосом. – Почему к Куликову?

– Да представь себе, что каждый раз, когда я у него бываю, он все спрашивает о тебе, интересуется разными мелочами, пристаёт ко мне с пустяками, точно влюбленный жених.

– Разве ты у него бываешь?

– Не у него, а в его «Красном кабачке». Он сейчас же подсаживается и начинает толковать. Что ни слово, то все о тебе. Я сегодня с ним даже поругался из-за этого.

– И сегодня ты у него был?

– Да, вот прямо от него.

Елена Никитишна сделала брезгливую гримасу.

– Хорошо же ты меня любишь, если мог приревновать к такой гадине, как этот Куликов! За кого же ты после этого меня считаешь?

– Прости, Лелечка, глупость, конечно, но ведь Куликов вовсе не плохой человек, и я не знаю, отчего он тебе так не нравится?

– Поди ты! Нашел человека! Кабатчик, содержатель вертепа!

– А представь, мне он нравится? Мы с ним даже на брудершафт выпили! Он такой добродушный, простой.

– Тебе с пьяных глаз все кажется в розовом свете!

– Ну, слава богу, что все кончилось по-хорошему! Мне кажется, ты даже лучше себя чувствуешь. Правда?

– Да, я совсем здорова. Тебе кажется только, что все.

– Хорошо, так хорошо! Давай бог! Я побегу, Лелечка, по лавкам! До свидания, мое сокровище.

– Чем в кабаках с жуликами сидеть, лучше бы дела делал.

– Не сердись, дружок, больше ноги моей у Куликова не будет, – проговорил Илья Ильич, уходя.

Елена Никитишна осталась одна. Начинало смеркаться.

«Что же, – думала она, – надо идти. А этот еще ревновать вздумал! Увидит кто-нибудь меня там – и пропала! Господи! Что мне де-

лать?!»

И опять мрачные мысли о далеком минувшем целой волной хлынули на измученную Елену Никитишну. Она упала на диван и взялась за виски. Голова горела.

– Нет. не пойду! Пусть делает что хочет! Суд, Сибирь, каторга легче, чем это мучение! А может быть, он и не знает ничего?! Ведь прошло уж столько времени.

И Елена Никитишна, остановившись на этом решении, казалась несколько успокоенной. Она решила даже выйти погулять, пройти к мужу в лабаз, предложить ему поехать куда-нибудь: в театр, концерт или в гости к кому-нибудь. Ее начинало тяготить одиночество. Она позвонила горничной, оделась и вышла. Погода была прекрасная, вечер теплый, на улице тихо, дышалось легко.

«Убийца, убийца, – мелькало у нее в уме, – сейчас явится полиция, арестуют, начнется следствие, выколют труп».

– Господи, – ужаснулась она. – Ты свидетель, виновна ли я в этом? Тяжело мне было, но разве я согласилась? Если бы не обморок, я не допустила бы этого!

«А с убийцей ты венчаться собралась, – говорил громко голос внутри. – Почему ты тогда не пошла заявить куда следует? Может быть, он жив еще был! Зачем приняла подложное письмо?!»

Елена Никитишна испугалась этого голоса. Сердце забилося так, что она должна была остановиться, и схватилась за грудь.

– Да что же это со мной?! Нет! Пойду к Куликову!

Она повернула назад и пошла быстрыми шагами. На дороге ей встретился мальчик из их лабаза.

– Где хозяин?

– Сейчас ушли куда-то.

– Домой?

– Не могу знать.

Елена Никитишна ускорила шаги. Проходя мимо своего дома, она позвонила и спросила горничную:

– Барин дома?

– Нет, не приходили.

– Если придет, скажите, что я погулять вышла и скоро вернусь.

– Слушаюсь.

И она почти бегом пустилась к заставе. «Красный кабачок» был по левой стороне, около самых заставных ворот. Вот показалась уже и вывеска кабачка. Елена Никитишна не думала ни о чем, не замечала прохожих и бежала.

– Леля, Леля! – послышался голос сзади.

Она обернулась и увидела догонявшего ее мужа.

13

Мир водворяется

Между стариком Петуховым и его дочерью водворилось прежнее согласие, любовь и мир. Произошло это вполне неожиданно для старика. Однажды вечером, когда он, по обыкновению, сидел над своими счетами, вошла Ганя и тихо подошла к нему.

– Папенька! Если вы хотите, я согласна выйти за Куликова.

Петухов не поверил ушам, отодвинулся от стола, сбросил с носа очки и переспросил:

– Повтори, повтори, что ты сказала? Так ли я понял?!

– Если вы хотите отдать меня за Куликова, я согласна.

– Ах, ты голубушка моя, умница, да что же такое приключилось? Почему ты надумала? Что тебе в голову пришло меня, старика, пожалеть?! Ну, обними меня, доченька моя!

Ганя приласкалась к отцу и продолжала:

– Я много думала, папенька, и пришла к тому, что самое лучшее мне исполнить вашу волю. Вы не будете сердиться, да и я все-таки пристроюсь. Рано или поздно придется ведь выходить замуж. Может быть, Иван Степанович и в самом деле, не дурной человек, вы лучше ведь людей знаете, а я... я постараюсь его полюбить.

Ганя говорила дрожащим голосом, сама пугаясь своих слов, и слезы готовы были выступить у нее на глазах. Старик отец не заметил этого волнения или приписал его вообще новым ощущениям девушки и, не скрывая своего удовольствия, говорил:

– Уж как я рад, Ганя, что ты образумилась! Поверь, лучшего жениха тебе не сыскать! Куликов – человек деловой, умный и добрый. Он будет хорошим мужем. Ты будешь счаст-

лива с ним. Неужели, посуди сама, я не желаю тебе добра?!

– Знаю, знаю, папенька, потому-то я и решилась! Только об одном я попрошу: не торопите очень свадьбой. Я хочу приготовить все не спеша. Пожалуйста, скажите Ивану Степановичу, что вы сами назначили свадьбу на Красную Горку.

– Ой! Что ты! До Красной Горки еще больше полгода! Нет, разве после Крещения, если уж не хочешь теперь...

– Ну, хорошо! А если он будет торопить, вы скажите, что это ваша воля!

– Скажу, скажу! Вы еще мало знаете друг друга, вам надо ближе сойтись, познакомиться. Это ничего. Пусть подождет. Спасибо, спасибо, дочка! Вот обрадовала меня, а то я своей Гани не узнал совсем! Теперь ты опять моя любимая доченька! Молодка, будь веселенькой, невесте не полагается грустить.

Ганя поспешила уйти, чтобы не разрыдаться и не выдать себя. Тимофей Тимофеевич не мог вытерпеть, чтобы не поделиться неожиданною новостью со своим приятелем, и послал за Куликовым. Иван Степанович

явился через несколько минут.

Старик вышел к нему навстречу.

– Молись, – показал он ему на образа.

Они вместе перекрестились несколько раз, затем Тимофей Тимофеевич обнял его и трижды поцеловал.

– Поздравляю. Ганя сейчас приходила мне объявить, что она согласна выйти за тебя замуж, если ты сделаешь формальное предложение. Слава богу! Она образумилась, покорилась и мне не надо теперь принимать против нее никаких мер. Больно было до слез ссориться с единственной дочерью. Ведь она не помнит своей матери, я почти с пеленок с нею нянчусь. Ангел девушка. Ну, Иван Степанович, будешь ты меня по гроб жизни благодарить за жену! Таких жен в наш век не много!

Куликов склонил голову на сторону и с самой умильной физиономией произнес:

– Не оратор я, Тимофей Тимофеевич, не умею высказать, что чувствую, но я до слез тронут... Вы... вы... благодетель мой, и сам Господь послал мне вас!.. Позвольте мне с этой минуты звать вас папенькой... Папень-

ка! Дозвольте мне поцеловать вашу ручку!

– Полно, полно, Иван Степанович, ведь я о своей дочери пекусь! Дело обоюдное! Я тоже тебя благодарить должен... Ты будешь мою дочь беречь, лелеять, любить...

– Уж как икону беречь буду! На руках носить! Такого счастья я и не мечтал получить никогда...

– Я тебе за дочьрю дам кроме тряпок пятьдесят тысяч рублей, а помру – все вам останется...

– Полно, папенька, пустое говорите, ничего нам не надо. Я прокормить могу жену, а вам дай бог дожить до взрослых внучат! Сумеем мы с Ганей вас поберечь!

– Спасибо на добром слове, а все-таки я без приданого дочери не отдам замуж! Одна ведь она у меня!.. Хочешь не хочешь, а пятьдесят тысяч я Гане даю... Не могу вот я только понять, что это с ней сделалось? Почему она вдруг так переменяла о вас свое мнение? Вы не видались с ней эти дни?

– Нет, я с ней почти совсем не видался! Мы, за все время нашего знакомства, десять слов не сказали друг другу!.. И я-то поражен таким

нежданном счастьем!

– Так или иначе, а я рад. Слава богу, что все так обошлось!

– Папенька! Что я вас попрошу! Позвольте пригласить вас сейчас ко мне, мы выпьем шипучего бутылочку за наш стовор!

– Что ты, милый! Мы и здесь выпьем! Ты не думай, что ты трактирщик, так у тебя погреб большой. У меня, пожалуй, погреб не хуже твоего!

Тимофей Тимофеевич позвонил.

– Попроси дочь принести нам бутылку старого цимлянского и три бокала, да пусть сама придет.

– Что ж, папенька, честным пирком и за свадьбку! Откладывать нечего... Правда?

– Нет, мы с дочкой решили после святок... Спешить-то очень не след... Ты сам говоришь, что десяти слов еще с невестой не сказал...

– Наговоримся еще! Нам ждать-то некого... Дело решенное... До святок почитай четыре месяца. Еще помереть можно.

– Воля Божья. Помрем – значит, не судьба. Ганя просила не торопиться. Она обдумать все исподволь хочет. Это ничего, резонно. Я

обещал...

– Ваша воля, папенька, закон, как прикажете, а буде Агафья Тимофеевна сама пожелает ускорить...

– Разумеется, это ее воля! По мне, хоть завтра венчайтесь.

Двери распахнулись. Один из рабочих нес на подносе бутылку с бокалами, а за ним, как приговоренная к смерти, шла с распухшими глазами Ганя.

– Это что, – удивился старик, – ты опять плакала? Чего же ты?!

– Нет, это так, – проговорила Ганя, протягивая руку.

– Извините, Агафья Тимофеевна, на правах жениха я прошу в губки! Папенька, разрешите?

– Разрешаю, разрешаю! Теперь можно!

– Позвольте, Агафья Тимофеевна, выпить, – произнес Куликов, – ваше здоровье как моей невесты.

Он потянулся за бокалом и, обняв девушку за талию, хотел прижать ее к себе и поцеловать. Ганя энергично высвободилась и, вздрогнув от отвращения, робко произнесла:

– Пожалуйста, без поцелуев, я не привыкла.

Тимофей Тимофеевич расхохотался.

– Не привыкла, не привыкла, девчурочка, погоди, муженек приучит! Ха-ха-ха...

– Ну, во всяком случае, пьем ваше здоровье, Агафья Тимофеевна.

Старик взял бокал, Ганя – тоже. Они чокнулись и отпили по глотку.

– Я тебя, Ганя, пропиваю, – начал Тимофей Тимофеевич, – дай бог тебе так же счастливо жить с мужем, как ты жила с отцом! Не знаю, придется ли мне порадоваться на ваше житье! Но вы уж не маленькие, проживете и без меня, старика.

Они допили стаканы. Слуга налил вторично. Первый опять взял Куликов.

– Позвольте, папенька, теперь выпить ваше здоровье. Вы вырастили свою дочь и осчастливили меня такой женой, что нам остается только наслаждаться.

– Спасибо, Иван Степанович, но я предлагаю лучше выпить твое здоровье, потому что вам с Ганей предстоит впереди еще целая жизнь, а мне уж и помирать можно. Я свое де-

ло сделал, а ты вот береги себя и мою дочь! Ганя, пьем за твоего жениха.

Бокал дрожал в руке девушки, когда она тянулась чокаться. Смертельная бледность покрывала ее лицо. Она не могла произнести ни слова.

– Теперь, детки, вы посидите, поворкуйте, а я схожу на фабрику, – сказал старик и тяжелой поступью направился к двери. Ганя хотела закричать ему «постой, не уходи», но, взглянув на Куликова, сразу потеряла всю энергию и обессиленная опустилась на кресло. Они остались одни.

– Агафья Тимофеевна, – начал ледяным голосом Куликов, – вы забыли ваше обещание.

– Кажется, вы видите, что я не забыла.

– Почему вы откладываете свадьбу до святок?

– Это желание отца.

– Неправда, Тимофей Тимофеевич сейчас мне говорил, что это ваше желание, которое он готов исполнить, но для него безразлично, хоть завтра под венец.

– Я не давала обещания венчаться завтра.

– Но вы забываете, что без моего согласия

не вправе назначать срок. Я желал бы венчаться во всяком случае до рождественского поста и не позже как через месяц.

Ганя сидела ни жива, ни мертва, с ввалившимися глазами. За это время, со дня появления Куликова, она похудела и подурнела до неузнаваемости. Но сегодня вид у нее был особенно убитый.

– Иван Степанович, я откровенно вам скажу, что для меня легче было бы лечь в гроб, чем идти с вами под венец.

– Странная откровенность! Вы могли бы таких откровенностей и не говорить жениху! К тому же теперь, мне кажется, эти разговоры уже запоздали и совершенно излишни. Вы гораздо больше выиграли бы, постаравшись примирить как-нибудь наши отношения. Не забывайте, что очень скоро я буду говорить с вами как муж.

– Муж?! О, боже! Нет, нет, я не могу, я не в состоянии.

Ганя откинулась на спинку кресла и казалась упавшей в обморок. В эту минуту вошел Тимофей Тимофеевич.

– Что с тобой, Ганя? Тебе дурно?!

– Ничего, ничего, – поспешил успокоить Куликов. – Агафья Тимофеевна не привыкла не только целоваться, но и пить цимлянское. А тут и то, и другое, так сразу, вдруг. Ничего, это скоро пройдет, не беспокойтесь... Вот уж ей и лучше.

– Ганя, ты здорова?

– Здорова, папенька, это пустяки!..

– А мы с Агафьей Тимофеевной толковали тут, как бы ускорить свадьбу. Она соглашается до рождественского поста венчаться, только боится не успеть со всеми приготовлениями. Я обещаю помочь всеми силами, посвятить все дни, и мы надеемся в месяц все справиться. Правда, Агафья Тимофеевна?

– Да, да, правда, я обещаю, я согласна, – прошептала девушка, делая усилие, чтобы приподняться. У нее страшно заболела голова, и она схватилась за лоб.

– Видите, как все хорошо устраивается, – произнес Куликов.

– В добрый час! И по мне, чем скорее, тем лучше! Дело ваше, дети.

– О, папенька, как вы добры к нам! Агафья Тимофеевна, у вас с шампанского, верно, го-

лова не по себе, вы пошли бы отдохнуть.

– Пооди, Ганя, пооди.

– И я откланяюсь, папенька, мне надо еще по делам пройтись. Завтра утром я забегу невесту посмотреть. Агафья Тимофеевна, вашу ручку.

Куликов поцеловал руку девушки, поцеловался с Петуховым и пошел к двери.

Встала и Ганя. Пошатываясь, бессмысленно вперив куда-то взгляд, она ощупью направилась за Куликовым. Но он был уже далеко.

– Смотрите, Агафья Тимофеевна, завтра чтобы молодцом быть, – слышался его голос.

На Горячем поле

— Настенька, — воскликнул Тумба, — ты уложила своего бутуза; иди-ка, посиди с нами. Смотри, Рябчик нас обыгрывает...

Настенька, спокойно, с достоинством на своем красивом лице, в довольно изящном черном платье, подошла, сложив руки на груди, к Тумбе и стала за его спиной. Игра шла в банк, который заложил Рябчик. Понтировали на серебро, только Пузан и Тумба ставили скомканные бумажки. Всех играющих было больше 20 человек. Некоторые играли пополам с другими или были в доле у играющих. Игроки увлеклись ставками. Тишина нарушалась только редкими возгласами при расчетах, когда возникало сомнение. Тумба взял руку Настеньки и приложил ее к своим губам.

— А ты не хочешь попробовать счастья? — спросил он ее.

— Ты знаешь, я терпеть не могу карт.

— Что это за Настенька у него? — спросил

Сенька-косой у своего товарища Федьки-домушника. Они не играли и стояли поодаль.

– А разве ты не знаешь ее? Это, брат, особа из редких. Она года два тому назад была певицей в Приказчиьем клубе и водила за нос одного старика со звездой Льва и Солнца. Ей теперь разъезжать бы на рысаках, а она полюбила вот Тумбу, пошла за ним. Сначала они в городе жили, но, после разгрома в Ко-нюшенной улице, пришлось сюда переселиться. Сыскная полиция разыскивает его по двадцати восьми кражам и грабежам. Рисковать-то ему к ней ходить нельзя было, следили. Он и предложил ей сюда переселиться. Видишь, как отлично устроились! Зимой он ее с ребенком отсылает в деревню, а летом здесь вместе живут.

– А ее не ищут?

– То-то поговаривают, что и ей, кажется, эту зиму здесь придется провести! В нее Васька-форточник влюбился и из ревности выдал их сыщику, рассказав все, как они живут. Пожалуй, теперь и ей не миновать этапа, если поедет в деревню.

– А хороша ведь.

– Да, недурна. И фигурой, и рожницей взяла!

– Она, стало быть, участия не принимает в его работах?

– Нет. Видишь, какое она ему гнездышко устроила! И Тумбачонок маленький, и пицца горячая, и уголок мягкий, теплый. Худо ли ему? Если бы нам с тобой по такому домику?! Умирать не надо!

– Это верно! Хорошая баба дороже всего! Всю жизнь скрасит.

Не безынтересно познакомить читателей с личностями Сеньки-косоного и Федьки-домушника. Оба они начали свою карьеру в Вяземской лавре под ближайшим и непосредственным руководством Макарки-душегуба, который, после убийства семьи купца Смирнова и Алёнки, бесследно исчез из Петербурга. Сенька сделался преемником Макарки в Вяземской лавре. Он до сих пор наводил грозу на всех обитателей лавры. Курчавые волосы свешиваются в беспорядке на лоб и почти закрывают сильно разбегающиеся глаза. Густая растительность на щеках какими-то ключьями покрывает весь низ лица так, что издали он похож на какого-то орангутанга. Несмотря на

свои 30–32 года, он выглядит стариком: совершенно желтая кожа лица и рук покрыта морщинами. Страх, который вселяет Сенька, объясняется его заведомой жестокостью.

Всем памятен изрубленный в котлету труп, найденный в стеклянном коридоре лавры. Многие видели, как Сенька душил и после рубил рябого Степку, сдавшего его полиции, но никто не смел сказать об этом, и Сенька вышел из суда оправданным. Долго не могли забыть, как Сенька заманил в лавру богатого купца, обобрал его, задушил и выбросил тело на двор. Так никто после и не узнал, кто был этот человек, а в убийстве хотя и подозревали Сеньку, но улик никаких не было. Десятки раз Сеньку ловили, судили и всегда оправдывали, потому что на суде он защищался лучше всякого адвоката, а все дела свои обставлял так ловко и осторожно, что с поличным поймать его не удавалось. Сотни раз полиция его высылала, но всякий раз он тотчас же возвращался, потому что без труда убегал с этапа, не доходя даже до места административной высылки. В конце концов, на него рукой махнули и отступились, а товари-

щи-бродяги с умилением взирали на него как на достойного преемника Макарки-душегуба. Однако сходиться или дружиться с ним никто не решался за исключением одного Федьки-домушника.

Этот Федька – беглый из Сибири поселенец, успевший на своем веку загубить тоже немало христианских душ... Его специальность влезать в квартиры и дома для совершения краж – и отсюда его прозвище. Оба одних лет, одного внешнего вида и одних инстинктов, они сошлись близко и большую часть преступлений совершали сообща, вместе. Раньше их было трое, но третий – Ворон – исчез с прошлого года вот при каких обстоятельствах. Однажды в окрестностях Новгорода, в лесу, они повесили одного встретившегося им молодого человека. Просто повесили! Напали, повалили, сделали петлю и вздернули на дерево. А пока несчастный умирал в агонии, они его раздевали и грабили. После, при дележе добычи, Ворон остался недоволен и, ругаясь, погрозил, что он их выдаст.

Сенька переглянулся с Федькой – и участь Ворона была решена. Одним прыжком Сень-

ка повалил Ворона, надавил на грудь коленом и стиснул горло пальцами. Федька быстро приготовил петлю, и через минуту Ворон висел рядом с окоченевшим уже юношей.

Когда на другой день новгородские власти нашли трупы повешенных, Сенька с Федькой были уже далеко.

Тумба, игравший довольно рассеянno, заметил пристальные взгляды подвыпивших друзей, любовавшихся Настенькой, и шепнул ей что-то на ухо. Настенька ушла в свою хату, к Тумбачонку. Игра принимала все более крупный и азартный характер. Рябчик, выигравший сначала около 300 рублей, стал теперь проигрывать. Скоро он объявил, что денег в банке нет.

– Без денег, брат, нет игры. Пусть другой закладывает банк.

– Дайте я заложу, – предложил Сенька-козой.

– Закладывай.

Сенька вынул пачку кредиток и бросил на траву.

– Ишь ты, и деньги-то в крови, не мог руки раньше вымыть! – укоризненно произнес

Тумба.

– Ладно, все равно. Не привыкать вам к крови-то!

– Тасуй карты.

– Отвечаю не больше ста, – произнес Сенька.

– Ого! Высока, значит.

Со всех сторон посыпались деньги. Сенька играл спокойно, хладнокровно. Отдавал и брал куши без всяких замечаний и возгласов.

– Банк утроился, – произнес он, пересчитывая грудку кредиток, – я кончил.

– Мечи еще.

– Не хочу.

– Что ж ты обыгрывать нас пришел?

– Я кончил по правилам.

Он напихал кредитки в карманы и вышел из круга.

– Ну, давайте я теперь заложу, – объявил Федька.

– Вот мы хотим, чтоб Сенька метал.

– А я не стану, – произнес он.

– Братцы, не ссориться, – вмешался в спор

Тумба, – пожалуйста! Сенька утроил банк – и его право прекратить игру. Не все ли вам рав-

но, кто мечет; ну я заложу.

– Зачем он уважить нас не хочет! Здесь не Вяземская лавра, мы его не боимся! Пусть играет.

– Не буду, – дразнил Сенька. Тумба подошел к нему.

– Я вас попрошу не заводить у меня скандала. Вы имеете право не играть, но дразнить моих гостей не смее! Долг вежливости и товарищества обязывал бы вас сыграть, хотя вы можете этот долг не исполнить. Но во всяком случае поведение ваше заставляет меня просить вас оставить нашу компанию.

– Это изгнание?!

– Принимайте как хотите... Я не приглашал вас...

– Мы, кажется, привыкли все являться без приглашения и уходить против воли, но здесь я не разбойник, а гость!

– Вы гость незванный, а я хозяин, исполняющий желания гостей...

– Таких же бродяг, как и ты сам!..

– Но несколько не хуже тебя, – ответил Тумба, и в воздухе раздалась звонкая пощечина. Удар был так силен, что Сенька упал. Вско-

чив на ноги, он бросился на Тумбу, но десятки рук оттащили его. Федька попробовал было выступить на защиту товарища, но его сейчас же оттерли.

– Ребята, – произнес Рябчик, – давайте пороть его!.. Пропишем ему полсотни ременных...

– Bravo, bravo...

Несколько человек потащили Сеньку в кусты. Скоро оттуда стали раздаваться равномерные удары и монотонный свист в воздухе от взмаха ремня. Криков не было слышно...

– Довольно, братцы, – просил Тумба, – отпустите его...

– Прибавьте еще за меня пяток, – раздалась возгласы.

Наконец все стихло. Товарищи вернулись, и игра продолжалась как ни в чем не бывало.

Сенька не мог сам встать. Федька взвалил его себе на плечи и потащил лесом к дому.

– Ты теперь смотри, Тумба, да поглядывай, как бы Сенька тебе не подстроил чего.

– Не подстроит! Он знает, что я тоже шутить не умею. У нас в тайге, в Енисейской губернии, за такие штуки против товарищей

короткий суд: связывают по рукам и ногам и кладут на муравейник на съедение муравьям. И здесь с ним то же будет, если посмеет!

– А все-таки Настеньку ты поберегай. Не таковский человек Сенька, чтобы простить обиду.

– Сам виноват.

– Сам-то сам, а все-таки выпорол-то он не сам себя!

Солнце было уже высоко, когда товарищи кончили игру. Тумба предложил выпить разгонную. Встала Настенька, спавшая не раздеваясь. Все начали чокаться, благодарить хозяев.

Через полчаса лужайка опустела. Тумба остался один со своей семьей. Он потянулся, зевнул и полез в свою хижину. Измученный Тумба скоро захрапел богатырски. Не спала только Настенька, укачивавшая ребенка. Вдруг она услышала какой-то шорох около хижины и увидела огненные языки. Она стала расталкивать мужа, но тот спал беспробудно. В хижине нельзя уже было дышать от дыма, когда наконец Тумба протер глаза, вскочил и стал отворять дверь. Она не подавалась,

несколько сильных ударов плечом не могли распахнуть дверь. Дыму набралось столько, что Настенька с ребенком лежали уже неподвижно. Сам Тумба терял сознание.

15

Таинственный гость

Туманная, холодная, мокрая петербургская осень вступила в свои права и сделала окраины города непроходимыми. Топкая, жидкая грязь толстым слоем покрыла улицы, тротуары, а постоянная мокропогодица сверху окутывала обитателей пронизывающей сыростью. Неприглядны в эти осенние дни окраины столицы; но бойкие торговые заставы, где грязь превращается в месиво от постоянной сутолоки рабочего простонародья, представляют еще более неприглядную картину. Бедность населения, убожество обитателей, нечистоплотность домов и лавок, грубость нравов, бесцеремонность в отрицании самых элементарных правил и условий общежития — все это лишает наши заставы не только столичного, но и, вообще, городского

облика. Здесь на каждом шагу вы встречаете полуголых пропойцев, разгуливающих по улицам свиней и коров, зловоние и клоаки нечистот на самых видных местах. Загляните в лавки, постоялые дворы, «фатеры» рабочих – и вы увидите такие циничные картины, о которых не имели даже понятия. Каждая застава имеет своих нескольких «тузов-торговцев», держащих на откупе всю торговлю. Они упрощают требования потребителей до такого минимума, что в одной и той же бутылке поочередно отпускают квас и керосин, а мясо и рыбу продают непременно с вонью. За все это взимается настолько приличная контрибуция, что самый свежий и лучший товар в городе обходится 1–2 копейки на фунт дешевле заставного. И заставные жители не ропщут, но зато они, в свою очередь, не церемонятся обращаться с улицей, лавками, общественными площадями и прочим, как с помойной ямой.

Простота нравов доходит до того, что летом мужчины и женщины открыто купаются в прудах и канавах среди белого дня. Но летом общая картина патриархальной грязи

окрашивается самой природой, зеленью, растительностью; осенью же мерзость запустения представляется во всей своей неприглядной наготе. Без особой нужды в эти мрачные дни никто из степенных жителей не выползает из своих щелей; только рабочие толпами ходят на свои фабрики и заводы, да забулдыги пьяницы таскаются по кабакам. Приличный экипаж, порядочно одетый прохожий здесь такая же редкость, как солнышко в хмурый день. Неудивительно, что все заставные аборигены разинули рты, когда увидели ландо на резиновых шинах, с трудом пробиравшееся к «Красному кабачку». Правда, ландо было настолько все забрызгано грязью, что стенок его не было вовсе видно, а лошади по брюхо покрыты слоем грязи, но, тем не менее, появление ландо за заставой во всяком случае – выдающееся событие. Целая толпа народа провожала редкого «гостя», тыкая на экипаж пальцами и задавая друг другу вопросы:

– Кто бы это мог быть? Не ревизовать ли нас енерал какой приехал?

Ландо остановилось у подъезда квартиры Куликова. Двери распахнулись, и молодой

господин скрылся в подъезде.

– Э-э-э... – протянул Никола-кузнец, постоянный гость «Красного кабачка», – я видел этого господина. Он как-то недавно приезжал к хозяину. только тогда он на простом извозчике был.

– И то, верно, верно, – подтвердила женщина, стирающая белье для кабачка, – он самый! Ишь ведь какой хозяин-то наш важный!

Куликов был дома. Он ждал посетителя и вышел сам ему открыть двери. Это был тот самый молодой блондин, с которым недели две тому назад Куликов вел у себя таинственный разговор о графе, его камердинере и прочем.

– Наконец-то, Игнатий, – проговорил Куликов, – а то я начинал уже беспокоиться! Вы мне будете теперь очень нужны. Скоро ведь моя свадьба; а я хочу покончить до свадьбы все дела; у меня, кроме вашего, большое дело с богатой купчихой Коркиной.

– Но почему, Иван Степанович, вы торопитесь кончать все? Разве будущая жена вам помешает, или вы собираетесь медовый месяц за границей проводить?

– Ничуть не бывало. Садитесь. Выпить хо-

тите? У нас будет после свадьбы масса возни с тестем, заводом, его капиталами. Ох, знаете, у меня от всех этих дел голова кругом идет. Больно уж много всего сразу прикопилось.

– Но все, кажется, идет благополучно?..

– Не клеится только у меня с Коркиной. Она еще до сих пор не являлась.

– Что же думаете делать?

– Послал ей записку. Жду только завтра... А там нужно будет что-нибудь придумать. Ну, рассказывайте у вас что? Все готово?

– Через несколько часов мы должны быть там. Все необходимое у меня в ландо. У вас никаких препятствий нет?

– Нет... Значит, можно собираться? Хотите выпить, закусить?

– Лучше поедем, некогда теперь. Нужно ведь еще в два места заехать.

– Да, правда. Поедем.

Они наскоро собрались. Куликов порылся в своих комодах, достал несколько свертков, засунул их в карманы и, накинув на плечи пальто, вышел вместе со своим гостем. Скоро ландо запрыгало по ухабистой, болотистой дороге и скрылось из виду.

В такие ненастные осенние дни «Красный кабачок» торговал еще лучше, чем обычно. Большинство посетителей, забравшись в теплый, гостеприимный уголок, неохотно покидало его, стараясь по возможности дольше не выходить из-под кровли. Когда ландо с таинственным гостем увозило хозяина, в «Красном кабачке» на обеих половинах все столы были заняты. Старший приказчик Антонов отвел в сторону хозяина черной половины, так звали Митрича, и стал с ним шептаться.

– А ведь с нашим хозяином-то что-то неладное.

– Что?

– Третий раз это ландо приезжает. Пролетный раз ночью приехал, какой-то шум в квартире был, возня и потом уехал вместе с хозяином.

– Ерунда! Иван Степанович человек холостой, мало ли каких ландо приезжает!..

– Нет, не тем пахнет. Тут все один и тот же белобрысый господин приезжает, шепчутся. Я намедни подслушать хотел, а они друг другу все на ухо, в потемках, никого не было и все-

то на ухо.

– Это-то ничего! А он намерен меня призывает, да и спрашивает: не хочешь ли, мол, заведение мое купить? Доставай денег, я дешево продам.

– Да заведение не его; он сам арендует.

– Обстановка, посуда, это все его; права, контракт, вот это все он и продает. Дешево, говорит.

– Заведение доход дает хороший, а он совсем им не интересуется! Никогда не проверит. Я полторы красненьких в день себе оставляю, а он и не замечает!

– Да и я не меньше. Что ж на него смотреть?!

– Не торговый он человек! Никаких понятий нет купецких!

– И странный какой-то! Все у него таинственное что-то. Помнишь, с этим Гусем?

– А что?

– Да как же? Гусь – мазурик и душегуб первой руки, а ты посмотрел бы, как они всегда здоровались за ручку, целовались, вместе пили, и Гусь к нему на квартиру ходил. А ведь живет хозяин так, что не принимает никого к

себе и, кроме нас, никто из слуг с докладом не смеет войти. Что твой министр или енерал. И вдруг Гусь – приятель, да еще какой.

– А последний раз, когда Гусь был у него, куда он исчез? Я сам впускал Гуся, сам запираю двери и хорошо знаю, что выйти иначе, как в окно, Гусь не мог. Неужели он в окно его выпустил? Да и зачем?

– Не могу понять! Знаешь, когда после слышались у нас в подвалах крики, мне все думалось, не Гусь ли попал туда.

– Пустое!

– Но куда же он мог деться? Я впускал его к хозяину, и никто не выпускал.

– Не привыкать-стать Гусю в окно уходить. А может, пьяный проспал до утра и ушел. Ерунда, вот, что хозяин продавать «Красный кабачок» задумал и жениться – об этом нужно подумать. Слушай, Митрич, возьмем у него вместе в аренду трактир. Дело хорошее. Он нам на выплату отдаст, а тысячи две мы достанем.

– Согласен. Возьмем. Я думаю, он, как женится, займется заводом тестя, ему уж не до трактира будет.

– Смотри, не уехать ли вовсе думает! Больно у него таинственности во всем много!

– Намедни записку посылал к Коркиной, секретно велел вручить. И там дела какие-то! Ох, грехи одни.

– Митрич, Митрич, – раздались крики на черной половине. Буфетчик побежал туда. На черной половине, переполненной народом, происходила свалка. Рабочие дрались с бродяжками и громилами, против которых давно имели зуб. Антагонизм между двумя категориями посетителей черной половины постепенно разрастался и вылился наконец в форму настоящего побоища. В воздухе носились бутылки, стаканы и табуреты... Размахивали палками, кулаками. Слышались удары, крики, стоны... Митрич остановился в недоумении и нерешительности... Войти в помещение не было возможности. Послать за полицией – более чем не желательно... Оставить драться – риск убийства может быть нескольких участников, и тогда закроют совсем заведение... Митрич начал выкрикивать:

– Господа, господа, прошу вас, позвольте, одну минуту... Дайте сказать... Господа... Гос-

пода...

Никто не слушал... Митрич созвал всех служащих в трактире и ринулся с ними в толпу... Он старался разредить толпу, разбить ее на части и тогда поодиночке приводить посетителей в себя... Старший буфетчик стоял у дверей и из ковша поливал дерущихся холодной водой... Добрых полчаса прошло, прежде чем удалось справиться с бушующими. Когда драка была прекращена, черная половина приняла вид какого-то разгрома... Весь пол был в остатках побоища, вся мебель переломана и валялась... Рядом с осколками битого стекла находились клоки волос, куски одежды... А фигуры участников сражения?! Растрепанные, истерзанные, разодранные, окровавленные, с подбитыми скулами, носами...

– Господа! За что же это мне, – взмолился Митрич, готовый расплакаться, глядя на останки своего зала и буфета...

– А ты не уважай мазуриков, не обижай нас перед ними, – заявил один из рабочих. – Мы честным трудом занимаемся, проживаем трудовые пятаки.

– На деньгах знака нет! Все деньги равны!

Мы рубли проживаем, а вы гроши, нечего вам за нами и гоняться. Совсем Митрич не должен пущать голь эту, – вызываяще произнес один из громил.

– Мне все гости равны, я никому не могу... – начал было Митрич.

– Врешь! Не все! Коли не мы, вам лавочку закрывать пришлось бы! – кричали громилы.

– Позовите полицию, пусть разберут нас! – кричали рабочие.

– Господа! Только еще полиции не хватало! Спасибо вам! По миру совсем меня пустить хотите... Пожалуйста, господа, расходитесь, дайте привести все в порядок... Я уж и денег не спрашиваю...

– Полицию, полицию, – настаивали рабочие.

– Успокойтесь, успокойтесь...

Оба буфетчика, вместе со слугами, начали выводить гостей по одиночке. Каждый ломался, упрямылся, но, в конце концов, уходил, удовлетворенный: он душу отвел в драке, за себя постоял и угостился бесплатно. Совсем хорошо, и продолжать скандал ни у кого особенного желания не было. Покладистее дру-

гих разошлись бродяги, которых Митрич увел задним ходом, через кухню.

Совсем уже стемнело, когда черная половина была окончательно расчищена. В это время к подъезду опять подкатило ландо. Хозяин с тем же незнакомцем вышли и скрылись в подъезде. Митрич пошел было доложить о происшедшем скандале и только что приоткрыл дверь, как отскочил назад. Хозяин и его гость, закутанные в какие-то пледы, с всклокоченными волосами, забрызганные кровью, прошмыгнули в квартиру, и дверь наглухо захлопнулась.

Митрич остановился с широко раскрытыми глазами.

– Это еще что?!

Призраки

— Лена, Лена, куда ты, — остановил Коркин жену, с трудом догнав ее около самого «Красного кабачка».

Елена Никитишна точно очнулась после летаргического сна и смотрела тупым взглядом на мужа.

— Куда ты, — повторил Коркин, со страхом смотря на побледневшую и растерявшуюся жену.

— Я... я... пройтись пошла.

— Чего же ты бежишь так?

— Я... я... не бегу, я шла. Разве скоро?

— Да помилуй, я едва бегом догнал тебя! Лена, что с тобой, ты дрожишь?! Пойдем скорее домой!

— Да, пойдем, мне худо.

Тяжело опираясь на руку мужа, Коркина едва-едва дошла до дому и упала на диван без чувств. Илья Ильич послал скорее за доктором, который велел немедленно раздеть больную, уложить в постель и прописал ей лекар-

ства.

– Что с ней такое? – тревожно спрашивал Илья Ильич.

– Сильнейшее нервное потрясение. Не случилось ли у вас какого-нибудь, неожиданного горя? Семейное несчастье?

– Представьте, что решительно ничего не было! Как есть ничего! Все совершенно благополучно! Она несколько дней на себя не похожа.

– Право, не знаю. Но только нервы у нее возбуждены до крайности, я опасаясь, что у нее будет нервная горячка, если... если она не успокоится.

К вечеру Елене Никитишне стало лучше. Она потребовала священника, исповедывалась и долго-долго беседовала с ним. Эта беседа доставила ей утешение, и она скоро спокойно уснула. Доктор, заехавший вечером, не велел ее беспокоить и прописал на случай успокоительную микстуру.

Илья Ильич не отходил от постели жены. Сон больной был тяжелый, она металась, вздрагивала и часто просыпалась, с ужасом всматриваясь в глубину комнаты.

– Ах, это ты, – говорила она, узнавая мужа, и несколько успокаивалась. – Ой! Тяжело, тяжело! Господи!

Прерывистое дыхание становилось ровнее, глаза закрывались, она впадала в забытие и засыпала.

Ночью Илья Ильич пошел отдохнуть и посадил у постели горничную, строго наказав ей сейчас же его разбудить, как только барыня проснется.

Елена Никитишна недолго спала. Вскочив с постели, она вытянула вперед руки и закричала:

– Не троньте, не троньте его! Не позволю! Не дам, не надо, не надо!

Горничная схватила ее за руки.

– Барыня, барыня, лягте, успокойтесь.

– Ах, это ты, Дуня, – очнулась она, – а барин спать ушел?

– Пошли отдохнуть, приказали разбудить их, как только вы проснетесь.

– Нет, нет, не буди, Дуня, не надо. Пусть спит. Знаешь, Дуня, у меня есть к тебе просьба.

– Приказывайте, барыня, я все исполню.

– Нет, Дуня, ты поклянись, что не выдашь меня и исполнишь. Никому, никому не скажешь?

– Помилуйте, барыня, зачем же я буду говорить, если вы не приказываете.

– Нет, ты поклянись.

– Клянусь.

– Перекрестись.

Горничная перекрестилась.

– Вот так. Ты меня любишь?

– Люблю, барыня, вы меня никогда не обижали.

– Я тебе приданое все сделаю, триста рублей деньгами дам.

– Очень вами благодарна, барыня, извольте приказывать.

– Постой, сходи посмотри, спит ли барин.

Дуняша ушла, а через минуту вернулась.

– Спят, не раздеваясь.

– Крепко?

– Крепко.

– Слушай, Дуня... Ты знаешь здесь недалеко трактир Куликова?

– Знаю, знаю: «Красный кабачок».

– Этот самый. Так слушай. Сходи завтра ра-

но утром к Куликову, скажи, что я очень больна и прошу его написать все, что он хочет мне сказать. Я хотела принять его сама завтра, но не могу, а мне очень нужно узнать у него про одно дело. Только, понимаешь, ни Илья Ильич, ни другой кто-нибудь не должны никогда ничего об этом знать! Слышишь?! Ты клялась ведь!

– Не извольте беспокоиться, сударыня, никто не узнает.

– Спасибо! А я тебя не забуду! Ах, мне тяжело!

Елена Никитишна откинула голову и закрыла глаза. Тень Онуфрия Смулева, ее первого мужа, как кошмар, давила ее. То он являлся ей окровавленным, со страдальческим лицом, зияющей раной на шее, то грозным, величественным, гневным, с протянутой карающей рукой. Иногда ей явственно слышался голос Смулева, звавшего ее на помощь, просившего пощады, а иногда голос этот звучал так громко, что она вскакивала с постели и хотела бежать. С того самого вечера, когда Куликов таинственно намекнул ей на Серикова и на исчезновение Смулева, мысли о покой-

ном муже не выходили у нее из головы и преследовали днем и ночью; во сне и наяву она переживала роковые события в Саратове. И странно: раньше как-то она никогда не вспоминала обо всем этом, была совершенно равнодушна к памяти мужа и Серикова, а тут... тут оба мертвеца поочередно мучают ее, требуют объяснения, ответов.

– Не ты ли заставила меня избавить тебя от нелюбимого старика-мужа? Разве мне нужно было его убивать, – говорил Сериков, явившийся перед нею с провалившимся лицом. – Кто же мог бы проникнуть в дом, если бы ты не оставила двери открытыми. Кто стал бы убивать старика, если бы не ты просила свободы?! Я исполнил твое желание и передал твое поручение Макарке-душегубу. Это ты, ты наняла его и ты же одна воспользовалась результатами злодеяния! Я, видишь, в каком теперь виде! Я понес кару, страшную, жестокую кару! Я страдаю и буду вечно страдать, мучиться, а ты? За что ты наслаждаешься жизнью, когда ты виновнее всех?! Посмотри на него. – И призрак указывал на страдальческий, окровавленный лик с провалившимися-

ся глазами, но хорошо знакомыми ей чертами лица. – Мужеубийца! Предательница! Преступница!

И холодный пот выступал на лбу больной. Она вскакивала, протирала глаза, отгоняла от себя видение, звала близких.

– Боже! И как могла я отпустить Куликова, не расспросить его, что он знает?! Как могла я кричать на него, говорить дерзости, когда должна была на коленях просить у него помощи против всех этих призраков! Может быть, великая для меня тайна в его руках! Кто он? Что он знает и зачем намекал мне? Случайно нашел он меня или нарочно искал?!

Она готова была сейчас вскочить и бежать к Куликову, но голова, руки и ноги не повиновались ей. Силы покидали ее. А призраки опять выходили из глубины комнаты, подвигались все ближе к ней, готовы были, казалось, навалиться на нее.

– Уйдите, оставьте, – кричала она, – я не виновата. Не виновата: я никого не просила, не хотела, видит Бог, я не виновата.

Илья Ильич прибежал из кабинета, брал руку больной и нежно упрашивал:

– Леночка милая, успокойся, я ни в чем не виню тебя, я тебе верю, будь покойна; ведь я пошутил только с запиской от портнихи, я тебя не ревную.

– А? Что? Что ты говоришь? – приходила в сознание больная и смотрела на мужа. – Это ты? Ну, слава богу! А что я кричала?

– Ты все себя коришь, убиваешься! И что ты? Неужели все из-за той записки от портнихи?

Елена Никитишна горько улыбалась, хваталась за голову и ничего не отвечала.

Так прошла вся ночь, долгая томительная, показавшаяся всем целой вечностью. Казалось, конца не будет этой хмурой, мокрой, осенней ночи. С пяти часов дня и до девяти часов следующего утра стоял туманный сумрак, превративший чуть ли не целые сутки в ночь. Неудивительно, что Елене Никитишне эта ночь показалась целой вечностью и не было ей конца. Как радости великой, ждала она проблеска утренней зари, но густой туман и свинцовые тучи окутывали Петербург с его окрестностями. Елена Никитишна прислушивалась к ночной тишине, и до ее слуха

доносился рев ветра, перемешивавшийся с ударами дождевых капель. Жутко делалось на душе от этого ненастья, но для больной оно вполне гармонировало с ее собственным настроением, и поэтому-то так невыносимо тяжело ей было.

– Дуня, Дуняша, – звала она горничную; но девушка под утро крепко уснула здоровым сном уставшего человека.

– Ильюша! – пробовала кричать Елена Никитишна, которой ночное одиночество было невыносимо, но муж тоже крепко спал в своем кабинете, положившись на горничную. Больная хотела встать, чтобы растолкать Дуню, и не могла. Хотела кричать и чувствовала, что звуки выходили слабые, чуть слышные, похожие на стоны. Она нехотя всматривалась вдаль и как-то особенно рельефно видела все те же странные призраки.

– Убийца, убийца, преступница. Куликов с жандармами и полицейскими идет за тобой. Вот, вот шаги их уже приближаются. Наступает час расплаты. Цепи готовы уже для тебя и кандалы припасены. Чу!.. Звонят уже у подъезда... Дуня, беги отворяй! Принимай, счаст-

ливая вдовушка, дорогих гостей.

– Лжете, лжете, – пробовала протестовать больная, и ее воспаленный мозг делал последние усилия. – Лжете! Никто не убивал его! Он умер по воле Божьей, погиб на корабле с другими пассажирами! Лжете!..

– Полно! Так ли?! Кто сказал это тебе? Как попал он на корабль? А чья это насыпь под тремя березами на берегу Волги?! Чей окровавленный труп зарыт там, без христианского погребения, без покаяния и молитвы?

– Ильюша! – закричала больная, собрав последние силы, и упала без чувств на подушки.

Илья Ильич услышал этот крик, прибежал в спальню и увидел храпевшую в углу горничную и бесчувственную жену, голова которой свесилась с постели. Он бросился к ней. Больная не приходила в сознание. Ногой растолкал он служанку и послал ее скорее за доктором. Весь дом поднялся на ноги. На дворе начало светать. Принесли лед, терли виски, давали нюхать нашатырный спирт. Только через полчаса, когда явился доктор, удалось вывести больную из продолжительного обморочного состояния. Она несколько раз вздох-

нула, открыла глаза, но сейчас же опять закрыла их от нестерпимой головной боли.

– Как могли вы оставить жену одну ночью! Верно, она чего-нибудь страшно испугалась, – укоризненно заметил доктор.

– Жена спокойно уснула с вечера, я долго сидел и оставил на смену горничную.

– Вон, негодяйка, – закричал Илья Ильич, увидев Дуню, – вон, чтобы тебя ни минуты не было здесь.

– Простите, барин, я...

Но Илья Ильич не дал ей договорить и, схватив за шиворот, вытолкнул из комнаты.

Елена Никитишна медленно приходила в себя, и только через несколько часов сознание совсем вернулось к ней и она, хотя с трудом, могла шепотом говорить.

– Дуня где? – был первый ее вопрос. Илья Ильич очень удивился.

– Зачем тебе Дуня?

– Позовите... Пусть тут сидит...

– Леночка, я прогнал ее, она всю ночь спала и чуть не убила тебя... Я велел приказчику рассчитать ее.

– Что?! Как?! Нет, нет, верни скорей! Она

нужна мне, скорей, скорей. Ай, голова! Верни скорей.

– Не раздражайте больную, – шепнул доктор, – исполняйте все, что она приказывает.

Илья Ильич выбежал на кухню.

Старательный приказчик в точности исполнил приказание хозяина и, давно уже расчитав горничную, выгнал ее из дому.

– Беги, разыщи ее, барыня требует.

– Да где же теперь ее разыщешь? Побегу, попробую.

– Сейчас она придет, – успокоил Илья Ильич жену, вернувшись в спальню.

– Спасибо, – прошептала больная. – Ильюша, худо мне. Пошли опять за священником.

– Полно, Леночка, успокойся! Ты изводишь себя только.

– Нет, пошли, пошли, мне надо, я хочу. Я могу... мо... – Она не договорила и закрыла глаза.

– Слабость очень велика, – заметил доктор, – она страшно измучена и нервы напряжены хуже вчерашнего. Не могу понять, что за причина такого потрясения? Нет ли у нее тайны какой-нибудь от вас?

– Помилуйте! Какие тайны, мы душа в душу живем, она без меня двух шагов никуда не делала!

– Непонятно! Непонятно! Но потрясение страшное. Что-нибудь должно быть! Без причины этого не бывает!

– Право, я меньше вас знаю.

– И давно вы заметили в ней перемену?

– Недели две.

– Ищите причину две недели тому назад! Без причины не могло быть!

– Дуня, где Дуня, пошлите ее ко мне скорей, – прошептала больная.

– Зачем ей эта Дуня? Допросите ее.

– Да где еще взять ее! Я прогнал, а приказчик поспешил! Вот еще горе-то!

– А за священником послали?

– Сейчас придет.

Луч спасения

— Что это Ивана Степановича четвертый день нет, — произнес за обедом старик Петухов, — не послать ли справиться, здоров ли он.

— Он сегодня мимо проезжал. Верно, занят, — ответил один из мастеров. — Говорят, он трактир свой продает.

— Продает, — протянул Петухов, — что так?! Он мне ничего не говорил. Может так, зря болтают! У него торговля хорошо идет, расчета нет продавать. Пустое, верно, толкуют.

— Скандалы, драки там все время происходят, мазурики разные собираются, полиция вмешалась, может быть, потому и продает.

— Не слыхал, не слыхал, он сказал бы, скрывать нечего.

— Да ему расчет прямой прикончить! Женится на Агафье Тимофеевне, заводом займется. Что же ему?

— Положим, это верно. Я сам просил его. Кому же как не зятю дела в руки взять. А рабо-

ты у нас хватит ему по горло! Только все-таки, думается, он сказал бы мне.

– Мало вы его, папенька, знаете, – заметила Ганя. – Вы меня вот корили, что он мне не нравится, а спросите всех ваших мастеров, помощников, служащих, рабочих! Все говорят, что он им не нравится и человек, видимо, не из добрых.

– Правда, Тимофей Тимофеевич, – подтвердили в один голос трое мастеров. – Не пара он Агафье Тимофеевне.

– Поздновато, господа, теперь об этом толковать. Мы пили уж за сговор. Но все же я в толк не возьму, почему может он не нравиться?

– Ходил он тут по заводу, спрашивал нас и сейчас ведь видно, по обращению груб, резок, смотрит исподлобья, спрашивает все только о барыше, а самое дело ему и неинтересно. Разве хороший хозяин так к людям относится? Почему мы преданы вам, готовы день и ночь для вас трудиться? Потому, что вы – человек и человека в другом видите. Цените людей, а такие, как Куликов, только барыш во всем ищут да свой интерес.

– Коммерческий он человек. Теперь только так и деньги нажить можно. Такой век – и винить его за это нельзя.

– Кажется, вы тоже кое-что нажили, а таким коммерческим человеком не были. И Агафье Тимофеевне после жизни в вашем доме трудно будет свыкаться с порядками и понятиями Ивана Степановича...

– Поздно, поздно толковать об этом. Ганя – невеста.

– Мы ведь к слову только. Конечно, ваша родительская воля.

– Ганя сама теперь хочет. Сама приходила просить меня!

– Дай бог всего хорошего. Мы обещаемся служить Агафье Тимофеевне, как вам служили, только наше дело ведь маленькое...

– Спасибо, господа, спасибо, я не сомневаюсь в вашей преданности нашему семейству и надеюсь на вас... Вы не оставите мою Ганю...

– Папенька, а я эти дни с Рудольфом изучала сорта кож и какие кожи на что идут. Теперь я и цену, и качество всех сортов знаю. Завтра я начну с Николаем Гавриловичем

изучать заказы, поставки и скоро все дела завода знать буду. Вот вы жаловались, что я помогать вам не могу! Не знаю только, как деньги с заказчиков получать. Николай Гаврилович рассказывал мне, что одним за наличные только, другим на векселя, третьим безо всего. Вот уж это я в толк не возьму...

– Умница, умница, ты у меня! А деньги-то получить уметь – самое главное и есть. В этом весь секрет всех дел.

– Что вы, папенька, а разве не важнее уметь хорошо сделать товар, выгодно сработать, удешевить производство?

– Нет. Ты и хорошо сделаешь, и выгодно, прочно, да какой толк, если денег не получишь?! А кто деньги умеет получить, так и дрянной товар выгодно с рук сбудет. Это-то вот коммерцией и называется.

– Нехорошая это коммерция! Вы, папенька, не так торгуете!

– Я, дочка, торговал в старину, когда люди другие были и порядки другие. Тогда и наживал, и производил больше других. А теперь вот почти в убыток работаем, хоть завод закрывай! Один набрал в кредит и не платит, а

другой предлагает двугривенный за рубль. Другой выдал векселя, а торговлю перевел на жену и сам из Петербурга отметился: ищи его на Руси!.. Третий жмет так, что и шести процентов пользы не хочет дать, хоть в убыток ему поставляй. Ну, как тут честно-то торговать? Как окупить расходы по заводу? А расходов-то до ста тысяч рублей в год! Ведь не шутка! Самому недолго обанкротиться!

Встали из-за стола. Ганя поцеловала руку отца и сделала Николаю Гавриловичу Степанову знак рукою. Они вышли вместе.

Николай Гаврилович был пожилой уже человек, около 20 лет управлявший конторой завода Петухова. Он был женат, имел большую семью и отличался редким добродушием, честностью и прямою характера. Он раньше старика Петухова заметил страдания и перемену в Гане, заметил изменившееся обращение с ней отца и наглое, грубое домогательство Куликова. Больше всего его возмущало циничное обхождение Куликова с хозяйской дочкой, который позволял себе третировать и дразнить Ганю, потешаясь над ее чувствами и душевными страданиями.

«Хорошо же должно быть ее супружеское счастье с таким муженьком», – думал Степанов и терялся в своих порывах помочь ей. В самом деле, как помочь, когда проходимец успел обойти, точно околдовать старика и расположить в свою пользу. Петухов уверился в нем, полюбил и решил, что лучшего зятя ему желать нельзя. Степанов, как и Ганя, не мог ничего сказать против Куликова, кроме своих личных антипатий, но такие доводы, разумеется, были бессильны и только раздражали старика. А Куликов не терял дорогого времени, ловко пользовался всеми обстоятельствами и окрутил свою свадьбу в какие-нибудь два-три месяца. Однажды Степанов увидел Ганю рыдавшую на скамеечке в углу заводского садика. Ему стало жалко ее до слез. Он подошел и участливо произнес:

– Не плачьте, Агафья Тимофеевна, подумайте лучше вместе, как бы помочь вашему горю. Слезами не поможешь!

Девушка подняла голову на говорившего и, улыбнувшись сквозь слезы, протянула ему руку.

– Ах, что вы, Николай Гаврилович, спасибо

вам, но вижу я, что нет мне ни выхода, ни спасения. Слезы все-таки несколько облегчают.

– Да вы попробовали бы решительно переговорить с отцом?

– Пробовала! Все пробовала, и ничего не выходит! Он свое говорит, что нужен ему помощник в делах, а я не могу помочь ему и должна дать ему зятя.

– Господи! Вот затмение нашло на человека! Знаете, ведь мы все его ненавидим!

– О! Если бы вы видели, каким зверем смотрит он на меня?! Его глаза говорят: «Погоди, тебе покажу после, каков я муж». И мороз пробирает по коже от этих взглядов! Меня трясет, когда я его вижу!

– Вы говорили об этом папеньке?

– Не смею! Он говорит, что все это ерунда, глупости. Я просила отпустить меня служить, он еще пуще рассердился. Господи! За что мне все это?

Долго думали они вместе и ничего не могли придумать.

Сегодня, после обеда, когда она вышла из столовой, Николай Гаврилович, удивленный,

обратился к девушке:

– Неужели это правда: вы сами просили папеньку ускорить вашу свадьбу.

– Ах, Николай Гаврилович, не знаете вы всего!

– Неужели я не заслужил вашего доверия? Почему же вы не хотите сказать мне всего?

– Стыдно мне, Николай Гаврилович, наглу-пила я как девчонка и теперь приходится вот расхлебывать!

– Вы не хотите рассказать?

– Могу, могу. Слушайте.

Она низко опустила голову и вполголоса рассказала в подробностях весь свой визит к Куликову. Степанов слушал ее напряженно, боясь проронить слово. Когда девушка кончила, он воскликнул:

– Подлец! Вот ужасный подлец! И это ваш будущий муж! С таким негодяем вы обречены жить всегда?!

– Жить?! Не только жить, но находиться в его власти. Когда он стиснул мне тогда руку, я после два дня не могла владеть ею, распухла, покрылась багровыми пятнами! Воображаю, если бы он ударил меня!

– Ах, Агафья Тимофеевна, что вы наделали?! И как можно было так опрометчиво поступать! Знаете ведь, что он негодяй и живьем дались ему в руки! Он хуже еще мог что-нибудь сделать!

– Вы упрекаете вот, а сами думали, думали и ничего не могли придумать!..

– А вот и придумал!..

Ганя вскрикнула от радости и уставилась на него.

– Придумали?! Говорите, говорите скорей что?!

– Вот что! Мы с вами уверены, что он негодяй! Надо доказать это, надо скорее собрать сведения о нем! Вы старайтесь тянуть сколько можно свадьбу, а я займусь расследованием его прошлого, соберу справки, пойду хоть в Сибирь, за границу, все раскопаю, выкопаю! Возьму отпуск и уеду! Не может быть, чтобы мы ошибались! Когда мы привезем вашему папеньке доказательства, тогда разговор будет другой.

– Голубчик, Николай Гаврилович, как мне благодарить вас?!

– Нечего благодарить! Успеете еще побла-

годарить, а теперь надо скорее действовать! Мы и так много времени потеряли! Вы продолжайте заниматься в конторе, учитесь на заводе, входите во все... Наши все помогут вам от души, а вы ведь умница. Постарайтесь только затянуть приготовления к свадьбе... Если я должен буду уехать, я буду писать вам все подробно... А теперь пойдете в контору и сейчас же сделаем первый шаг.

Ганя пошла за Степановым. На лестнице они встретили мальчика, бежавшего с улицы.

– Ты откуда?

– Хозяин посылал к Куликову, справиться о здоровье.

– Ну и?

– Дома их нет... Квартира заперта...

– Иди, скажи...

Они прошли в комнату.

– Смешно ведь сказать... Папенька ваш человек старый, опытный... Выдает дочь и не знает за кого?! Куликов, Куликов... А кто такой этот Куликов? Мещанин, крестьянин, купец или дворянин? А может быть, он женат уж? Может, мазурик какой?! Эх! Ослепление как найдет – ничего мы, грешные, не видим!

– А разве, Николай Гаврилович, это не все равно, из каких он.

– Конечно, не все равно. Но главное-то в том дело, что при справках может истина обнаружиться, истина, которую он скрывает. Может, он судился и лишен прав?!

– Да разве такие могут в купцах состоять и рестораны держать?

– Временными купцами могут быть. А если и не могут, так скрыть ведь могут!

– А вы тогда как же узнаете?

– Кому надо, все узнает! Кому другому нужды нет справки наводить! Пусть себе торгует! А единственную дочь замуж выдавать нельзя без справок! Если бы Тимофей Тимофеевич сызмальства знал Куликова, тогда другое дело!

– Что же вы намерены прежде всего делать? Где узнавать?

– А вот сейчас пошлю справку сделать в полицию – по какому документу он живет и прописан. Тогда обратимся туда, где документ выдан и где он раньше проживал.

– Он говорил – в Орловской губернии.

– В Орловскую поедем! Хоть на край света!

Если бы вы знали, как мне тяжело видеть ваше горе, Агафья Тимофеевна!

– Николай Гаврилович, не сказать ли папеньке, что вы хотите собирать сведения? Это не худо ведь?

– Нет, нельзя! Папенька скажет, это лишнее, не нужно, что он и так людей насквозь видит, умеет узнавать, что теперь уж поздно и прочее... А когда он запретит, тогда нельзя уж будет ехать!

– Это верно! Правда! А как же вы уедете? Вы ему каждую минуту нужны.

– Скажу, что по неотложному, семейному делу.

– А Куликов воспользуется этим и заберет дела все в руки.

– Он уж и так почти все забрал! Пусть забирает до поры до времени!

– А что это значит, что его четвертый день нет? Не раздумал ли жениться?

– Не таковский небось! Случая не упустит! Красавицу-девушку берет, с заводом и с капиталом!

– Спасибо вам, Николай Гаврилович, спасибо!

Ганя с чувством пожала его руку и побежала домой. Она почувствовала облегчение. Мелькнул луч надежды!

18

Сенька-косой

После жестокой порки Сенька-косой часа полтора пролежал почти без чувств... Он слабо стонал и скрежетал зубами... Стонал от боли и скрежетал зубами от бешеной злобы.

Как?! Его, Сеньку-косого!!! Выдрали публично, позорно?! Нет!! Этого пережить он не может!! Он должен жестоко отомстить за свой позор и покрытую рубцами спину...

Федька-домушник не отходил от лежащего друга и прислушивался к каждому его вздоху.

– Сеня, плохо тебе? – спрашивал он шепотом стонавшего.

– Ничего... Вынесу, потому что... надо... перерезать их... всех... всех... и ее... и поросенка... всех... Слышишь? Ты поможешь мне!..

– Еще бы! Помогу, помогу, только отдохни... Чуть не убили проклятые... В три кнута,

ракалии!.. Тебе не встать ведь?!

– Встану, – прохрипел Сенька, – и сегодня же отомщу!

И, несмотря на страшную боль, он приподнялся; опираясь на товарища, встал на ноги, но сейчас же застонав, опять лег на траву...

– Нет, еще надо полежать! Слышишь хохот какой? Это они веселятся! Веселитесь, веселитесь! Петух не пропоет, как мы сведем с вами счеты! Веселей смеется последний!.. Ох!

Сенька закрыл глаза... Сидевший рядом Федька прислушивался к отдельным звукам, долетавшим с полянки Тумбы... Прошло около часу... Шум и возгласы начинали стихать... Очевидно, пир приходил к концу... Дремавший Сенька вскочил... Его физиономия судорожно искривилась от боли, но он не произнес ни одного звука...

– Чего ты, – успокаивал его Федька, – ляг, еще полежи... Рано еще... Отдохни хорошенько...

– Пойдем, – глухо произнес Сенька и, повиснув на его руке, потащился сквозь кустарник... Федька не возражал... Он знал, что Косой не допускает никаких возражений; он об-

ладает почти сверхъестественной силой воли... Однажды в борьбе он получил тяжкую рану. Зажав ее одной рукой, Сенька продолжал другой рукой состязание и вышел победителем; мало того, он не пошел даже к доктору или в больницу, излечил сам свою рану и скоро совсем был здоров. Так можно ли было удержать его теперь от мщения, которым он весь горел! Мщение теперь было единственным лекарством, способным поставить его на ноги, вернуть бодрость.

Они прошли кустарник и вскоре увидели лужайку пиршества, начинавшую пустеть. Оставалось еще человек десять, но и они готовились откланяться хозяину.

– Собирай сухие сучья и камни, – шепнул Сенька товарищу.

Тот молча повиновался. Сенька не мог еще стоять на ногах без посторонней помощи и прилег на траву. Ему было видно все, что происходило у Тумбы. Вот он угощает гостей «по последней». Настенька подает закуску. Со всем рассвело уже, лучи солнца играют на верхушках деревьев. Хозяева утомились. Это видно во всех их движениях. Сейчас, прово-

див гостей, они заберутся в свою конуру и заснут беспробудным сном. Чудное утро совсем не походит на сентябрь. В такое утро спится на свежем воздухе после бессонной ночи – мертвецки! Это Сенька по опыту хорошо знает, особенно, если ночью привелось хорошо выпить. А Тумба выпил за эту ночь больше всех. Спите, спите, голубчики!

– Федька, еще, еще, больше собирай, больше, – шептал Сенька.

Домушник и так старался. Он смутно догадывался, что Косой задумал, но не смел подавать советов.

– Т-с! – произнес Сенька.

Федька залег в кусты, и оба они притаили дыхание. В нескольких шагах от них прошли четверо гостей Тумбы. Они весело болтали и смеялись:

– А что Сенька? Жив ли он после порки?

– Да, выпороли здорово! Я ему тоже подсыпал пяток горячих! Пусть помнит! Насолил он всем нам.

– Вот, уж не жаль будет, если подохнет.

– Где ему подохнуть, он нас с тобой переживет! Домушник его потащил; верно, дома

уж теперь.

Сенька с блестящими глазами вслушивался в их разговор.

– И ты, каналья, пяток прибавил, – прошептал он, – ладно, попомним! Придет черед и твой!

Опять наступила тишина. Шаги последних гостей исчезли вдали. На лужайке Настенька все прибрала и спрятала. Тумба ушел в хижинку. Вошла и Настенька. Все стихло.

– Еще полчаса, – прошептал Сенька, – пусть крепче уснут.

Федька продолжал носить хворост, сучья. Тишина ясного солнечного утра ничем не нарушалась, кроме веселого щебетания и чириканья птишек.

– Ну, пора, – произнес Сенька и пополз на лужайку. На корточках он подполз к хижине и, как собака, стал ее обнюхивать. Обитатели спали. Знаком он подозвал к себе Федьку и шепнул:

– Таскай скорее камни и хворост, я не могу сам...

Федька начал работу. Сенька сам раскладывал большие камни, заваливая входную

дверь, острые камни он клал в виде подпор, наперекоски, под углом, а остальные наваливал сверху. Хворост охапками он накладывал кругом всей хижинки и на крышу. Работа шла быстро.

– Теперь хорошо, – произнес Сенька и пополз за кусты, на противоположную сторону лужайки.

– Федька, давай огня! – крикнул он. – И беги сюда, будем любоваться!

Молча домушник достал коробку спичек, зажег одну и подпалил хворост в нескольких местах. Огонь быстро вспыхнул. Федька залег в кустах рядом с Сенькой. Пламя обхватило сразу всю избушку. Внутри было тихо.

– Нескоро проснутся, – шепнул Федька.

– Еще проснутся ли! – злорадно произнес Сенька.

– Не тронуться ли нам в путь? – предложил Федька.

– Постой. Дай полюбоваться! Ага, смотри, проснулись, ломаются... Слышишь...

– Да, да.

– Шутишь! Не скоро, брат!

Вдруг дверь хижины вылетела, и из нее

выскочил, с опаленными уже волосами, Тумба. За Тумбой выползала полубесчувственная Настенька с ребенком.

Молодецки, в несколько мгновений, Тумба разбросал хворост и потушил огонь. Затем он начал давать тревожные частые свистки и бросился искать по кустам.

– Сенька, погибли мы, – прошептал Федька. – Говорил, надо было бежать!

– Поздно теперь, молчи, авось не найдет!

– Как не найдет?! Смотри, их наберется сейчас много. Приготовь ножи, будем защищаться!

Говоря это, Федька вдруг быстро стал пробираться в чащу кустов. Сенька позвал его раз, другой – ответа нет. Он попробовал тоже податься в чащу, но был не в силах.

– Неужели он бросил меня? – мелькнуло в голове Сеньки. – Нет, быть не может!

А Федька, между тем, не показывался. Тумба продолжал свистеть все громче и чаще. Он тщательно осматривал все соседние кусты, но искал не в той сторон, где было нужно. Если бы Сенька имел силы, он давно мог бы убежать. Очевидно, Федька сообразил это и

удрал.

– Негодяй, он бросил меня в такую критическую минуту!

Скоро в чаще и глубине леса начали раздаваться ответные свистки. Тревога приняла широкие размеры. Свистки слышались по всем направлениям и со всех сторон. Тумба еще с большим остервенением искал кругом и осматривал каждый кустик. Постепенно он переходил и на ту сторону, где лежал в 20 шагах от лужайки Сенька. Холодный пот начал выступать у последнего. Он хорошо понимал, что сопротивление его, когда он почти не может двигаться, похоже на кукольную комедию, а пощады ждать от Тумбы смешно. Надо было готовиться к какой-нибудь пытке и лютой казни. Кусты и деревья запрыгали у него в глазах. Руки и ноги казались парализованными.

– Тумба, Тумба, – послышался крик сзади него. – Сюда!

Тумба повернулся в его сторону и легкими скачками в одно мгновение очутился тут.

– Вот он, бери его. Я вернулся на твои свистки и случайно наткнулся на него.

Сенька не верил своим ушам. Это говорил Федька-домушник, его сообщник и неразлучный друг, товарищ.

Рядом с Федькой стоял Пузан, тоже вернувшийся на свист.

– Спасибо, товарищи, – произнес Тумба, – но откуда ты, Федька, знаешь, зачем я давал свистки и кого мне нужно.

– А нешто мы не видим, – показал Федька на опаленную хижину, – и не догадываемся? – ткнул он пальцем на Сеньку.

– Ой, так ли, – произнес Тумба, подходя к Сеньке. Он осторожно, точно гадину, надавил сначала коленом в спину Сеньку, затем осмотрел его карманы, сапоги и вытащил из-за пазухи большой нож. Обезоружив врага, он взял его за шиворот, вытащил на лужайку и здесь, скрутив руки и ноги веревками, положил на спину.

– Надо наших подождать. А ты, Федька, покажи-ка за пазухой?

Домушник добровольно вытащил такой же большой нож, как и у Сеньки.

– Я не расстаюсь с ним, – произнес он.

– Даже когда к товарищам в гости идешь?

Постой! Мы тебя попросим подробно рассказать, где ты расстался с Сенькой!

– Я его встретил в версте отсюда, – произнес Пузан, – и мы вместе вернулись.

– Он сам пошел сюда?

– Нет, я сказал ему, что нужно идти, а то...

– А то насильно поведут! Т-а-ак! Я думаю, – заметил Тумба, – что все это дело рук Федьки, потому что Сенька не мог один все это устроить! Он и ходить еще не может после порки!

Между тем обитатели Горячего поля продолжали собираться на лужайке. Когда набралось человек тридцать, Тумба объявил, что можно начинать.

– Ну-ка, Федька, выходи.

Домушника поставили рядом с лежавшим Сенькой.

– Смотрите, братцы, подвиг этих товарищей, – указал Тумба на свою опаленную хижину, обложенную хворостом и камнями. – Кто-то задумал меня вместе с семьей заживо спалить? Казнь хорошая и верно рассчитанная, потому что если бы не проснувшийся ребенок, то меня с Настенькой не было бы теперь в живых! Чье это дело? Федька! Говори.

Федька упал на колени.

– Клянусь всем, что есть у меня святого!

– Стой! – резко воскликнул Тумба. – Ничего святого у тебя нет, и никаким клятвам твоим никто не поверит. Говори, что хочешь, а мы знаем, как поступить.

– Он, – Федька указал на Сеньку, – заставил меня собирать хворост и камни. Я ничего не знал, а когда он велел таскать к будке, я убежал. Больше ничего не знаю!

– Врешь! Тебя Пузан поймал за версту, а если бы ты тогда убежал, когда хворост таскать начали, то был бы у себя в лавре! Говори, где был!

– Я... я... я смотрел из-за кустов, что хочет делать Сенька.

– Смотрел? И рисковал попасться из-за любопытства? Врешь, не похоже это на тебя! Если ты остался, то ради одного из двух: помочь Сеньке или спасти меня! Меня ты не спасал, значит, помогал Сеньке! Говори все или подкнутом околеешь! Ты ведь понимаешь, что все равно спасения тебе нет! От нас ты не уйдешь! Пузан, что он говорил дорогой?

– Он, братцы, все порывался отстать от ме-

ня и задать тягу. Я, говорит, к Тумбе не принадлежу; я вяземский, а не заставный, не с поля, мне делать там нечего.

– А про Сеньку не вспоминал?

– Говорил, что Сенька верно там натворил...

– А как он шел, когда ты его задержал?

– Скоро шел. Удирал. Когда мы встретились, он испугался и хотел спрятаться, да негде было.

– Слышишь, Федька? И теперь ты будешь запираяться?

Домушник молчал.

– Дайте кнуты! Разложите его!

Федька закричал:

– Не надо, не надо! Все расскажу!

Домушник начал в подробностях все рассказывать. Когда он дошел до момента поджога, голос его дрогнул:

– Сенька подполз и зажег хворост.

– Как же он поджег, когда на ногах стоять не мог? Ведь он обжегся бы!

– Нет, ничего, зажег.

– А у кого спички? Осмотреть их карманы.

Коробку спичек нашли у Федьки.

Он стоял ни жив ни мертв.

19

В крови

— Ракалия, — воскликнул таинственный гость, — нас кто-то видел!!

— Что вы?! Не может быть!!

Они оба разом обернулись и увидели фигуру удаляющегося буфетчика.

— Ах, черт возьми, это мой старший буфетчик! И чего он сунулся? Верно, дело серьезное у него! Они без приглашения не смеют ко мне соваться!

— Однако, это неприятно! Уверены ли вы, что он не опасен?

— Разумеется! Это пустяки, хотя лучше, если бы этого не было.

Они вошли в квартиру. Куликов и его гость имели ужасный вид. Все платье и руки забрызганы кровью. Костюмы растерзаны. В руках какие-то узлы.

— Прежде всего нужно переодеться и сжечь наши костюмы.

— Я побреюсь у вас и снесу свои усы. Это

необходимо.

– Сделайте милость, все к вашим услугам. В нашем распоряжении хоть вся ночь. Только вот кучер...

– Вы забываете, что это третье ландо сегодня! Каждый из них в отдельности ровно ничего не знает!

– Это правда! Давайте, однако, торопиться!

Они пошли в кухню мыться и затем в спальню. Куликов сам затопил плиту, в которую вместо дров были запихнуты с растопками все принадлежности их гардероба.

– Здесь же спалим и все ненужное из узлов, – заметил Куликов.

– Разумеется.

Они быстро переоделись и приняли свой обычный вид. Гость уселся бриться, а Куликов стал развязывать узлы. Что это? Футляры, пачки серебряных вещей, портфели, маленькая картонки, бумаги. Куликов поочередно все развертывал. Он принес большую корзину и начал туда складывать браслеты, колье, броши, серьги, кольца, ложки, совочки, статуэтки. Целая корзина драгоценностей. Затем пошли бумаги. Пачка выигрышных билетов,

другая пачка банковских серий, векселя, гербовые листы, ассигнации, наконец, кредитные билеты. Куликов с любовью пересчитывал их и складывал в пачки. Много оказалось этих пачек. Все драгоценности, процентные бумаги и деньги Куликов сложил в корзину, а все остальное, вместе с пустыми футлярами, понес под плиту. В результате в квартире не осталось никаких признаков только что происшедшего. Корзину с этими ценностями Куликов понес в подвал и спрятал там в одном из тайных помещений.

– Теперь едем, – объявил Куликов, – еще только одиннадцать часов с небольшим.

– Куда?

– Поедем в «Шато-Варьете» и отпустим там ландо.

– А когда мыведем, Иван Степанович, наши счета?

– Давайте сейчас. Но условно, вам следует тысячу рублей, вы получили двести, остается восемьсот. Хотите – сейчас получите, а то подождите несколько дней. Понимаете?

– Пожалуй. Дайте мне пока сто.

– Извольте... Ну, едемте... Ах, да, меня хо-

тел видеть буфетчик. Нет, впрочем, теперь неудобно. Надо мне скорее развязаться с моим «Красным кабачком»... По многим причинам неудобно.

– Особенно теперь, после того, как он видел вас всего в крови и может не весть что подумать!

– Все вместе. У меня несколько причин и без этого есть.

Они вышли. Кучер подал ландо, но Куликов удивленно посмотрел на фасад своего кабачка и вынул часы.

– Что-то неладно. Двенадцатый час, а заведение не закрыто, когда в одиннадцать часов все должно быть погашено. Знаете что, поезжайте вы в варьете и отпустите там ландо, а я приеду после. Нужно здесь распорядиться.

– Хорошо. До свидания. Я буду вас ждать. Куликов вошел в двери заведения и застал там целое собрание. Местный пристав, несколько полицейских и человек пятнадцать посторонних.

– А-а-а... вот и хозяин. Прекрасно, очень кстати.

– Что это такое? – спросил дрогнувшим го-

лосом Куликов буфетчика.

– Скандал тут произошел, – отвечал тот растерянно, – жалобы какие-то, доносы.

– Скоты! – прошипел Куликов в ответ буфетчику и, сняв шляпу, почтительно подошел к приставу.

– Простите за неприятности для вас, но, право, я ни при чем тут. Занялся подрядами, сейчас только с работ, не смотрю за заведением. Продать его совсем решил. Надоели эти скандалы. Положиться ни на кого нельзя.

– Да у вас, оказывается, не скандалы только, а настоящий притон. Вот, чиновники сысской полиции сделали обыск и целую кучу краденых вещей нашли у буфетчика. Понимаете? У вашего буфетчика?! Что же это такое?

– Смею уверить вас, что меня это удивляет не меньше, чем вас! Я никогда этого не ожидал от Митрича.

Митрич стоял, опустив голову и как бы говоря: «Берите! Ваша взяла! Попался!»

– Вот как полагаться на людей! Митрич, что это значит?

Буфетчик молчал.

– Да говори же: от кого ты принял на хранение?

– Да это еще неизвестно, – перебил пристав, – на хранение или купил он, или за выпитое взамен взял.

– На хранение, клянусь, на хранение, – произнес Митрич.

– Вам известно, – спросил один из полицейских, – какое побоище сегодня происходило у вас в заведении?

– Ничего неизвестно.

– То-то! Даже градоначальнику дали знать! Скандал на всю заставу.

Куликов опять гневно посмотрел на буфетчиков.

– Нельзя на день из дому отлучиться, – вздохнул он.

– Вам придется прекратить торговлю, впредь до распоряжения господина градоначальника, – объявил пристав. – Дело осложнилось и приняло серьезный характер. Может быть, ваш «Красный кабачок» навсегда будет закрыт!

Куликов пожал плечами.

– Воля ваша. Лично моей вины тут нет! У

меня оба буфетчика имеют законные доверенности и отвечают за все.

– Да, но ведь заведение все-таки ваше, и превращать его в притон для воров и бродяг вы едва ли имеете право.

– Я не превращал. Напротив, я наблюдал за чистотой, аккуратностью и приличием! – Это уж Митрич.

– Буфетчик сам по себе отвечает, а вы сами по себе. Его мы теперь же арестуем. А вы потрудитесь завтра утром пожаловать в участок для дополнительных объяснений.

– А теперь я свободен?

– Нет, мы попросим вас остаться до составления протокола и подписать его.

– Но меня ждут.

– Что делать! Вина не наша!

Протокол занял несколько часов времени и оказался объемом в 14 листов писчей бумаги. Сначала подробно излагалась драка, происшедшая на черной половине. Рабочие заявили, что буфетчик давно уже ведет близкую дружбу с ворами и бродягами, давая им разные привилегии и преимущества, в ущерб другим посетителям. Не раз случалось, что он

запирал двери трактира, когда воры и громилы кутили с маклаками, скупавшими у них краденые вещи. Постоянно, если возникали пререкания между рабочими и бродягами, буфетчик был на стороне последних и удалял первых из заведения. Все это обострило настолько их отношения, что они ждали только случая устроить форменную драку и побоище. Случай представился сегодня, когда буфетчик стал просить компанию рабочих очистить стол и уступить его громилам. Рабочие не согласились, громилы попробовали было употребить силу. Это послужило сигналом, и скандал разыгрался.

Один из постоянных посетителей заявил, что он часто присутствовал при переговорах буфетчика с ворами; буфетчик постоянно брал на хранение не только заведомо краденые вещи, но часто и со следами крови; он хорошо знал, что все эти Тумба, Пузан, Рябчик, Васька, Федька, Алешка-кривой и другие заведомые воры не могут иметь золотых часов, собольих воротников, серебряных ложек и прочего, однако он принимал от них эти вещи, часто сам продавал и вырученные день-

ги, с какими-то вычетами, вручал ворами; деньги эти тут же пропивались. Хотя никто из воров, бродяг и громил не был задержан при полицейском обыске, но это относится только к случайности, потому что после побоища все разбежались. Пребывание этих лиц в заведении не отрицается самим буфетчиком.

– Да, – говорил Митрич, – точно, эти лица ходили, но откуда могу я знать, что они воры и душегубы? Да и какое мне до этого дело? Я не сыщик. Они все для меня посетители. Попросят оставить вещь полежать, я оставлял. Отчего же не оставить? Отчего не услужить своему покупателю? Место есть, возьму и спрячу. Но только я и в уме не держал, что вещи краденые. И знать не мог! На вещах метки нет! Была, правда, раз пачка в крови, но Артамон Ильич показал палец порезанный; оттого и в крови была. Что же тут преступного? Никаких особых различий между рабочими и бродягами я не мог делать, потому что и сейчас не знаю, который из них рабочий, который бродяга. Паспортов мы не спрашиваем, где кто работает – не справляемся. Правда, иные гости, которые больше расходуют и

скромнее себя ведут, никогда не скандалят – приятнее для заведения. Так то же самое везде. И у Палкина пьющим шампанское низко кланяются, а бутылку пива и не подадут, пожалуйста. Это дело коммерческое, и обижаться на это нельзя! Во всем, всегда и везде богатому отдается предпочтение перед бедным, и никто не спрашивает, честно или бесчестно богач добыл свои средства.

Куликов вполне присоединился к объяснениям своего буфетчика, прибавив, что он имеет двух ответственных буфетчиков и не может отвечать еще сам за их действия.

Вторая половина протокола была посвящена результатам осмотра и обыска. У Митрича в выручке нашли 1900 рублей деньгами, 4 золотых часов, 8 серебряных часов, 19 серебряных ложек, 11 золотых колец и еще около 30 разных мелких вещей из золота и серебра. Митрич не мог объяснить, кому в отдельности принадлежит каждая вещь, и не мог назвать никого из их владельцев.

– Право не знаю, ни где они живут, ни как их фамилии... Ходят сюда давно, а кто такие – не приходилось спрашивать!.. Ведь они мне

доверие оказывают, они вещи оставляют, так чего мне заботиться об их адресах... Вот если бы я дал им свои часы, то, несомненно, узнал бы сперва, кто такой и где живет...

При осмотре комнаты буфетчика и кладовой, где хранилось белье, нашли целые груды узлов... Шубы, пальто, платье, далее мокрое белье в узлах...

– И это все на хранение отдано неизвестными людьми?

– На хранение, клянусь, на хранение... Я даже не видел многих узлов. Спрашивают: «Можно спрятать до завтра?» Можно, отчего же нельзя... И сами снесут в кладовушку...

– Да кто же это они?

– Посетители... Гости... разные... А кто именно, не могу знать...

– А клички их знаешь?

– И кличек не знаю... Дразнят их иногда кого Гусь, кого Рябчик, так ведь прозвища такие и у рабочих есть... Какое же мне дело входить в это?

В протокол занесли подробную опись всех вещей и узлов, которые тут же были опечатаны и сданы на хранение в полицейский уча-

сток. Куликов просил, чтобы объяснения его и буфетчика были занесены в протокол, что пристав и исполнил. Покончив со всеми формальностями, пристав попросил всех выйти из трактира и на замке дверей наложил сургучные печати.

Был уже четвертый час ночи, когда все было покончено. Митрич, арестованный, был отправлен с городовым в Казанскую часть, а остальные стали расходиться.

Куликов вышел на улицу.

– Куда же теперь? – произнес он вслух. – Он ждал меня и верно решил, что я обманул его! Теперь варьете закрыто... Эх! Не вздумал бы еще он обидеться? Куда? Домой идти не хочется... А что моя невеста? Что почтенная Елена Никитишна? Надо с ними кончать, а тут не вовремя эта глупая история с Митричем! Что бы им подождать, пока я продал бы заведение? Досадно...

И, рассуждая сам с собой, Куликов пошел тихонько к заставе...

Исповедь

Илья Ильич разослал гонцов во все стороны, но горничной не нашли... Очевидно, она ушла в город, но никому из прислуги ничего не сказала... Когда Елене Никитишне сказали, что горничная ушла неизвестно куда, она стала еще больше беспокоиться.

– Не могу, не могу, – кричала она, – нет больше моих сил!..

– Голубушка, Лена, успокойся, – молил Илья Ильич.

– Пригласите ко мне священника, я ему все, все расскажу... Я не переживу этой ночи! Опять столько мучений, столько призраков...

Коркин послал за батюшкой. Седой, мастиный пастырь с добрым выражением лица поспешно вошел в комнату больной. Он благословил ее и опустился на стул, рядом с кроватью. Елена Никитишна тихо плакала.

– Батюшка, – начала она, – примирите меня с совестью, с церковью, с Богом... Лучше в Сибирь идти, чем переносить такие муки...

– Говори, дочь моя, что лежит у тебя на совести.

Елена Никитишна начала свою исповедь... Слабым, чуть слышным голосом она рассказывала все то, что знают уже читатели... Пастырь с поникшей головой слушал и предлагал изредка вопросы:

– Отчего ты, не найдя мужа в его комнате, не потребовала сейчас следствия?

– Батюшка, я два месяца пролежала в чухотке... Три недели была без памяти...

– А когда поправилась?

– Я говорила, требовала, но меня Сериков уверил, что муж уехал в Петербург и все устроилось по-хорошему...

Пастырь покачал головой. Когда больная закончила, он ничего не сказал.

– Что же, батюшка, мне теперь делать?

– Поговори с мужем... Надо рассказать все это властям... Это темное дело... Нехорошее дело... Сериков умер; тебе нельзя ссылаться на него... Ты отвечаешь и за него.

– Боже! Да как же я могу отвечать, когда ничего не знаю.

– Ты сделалась сообщницей его, потому

что молчала, потакала, когда нужно было говорить, кричать. Твоя вина во всем, если окажется, что муж твой точно убит. Во всяком случае это дело должно расследовать. Страшный грех уже потому, что покойный умер без покаяния и никто не молился за него. Служила ли ты хоть одну панихиду?

– Ни одной...

– Видишь! Что ж удивительного, что совесть рисует тебе призрак несчастного убитого.

– Батюшка!..

– Ничего, дочь моя, не могу тебе сказать. Это необходимо сообщить властям. Скажи мужу, пусть он просит произвести следствие. Да свершится воля Божия! Дай Бог, чтобы опасения твои не сбылись!

– А этот Куликов?

– Я не знаю его, но не советую тебе с ним толковать. Не добро это! Первый раз он тебя видел и в твоём же доме дерзко намекнул... Мало того, потребовал, чтобы ты, мужняя жена, пошла к нему, холостому! Слишком дерзко, и добра он тебе желать не может. Скажи и об этом мужу, пусть его потребуют к прокуро-

ру, и если он говорит правду... Помни, дочь моя, что бы ни последовало, все будет для тебя лучше неизвестности и угрызений совести. Благодарю Бога, что Куликов заставил твою совесть проснуться! Покайся, пока есть еще время! А то как предстала бы ты пред Судьею Праведным на небесах?!

– Батюшка, я теперь уже чувствую облегчение: мне гораздо лучше стало после того, как я рассказала все вам.

– Совсем поправишься, когда дело расследуют. В каторге тебе лучше будет, чем теперь, потому что в каторге скорее ты можешь примириться с Богом, чем теперь, наслаждаясь жизнью и храня на совести такой ужасный грех.

Батюшка опустился на колени и помолился вместе с больной. Слова молитвы действовали на больную целительным бальзамом.

Когда священник кончил и стал прощаться, она почувствовала себя почти здоровой и позвала девушку помочь ей одеться. У нее была только еще боль в голове и общая слабость, усталость.

Когда Илья Ильич увидел чудом выздоров-

вешую жену, он чуть не заплакал от радости.

– Постой, – остановила она его, – дело гораздо серьезнее, чем ты думаешь, и радоваться тебе нечего. Я... я... убийца! Завтра, быть может, я буду сидеть в тюрьме, и мы никогда, никогда больше не увидимся.

Она зарыдала и бросилась в объятия мужа. У Коркина мелькнуло в голове, что жена сошла с ума.

– Успокойся, друг мой, ты пустое говоришь, ничего этого нет.

– Нет, нет, выслушай меня и ты сам узнаешь.

Она опустилась на диван и несколько минут молчала. В ней происходила борьба. Она решила говорить, но язык не хотел повиноваться; ее охватывал какой-то ужас. То, что она могла сказать Богу перед лицом духовника, невозможно было, казалось, громко произнести перед мужем. Она пугалась звука собственного голоса, и дыхание ее спиралось. Прошло более получаса в томительном молчании. Наконец, собрав все свои силы, Елена Никитишна начала тихо, полупшепотом, об-

рываясь на полуслове:

– Да, Илья, я убийца. Слышишь – убийца мужа. Я не душила и не рубила своего мужа. О! Нет, нет, но я попустила его убить. Я дала молчаливое согласие, я сделалась сообщницей. Ты знал Серикова, моего бывшего сожителя. Я жила с ним еще при покойном муже. Ах, он... он предложил мне... Он сказал мне, что какой-то Макарка-душегуб может дать мне свободу, может приготовить моему мужу могилу под тремя березами на берегу Волги; мы будем свободны, счастливы, будем наслаждаться жизнью – мы еще так молоды. Я слушала его. Я не кричала, не пошла предупредить мужа. Я упала в обморок. А на другой день мужа не стало. Сериков уверял меня, что муж уехал в Петербург, оттуда в Америку, что он погиб на корабле. Я не верила, но хотела верить, молчала. Я готовилась выйти замуж за него, я любила – и эта любовь заглушала совесть. Но суд Божий не допустил этого. Сериков умер, не назвав меня своей женой. Потеря любимого человека подавила во мне все другие заботы и мысли. Я вовсе не думала о покойном муже. Я жила в каком-то опьяне-

нии. Вы посватались. Я приняла предложение. Как-то все это совершилось само собой. Точно корабль, который потерял все снасти, — и волны бросают его, куда хотят. Так и я. Но корабль ищет, молит спасения, а мне было все безразлично. Я не жила, а прозябала.

Елена Никитишна смолкла. Коркин слушал ее с напряженным вниманием, и лицо его становилось все мрачнее. Сам того не замечая, он как будто перестал видеть в говорившей свою нежно любимую жену. Перед ним была преступница, сообщница какого-то Макарки-душегуба, случайно попавшая в его дом. Ему казалось, что и он в том же положении, как первый муж этой женщины. Об этом говорили ее странное поведение за последние дни, записка, которую она ему не показала. Постоянные заботливые вопросы о здоровье Куликова. Что все это значит? Может быть, Куликов исполнял роль Серикова? Может быть, они порешили уже отравлять его медленным ядом?

И по мере того, как эти мысли вихрем неслись в голове Коркина, росло его презрение к этой женщине; он выпустил ее руки из своих,

инстинктивно отодвинулся и смотрел без всякого участия на ее страдания. Она была ему в эту минуту чужая. Елена Никитишна очнулась:

– Вот видишь, Илья, ты признаешь меня убийцей! И ты меня уже обвиняешь! Ты не веришь мне, моей искренности! Я сваливаю вину на покойного. Я лгу! Я одна во всем виновата! Я сама, с помощью Макарки, умертвила мужа, чтобы получить свободу! О, боже, боже!

Коркин схватился за лоб, испугавшись своих мыслей и отгоняя вздорные подозрение.

– Глупости! Лена, ты мужа неспособна убить. Кто же поверит, что ты могла умертвить своего мужа. Не бредишь ли ты? Скажи, что все это плод твоей болезненной фантазии! Забудь все это!

Елена Никитишна отрицательно покачала головой.

– Я не в бреду. Увы! Все, что я говорю – истина. До сих пор я еще готова была верить в гибель моего мужа на «Свифте», но теперь... теперь... не может быть сомнения.

– Почему же теперь?! Что случилось теперь?!

Елена Никитишна помолчала.

– Вот почему...

И она подробно рассказала о своем разговоре с Куликовым в гостинной, о его требовании, чтобы она пришла к нему, о записке, которую получила от него, сказав, что это от модистки... Коркин вскочил.

– Куликов?! Куликов?! Так вот почему он интересовался твоим здоровьем?! Подлец! А я-то... Я чуть не приревновал тебя к нему!! Нет, я ему этого не прощу. Я...

– Постой, Илья, не торопись! Ты, конечно, вправе не верить мне, ты можешь презирать меня после всего, что ты узнал, но ты должен исполнить мою последнюю волю!

– Дорогая Леночка, жена моя!

– Постой! Я не жена тебе больше. Разве убийца мужа, любовница Серикова, сообщница Макарки может быть твоею женою?! Ты честный, добрый человек, и тебе не пара такая преступница, как я... Между нами все кончено... Но я...

– Лена, что ты говоришь?! Перестань. Я люблю тебя так же, как и прежде.

– Этого не может быть! Не обманывай себя!

Но не будем говорить о том, чего вернуть теперь невозможно! Исполни только мою последнюю просьбу. Скажи, исполнишь?

– Леночка, не убивай меня! Умоляю тебя! Приказывай.

– Теперь только девять часов утра. Поезжай сегодня же к прокурору и расскажи ему все, все, что я тебе сказала. Я поехала бы сама, но у меня нет сил. Проси, чтобы немедленно начали следствие, чтобы допросили Куликова; пусть он скажет все, что знает. Пусть разроют холмик на Волге под тремя березами, в полверсте от пароходной пристани. Я сама покажу эти березки. Ради бога, умоляю тебя, поезжай сейчас!

– Леночка, успокойся, предоставь это дело мне; я повидаюсь с этим подлецом и задушю его, если...

– Нет! Оставь! Это бесполезно! Я хочу непременно суда строгого, безжалостного, хочу каторги, виселицы, если действительно там, под холмом, лежит мой убитый муж! О! Боже, боже!!

Она тихо плакала. Коркин молчал. Он понимал, что не в состоянии не только утешить,

но сколько-нибудь облегчить горе своей несчастной жены. В таких положениях помочь невозможно. Нет выхода. Он сделал еще слабую попытку:

– А если Куликов только гнусный шантажист и ничего не знает? Может быть, все окончится несколькими пощечинами?! Позволь...

Елена Никитишна опять покачала головой.

– Я почти уверена, что преступление совершено и Куликов знает все подробности. Я это чувствую. Если это так, то одна лишь каторга примирит меня с совестью. Во всяком случае, одно следствие, самое строжайшее следствие может раскрыть все. Умоляю тебя, поезжай к прокурору.

– Твое желание, Леночка, всегда было для меня законом. Если ты непременно требуешь – изволь.

– Ах, милый, милый... Благодарю тебя. Поезжай скорей, я с нетерпением буду ждать твоего возвращения.

Коркин встал, поцеловал руку жены и вышел. Он был бледен, как полотно, и чувство-

вал, что ноги его подкашиваются. За тот час он постарел на несколько лет.

Когда муж вышел, Елена Никитишна опустила голову на подушки и закрыла глаза. Она была в эту минуту счастлива, как никогда в жизни! В мозгу ее воскресло счастливое, веселое детство в родительском доме, беззаботные игры на привольных полях Волги, катание в утлом челноке с подругами, песня бурлаков, раскатывавшаяся печальным, заунывным эхом. Со времен этого детства у нее не было светлой минуты в жизни. Сначала мрачная жизнь с болезненным стариком мужем, потом воровские, тайные свидания с возлюбленным, затем ужасное преступление, тяжелым камнем давившее на сердце. Наконец, смерть Серикова и какое-то угнетенное прозябание после. Она не смела никогда думать о прошлом, боялась будущего и тяготилась настоящим. Одна гробовая доска могла, казалось, успокоить ее.

И вдруг... вдруг теперь она счастлива, как была во времена детства. Тяжелый камень сброшен. Мир в душе, надежда на будущее и свобода, свобода совести!

О, как она счастлива!

21

Розыски

Ганя ожила. У нее нашелся, кроме Николая Гавриловича, еще один союзник – совершенно новая личность, появившаяся на их горизонте и случайно попавшая в дом Петухова. Это был начетчик-раскольник филипповского согласия, Дмитрий Ильич Павлов, посетивший Петухова, как бывшего их сочлена, присоединившегося впоследствии к единoverчеству. Петухов порвал все отношения с покинутым им согласием, но Павлов пришел просить его совета по случаю своего тоже присоединения к церкви. Тимофей Тимофеевич очень любезно принял нового знакомого, изъявил полную готовность помочь ему и в первый же визит оставил его обедать. Представляя Дмитрию Ильичу дочь, старик прибавил:

– Поздравить можете. Невеста. Скоро свадьба.

– За кого, позвольте полюбопытствовать?

– За Куликова. Сосед наш, содержатель «Красного кабачка».

Павлов вытянул свою длинную шею, вытаращил глаза и наморщил лоб.

– За кабатчика? – переспросил он.

– Это только название «кабачок», хороший трактир.

Павлов взъерошил свои начинавшие сесть волосы и, сделав самую кислую гримасу, произнес:

– А я слышал, что кабак Куликова – притон всех бродяг и мазуриков Горячего поля, что сам Куликов очень темная личность и что трактир его на днях полиция опечатала.

– Пустяки! Вы верно что-нибудь путаете!

– Может быть, только фамилию Куликова я хорошо запомнил. Это у самой заставы.

– Да, у заставы, только это очень приличное заведение.

– Не смею спорить, но если позволите, я проверю и в следующий раз точно сообщу вам. А позвольте спросить – Агафья Тимофеевна увлеклись верно женихом?

– Сначала он ей не нравился и она слышать не хотела, а потом ничего... понравил-

ся... сама теперь свадьбой торопит.

Павлов пристально посмотрел на Ганю и заметил, как она вздрогнула, побледнела и опустила голову.

«Гм! – подумал он, – влюбленные краснеют, а не бледнеют. Нет, тут что-то не ладно».

Вид кроткой, красивой девушки, пугливой, как птичка, робкой и покорной, как дитя, тронул Павлова, и он тут же в душе дал себе слово разузнать, в чем здесь дело.

– Только не могу вот понять: что это с женихом случилось? Вторую неделю не вижу. Посылал справиться, сказали дома нет, – проговорил Петухов после небольшого перерыва.

– Если это тот Куликов, то весьма возможно, что он...

Павлов поперхнулся. Слово «арестован» не сошло у него с языка; все-таки ведь жених. И сказать такое предположение будущему тестю гость не решился.

– Что, что? – спросили в один голос отец и дочь.

– Что... что он уехал или занялся ликвидацией дел после закрытия заведения.

– Нет, помилуйте, разве он уехал бы, не по-

видавшись и не предупредив нас, – отвечал Петухов.

Павлов и сам понимал, что сказал глупость, но ничего другого он не нашелся сказать. Он продолжал пристально следить за девушкой и видел, как она взволновалась, но это волнение не было беспокойным трепетом влюбленной, боящейся за своего жениха. Со всем нет.

«Э-э... Да не согласилась ли она выйти за жениха под каким-нибудь гнетом, помимо своей воли», – думал Павлов.

– Ганя, – спросил отец, – а где Николай Гаврилович? Я не видал его в конторе и к обеду он не явился. Он ничего тебе не говорил?

– Он в город с утра уехал с образчиками.

– Куда?

– К ротмистру Галкину насчет кавалерийских седел.

– Да, да, он говорил мне. А ты теперь все время на заводе сидишь?

– Я хочу познакомиться, папенька.

– Хорошо, хорошо, но у тебя столько теперь хлопот с приданным; я просил тетку Анну приехать к нам погостить и помочь тебе; мне ду-

мается, ты одна не справишься.

– Благодарю, папенька, я пока справляюсь...

– Денег у тебя довольно?

– Довольно.

– А ты не знаешь, какой я тебе свадебный подарок приготовил! Не скажу, до самого дня свадьбы не скажу! Кстати: вы не уговаривались еще о дне?

– Нет, я не видала Ивана Степановича с самого сговора. Помните, когда шипучее пили. С тех пор он у вас раз был, но меня дома тогда не было, а больше он и не являлся.

– Наверняка готовится к свадьбе! Дел-то поди не мало!

Они встали из-за стола. Павлов поблагодарил старика за любезность и просил позволения уйти на днях. Уходя, он крепко пожал руку Гани и тихо спросил ее:

– Мне кажется, вы несчастны, правда? Угадал я? Простите за откровенность.

Ганя потупила глаза и, хотя ничего не сказала, но душевные страдания ясно отразились на ее лице.

– Хотите, чтобы я помог вам, чем могу? –

Голос Павлова звучал нежностью, совсем не вязавшеюся с его рослой, крупной фигурой.

– Да, – прошептала девушка.

– Благодарю вас за доверие. Мы поговорим с вами следующий раз. Я приду на завод и там мы увидимся.

– Спасибо, – проговорила девушка, сквозь слезы.

Надежды Гани росли с каждым днем. Николай Гаврилович разузнал по разным канцеляриям, что Куликов записался во временные петербургские второй гильдии купцы по паспорту орловского мещанина, 46 лет от роду. Никто из торгующих купцов и трактирщиков не знал Куликова и не мог сообщить о нем никаких сведений. Тогда Степанов послал в Орловскую мещанскую управу подробный запрос с просьбою в скорейшем времени сообщить все сведения об их мещанине Куликове. Ответа еще не было, но Степанов пошел дальше. Он обратился к градоначальнику с заявлением относительно трактира Куликова, сделавшегося резиденцией бродяг и душегубов, причем оргии и дебоши черной половины трактира наводят страх на всех обитате-

лей заставы. Вследствие этого заявления был произведен внезапный обыск в трактире, и жалоба Степанова вполне подтвердилась. Местный пристав сочувственно выслушал рассказ Степанова о сватовстве содержателя «Красного кабачка» и со своей стороны обещал помощь.

Теперь появился новый союзник – Дмитрий Ильич Павлов, человек солидных лет, пользующийся общими симпатиями за свою безупречную подвижническую жизнь; его помощь может быть очень серьезна и важна, потому что авторитет Дмитрия Ильича с переходом в единоверие возрастет и в глазах старика Петухова.

Ганя последние дни окрепла, несколько поправилась и похорошела. Она стала даже смелее в обращении с отцом и самоувереннее в своих поступках. Сознание, что она не одна, что у нее есть поддержка, придавало ей бодрости. Но благотворнее всего на нее влияло исчезновение Куликова. У нее иногда рождалась смутная надежда, что, может быть, Куликов совсем отступился от нее.

– И в самом деле, – рассуждала она, – какой

интерес ему связать свою жизнь с моей, когда я ему прямо говорила, что он мне противен, что я никогда не в состоянии его полюбить!.. Денег ему не нужно, он сам богат, а миллионов за мной он не получит... Ну, и бросил!..

Ганя только что накинула платок и собралась после обеда сходить на часок в контору, как за ней прибежала горничная.

– Агафья Тимофеевна, пожалуйста к папеньке, вас зовет, Иван Степанович приехал...

Если бы в этот момент на девушку вылили ушат холодной воды, то она меньше бы испугалась и взволновалась... Она оцепенела и застыла на месте.

– Приехал, приехал, – шептали ее губы... – О, боже!..

– Идите скорее, папенька ждут, – проговорила горничная и скрылась.

– Идти... Идти... да, надо идти... Иду... иду...

И нетвердую походкою она пошла в кабинет к отцу. Куликов при ее появлении встал, пошел навстречу и любезно поцеловал у нее руку. Гане показалось, что он изменился, осунулся и выглядел скромнее, чем обыкновенно... Впрочем, она плохо видела и вообража-

ла, когда встречалась со своим женихом... У нее отнимался язык, заволакивался туманом рассудок и парализовались все чувства. Один безотчетный страх, почти ужас поглощал ее...

– Ганя, – произнес старик, – Иван Степанович, оказывается, был болен, а мы и не знали! Кто это ходил справляться к нему?

– Болен? Да? Кто ходил? Куда ходил?..

– Да что ты, точно глухая; кого мы послали к Ивану Степановичу?

– Кого послали? Ах, да... Миша ходил, сказали дома нет...

– Оказывается, никого не было у него! У кого Миша справлялся?..

– Пустяки, Тимофей Тимофеевич, я и так благодарен вам за внимание, расскажите лучше, что у вас за это время было? Как поживала моя невеста? Готовится ли Агафья Тимофеевна к свадьбе?

– А это уж ваше дело, детки! Как хотите, так и готовьтесь.

– У меня теперь скандальная история с моим кабачком вышла.

– А мы слышали уже, – в один голос произнесли отец и дочь.

– От кого вы слышали?

– Дмитрий Ильич Павлов рассказывал, начетчик филипповцев.

Куликов сморщил лоб, как бы припоминая что-то.

– Нет, не имею понятия о таком начетчике. Так, изволите ли видеть, запечатали мой «кабачок». Буфетчик оказался сбытчиком краденых вещей... А я-то тут при чем?!

– Разумеется. Вам жаловаться следует.

– И буду жаловаться, непременно! Это все пристав здешний что-то недоволен мною. Убытки искать буду!

– Вам бы развязаться с заведением! Берите лучше в управление наш завод, дела по горло будет.

– Я уж думал об этом... Ищу покупателя. Закрывать не хочется, мне отделка тридцать тысяч обошлась с правами.

– Зачем же закрывать, найдутся охотники.

– Агафья Тимофеевна, а в самом деле, когда же наша свадьба? – обратился Куликов к девушке, которая сидела в стороне, не принимая участия в разговоре.

Вопрос Куликова заставил ее очнуться от

забытья.

– Свадьба? Свадьба... Я еще не думала...

– Как не думали? О свадьбе не думали?

– О свадьбе-то я думала, только о дне не думала...

– Да, давайте, Ганюшка, скорее играть свадьбу. Вы позволите мне называть вас Ганюшкой?

– По-жа-луй-ста...

– Ну, вот! Так, Ганюшка, отложите вы свои заветы, давайте на будущей неделе под венец станем. А насчет приданого, если что не готово, можно и после кончить! Как вы, папенька, скажете? Правда, Ганюшка?..

– Моя хата с краю, я на все согласен, дело ваше, – добродушно произнес старик.

– Я... я... право... не знаю... так... скоро... – девушка с трудом произнесла слова, ее трясло, как в лихорадке.

– Вашу руку, Ганюшка, пройдемся на завод.

Ганя покорно встала, взяла Куликова под руку, и они вышли. Куликов чувствовал, как рука девушки дрожала.

– Послушайте, Агафья Тимофеевна, – начал Куликов, когда они шли по лестнице, – что

это значит?

– Что такое?

– Вы как будто намереваетесь изменить вашему слову?

– Из чего вы это видите? Нет, я ничего... я...

– Почему вы находите, что на будущей неделе слишком скоро венчаться? Для чего вы тянете?

– Я вовсе не тяну. Вы забываете, что вы сами больше недели скрывались и не сочли нужным даже уведомить нас. Миша справлялся два раза, и оба раза вас не было дома.

– Не стану с вами спорить. Пусть будет так, но во всяком случае это объясняется серьезными делами, о которых вы не можете, как девушка, судить. За мной нет задержки, и я могу завтра вести вас в церковь. Задержка за вами.

– Иван Степанович, я хотела бы венчаться после Рождества, то есть в январе.

– По какой причине?

– Просто так. Я хочу лучше освоиться со своей ролью будущей вашей жены, ближе к вам присмотреться.

– Простите, Агафья Тимофеевна, я не жду,

чтобы, приглядываясь ко мне, вы сделались нежнее. Эта проволочка бесполезна, и я решительно не согласен на нее.

– Просить вас я не решаюсь, требовать не могу.

– Вы могли бы требовать, если бы предоставили какие-либо веские основания. В самом деле, если вы затягиваете в расчете на случайное расстройство свадьбы, то чего ради я буду на это соглашаться. Скажите по совести, ведь вы на это именно рассчитываете?

– Да, – прошептала девушка.

– Благодарю за откровенность!.. И так, значит, вы согласны венчаться на будущей неделе?

– Сог-лас-на...

– День?

Ганя усмехнулась. Эта улыбка походила на смех во время истерики.

– Разумеется, воскресенье.

– Потому что это последний день недели, крайний.

– Да...

– Я хочу быть великодушным, я чувствую прилив нежности и желаю доставить вам

удовольствие. Извольте. Я согласен.

– Благодарю вас! А теперь позвольте мне оставить вас.

Ганя выпустила его руку и пошла домой.

22

Расправа

Утро было хмурое, туманное, пасмурное. Сентябрь вступил в свои права, и на Горячем поле осень отражалась еще непригляднее. Вчерашняя ночь – тихая и теплая – была как бы последней лебединой песней бабьего лета.

Допрос Федьки-домушника окончился. Когда спички были найдены в его кармане, он сознался, что по приказанию Сеньки зажег хворост, наваленный на избушку Тумбы.

– Отчего же вы не бежали тотчас после поджога? – спросил один из толпы. – Боялись, что огонь плохо примется и придется подпалить с другой стороны?

– Я не смел бежать.

Сенька лежал все время связанный и не испустил ни одного звука. Дошла очередь и

до него. Тумба подошел к нему и ткнул носком сапога в нос.

– Ты, собака, слышал, что говорит твой приятель? Расскажи нам, правда ли все это?

Сенька искривил рот от боли и стиснул зубы.

– Ты что же? Говорить не хочешь?! Ой, смотри, заставим! Настенька, достань-ка мой ремень!

– Будешь отвечать?

Молчание.

– Дай ремень!..

В воздухе раздался свист. Сенька перевернулся на траве. Еще такой же удар. Он застыл и заскрежетал зубами. Опять ремень рассек воздух.

– Разбойники, – простонал Сенька.

– Ой ли? Добряк!

Опять удар, на этот раз еще сильнее прежних, и Сенька, как мячик, подпрыгнул на воздухе.

– Говори, – произнес повелительно Тумба.

– Нечего говорить, – ответил глухо Сенька.

– Говори, что ты хотел со мной и моей семьей сделать?

– Спалить.

– Ага! Ну, брат, долг платежом красен! Если тебе не удалось меня спалить, то мне удастся тебя спалить? Ей, Федька, устраивай-ка другой костер!

– Проклятье! – простонал Сенька.

Тумба отошел в сторону и стал совещаться с громилами.

– Как, братцы, думаете? Положить их обоих на костер с Федькой? Или...

– Оставь, Тумба, постегай и отступись! Не бери лишнего греха на душу, – произнес молодой бродяжка с курчавыми светлыми волосами и с глубокими задумчивыми голубыми глазами; высокий, статный, он даже в рубище имел симпатичный вид и располагал к себе.

Интересна участь этого бродяги. Антон Смолин ребенком был привезен в столицу и отдан в ученье. В деревне родители давно умерли, надел его перешел к соседу женатому с семьей. Антон порвал всякую связь с деревней и сделался настоящим горожанином. Он служил честно и усердно у своего хозяина, но год тому назад хозяин закрыл лавку и распустил служащих. В расчет Андрею пришлось 8

рублей с копейками. Он стал искать места, скоро проел свои 8 рублей и стал сильно нуждаться. Пришлось посещать постоянные дворы, завести знакомство с темными личностями. Однажды, в то время как он сидел в компании с другими посетителями постоянного двора, нагрянула полиция и забрала их всех. Забрали и его, как члена общей компании. Среди забранных оказались настоящие душегубы, беглые, ссыльные и разыскиваемые громилы.

– А ты кто? – спросили Антона. Он назвался!

– Чем занимаешься?

– Ничем. Без места.

Его выслали «на родину». Выслали по этапу. Он пережил все мытарства этапного порядка, побывал во многих тюрьмах, встретился со многими профессиональными злодеями и, в довершение всего, появился «на родине» арестантом № 742! Деревня, в которой он не бывал с детства и не имел там никого близкого, которая ждала от него «увольнительного» прощения и давно не считала уже своим, встретила арестанта № 742 со злобой, враж-

дебно, почти с ужасом. В деревне у самих с февраля до урожая почти есть нечего, а тут получайте еще голого арестанта! Антон Смолин видел и понимал все это. Единственный выход было обратное путешествие в Петербург, несмотря на запрещение возвратиться в течение 3 лет. И вот, голодный, без паспорта и гроша денег, Антон перекрестился на видневшийся купол сельской церкви, поклонился на все стороны и вышел на большой тракт, чтобы идти обратно в Питер. Не легка была ему эта дорога, долго шел он. Желтый от загара, худой от усталости и голода, полубольной от переутомления появился он у заставы, не рискуя войти в город. О! С какой радостью отдал бы он теперь полжизни за место чернорабочего, за руку помощи какого-нибудь сердобольного человека. Но он – беспаспортный бродяга, самовольно вернувшийся в столицу, и к тому же ослабел настолько, что не только работать, а на ногах держаться может с трудом! Роковое «что делать» не находило ответа. В таком положении призрел его на Горячем поле Гусь. С тех пор Антон перешел в число громил под кличкою «Антошка Мышкин».

– Тумба, не проливай напрасно крови, – молил Антошка, указывая на связанного Сеньку и трясущегося Федьку.

– Погоди, других послушаем, ты ведь известный тихоня! Тебе не громилой быть, а в няньках служить. Тебе не только человека, а клопа, кажется, не убить.

– Не убить, правда, но неужели тебе, Тумба, доставляет удовольствие душить и резать людей? Ты ведь не Макарка-душегуб!

– Признаюсь, приколоть этого мерзавца доставило бы мне большое удовольствие! Не забывай, что только сыну своему я обязан тем, что этот злодей не превратил меня в бифштекс! Что же, братцы, решайте.

Все молчали. У всех было тяжело на душе. Сенька с товарищем бесспорно заслуживали казни, но они свои. А это в глазах громил было высшею заслугою. Первый заговорил Пузан Мурманский.

– Подлецы они – это верно, и придушить их надо, а все-таки... Посечь бы хорошенько, да и ну их к чертям! Впрочем, братцы, решать это должен Тумба один. Его подпалил Сенька, ему грозила опасность, он и метить должен.

Его воля.

– Верно, верно, – раздались голоса. – Если Тумба прикажет, сейчас вздернем.

– Я передал их судьбу, – ответил Тумба, – на ваше решение, и мы сделаем, как решит большинство. Двое – Пузан и Антошка – за помилование.

– Нет, нет, – откликнулся Пузан, – я только за смягчение. Помиловать нельзя.

– Значит, двое за порку, дальше, братцы. Рябчик, ты как?

– Худая трава из поля вон! Я за смертный приговор. Сенька не наш; выпустим его, он еще полицию сюда приведет!

– Помните, что вы не скоро заберете его опять в руки; это редкость, что он лежит связанный; не упускайте случая, – подтвердил Вьун. – Надо свести с ним счеты. Спросите-ка его, зачем он явился сюда незванный? Не вьземцы ли прислали его высмотреть все у заставных и после донос сделать. Помните, как он предал Сморчка!

– Сенька, зачем ты пришел вчера? – спросил Тумба.

– В гости!

– В гости без приглашения не ходят. Говори!

Молчание. Тумба взмахнул ремнем.

– Нечего мне говорить, сказал: в гости!

– Врешь.

Ремень свистнул в воздухе, и Сенька конвульсивно перевернулся. Рябчик засмеялся.

– И тяжелая же у тебя рука, Тумба.

– Да, по два куля шутя ворочаю.

– Дай ему еще раз. Вот так.

Удар был еще сильнее. Тумба точно похвататься хотел силой.

– Посмотреть хотел, – простонал Сенька.

– А-а... Посмотреть! Ну, посмотри, посмотри.

И еще два таких же удара.

– Братцы, а Федька-то где? – воскликнул Пузан. – Удрал!

– Лови его, держи, – закричало несколько голосов, и все бросились в кусты.

– Ах, bestия, надо было его скрутить. Жаль, собаки нет, не найдешь, пожалуй, в кустах.

– Найдем.

Несколько человек пустилось врассыпную. Антошка с каким-то отвращением смотрел на

корчившегося, посиневшего Сеньку, который начал слабо стонать.

– Кончали бы с ним, – обратился он к Тумбе.

– Чего кончать? Еще не решили. Надо того поймать. Оба ведь должны ответ держать. А ты раскис? Эх, горе-громило!

– Посмотри, он умирает уж, кажется!

– Не умрет... Нашего брата не так легко убить... Сенька!

Ответа нет...

– Сенька, – повторил Тумба и щелкнул в воздухе ремнем.

– А... – отозвался Сенька и открыл глаза.

– Видишь? Небось не сдохнет.

Антошка отвернулся.

– Сенька, ты меня любишь? – спросил смеясь Тумба.

Тот ничего не ответил.

Тумба ударил его носком сапога в нос и повторил вопрос. Из носа связанного брызнула кровь. Он зашевелился.

– Любишь меня, я спрашиваю.

Сенька приподнял голову и с ненавистью посмотрел на своего палача.

– Будь проклят, – произнес он.

– Что?! Ах ты, песий сын!..

И Тумба ударил его несколько раз кнутом с плеча.

– Говори, любишь?

– Нет!..

– Вот же тебе, вот тебе, – продолжал Тумба, нанося удары.

– Люблю... – простонал Сенька.

– Ну, то-то...

– Антошка, ты прошел бы по кустам, посмотрел беглеца, – сказал Тумба, – а я при-
смотрю за этим...

И он толкнул связанного ногою. Между тем кровотечение у Сеньки усиливалось, и он захлебывался в собственной крови.

Тумба стал расхаживать по поляне. Все ушли на поиски. Настенька вышла кипятить воду и готовить чай. Годовалый Тумбачонок ползал около избушки. Солнце было уже высоко.

– А Федька-то сбежал, – задумчиво произнес Тумба.

– Смотри, – закричала Настенька, – Сенька веревки рвет.

Тумба подбежал к связанному, который освободил уже руки и рвал веревки на ногах.

– Ты что делаешь, – закричал Тумба. Сенька в изнеможении упал головой на землю.

– Ишь, песий сын, чего захотел!.. Какие веревки разорвал.

Тумба придавил ему грудь коленом и стал перевязывать.

– Теперь не раскрутишь, – прибавил он и засунул ему под лопатки, под мышками, толстый кол. Сенька не шевелился. Тумба дал ему несколько ударов ремнем и, посвистывая, пошел опять по поляне. Никто еще не возвращался.

Прошло больше часу. Вскипел котел. Настенька заварила чай и налила две кружки. Моросил дождь, и густой туман опустился на поляну.

– Сегодня в ночь у нас два хороших дела, – задумчиво говорил Тумба. – Если удастся, я тебя снабжу необходимым и отправлю в деревню. Здесь становится плохо. День ото дня будет хуже... Довольно... Пожили.

– А ты?

– Мне нельзя отсюда выбираться. Еще го-

дик-другой поживу, а там... видно будет. Эх, жисть наша! Иной раз вспоминаешь былое, когда...

– Тумба, не нашли, – произнесли Рябчик с Вьюном, вернувшиеся из кустов.

– Ушел, ракалия, ну, его счастье! А другие где?

– Надо звать.

Тумба встал и несколько раз протяжно свистнул. Послышались ответные свистки.

Через несколько минут все собрались и уселись вокруг котла.

– Опохмелитесь, братцы, по стаканчику? – предложил Тумба.

Настенька принесла бутылку и стаканы. Все выпили, закусили и принялись за чай.

– Так что же, братцы, с Сенькой делать?

– Постегай его еще хорошенько да пошли к черту?

– Не стоит связываться. Ну его?

– А по-моему, вздернуть!

Тумба стал считать голоса. Из девяти только три высказались за казнь.

– Ну, судьба ему, значит, пожить.

– На, Рябчик, ремень, пойди, поласкай при-

ятеля, – сострил Тумба, передавая кнут, – я устал уже.

– А мы посмотрим, да хорошенько!..

Рябчик засучил рукава и подошел к Сеньке. Он наклонился, посмотрел, потрогал.

– Братцы, да никак он помер! – воскликнул он. Все встали и подошли к лежавшему. Тумба разрезал веревки, пощупал руки. Труп начал уже холодеть.

– Кончился... Скоро...

Все сняли картузы и перекрестились.

– Ну, вечная память! Судьба! Мы решили отпустить...

– Что же, хоронить надо?

– Так нельзя оставить. Поверх земли не бросают.

Трое перенесли труп Сеньки в лес. Настенька вызвалась обмыть. Пошли за лесок копать могилу.

Часа через два тело Сеньки-косого понесли к месту вечного упокоения.

Убийство камердинера

Петербург был встревожен новым страшным злодеянием. Вышедшие 18 сентября газеты были переполнены описанием подробностей неслыханного, дерзкого убийства с целью грабежа. На одной из людных улиц столицы, в квартире находящегося за границей графа Самбери найден убитым его камердинер, причем разграблены все ящики и шкафы. В роскошной квартире графа не было никого, кроме старого верного слуги Антона Шпата, прослужившего более двадцати лет камердинером. Кроме Антона при квартире находился еще метрдотель Игнатий Левинсон, но его два дня не было дома. Убийцы, по видимому, были впущены в квартиру самим покойным, потому что все двери и наружные запоры оказались в целости. Антона видели в 6 часов вечера, а в 10 часов убийство было обнаружено дворником, заметившим, что дверь квартиры графа на черной лестнице не заперта изнутри. Он вошел в кухню, прошел в ка-

бинет и здесь на пороге увидел окровавленный труп камердинера.

Немедленно были приглашены полиция, врач, судебные власти. При осмотре трупа на шее найдена глубокая, безусловно смертельная рана. Одна рана и ничего больше – никаких признаков борьбы или насилия! Определить сумму или размеры грабежа было невозможно за отсутствием владельца квартиры, но, по отзыву банкира, хранившего суммы графа Самбери, покойный Антон только что получил 30 тысяч для производства разных платежей и расходов. Эти деньги, бывшие частью в банковских билетах, исчезли бесследно, вместе с бриллиантами и драгоценностями, хранившимися в ящиках письменного стола.

Рассказывая об этом зверском убийстве, газеты прибавляли, что метрдотель Игнатий Левинсон разыскивается судебным следователем и вся полиция поставлена на ноги.

На самом деле разыскивать Левинсона вовсе не приходилось. Он явился сам на другой день утром и был поражен происшедшим. Его алиби не подлежало никакому сомнению.

Каждый час своей отлучки, где был и что делал, он доказал рядом свидетельских показаний; при обыске у него не нашли даже тени или намека на причастность к убийству. Но самым важным аргументом в пользу его невиновности являлась обстановка совершения преступления. Смертельный удар камердинеру, взломы замков – все указывало на опытные руки старых громил и душегубов. Только настоящий заправский разбойник может так верно рассчитать удар и так сильно, безошибочно его нанести. Одни громилы умеют так искусно выковыривать замки, почти не повреждая самых ящичков комодов или столов. Наконец, положение трупа, отсутствие каких-либо следов, удобное время и прочее. Дознание было поручено опытнейшему следователю, который сейчас же решил, что Игнатий тут ни при чем, а убийц надо искать среди громил Горячего поля или Вяземской лавры. Но как искать? Опросили всех жильцов дома. Никто не видел вечером подозрительных личностей. Только младший дворник заметил какого-то оборванца, выходящего из ворот.

– Оборванца? – воскликнул следователь. – Вот, вот! Так и есть! Этот оборванец был или убийца, или его сообщник. Не видал ты, как он выглядел? – допытывался следователь.

– Я мельком его только видел. Молодой парень, высокий.

– Не было ли на нем крови? Не бежал ли он?

– Не заметил. Он шел спокойно, не торопясь.

– Ты не разглядел! Наверное, кровь была. Но что это за человек?

Передопросили всех кухарок, прислугу, служащих, жильцов.

– Какого-то оборванца и я видела на дворе, – произнесла прачка Мария, – только в окно не разглядела.

– Высокий? Молодой?

– Да, высокий, кажется, молодой.

– Теперь не может быть сомнения! Убийца-оборванец скрывается где-нибудь в трущобах.

Графу Самбери дали телеграмму, и он приехал в Петербург через несколько дней. При подробном осмотре всех взломов оказалось,

что, кроме 30 тысяч, только что полученных убитым камердинером, исчезло до ста футляров с драгоценными вещами на сумму около 25 тысяч. Граф не мог дать никаких нитей к раскрытию убийства.

– Не было ли у камердинера каких-нибудь знакомых, приятелей? Не пил ли он?

– Право, не знаю что сказать.

– Не подозреваете ли вы кого-нибудь из своей бывшей прислуги? Не увольняли ли вы кого-нибудь перед отъездом?

– И того не могу вам сказать. Эти сведения вы можете получить у моих служащих.

– Все служащие опрошены, сведения собраны, но результатов никаких. Может быть, лично вы сделаете какое-нибудь предположение или указание?

– Решительно никакого. По моему мнению, если бы подозревать кого-нибудь, то скорее всего Игнатия. Это человек беспутного поведения, нехороший, и я сказал ему, что по возвращении из-за границы я его уволю.

– О! Нет! Личность вашего Игнатия была заподозрена прежде всего, он был даже арестован. Но теперь установлено положитель-

но, что убийство и грабеж совершены посторонними лицами, какими-нибудь рецидивистами-громилами.

– А вы не допускаете, что Игнатий мог быть с ними в стачке, помочь им?

– Невозможно. Мы проследили шаг за шагом всю жизнь вашего Игнатия, где он бывал, что делал, с кем вел знакомства. Он не мог сталкиваться с бродягами, потому что вращался совсем в другом кругу. Он постоянный посетитель кафешантанов, ресторанов, театров. Его знакомые – все люди солидные. Мы установили, что гораздо раньше убийства он вел мотовской образ жизни и тратил не меньше 400–500 рублей в месяц. Не подлежит сомнению, что он обкрадывал, но это было до убийства. Последнее время он был дружен и часто посещал трех лиц: содержателя «Нанкина» Сероглазова, главного приказчика магазина Канарейкина, Семена Соколова, и содержателя «Красного кабачка» Куликова. У последнего он пробыл весь день 17 сентября, когда совершено убийство, и они вместе были в ресторанах, ездили за заставу к Куликову и вечером в «Варьете». Все это установлено ря-

дом свидетелей, так что не может быть никакого сомнения!

– В таком случае я ничего не могу сказать! Игнатия я уже уволил.

– Как угодно. Нам он не нужен даже в качестве свидетеля.

По распоряжению следователя, два чиновника набросали, со слов графа, приблизительные виды пропавших драгоценностей; эти рисунки были литографированы и разосланы во все ювелирные магазины, ломбарды и лавки, торгующие золотом, с обязательством непременно задержать и представить в полицию человека, который принес бы подобные вещи продавать или закладывать. Обыкновенные громилы торопятся сбывать добытые преступлением ценности, и если бы кто-нибудь явился с похищенным футляром, то напасть на след убийц было бы не трудно. Мало того. За всеми грязными трактирами и вертепами был установлен строгий надзор, и каждая личность, сколько-нибудь подозрительная, немедленно задерживалась и опрашивалась. И, несмотря на все эти меры, убийство камердинера оставалось загадочным и нерас-

крытым.

Прошло около недели – ничего нового не было открыто. Граф Самбери уехал назад, за границу, кончать курс лечения на водах. Убитого Антона Шпата похоронили с большой торжественностью, как верного и честного слугу, ставшего жертвой своей службы... Его ведь убили только как камердинера, которого нельзя было подкупить и склонить на кражу. Он мешал злодеям и за это погиб, хотя лично против него никто ничего не имел. Граф выдал на его похороны тысячу рублей и обещал вознаградить родственников покойного, если они найдутся.

Кровавое дело 17 сентября начинало уже забываться, сменившись другими злобами дня, как вдруг в газетах появилось лаконичное извещение:

«По слухам, полиции удалось напасть на след убийцу камердинера. Задержан неизвестный человек, пытавшийся сбыть одну из похищенных убийцами драгоценностей. К обнаружению личности задержанного приняты меры».

Сообщенные слухи оказались отчасти до-

стоверными... Действительно, к одному из ювелиров явился прилично одетый господин с заказом приготовить свадебный подарок невесте. Господин просил сделать массивный гарнитур, то есть серьги, брошь и браслет с крупными бриллиантами.

– Камни я прошу вас вынуть вот из этого браслета.

И он вынул из кармана футляр с браслетом, в котором горели чудные солитеры.

Ювелир пристально посмотрел на вещь, взглянул на господина, потом достал из ящика литографированный рисунок и сличил.

– Посмотрите, – произнес он, – не может быть сомнения, что это тот браслет.

– Какой тот! – воскликнул господин и страшно побледнел; его руки задрожали, так что он выронил футляр.

– Этот снимок с браслета графа Самбери, похищенного при убийстве его камердинера 17 сентября. Вы верно читали в газетах?

– Что вы болтаете вздор! Это мой фамильный браслет. Я... – И господин назвал громкую фамилию.

– Простите, но я имею строжайшее прика-

зание задержать всякого, кто явится с вещами, похожими на эти снимки.

– Вы, кажется, хотите разогнать всех своих заказчиков?! Это мне нравится!! Даже браслеты, а тем более бриллианты бывают похожи! Значит, вы всех будете задерживать?!

– Но такое сходство!

– Я не вижу полного сходства, хотя похожее есть. Извольте. Я доставлю вам удовольствие. Потрудитесь взять мой браслет, ваш рисунок и поедemте вместе к следователю.

– Ах, очень вам благодарен, очень, очень, – засуетился ювелир. – Простите, но ведь наше положение щекотливое. Строгое приказание... Нам это очень неприятно, но мы обязаны.

– Хорошо, хорошо, одевайтесь и едем, мне некогда, мы дорогою поговорим о подробностях работы. У меня будет для вас еще несколько заказов к свадьбе. Я женюсь на княжне. – И господин назвал старинную княжескую фамилию!

– Сейчас, сейчас, я только пальто и галоши одену.

– Одевайте... Вот мой кучер.

Господин небрежно повернулся, лениво открыл дверь.

– Готовы? – спросил он.

– Иду, иду, – слышался голос ювелира.

Приказчик стоял почтительно.

– Вот и я! – выскочил из соседней комнаты ювелир. – А где же господин?

– Они только что вышли к кучеру, – ответил приказчик.

– А браслет где и чертеж?

– Они взяли с собой.

Ювелир бросился к двери и выскочил на улицу. Вдали виден был кузов пролетки и спина господина.

– Держи, держи, – заорал ювелир во все горло и помчался по мостовой. Он растерял калоши, распахнул пальто, бежал и орал.

Прохожие останавливались и с удивлением смотрели на него.

– Сумасшедший?

– Держи, держи, – кричал несчастный, начиная задыхаться.

– Кого держать, – догнал его городской.

– Вон, вон, господин поехал.

– Где?

– Вон, вон.

– Да это едет какая-то дама.

– Нет, там, там впереди.

– Да, там никого нет. Пойдите, скажите, в чем дело.

Впереди не было уже никакой пролетки с господином. Та пролетка давно скрылась из виду... Задышающийся ювелир упал на руки городского. Только через четверть часа, придя в себя, он рассказал все, что произошло. Когда на другой день он повторил рассказ у следователя, тот не выдержал:

– Что вы за младенец?! Отчего вы не послали приказчика за полицией?! Вы не должны были ничего говорить неизвестному!

– И чертеж увез!

– Расскажите его приметы.

– Солидный господин лет сорока, с окладистой русой бородой. Богато одет.

– И только?

– Больше я ничего не разглядел.

– Приведите своего приказчика. Может быть, он лучше рассмотрел.

– Ах я, телятина, – повторил ювелир, – не мог приказчику сказать подать мне пальто и

калоши; да в голову не пришло!

24

«Прости»

Елена Никитишна ожила и к вечеру в тот же день чувствовала себя совершенно здоровой. Очевидно, физически она ничем не страдала, а вся ее болезнь была душевная, нравственная... Как только она вышла из-под гнета давившего ее кошмара, облегчила себя исповедью, избавилась от неизвестности и шантажа, у нее явилась сила, вернулась энергия, она повеселела, как бы помолодела. Такой оживленной, жизнерадостной, бойкой никто никогда ее не видал!.. Окружающие привыкли видеть ее постоянно сосредоточенной, серьезной, молчаливой, несколько сумрачной и никогда не улыбавшейся... А тут Елена Никитишна порхает по комнатам, напевая какой-то мотив, и весело болтает со всеми проходящими. Она ждала возвращения мужа от прокурора с радостным нетерпением, точно речь шла о получении какого-нибудь интересного подарка или приятной но-

ВОСТИ...

«Так вот где был ключ моего счастья, – думала Елена Никитишна, чувствуя такой прилив нежности, что, кажется, весь мир готова была бы расцеловать. – Какая земная кара может сравниться с теми пытками, которые пережила я за эти дни... А раньше? Совесть, правда, меня не беспокоила, молчала, но за то был ли хоть один момент такого нравственного, духовного подъема, как сейчас?! Был ли момент, когда я могла бы назвать себя счастливой?! Я не могла даже молиться; губы шепчут слова молитвы, а мысли витают где-то на земле и время от времени останавливаются на холмике под тремя березами».

Когда она покидала Саратов, Сериков, по ее настоянию, показал ей этот холмик и с тех пор она не могла его забыть; он врезался ей в память и, как сейчас, она видит его на краю высокого бора, одиноким, угрюмым, с рыхлою зазеленевшею землею и печально склонившимися над ним старыми березами... Неужели эта могила, без креста и венка, могила зверски убитого с ее согласия мужа?!

Скорее, скорее туда. Разрыть этот страш-

ный холм и убедиться! Если действительно там найдутся кости ее мужа, она, в вечной ка- торге, не переставая, будет молиться об упо- коении его души. Если же... О! Если бы все это оказалось неправдой, если б с совести ее сня- ли это ужасное обвинение?! Боже, боже!

Знакомый хозяйский звонок заставил ее вздрогнуть. Она бросилась в прихожую, сбила с ног горничную и сама открыла дверь.

– Говори, говори, рассказывай скорее, – схватила она за руку мужа. – Ну? Ну, что ты узнал, что тебе сказали?

– Ничего. Выслушал, записал и сказал – мо- жете идти.

Илья Ильич был в самом удрученном на- строении духа. Жизнь баловала его. Он почти не знал никаких печалей, невзгод и больших неприятностей или неудач. Сегодняшний же день был воистину роковым.

Он не мог еще разобраться в своих чув- ствах, потому что не привык вдумываться и давать себе отчет в происходящих событиях, но, тем не менее, сознавал, что Елена Ники- тишна перестала быть для него прежней лю- бимой женой. Между ними выросла какая-то

стена. Любит ли он ее теперь, как раньше любил? На этот вопрос Илья Ильич также не мог ответить, как и на вопрос о своем теперешнем состоянии; ему было ужасно тяжело, все окружающее его раздражало, он потерял даже аппетит, с которым никогда не расставался, но что, собственно, происходило с ним, что его так огорчило и расстраивало, он сам не знал, Прокурор так серьезно его слушал, так внимательно отнесся к самым деталям и подробно все записал, что теперь затушить дело ни в каком случае не удастся.

– Илья, – молила Елена Никитишна, – расскажи мне все подробно, что ты говорил с прокурором, что он сказал?

– Сначала прокурор не хотел меня принять, послал к секретарю, но когда я сказал, что речь идет об убийстве, он принял. Это, говорит, вам следует сообщить саратовскому прокурору. Я ответил, что если он не хочет принять заявление, то я вовсе не буду его делать. Тогда он стал записывать и все спрашивал, почему ты сама не пришла; я сказал, что лежишь больная, не можешь прийти. Рассказал про угрозы Куликова; он, когда кончил

писать, велел секретарю сказать что-то по телефону нашему приставу. Вот и все.

– Не говорил он, что теперь уже поздно начинать следствие?

– Нет. Для раскрытия убийства не поздно хоть через двадцать лет. Смотри, я боюсь только, как бы тебя не арестовали!

– Боюсь?! Я только и жду теперь этого! Неужели ты думаешь, я могла бы теперь жить с тобой, как прежде?! Нет, Илья, между нами все кончено. Даже если бы суд оправдал меня, я не вернусь к тебе, а уйду в монастырь! Не забудь, что я все-таки виновна, даже если муж и не убит, если он, действительно, погиб на «Свифте»! Я согласилась сделаться соучастницей убийц, я воспользовалась плодами преступления, я обманывала мужа при жизни и перешагнула через его труп, чтобы получить полную свободу. Неужели все это не преступление, даже если бы самое убийство и не удалось или не осуществилось?! Может ли такая женщина быть честной женой, носить твое незапятнанное имя?!

Елена Никитишна смолкла. Молчал и Илья Ильич. Твердый, уверенный тон жены и

неумолимая логика ее доводов подавляли его, и он не находил, что ответить. Но чем яснее он сознавал, что теряет свою жену, тем больше ему было ее жаль, тем тяжелее представлялась неизбежная и скорая разлука, по всей вероятности, навсегда. Он испытывал такое же ощущение, как у смертного одра любимой жены.

– Околоточный надзиратель хочет видеть барыню, – вбежала с растерянным видом горничная.

– Позови его сюда, – сказал Илья Ильич, переглянувшись с женой.

Полицейский вошел.

– Извините, Илья Ильич, я имею очень неприятное и щекотливое поручение.

– Арестовать меня и доставить судебному следователю? – быстро спросила Елена Никитишна, вставая.

– Да, именно.

– Скоро же! Я очень рада и готова. Мы сейчас отправимся?

– В предписании прокурора сказано «немедленно». Но все-таки можно и завтра, если...

– Что если?

– Если Илья Ильич даст мне слово, что...

– Что я не убегу?

Полицейский наклонил голову.

– О! Можете быть совершенно спокойны! Я сама просила мужа съездить к прокурору и жду не дождусь вызова. Пожалуй, я просила бы ехать сегодня.

– Сегодня следователь все равно допрашивать вас не будет и вам придется ночевать в доме предварительного заключения. Лучше поедemте завтра утром. В девять часов утра я буду здесь. До свиданья.

Он ушел. Коркин стал ходить из угла в угол по комнате. Елена Никитишна сидела, опустив голову.

– Свершилось, – произнесла она; – значит, меня завтра арестуют. Бог знает, долго ли придется мне сидеть. Только бы дело не затянулось! Скорее развязка, скорее знать все, что впереди!

– Это ужасно, ужасно, – шептал Коркин, трепя волосы и ускоряя шаги. Он не ходил, а бегал по комнате и поминутно повторял «ужасно».

– Илья, милый мой, не сердись на меня, – тихо начала Елена Никитишна, – я глубоко несчастна. Вспомни, я не хотела ведь выходить за тебя, но ты настаивал. Я не могла тогда открыть тебе все, потому что и сама не сознавала всего этого.

– Лена, дорогая, я вовсе не о себе волнуюсь. Неужели ты думаешь, мне легко видеть тебя в тюрьме?

– О! Не беспокойся обо мне; клянусь тебе, мне в тюрьме гораздо будет легче, чем теперь на свободе! Будущее тоже меня не страшит; детей у нас, к счастью, нет, жену ты найдешь в сто раз лучше меня, а обо мне не думай. Я грешила и должна нести заслуженное наказание. Ты неповинен в моих несчастиях, а я тебе причиняю неприятности. Плачу злом за твою любовь и нежность ко мне. Прости, прости!

Рыдающая Елена Никитишна упала на колени. Коркин бросился поднимать ее и начал успокаивать.

Вся ночь прошла без сна. Оба они не могли спать и не хотели расставаться последние часы.

Медленно тянулась тяжелая ночь. Но когда окно заволкло синеватым туманом, предвестником рассвета, обоим стало жутко. Час приближался, и никакие силы не могли его теперь отдалить или задержать. Можно было бы скрыться, бежать, но от разбуженной совести, от той пытки, которую перенесла за эти дни Елена Никитишна, бежать некуда. Илья Ильич перестал ходить по комнате, сел рядом с женой на диване, взял ее руки в свои, и они замерли в таком положении. Он смотрел ей прямо в лицо и любовался дорогими чертами, с которыми приходилось прощаться при таких трагических условиях и, судя по всему, прощаться навсегда. Елена Никитишна тоже не спускала глаз с мужа, и в ее влажных от слез глазах светилась мольба.

Ничто не нарушало ночной тишины, и только мерные удары маятника старинных стенных часов раздавались в комнате. Это было нежное, выразительное и глубоко трогательное «прости» без слов. Так прошло несколько часов, пока совсем рассвело. В столовой подали чай, и горничная вошла доложить, нарушив безмолвную прощальную бе-

седу. Пробыло восемь часов.

– Пойдем, Лена, последний раз налей мне чаю.

Утомленные нервы не выдержали, и Илья Ильич зарыдал, как ребенок. Зарыдала и Елена Никитишна. Они бросились друг другу в объятия, и в таком состоянии застал их ранний визит околоточного надзирателя.

– Пора, Илья, пора, – произнесла Елена Никитишна.

– Про... прощай!..

– Прощай, прощай, да пошлет тебе Господь... – рыдания не дали ей кончить фразы. – Прощай, дорогой мой. Прости! Постарайся скорее забыть меня! Не тоскуй.

И, наскоро отерев глаза платком, Елена Никитишна подошла к полицейскому:

– Я в вашем распоряжении, едем.

– Вам не заpastись ли вещами, может быть, несколько дней пройдет, – предложил полицейский, – я подожду.

– Нет, нет, скорее, мне ничего не нужно. Едем. Прощай, Илья!

И, набросив бурнус, покрыв голову платком, она пошла.

Илья Ильич помог ей сесть в карету. Полицейский, вскочив, захлопнул дверцы. Карета тронулась. Елена Никитишна высунулась из окна и, увидев стоявшего еще на крыльце мужа, начала кивать ему головой. Илья Ильич не видел этих кивков. Карета давно уже скрылась, а он все еще стоял. Вдруг он пустился бежать, замахал руками и закричал:

– погоди, погоди, держи!..

Несчастный потерял рассудок.

25

У следователя

Иван Степанович Куликов, как зверь, метался у себя в кабинете. Он сжал кулаки, стиснул зубы и вытаращил глаза, так что если б кто-нибудь увидел его в эту минуту, то невольно испугался бы и поспешил убежать. Он воистину наводил своим видом панический страх даже на далеко не трусливых! С него смело можно было рисовать картину какого-нибудь разбойника с большой дороги.

Куликов приходил в бешенство от постоянных неудач за последние дни! Ему не везло

решительно во всем! Он заметил, что у невесты его нашлись какие-то «заступники» и, чего доброго, свадьба может, пожалуй, расстроиться. Скандал в его «Красном кабачке» продолжал осложняться, и надежды на благоприятный исход почти не было. Коркина не только не явилась к нему на свидание, но и вчера он получил повестку от судебного следователя, приглашающего его свидетелем по обвинению Коркиной в мужеубийстве. Этого только не доставало! Вместо выгодной доходной статьи и интересной интрижки его впутали в уголовщину!

И, в бессильной злобе, он метался по квартире. Больше всего его приводило в бешенство, что подле него нет живого существа, на котором он мог бы сорвать свою злобу, выместить все свои неудачи. Ему нужно было в эту минуту крови, чужих страданий, стонов, слез, отчаяния. Это послужило бы для него утехой, он отвел бы душу. А между тем, около него ни одного безответного существа, и он один только рвет на себе волосы.

Куликов вышел из внутренней двери в свой опустевший «Красный кабачок». Там

только сторож, оставленный из числа слуг, возился в углу.

– Ты что делаешь, – набросился на него хозяин, – почему не подметено, не убрано?!

– Еще девятый час только, я начал...

– Молчать, дармоед, мошенник, все вы грабители, мазурики!

Сильная пощечина свалила сторожа с ног. Куликов только этого и ждал. Он прижал несчастного к стене и стал топтать ногами. Это успокоило несколько его нервы, и он зашагал спокойно по буфетной.

– Все в грязи, запущено, не убрано! Подлецы лодырничают, а хозяин страдай, терпи убытки, разоряйся! – причитывал он, поглядывая на избитого, который с трудом поднимался, придерживаясь за поясницу.

Служащие у Куликова привыкли получать побои как от хозяина, так и от обоих его буфетчиков, поэтому сторож не протестовал и молча перенес побои. Он знал, что всякое возмущение или оправдание усилило бы только хозяйский гнев, и побои были бы еще сильнее. А теперь хозяин удовлетворился и даже мягче поглядывал на него: может быть цел-

ковый даст за покорность. Но Куликов не дал целкового. Ему было мало реванша. Продолжать избиение неповинного сторожа он не стал, а другого никого нет.

Походив по заведению, он вернулся опять в квартиру. Следователь приглашал его к 12 часам утра, а теперь нет еще девяти. Он надел пальто, шляпу, взял трость и вышел на улицу. Сумрачное, дождливое утро, холодный ветер, грязь – все усиливало только мрачное его настроение. Извозчика не было, он пешком пошел к заставе, чтобы сесть на конку.

Что это?

Он увидел у самой заставы толпу народа и в толпе Илью Ильича Коркина, без шляпы, с развевающимися волосами и блуждающими глазами. Его крепко держали за руки и насильно тащили домой, а он отбивался и все кричал: «Держи, держи, не пущу, назад».

– Что это такое? – спросил Куликов одного из толпы.

– Лавочник здешний рехнулся.

– Что же он?

– А бог его знает! Кто говорит – жену арестовали, а кто рассказывает, что она с другом

от него бежала, а он сердечный, вишь, ловит ее! Неизвестно...

– Давно бежала?

– Только что карета уехала, он догонял. Да где догнать, коли ежели не в своем, значит, уме!

Куликов с наслаждением смотрел, как бился Коркин, как рвал на себе платье и отчаянно кричал одно и то же: «Держи, не пущу!» Да, эти страдания почище его! А ведь отчасти это дело его рук! Он заварил кашу! Но как все это произошло?

Он вернулся почти бегом назад, опередил толпу и быстро пошел к дому Коркиных. Ему хотелось расспросить прислугу, пока не привели еще хозяина. У самого дома он увидел главного приказчика Ильи Ильича.

– Что это стряслось у вас? – обратился к нему Куликов, указывая на приближающуюся толпу.

– Понять не можем! Все было по-хорошему, недавно хозяйка захворала, священника пригласила, вчера поправилась было, мы все рады так были, любят уж больно все ее, а сегодня вдруг околоточный с каретой пожаловал

и увез хозяйку-то! Илья Ильич провожал, ничего, целовались, плакали, расставаясь, он сам и в карету посадил! Только что карета тронулась, а он заорал благим матом «держи» и побежал сзади. А какое «держи», когда околоточный везет, кто же задержать может?

– Удивительно! А куда повезли ее?

– Кучер сказывал, в окружный суд, к следователю, а по какому делу – никто не знает! Шептались хозяева всю ночь, спать не ложились, а какое дело – неизвестно.

Толпа подошла совсем близко. Куликов не сомневался теперь, что жена все рассказала мужу, и потому решил не попадаться на глаза помешанному. У сумасшедших бывают иногда проблески сознания, и тогда они очень опасны для своих личных врагов. С помешанного взять нечего, хоть бы убил на месте!

Куликов скрылся в двери лавки Коркина и оттуда наблюдал. Вид несчастного, особенно, когда ему скрутили на спине руки и, подгоняя вперед, толкали в спину, был воистину ужасный. Даже Куликова эта картина почти удовлетворяла.

«Теперь, если сообщить об этом Елене Ни-

китишне, то совсем можно насытиться», – мелькнуло в голове Ивана Степановича.

Он посмотрел на часы и, осторожно выйдя из лавки, пробрался сквозь толпу на дорогу; пошел опять к заставе.

– Дело разыгралось, – думал он, – жаль только, что ему примазаться не удалось! Стояньице у них кругленькое, а все теперь прахом пойдет! Ей каторги не миновать, ему ничего не нужно в больнице, детей нет. Куда же все это? Как бы это пристроиться, хоть опекуном, что ли! Эх, дура, дура! Не могла ко мне прийти, мы гораздо дешевле бы все устроили! Вот только вопрос, что она наговорила? Не запутала ли меня?

Куликов подошел к заставе, нанял извозчика и поехал к следователю. Дорогой он не переставал придумывать способы покушения на капиталы Коркиных.

– Вот уж совсем безобидно! Выморочные деньги! А говорят, до 200 тысяч деньжищ. Эврика! Предъявить разве вексельков Ильюши тысяч на 70–80. Все знали, что мы приятели, часто пьянствовали, а если какой спор возникнет, можно с опекуном поделиться! Не

дурно, черт возьми, придумано!

Он так увлекся своими мечтами, что не заметил, как доехал до здания окружного суда на Литейном. Народ подходил и подъезжал со всех сторон. Петербуржцы, видимо, любят сутяжничество. Семь гражданских и пять уголовных отделений едва успевают справиться со всеми жалобами, исками и просьбами. Куликову эти отделения хорошо знакомы. Он привычною походкою прямо направился в первый подъезд, сбросил пальто у швейцаров и поднялся в самый верх. Еще было рано. В низкой, с мансардными окнами и стеклянной крышей, зале была масса народа. Каменные, не оклеенные обоями стены, плиточный пол превращали залу в какую-то казарму.

У входа в коридор с камерами пятнадцати следователей два рослых стража принимали повестки и выкликали фамилии приглашенных. Вход в коридор, а тем паче в камеры, без вызова, сторожайше воспрещен.

Куликов подал свою повестку, как доказательство явки в назначенный срок, и стал прохаживаться по залу, в ожидании вызова. Большинство посетителей были простолюди-

ны, рабочие, приказчики. Это все свидетели и потерпевшие от разных краж, взломов, мошенничества и т. п.

Куликов чувствовал себя неловко в этом обществе и, как на избавителей, все посматривал на стражей. Наконец раздалось желанное:

– Иван Куликов!

Он поспешил откликнуться и мелкой рысцой пустился к коридору.

– Вторая дверь налево, – сказал сторож. Куликов тихонько приоткрыл дверь и на цыпочках вошел.

В камере не было никого, кроме следователя, пожилого, тучного господина с побритым подбородком и седыми баками. Куликов, войдя, остановился у дверей и ждал приглашения. Следователь дописывал бумагу и не заметил вошедшего. Густые брови закрывали совсем его глаза. Только скрип пера слышался в камере. Он кончил и вскинул брови на дверь.

– Вы Куликов?

– Так точно, – ответил Иван Степанович, низко кланяясь.

– Временный купец второй гильдии?

– Совершенно верно-с.

– Откуда родом?

Куликов замялся, кашлянул и не твердо ответил:

– Из Орла, местный мещанин, ваше превосходительство...

– Потрудитесь рассказать все, что вам известно по делу об убийстве Коркиной своего первого мужа...

– Как вы изволите говорить?

Следователь повторил вопрос и предложил свидетелю подойти ближе к столу.

– Извините, но я ровно ничего не знаю по такому делу.

– Ничего! Как ничего?

И опять он вскинул свои щетинистые брови, уставившись на свидетеля. Куликову было жутко от этого взгляда. Он не умел конфузиться, но перед этим пронизательным взглядом чувствовал себя очень неловко и неприятно.

– Мне решительно ничего неизвестно, – повторил Куликов.

– Вы с Коркиной знакомы?

– Очень мало. Один раз только видел.

– Вы писали ей записку?

– Ей? Никогда. Я писал ее мужу, с которым хорошо знаком; давал ему деньги под вексель. Тут был срок векселя, он просил подождать, и я написал: «Жду только до завтра».

– Вы не намекали Елене Коркиной на убийство ее первого мужа?

– А разве она во второй раз замужем!

– Позвольте, господин Куликов, я вызвал вас не для того, чтобы играть в жмурки! Если вы хорошо знакомы с Коркиным, давали деньги под векселя, вы не могли не знать, что он женат на вдове, тем более, что Коркина имела свой дом там же за заставой, где и вы торгуете! Я советовал бы вам отвечать серьезно.

– Простите, ваше превосходительство, мне и в голову не приходило отвечать не серьезно! Но смею уверить вас, что я вовсе не интересовался женой Коркина, никогда о ней с мужем не говорил и, так как торгую за заставой всего несколько месяцев, то не мог знать, имела ли Коркина какой-нибудь дом.

– Вы в Саратове бывали?

- Никогда в жизни.
- Значит, и Серикова не знали?
- Не имею понятия.
- Странно. Почему же Коркина показала, что вы прямо дали ей понять, что все знаете, и назвали все фамилии.
- Относительно чего-с?
- Убийства ее мужа.
- Я могу высказать одно только предположение: Коркина сегодня отправили в дом умалишенных. Не следует ли отправить туда же и его жену?

Следователь уставил глаза на Куликова.

- Коркин, вы говорите, сошел с ума.
- Так точно. Когда в первый и последний раз я видел его жену, мне казалось, что ей давно там место. Повторяю, ваше превосходительство, что я не имею ни малейшего понятия о деле, по которому вызван.

– Коркина сейчас была у меня тут, и я ее допрашивал. Она категорически и очень правдоподобно рассказала о вашей беседе в гостиной.

– Но повторяю, ваше превосходительство, что я один-единственный раз видел госпожу

Коркину!

– Так что же из этого?

– Как же я мог с первого раза прямо бухнуть свои намеки! Разве это возможно? Человека пригласили в гости, он только что представился хозяйке и сейчас же за горло?! Простите, но это неправдоподобно для человека, не состоящего кандидатом на Удельную или одиннадцатую версту!

Следователь задумался.

– Вот что! Я сделаю вам с Коркиной очную ставку. Согласны?

– С полным удовольствием, если это нужно для дела.

Следователь позвонил.

– Верните арестантку Коркину, – приказал он рассыльному.

– Слушаюсь...

– Садитесь... Я запишу пока ваши показания.

Куликов опустил на кончик стула. По лицу его пробежала язвительная улыбка и сейчас же исчезла. Два солдата ввели Елену Никитишну.

Надежды исчезают

— Девять дней! Только девять дней – и я пойду с ним под венец, – шептала Ганя, быстро шагая к Николаю Гавриловичу.

– Появился? – встретил девушку Степанов. – Верно еще что-нибудь придумал!.. Вы на себя не похожи, успокойтесь! Сядьте.

– В воскресенье моя свадьба, – проговорила Ганя глухо и беспомощно опустила руки.

– В воскресенье?! Зачем вы согласились?!

– Ах, Николай Гаврилович, я не могла не согласиться?! Вы забываете, что я связана словом, клятвой, и я вся в его руках!

– Из Орла до сих пор нет ответа! Что ж?! Я поеду сам туда! До Москвы сутки, а там другие... К воскресенью я вернусь...

– Благодарю вас, добрый Николай Гаврилович, но я думаю, не стоит! Ничего вы там не узнаете! Видно, судьба моя! Против воли Божией ничего не поделаешь!

– А мне почему-то сдается, что я там найду разоблачения и спасу вас! Поеду! Надо только

будет отпроситься у вашего папеньки... Скажу – сестра при смерти, письмо получил, необходимо съездить...

– Не верится мне, Николай Гаврилович, а впрочем, вы лучше знаете! Благодарности моей вам не надо, но вы сами понимаете, как я признательна вам.

– Господи! И послал же Господь слепоту на Тимофея Тимофеевича! Губит дочь родную и не видит.

– Вы знаете Павлова, Дмитрия Ильича, начетчика филипповцев?

– Знаю, а что?

– Был он у нас, обедал; тоже увидел мое горе... Обещал помочь... Вот, если бы вы повидались с ним!

– Что вы? Неужели с первого раза увидел?

– Да. А отец вот не видит. Любит меня, бережет и... и в пропасть толкает! Куликов мне делается с каждым разом все ужаснее и страшнее. Я дрожу, когда встречаю его. Я поеду сейчас к Павлову. Хотите вместе ехать? Он редкой доброты и порядочности человек.

– Поедемте. Скажите папеньке: к портнихе, мол, нужно.

Через несколько минут Ганя с Николаем Гавриловичем ехали на извозчике в Ямскую.

Павлов занимал две крошечные комнатки при самой молельне и вел вполне иноческий образ жизни. Все украшения его скромной обители состояли из старинных больших образов с теплившимися лампадами. Стол, несколько стульев и кровать составляли всю меблировку. На столе между древними рукописями и книгами лежал портрет отца Иоанна. Павлов был ревностный раскольник, отрицавший священство, но этот портрет чтимого Россией пастыря совершил переворот в его религиозном мировоззрении и сломил раскольническое упорство. Все вековые споры и препирательства о сложении креста, буквы «и» в имени Спасителя и т. п. показались ему какими-то жалкими, ничтожными перед великой истиной: «Ни в мыслях, ни в делах не делай ближним зла!»

В этой истине вся суть религии, а между тем сколько страшного зла и раздора поселили на Руси старообрядцы ради праздных и пустых препирательств! Под гнетом этих мыслей Павлов объявил своим одноверцам, что

он решил бросить раскол, отрясти прах свой от всех прежних «толков» и сжечь в печи все послания лжеучителей. Напрасно попечители и старцы молельни уговаривали его одуматься, опомниться, он твердил одно:

– Ни в мыслях, ни в делах не желай ближним зла!

И дальше он не шел. К ужасу своему, попечители увидели у Павлова бутылку вина, колбасу и «опоганенную» посуду. Теперь уж и они не удерживали его, поспешив написать в Москву, чтобы им скорее выслали нового начетника.

Степанов и Ганя застали Павлова за перепиской какого-то письма. Он очень удивился неожиданным гостям и несколько даже сконфузился.

– Прошу вас садиться, очень рад. А я, знаете, Агафья Тимофеевна, все думаю о вас. Я, возвращаясь от вас, зашел справиться о Куликова. Это тот самый, про которого я говорил. Кабак его опечатан.

– Да вы только что ушли, как он пришел и сам рассказал об этом.

– Я говорил с нашими стариками. Никто

Куликова не знает, но все того мнения, что как жених он для вас не пара. Репутация у него нехорошая. Неужели Тимофей Тимофеевич не собрал о нем никаких справок?

– Он обошел папеньку, мы просто понять не можем как.

– Жаль, что я не видал его. Интересно посмотреть бы.

– Я собирал, – заметил Степанов, – разные справки, но ничего не узнал. Решил завтра ехать в Орел, на его родину, и там разузнать.

– Вы? Но разве вам можно оставить завод?

– Очень затруднительно, но делать нечего! Мне сдается, что я там узнаю его прошлое и тогда с фактами в руках разоблачу его перед Тимофеем Тимофеевичем.

Павлов задумался.

– Действительно, это самое надежное средство. А когда свадьба?

– В воскресенье.

– Так скоро?! Но нельзя ли отложить?!

– Невозможно!

– Гм! Знаете что? Оставайтесь вы, я поеду. Мне нужно быть в Москва, и я проеду заодно в Орел. Только, к сожалению, слишком мало

времени! Постарайтесь как-нибудь затянуть приготовления, ну, хоть на неделю! Упритесь – и все тут! Вы, Агафья Тимофеевна, главное не теряйте бодрости и надежды! Мужайтесь! Еще не все потеряно.

– Ах, если бы я могла надеяться, но вы видите – надежды почти никакой!

– Вот я съезжу в Орел, может быть, найду что-нибудь, а Николай Гаврилович здесь будет хлопотать. Надо повидаться с соседями Куликова, некоторыми виноторговцами, может, и узнаем кое-что.

Ганя отрицательно покачала головой:

– Ничего не выйдет. Папенька не послушает никого. Я предчувствую.

– Повторяю вам, не отчаивайтесь прежде времени! Надо стараться помочь как-нибудь, а не опускать рук. Я поеду завтра с первым поездом и в случае экстренного чего-нибудь пришлю Николаю Гавриловичу телеграмму.

– От души благодарю вас, – произнесла Ганя, вставая.

– Я приду проводить вас на вокзал, и мы посоветуемся еще.

– Хорошо. До свидания.

Они вышли. На дворе стемнело, опустился густой туман, моросил мелкий дождь. Ямская была пустынна и мрачна, мрачно было и на душе Гани. Ей казалось неловким, что человек в первый раз ее видит и едет ради нее за тысячу верст. С какой стати? Зачем? Что может он там узнать?! Скажут: Куликов безнравственный, злой человек, никто его не любит. Так что ж? Разве это поможет помешать свадьбе? Только отец и жених еще больше озлобятся за тайные справки.

– О чем вы задумались? – спросил Степанов, когда извозчик въехал в лужу и лошадь остановилась.

– Мне очень не хочется, Николай Гаврилович, чтобы Павлов ехал в Орел. Право, это повредит мне только – и ничего больше. И за что такое беспокойство? Он ведь для меня совсем чужой человек.

– О беспокойстве нечего говорить, когда речь идет о целой будущности. Филипповцы многим обязаны Тимофею Тимофеевичу, и Павлов не сочтет это даже за одолжение. Только успеет ли он? Не было бы это поздно.

Они опять замолчали и так доехали до до-

му. Ганя выразительно пожалала руку Николаю Гавриловичу, благодаря его за хлопоты, и побежала к себе. Тимофей Тимофеевич был на заводе. Когда ему сказали, что дочь приехала, он пошел с ней повидаться.

– Ну, как твои приготовления к свадьбе? Пойдем к тетке Анне, она только что перед тобой приехала; я передал ей все заведование хозяйством, потому что тебе уже не до того теперь. Но скажи, Ганя, что-то мне кажется, ты будто невесела? Или опять тебе перестал жених нравиться?

– Нет, ничего...

– Да здорова ли ты, Ганя?

– Здорова, папенька.

– Ну, пойдем к тетке.

Старушка Анна приходилась двоюродной сестрой Петухову и после вдовства поселилась в доме своей младшей дочери, бывшей замужем за довольно состоятельным купцом. По просьбе Петухова, она прибыла погостить и помочь во время свадьбы. Старушка была строгая и серьезная, не любившая никаких новшеств и считавшая, что Россия погибает от уничтожения крепостного права. Надо за-

метить, что ни она, ни вся ее родня никогда помещичьими крепостными не были. Ганя редко виделась с нею, но каждый раз старушка находила что-нибудь поворчать, побранить и пожурить «молодую девку». Неудивительно, что и Ганя не питала к ней никаких нежных чувств. Петухов выбрал ее посаженной матерью для Гани и теперь возложил на нее все заботы и хлопоты по устройству как свадьбы, так и свадебного пиршества. Тетке Анне Куликов понравился, и она одобрила выбор брата.

В ту минуту, когда Ганя шла с отцом к своей нареченной матери, успевшей забрать уже в свои руки весь дом, она почувствовала, что последние надежды, которые были еще на спасение, должны окончательно иссякнуть. Старуха, так же как и отец, находила, что лучшего жениха, чем Куликов, и не сыскать, а ее голос теперь бесспорно будет иметь вес и значение. Тетка Анна разбирала белье и разыскивала прачку. Когда вошли Петухов с дочерью, она сухо поздоровалась с племянницей.

— Это ни на что не похоже, моя милая, со всем дом распустила. Белье грязное свалено в

кучу и гниет, серебро разбросано, посуда перержавела, люди ничего не делают, везде грязь, мусор. Как же ты своим домом жить станешь?

Ганя молчала. Старуха не знает, что сама девушка расшаталась и расстроилась за это время гораздо больше, чем хозяйство, и впереди ей предстоит участь во много раз хуже всех этих ложек, кастрюль, салфеток. Довольно было бы заглянуть только в душу невесты, чтобы понять, какое все это запущенное хозяйство – ничтожество в сравнении с ее нравственными пытками и смертельным страхом перед будущим. Но тетка Анна, напротив, приписывала запущение хозяйства чрезмерному увлечению невесты своим приданым и сладкими грезами предстоящего замужества.

– Невеста, а все же надо и об отцовском добре иметь попечение. Нельзя махнуть на все рукой, – продолжала старуха. – Что ж ты, моя милая, молчишь, или я напраслину плету на тебя? Придираюсь?!

– Она последнее время на заводе стала заниматься, бухгалтерию нашу изучала, – вставил Петухов, – вот в хозяйстве и запущение. Я

говорил, что два дела нельзя делать и бабье дело у плиты да в комнатах. Как ни умна моя дочка, а все за чужое дело взялась – свое только испортила и пользы никакой не принесла.

– Польза?! Не польза, а ущерб больше. Шутка ли, сколько добра перепортили да стравили!

– Слушай, Ганя, да учись, пригодится в будущем, – заметил старик и ушел.

– Ну, покажи, что же ты себе к венцу приготовила? – спросила тетка.

– Ничего, – ответила девушка.

– Ни-че-го?! Как это, матушка моя, ничего?! Да ты никак с ума спятила?! В воскресенье свадьба, а она ни-че-го! Так в чем же ты венчаться будешь? Где платья, белье, уборы?!

Ганя продолжала молчать, отвернув голову в сторону.

– Это, наконец, из рук вон! Что ж ты, милая, смеешься, что ли, над своим отцом и женихом?! Да ты, может быть, за нос только водишь жениха? Ты верно и не думаешь выходить замуж?

Робкая и покорная перед отцом, Ганя едва сдерживалась, чтобы не наговорить тетке

дерзостей. Наконец она не выдержала.

– Шучу или не шучу – не ваше дело, и вы не суйтесь, куда вас не спрашивают!

Она повернулась и вышла. Старушка стояла, разинув рот от удивления, и минуты через две только очнулась.

– Ах, ты, дерзкая девчонка! Ах, ты, сморчок этакий! Да как ты смеешь?! Да у тебя...

Она пошла в кабинет к брату.

– Как тебе, братец, это нравится, дочка-то твоя любезная?! У ней к свадьбе и конь не валялся, ни одной тряпки не приготовлено; я ей выговаривать стала, а она мне «не ваше, говорит, дело, не суйтесь»! Каково?! Не суйтесь!!

– Как не готово? Ведь в воскресенье свадьба?

– Ну да! А она и ухом не ведет. Что она дурчится, что ли, с вами?!

Тимофей Тимофеевич призадумался.

– Оставь ее, сестра, я сам поговорю с ней; она, кажется, не совсем здорова, а ты распорядись всем, заказывай все, что надо, устраивай.

– Как она смеет мне, старухе, сказать «не суйся»? Дрянная девчонка!

– Я заставлю ее извиниться. Это она сторяча, ей, кажется, нездоровится, только она скрывает.

Долго еще не могла успокоиться старушка и никак не хотела примириться с «сованием».

– Я шестьдесят шесть лет прожила, и мне никто не смел такого слова сказать! На-ка дождалась!

Ганя ушла в свою комнату и заперлась. Она понимала, что испортила хуже себе положение, вооружив старуху, но не раскаивалась. Она считала все равно надежды потерянными и близка была к отчаянию.

– Что же мне делать? Что?

«Умереть», мелькнуло у нее в голове. Умирают же другие, когда тяжело жить. Разве сделаться женой Куликова лучше, чем умереть?!

Облава

Прежде чем труп Сеньки-косого опустить в импровизированную могилу, карманы его платья были осмотрены, и в одном из них нашли около 3000 рублей кредитками, частью выигранные в прошлую ночь у товарищей, частью собственные. Тумба предложил разделить эти деньги поровну между всеми участвующими в погребении.

– В самом деле, не в землю же деньги зарывать, тем более что часть денег покойный с нас же выиграл и забастовал играть.

– Да, конечно, это не грабеж. Все равно наследников на эти деньги найти не может.

Тумба передал деньги Настеньке, и погребение продолжалось. Вьюн сказал нечто вроде надгробного слова.

– Мы не хотели тебя убивать, а судьба решила иначе! Что делать?! Ты успокоился на веки, а наше будущее еще сокрыто от нас! Может быть, наш последний час еще горше будет!

– Помянуть покойничка, братцы, следует, – предложил Тумба. – Благодаря ему, мы все теперь с деньгами и прогромы наши можем отложить. Настенька, тащи еще бутыль да готовь закуски.

– А Федька-то так и убежал, – произнес Рябчик.

– Ну, Федька-то не опасен: ему только бы унести самому ноги! Вот кабы Сенька ушел – жди какой-нибудь беды... Это зверь был, а не человек.

– Не тем будь помянут, покойничек!

– Ну, брат, его помянуть больше и нечем! Все мы хороши, а Сенька много выше! Мы придушим, когда нужда заставит, а он душил просто для удовольствия! Себя тешил! Это второй Макарка-душегуб был! Помните Макарку? Где-то он теперь? Тоже, может быть, принял этакую смерть.

И Тумба показал пальцем по направлению свежей могилы.

– Да. Макарка много выше Сеньки был! Тот десятка два перерезал в одной Вяземской лавре и резал без ошибки, как быкобоец!

– Куда он тогда исчез, когда в полторацком

флигеле Алёнку зарезал и всю семью купца Смирнова?

– Исчез, как в воду канул.

– Да, наша судьба такая! А Гусь? Помните: на глазах как в воду канул.

– Ну выпьем, братцы, за упокой души товарища. Плохой был товарищ, а все же свой и жаль Сеньку.

Все выпили, отерли рукавами губы и потянулись к закуске.

– По первой не закусывают – произнес Тумба, наполняя стаканы.

Опять выпили.

– Теперь давайте делить наследство. Сколько нас – тринадцать человек. У-у! Плохая, братцы, примета: кому-нибудь несдобровать. Держите ухо востро! Антошка, ты чего не пьешь? – обратился Тумба к Антону Смолину, который поставил свой стакан.

– Не могу, спасибо, я много не пью.

– Барышня он у нас. Шел бы ты лучше на службу служить! Не годишься ты в громилы.

– Дайте вот дотерпеть до срока высылки, тогда получу паспорт и пойду служить. Я ведь не судился и не сидел ни разу!

– Агнец настоящий. Что тут говорить: чужими руками жар загребаете!

– Нет. Я ни в чем не отказываю вам: что приказываете – все исполняю; сам не работаю, потому что не умею, а что поручают – в точности делаю. Я благодарю за ваш хлеб-соль и не хочу дармоедом быть!

– Это верно, – подтвердил Тумба, – он, братцы, много честнее и добросовестнее нас! Что правда, то правда!

Настенька принесла кучу депозиток Сеньки.

– Делите. Тут 2836 рублей, – сказала она.

– Я предлагаю, братцы, так разделить. Нас тринадцать человек; по двести рублей составит 2600 рублей, а остальную мелочь отдать Настеньке на платье... Согласны?

– Bravo, bravo! – закричали все.

Настенька улыбнулась и погрозила Тумбе пальцем.

– А сам не можешь мне платье сшить? На общественный хочешь счет отыгаться!

Все засмеялись. Тумба вскочил, обнял Настеньку.

– И мои двести возьми! Ты думаешь я тебя

обижу? Вот тебе на дорогу и хватит! Завтра бери Тумбачонка и отправляйся с Богом. Я тебя выведу к подъезду, в Лигово, а оттуда садись на Ригу и поминай тебя как звали! В столице тебе страшно теперь показываться. За нами в оба следят.

– Ну, господа, – встал Рябчик, когда дележ был окончен, – пора хозяевам и покой дать. Они ведь не спали еще, да и нам отдохнуть пора! По норам! Спасибо, Тумба.

– Спасибо, спасибо! – подхватили все хором. Скоро полянка опустела. Громилы разбрелись попарно.

Они чувствовали себя прекрасно. Сыты, пьяны и по 200 целковых у каждого в кармане! Только один Антон Смолин был угрюм, печален и пошел в одиночестве. Смерть Сеньки, похороны, дележ его денег – это все коробило его и удручало. Он достал свои бумажки. Четыре двадцатипятирублевки и десять красненьких. Некоторые были в крови. Брр!.. Какие нехорошие деньги...

«Что же, – думал Смолин, – теперь я могу уехать в деревню. С деньгами я там могу хорошо устроиться. Бог с ней, со столицей! Деньги

я не украл, чужой души не загубил, совесть спокойна, чего же мне здесь, на Горячем поле, болтаться?»

И он ухватился за мысль, как можно скорее уехать на родину. Одна только опасность: как добраться до Николаевского вокзала? Не забрали бы в обход, а то опять по этапу отправят. Да костюм подновить хорошо бы. «Ну, как-нибудь выберусь!»

Смолин пробирался по тропе к заставе. Бессонная ночь давала себя чувствовать. Он шел нетвердо, глаза слипались. Почти машинально, в полудреме подвигался он все вперед по знакомым кочкам и проталинам. Осень уже начинала портить дорожки Горячего поля, но проход пока для местных был еще довольно удобный и нетрудный. Позже, в начале октября, до наступления мороза, или весной, когда начинает таять, все пути делаются абсолютно непроходимы, и отдельные громилы, запасшись водкой и провиантом, по две недели сидят отрезанными от города. Антон Смолин подвигался к заставе, а дремота все усиливалась, его клонило ко сну. Он хотел побороть сон, рассчитывая как можно скорее

выбраться вон из столицы и после на свободе выспаться вволю. Он припоминал деревню, когда его привезли туда арестантом, как все бегали от него, показывали пальцами; только молоденькая дочка соседа – Груша – глядела на него с состраданием, участливо и тихонько сунула краюху хлеба. А теперь он приедет сам, с деньгами; надо будет купить гостинцев Груше... Куплю ей шелковый платок на голову. А славная эта Груша, высокая, статная, красивая. Эх, если бы взять себе назад надел, обзавестись хозяйством да жениться на Груше. А двести рублей – хорошие деньги: все можно справиться. Смолин прилег отдохнуть на кочке, под кустиком. Сладкие грезы о хозяйстве с Грушей усыпили его, и он захрапел богатырски. Вот уж он и в деревне, женатый. Груша в повойнике возится у дома. Она его баба, а он ее мужик. У них всего вволю, дом – полная чаша, Груша скоро подарит ему наследника. Хорошо им, ах, как хорошо! Вдруг соседняя гора в поле начала двигаться, идет на их деревню, надвинулась, рассыпалась, погребла все... Он стал кричать, проснулся и увидел около себя двух дворников с бляхами

на груди и кнутами в руках. Господин в котелке кричал:

– Бери его, гони, смотри не выпустите, гони к нашим!

Смолин протер глаза и обомлел. Он попал в полицейский обход... Очевидно, он слишком близко подошел к заставе и уснул в черте облавы... Обход захватил его, и теперь попытки бежать были напрасны, потому что площадь вся окружена дворниками и переодетыми городовыми. Куда ни сунься – наткнешься на кнут, да и конвоиры-дворники зевка не дадут; при малейшей попытке вытянут кнутом так, что к земле присядешь!.. Смолина взяло отчаяние... В господине в котелке он узнал чиновника сыскной полиции, того самого, который высылал его из столицы... Чиновник руководил обходом. Цепью расставленные стражники медленно сходились, постепенно суживая оцепленный круг. Почти из каждого куста выгоняли ночлежника или бродяжку, оборванного, общипанного, заспанного. Как зайцы в западне, они пробовали метаться во все стороны, но, встречая везде кнут, быстро покорялись, безропотно повиновались прика-

занятым, группируясь в толпу таких же бродяжек, как и они. Толпа росла. Смолин стал приглядываться и увидел Федьку-домушника, попавшегося раньше его. Они переглянулись, и Федька стал незаметно приближаться к нему. Между тем цепь обозначилась во всех концах, и отовсюду гнали мужчин и женщин. Все это были в огромном большинстве пропившиеся рабочие; настоящих громил никого, кроме двух случайно попавшихся Федьки и Смолина. И они никогда не попались бы, если бы Федька не бежал от преследования товарищей-судей, а Смолин не замечтался о Груше и не уснул, перешагнув черту облавы. Впрочем, Смолин и не был вовсе громилкой, он только был самовольно вернувшимся в столицу и, кроме того, не имеющим определенных занятий и местожительства, что, в свою очередь, составляет преступление как «праздношатайство» и «бродяжничество».

– Антошка, ты как угодил? – прошептал Федька, приблизившись совсем к товарищу.

– Уснул здесь у ковша. Не спавши, не заметил, как границу перешел.

– А я нарочно ушел на поляну; надо же гре-

ху быть, чтобы сегодня как раз обход! Слушай, давай удирать как-нибудь.

– Невозможно! Смотри, сколько переодетых.

– Если бежать, так сейчас, а то выйдем на поляну, тогда не уйти.

– Куда же бежать? Ты хочешь на мне опыт сделать. По моей спине кнут – тебе не больно. Беги вперед.

– Как хочешь. А что Сенька?

– Помер.

– Быть не может? Ну, вот это счастье! Замучил он нас всех! Того и гляди перо запустит! Неужели сам помер?

– Его решили отпустить, постегав, а смотрят, померши. Похоронили... А ты как улизнал?

– Пошел хворост набирать, выбрал момент да за куст и бежать, бежал так, что не передохнул. Уж тут, на опушке, повалился: дышать не вмоготу. И хорошо, что ушел, а то быть бы мне с Сенькой в могиле. А подпалили мы Тумбу на совесть! Минутку бы еще не проснись – и не вышел бы ни за что. Хи-хи-хи!..

Цепь обхода сошлась. В середине толпы образовалось человек четыреста. Начальник обхода, господин в котелке, стал сортировать толпу.

– У кого паспорт есть? Подходи по очереди.

Кто с паспортом, получал толчок в спину и вылетал за цепь. Некоторые рабочие в передниках, замазанные краской, с инструментами; они пришли на поле завтракать, потому что в свой угол идти далеко, а в трактир дорого, и угодили в облаву. Их тоже вытолкнули из цепи. Образовалась из толпы группа около сотни человек. Все без паспортов, без работы, квартиры и гроша денег. Большинство было довольно аресту и не просилось вовсе на свободу.

– По крайней мере в тепле посидим и сыты будем. Теперь не лето красное, а пяточков на ночлег не напасешься.

Смолин с Федькой не подходили вовсе к сыщику. Они понимали, что обмануть опытного чиновника им не удастся.

Всех собранных погнали в Нарвскую часть для опроса, обыска и сортировки. Некоторых прямо надо отправить в распоряжение судеб-

ных властей, других в пересыльную тюрьму, а третьих для обыска и опроса в управление сыскной полиции и антропометрическое бюро. Арестантов гнали по Забалканскому проспекту.

– Пропали мы, – шептал Федька, – теперь не улизнешь.

– А-у! И там не уйти было, только спина чесалась бы теперь!

– Разве махануть под ворота и залечь на помойной яме?

– Махани!

Они шли серединой проспекта. Все встречавшиеся экипажи давали им дорогу. Только вагоны конок приходилось обходить.

Смолин обернулся, взглянул на империал только что прошедшей конки и не поверил глазам: на империале сидел и кивал ему головой Федька-домушник.

– Что за притча? Сейчас рядом шли, и когда он успел?

А успел. Забранных не считали и не проверяли еще, так что исчезновение Федьки никем, кроме Смолина, не было замечено.

«Молодец!» – подумал Смолин и с сокруше-

нием посмотрел вслед удалявшемуся вагону.

Их пригнали во двор Нарвской части и здесь партиями по пять-десять человек стали водить в управление для опроса.

Антон Смолин был в числе последних. Голодный, измученный душой и телом, усталый после всех передрыг и волнений, он стоял как приговоренный. Но пожалеть его было некому.

Смолин очнулся, когда его толкнули сзади.

– Ну, марш на лестницу!

28

Допрос

Околоточный надзиратель доставил Коркину в дом предварительного заключения и сдал на руки смотрителю.

– Это обвиняемая в мужеубийстве, переведите ее немедленно в секретный номер, – приказал смотритель солдатам.

Околоточный надзиратель смотрел удивленно:

– Обвиняется в мужеубийстве, когда я только что говорил с ее мужем?! Удивитель-

но!

Коркину, под конвоем двух солдат, повели по коридорам. Она шла бодро и довольно спокойно. Коридоры узкие, полутемные, с маленькими круглыми окошечками по сторонам. Эти окошечки напомнили Елене Никитишне каюты волжских пароходов, напомнили ее поездки с Онуфрием Смулевым, когда он был еще женихом. Она замедлила шаги и внимательно всматривалась в окошечки, откуда виднелись бледные лица арестованных. Она вздрогнула. Ей еще не случалось видеть людей, сидящих, как птицы в клетках, отделенных от всего мира и лишенных всякой свободы. Она слышала рассказы о тюремных затворниках, но никогда не вдумывалась в их положение и не находила его таким ужасным, как теперь. Неужели и она обречена на такую жизнь? Может быть год, два или навсегда?! Навсегда!! Она вскрикнула, схватилась за голову, но сейчас же поборол приступ и пришла в себя, продолжая путь. Только щемящая головная боль давала себя чувствовать. Она замедлила шаги, нетвердо передвигая ноги. Солдатик, шедший впереди, остановился в

глубине коридора и позвонил. Явился сторож с бляхой на груди.

– В секретный.

– Убийца?

– Да...

Сторож брякнул связкой огромных ключей и вложил один из ключей в замочную скважину последней двери. Два раза щелкнул замок, дверь отворилась.

– Идите, – сказали Елене Никитишне.

Она переступила порог, дверь захлопнулась, и опять замок два раза щелкнул.

– Где я? Что это?!

Елена Никитишна усиленно терла виски. Она присматривалась. Маленький столик, табурет и опущенная железная кровать. Окно с толстой, частой решеткой выходило во двор. Коркина скорее упала, чем опустилась, на табурет и замерла: на нее нашел столбняк. Она не слышала, как дверь камеры открылась, не видела появившихся жандармов и не понимала их приглашения.

– Пожалуйте к следователю.

Только когда жандармы подошли к ней и, взяв ее под руки, насильно повели, она при-

шла в себя и с испугом стала озираться:

– Что это? Что со мной? Что вы хотите?!

– Вас требуют к следователю для допроса.

– Ах! К следователю! Иду, иду! Да, да...

И она бодро пошла, так что жандармы выпустили ее из рук.

Другими коридорами долго шли они, пока ввели ее наконец в камеру судебного следователя по особо важным делам.

Следователь с любопытством стал рассматривать доставленную арестантку.

Бледная, слабая, с осунувшимся лицом, Елена Никитишна возбуждала к себе искреннее сострадание, и следователь своим опытным глазом сразу определил ее душевные страдания.

– Садитесь, – предложил он. Коркина молча повиновалась.

– Не угодно ли вам рассказать все, что вы знаете о загадочном исчезновении вашего первого мужа, Онуфрия Смулева.

Тихо, с расстановкою, с большим усилием и с опущенной головой, Коркина в десятый раз за последние дни повторила свою исповедь. На этот раз она рассказала, шаг за ша-

гом, всю свою жизнь со Смулевым и участие, которое принимал в их жизни Сериков. Когда Коркина кончила, следователь, помолчав, произнес:

– Я предлагал вашему мужу сделать это заявление саратовскому прокурору, но он отказался. К сожалению, вам придется теперь совершить этапом путешествие в Саратов. Мы не можем производить здесь следствие и не можем освободить вас из-под стражи после вашего признания.

– Я согласна на все, все, лишь бы дело...

– Но выдержите ли вы это путешествие по пересыльным тюрьмам, с бродягами, каторжниками? Вы так слабы.

Елена Никитишна молчала.

– Я вызываю, – продолжал следователь, – сегодня Куликова в качестве свидетеля. Угодно вам присутствовать при допросе?

– Ах, нет, нет, я не хочу его видеть... Я боюсь его.

– Не имеете ли вы еще что-нибудь сообщить мне?

– Ничего... Одна только просьба – делайте со мной, что хотите, только скорее, скорее. Я

чувствую, что силы меня покидают и боюсь умереть раньше примирения с совестью, с церковью и людьми. Ради бога...

– Но, госпожа Коркина, я повторяю, что вы неизбежно должны отправиться этапом в Саратов. Посмотрим, что скажет Куликов. Во всяком случае, я напрасно задерживать вас не стану. Не угодно ли вам вернуться в вашу камеру.

Следователь позвонил. Жандармы вошли и стали по сторонам важной преступницы.

– Пойдемте, – произнес один из них.

Коркина близка была к потере сознания, но крепилась сверх сил. Как автомат, она встала и, не поклонившись следователю, пошла за жандармом. Голова ее была в чаду, и тупая боль щемила виски. Куликов, муж, Сериков, покойный Смулев, околоточный, следователь – все это мелькало в голове, пронеслось вихрем, путалось и превращалось в какой-то сумбур. Мысли являлись и уносились без всякого участия ее воли и сознания, как бывает во сне, когда мозг работает механически.

– Вот ваша камера, – раздалось над ее ухом.

– Да, да...

Та самая камера, тот же табурет. Она опустилась на него. Все время она не снимала ни шляпки, ни бурнуса. Второй день еще ничего не ела. Физическая слабость дошла до того, что голова с трудом держалась на плечах. Хотелось бы прилечь, но кровать опущена.

– Боже, боже! – шептала Елена Никитишна и тихо стонала.

– Пожалуйте к следователю, – появились на пороге знакомые жандармы.

– Не могу, – прошептала арестантка.

– Пожалуйте, приказано доставить.

– Ве-ди-те...

Жандармы переглянулись, взяли ее под руки и повели.

Навстречу им попался рассыльный из следовательского коридора.

– Тащите скорей, – грубо закричал он, – ждут там.

Жандармы ускорили шаги, и через минуту арестантку впустили в кабинет следователя.

Елена Никитишна широко раскрыла глаза и вскрикнула, увидев в кабинете Куликова и встретив его пронизывающий, жестокий на-

смешливый взгляд. Следователь соскочил с места и поддержал ее, усаживая в кресло. Через минуту она немного успокоилась и с мольбой посмотрела на следователя.

– Я просила вас... Я не могу... Вы видите.

– Необходимо, госпожа Коркина, сделать очную ставку. Вот господин Куликов утверждает, что он никогда ничего вам не говорил, не имеет ни малейшего понятия о вашем первом муже, никогда не бывал в Саратове и ничего не слышал о вашем первом муже, даже не подозревал, что вы второй раз замужем. При таком положении дела остается одно ваше заявление, но может быть, вам угодно его изменить. Может быть, вся эта история есть результат вашего болезненного состояния.

Елена Никитишна вскочила и, стиснув зубы, приблизилась к Куликову. Минуту они молча смотрели друг на друга уничтожающими взорами.

– Вы не требовали моего визита? А ваша записка?! А ваше поведение в моей гостиной?! А ваши намеки на гибель Смужева во-все не на «Свифте»?!

Куликов сидел с улыбкой на губах. Так

смотрят взрослые на шалости детей. Когда Елена Никитишна кончила и с дрожью во всем теле стояла перед Куликовым, он не выдержал и засмеялся.

Следователь резко ему заметил:

– Прошу вас вести себя прилично! Здесь не место для смеха, и я не вижу ничего смешного.

Куликов пожал плечами и ничего не отвечал.

– Это все, что я могу сказать госпоже Коркиной – только улыбнуться!

– Значит, вы настаиваете на том, что...

– Так ты, подлец, отпираешься! – закричала Елена Никитишна.

– Госпожа Коркина, не употребляйте таких слов! Показание господина Куликова прямо в ваших интересах, и вы напрасно волнуетесь! Если бы теперь вы также отказались от вашего показания, то дело, вероятно, было бы прекращено прокурором.

– Никогда! А холм под тремя березами на берегу Волги?!

– Сударыня, поймите, что никакие судебные власти не в состоянии перерыть все хол-

мы на берегах Волги! У нас нет решительно никаких данных предполагать насильственную смерть Онуфрия Смулева. Напротив, мы запросили по телефону комитет Добровольного флота и получили ответ, что имя Смулева действительно значится в списке погибших на «Свифте». Каких же еще искать доказательств? Подумайте, сударыня, о вашем заявлении. Дело сегодня же можно прекратить.

– Никогда! Никогда! Этот негодяй, – указала она на Куликова, – знает все, но если он не хочет говорить, я сама буду говорить. Я покажу вам холм под березами, я найду Макарку-душегуба, я разоблачу этого человека (она указала пальцем на Куликова), и мы узнаем, какую роль он играл в смерти моего мужа! Тут нет сомнения: он знает все, а знать он не может случайно. Не он ли и есть Макарка?! Ха-ха-ха! Макарка! Макарка!

– Успокойтесь, сударыня, ведь никто не мешает вам разрывать холмы на Волге, и если ваше предположение оправдается, тогда вы и заявите властям; тогда у вас будут несомненные данные!

– Несомненные данные у меня и теперь

есть! Все, что я вам сказала, подтверждаю и готова подтвердить клятвой! Я не беру ни одного слова назад, но добавляю, что имею полное основание считать господина Куликова сообщником Серикова. Если он не Макарка-душегуб, то...

– Господин следователь, я полагаю, вы меня пригласили не для того, чтобы выслушивать дерзости, – произнес Куликов, вставая.

Следователь пожал плечами.

– Здесь есть что-то загадочное. Я не понимаю, с какой стати госпожа Коркина сочинила бы на вас небылицу? Верно вы что-нибудь все-таки сказали!

– Меня удивляет, что представитель судебной власти рассуждает не о фактах, а гадает.

– Я приглашаю вас, – оборвал его следователь, – не вдаваться в критику моих действий! Не забывайте, что вы приглашены мною, как свидетель!..

– Не могу ли я считать мои обязанности, как свидетеля, оконченными.

– Позвольте!

– Итак, госпожа Коркина, вы не берете назад своего заявления?

– Ни за что!

– Вы подтверждаете, что господин Куликов угрожал вам и требовал вас к себе, даже запиской?

– Да, я жалею, что эту записку я уничтожила.

– Но господин Куликов говорит, что он писал вашему мужу о каких-то векселях.

– Он лжет так же, как и во всем остальном!

– Мы вызовем вашего супруга и, если он...

– Вы не можете вызвать господина Коркина, – произнес Куликов.

– Почему?

– Потому что его отвезли сегодня в дом умалишенных, куда пора посадить и его супругу...

– Что?! Илью отвезли в дом умалишенных? – вскричала Елена Никитишна. – Это ложь!

– Я сам видел, как его связанного повезли...

Елена Никитишна рванулась к двери, где жандармы преградили ей путь. Она упала без чувств.

«Машкин кабак»

С закрытием черной половины трактира Кусликова все заставные бродяги с Горячего поля перебрались в питейный дом на Обводном канале, известный под названием «Машкин кабак». Прозвище свое кабак получил от некоей Марии Ивановой, молодой, высокой, когда-то красивой девушки, успевшей к 25 годам совершенно спиться и дойти до подзаборной жизни. Эта Мария Иванова, или «Машка» прославилась своим беззаботно веселым характером и чудесным голосом. Ее песни хватили за душу и заставляли всех бродяжек заслушиваться. Случалось нередко, что песни Машки так увлекали ее слушателей, что они, умиляясь, готовы были носить ее на руках, идти за ней хоть на край света, только бы еще послушать «Среди долины ровные» или «Не тужи, молодец...».

Машка безвыходно находилась в кабаке, отлучаясь только на откос Обводного канала или на поляну Горячего поля. Паспорт у нее

был всегда исправный, полиции она не боялась, худого ничего не делала и жила, как птица вольная. Эту жизнь она не променяла бы ни на какую другую, хотя лет семь-восемь тому назад каталась в ландо и жила в бельэтаже.

– А что, Машка, пошла бы ты опять в хоромы? – спрашивали ее бывало.

– Ни за какие коврижки! Никуда не пошла бы.

У Машки родной брат – кронштадтский богатый купец, и не раз он предлагал ей бросить бродяжничество и жить у него в доме, но Машка отвечала:

– Хоть озолоти – не пойду!

Все, начиная с целовальника кабака и кончая последним пропойцем, уважали и любили Машку, поили ее водкой, угощали, смотря по сезону, луком с хлебом или картошкой и по большим праздникам поили чаем. Большого она и не просила, но главное – все-таки водка. Без водки она не могла ни петь, ни смеяться, ни болтать!

С переселением в кабак всех куликовских посетителей популярность Машки еще боль-

ше возросла. Рябчик и Вьюн были без ума от ее песни, которую она сама сложила, в память Гуся; когда она пела ее, то невольно вызвала у всех слезы: это было грубое подражание песне «Пара гнедых», но исполняла Машка с таким чувством, что заражала и увлекала слушателей.

– Эх, вы громилы! Я – девка – больше почитила память бедного Гуся! Неужели вы не могли до сих пор ничего сделать в пользу своего атамана! Не знаете даже, жив ли он. Хоть разгромили бы квартиру этого разбойника Куликова! Он и дома-то почти не бывает! Пусть бы чувствовал, что громилы отомстили за своего атамана!

– Погоди, Федьку-домушника забрали в обходе, он узнает там про Гуся. Верно Куликов выдал его полиции, и бедняжку отправили куда-нибудь на Мурман!

– Ничего вы от Федьки не узнаете! Не таковский! Он уж наверняка удрал! А вот наш один попался – Антошка.

– Ну, этот мямля! Да его мало знают, он ничего не узнает.

– Все вы, я вижу, мямли, – вмешивалась

Машка, – привыкли маленьких обижать!
Небось Куликова-то трусите!

– Чего там трусить! Просто лбом стену прошибать не хотим!

– А хотите, я пойду его разыскивать?! Пойду и к Куликову, и в полицию, везде пойду. Только не знаю вот, как звать-то его по-настоящему.

– Ха-ха-ха! А ты думаешь, кто-нибудь из нас знает? Поди-ка он сам забыл! Сто раз паспорта менял, а еще больше без паспорта жил – и все Гусь да Гусь.

– А меня как звать? – спросил Тумба.

– Шут тебя знает!

– То-то! Ты и не суйся! Пой, пока поется, да пей! Давай по косушечке выпьем, а ты нам спой «Очи черные».

– Угощай, у меня денег не водится!..

– Машка, иди за меня замуж, – произнес Рябчик.

– Шутишь! Не дорос!!

Весь кабак залился смехом. Машка залпом выпила стаканчик, закусила черным сухарем, отерла губы рукавом и запела. Всё стихло... Никто не шевелился и, когда она кончила,

раздались дружные крики «браво!».

– Нет, не поется сегодня что-то... Пойдемте, ребята, на Громовское кладбище... Погода еще сносная. Скоро негде и погулять будет! Эх, прошло лето красное!

Машка была в одной ситцевой юбке и кофточке, давно потерявших свой первоначальный вид; на шее была завязана шерстяная колымага. Земляной цвет лица и всклокоченные волосы гармонировали с туалетом. На ногах опорки на босу ногу.

– Пойдем, – согласилось несколько бродяг.

Они толпой вышли из кабака и пошли мимо скотопригонного двора, через поляну, к забору кладбища.

– Машка, – заговорил опять Рябчик, – хочешь со мной жить, я тебя одену, найму угол, буду в гости ходить...

– Пошел ты, себя сначала одень, сам часто не евши сидишь!.. Не видала я почище тебя, что ли, коли захотела бы!

– Смотри, Машка, ты не много со мной разговаривай! Помнишь Алёнку Макаркину?

– Какую Алёнку?

– А что Макарка-душегуб заколол в полто-

рацком флигеле?

– Ах ты, сопляк этакой! Пугать меня вздумал? Я не из трусливых, не беспокойся!

– Слушай, Машка, ведь ты от такой жизни околеешь! Посмотри, на кого ты стала похожа!..

– А тебе что за дело до меня? Ты на себя глядел бы!

Переругиваясь, они отстали от товарищей и шли по дороге к кладбищу вдвоем. Совсем уже смеркалось, но погода не портилась... Вечер для сентября был хороший, довольно теплый...

– Машка, в последний раз я тебя спрашиваю, согласна? – остановил ее Рябчик.

– Нет!

– Нет?

– Сказала нет, и убирайся.

Рябчик схватил ее за горло, повалил на землю и стал наносить удары.

– Убью, если не хочешь!

Машка начала кричать и звать на помощь.

Несколько минут Рябчик безостановочно бил свою жертву. В это время от Новодевичьего монастыря показался какой-то человек, бе-

жавший по направлению раздававшихся криков.

– Что ты делаешь, разбойник! – кричал неизвестный.

Рябчик остановился, выпустил из рук свою жертву и быстро выхватил из кармана кинжал. Как только неизвестный приблизился, он всадил ему кинжал в живот по самую рукоятку. Машка была уже далеко. Неизвестный слабо застонал и повалился в канаву, а Рябчик вынул кинжал, бережно вытер его о траву, спрятал обратно в карман и, посвистывая, пошел к кладбищу.

На счастье раненого, крики Машки услышал монастырский дворник, который шел тоже на выручку. Он хотел уже вернуться обратно, как услышал из канавы слабые стоны. Дворник немедленно вытащил истекавшего уже кровью человека и, взвалив себе на плечи, потащил его к Забалканскому проспекту. Извозчиков здесь нет. Что делать? Кондуктор вагона конно-железной дороги отказался принять раненого, который испачкает всю обивку вагона. Пришлось дальше тащить на плечах; навстречу попался порожний ломо-

вик, согласившийся довести умирающего до больницы. Но больницы близко нет. Потаскились в Обуховскую. Раненый дорогой умер.

– Теперь торопиться некуда, – заметил дворник и перекрестился. – Вместо больницы сдадим его в Нарвскую часть.

– И то...

Мертвое тело внесли в покойницкую. Врач освидетельствовал труп и констатировал страшную рану с выпадением сальника.

– Его все равно спасти было невозможно. Разбойник бил наповал!

По телефону был приглашен судебный следователь, в присутствии которого произвели осмотр платья. Покойный был средних лет человек, по-видимому интеллигентный, очень прилично одетый; в боковом кармане сюртука нашли бумажник с несколькими кредитными билетами и записками. Ни паспорта, ни визитных карточек не оказалось, так что определить личность было невозможно; записки состояли из каких-то пометок цен, счетов и итогов; судя поэтому, можно было догадаться, что покойный принадлежал к торговому или купеческому сословию.

Дворник, доставивший убитого, рассказал, как было дело. Господин этот шел от заставы по монастырским мосткам и, услышав крики женщины, побежал на помощь. Дворник пошел за ним следом и не застал на месте уже никого, кроме стонавшего раненого.

Преступление представлялось загадочным и осложнялось еще тем, что личность убитого довольно трудно было выяснить.

Пока составляли протокол, в часть пришла Машка.

– Я пришла рассказать о происшествии у Громовского кладбища. Там убили человека.

– А! Это та женщина, которая кричала.

– Да, меня бил Рябчик, чуть не задушил, проклятый, а человека какого-то кинжалом зарезал.

– Рябчик – это с Горячего поля?

– Он самый... Настоящий Макарка-душегуб. Если бы благодетель мой не прибежал, этот окаянный убил бы меня.

– Благодетель твой в покойницкой лежит. Иди помолись.

– Царство ему небесное!

– Слушай, Машка, ты должна помочь нам

поймать Рябчика.

– С полным удовольствием. Сделайте облаву на мой кабак на Обводном. Он не утерпит завтра прийти. Кстати, там захватите и других громил из куликовского трактира. Они теперь к нам переселились, но только грех один! Всегда мирно, покойно было.

– Мы облаву сделаем, только ты сигнал дай.

– Извольте. Я начну петь «Очи черные» – вы сразу и приходите.

– Смотри, Машка, не проводи нас, а то худо тебе будет.

– Пугать меня нечего, я ничего не боюсь, а проводить мне вас нечего. Я сама рада избавиться от этих знакомых.

Машку отпустили.

На следующий день притон-кабак Обводного канала с утра был оцеплен переодетыми полицейскими и сыщиками. Машка гуляла по набережной и ждала, заложив руки за спину, с папироской в зубах; она шагала, задумавшись, и соображала:

«Рано или поздно они приколят меня за это предательство; скажут – Машка подвела

их; ведь если бы я не выдала их, полиция никогда не разыскала бы... Ни следов, ни улик никаких. Что ж, пусть душат; все равно вчера Рябчик прикончил бы. А теперь пусть и он попробует кандалы».

– Здравствуй, Машка, – окликнул ее чей-то голос. Она обернулась и увидела перед собой Вьюна.

– Здорово, не видал Рябчика?

– Видел; рассказывал он про вашу драку вчерашнюю.

– Хороша драка! Он одного зарезал, а меня чуть не задушил. Ладно! Попомнит он и меня.

– Они с Тумбой и Пузаном сзади идут. Никого наших не видала?

– Не видала и видеть не хочу!

– Ты на меня-то за что сердишься?

– Все вы заодно. Нарочно вчера вперед ушли. Не слышали разве, как я кричала? Небось не пошли выручать! Свой душит – пусть хоть убьет! Погодите, голубчики, помянете вы Машку!

– Машка, полюби меня, будем жить вместе! Я тебя...

– Молчи! Не мели! Здесь не на Горячем по-

ле!

– Ну, ладно, пойдём я тебя угощу, вон и наши идут!

– Это можно. Угости. В моем кабаке меня в обиду не дадут; я не боюсь.

– А споешь?

– Спую. «Очи черные»... Хочешь?

– Хочу. Спой...

В это время подошли Тумба, Пузан и Рябчик. Последний не поклонился Машке и отвернулся; он сердился. Тумба, ухмыляясь, протянул ей руку.

– Молодец, Машка, люблю за характер!

– Не рано ли смеетесь, молодчики?!

Тумба переглянулся с Рябчиком.

– Не посмеет, – прошептал тот, поняв безусловный вопрос.

– Смотри!

Все вошли в кабак. Впереди всех Машка.

– Машка, выпей мировую с Рябчиком, – предложил Тумба, когда они подошли к стойке.

– Не хочу!

– Полно, не ломайся! Он больше не будет тебя трогать.

– Не хочу не только мировую пить с ним, но и разговаривать не буду больше.

Целовальник налил всем по большому стакану. Из громил Горячего поля все главные представители были налицо. Когда водка была выпита, Машка отошла к окну, распахнула его и во весь голос запела «Очи черные». Голос ее дрожал, она фальшивила и, кажется, никогда еще не пела так плохо.

Вдруг произошло что-то необычайное. Во всех трех дверях показались люди. С первого взгляда было видно, что это за люди. С яростью и страхом все устремились на Машку.

– Вот он – Рябчик, – указала Машка вошедшим на стоявшего у стойки убийцу. – А это Тумба – атаман заставных бродяг. Это Вьюн, – продолжала она, – старый громила; а это Пузан с Мурманна недавно вернулся.

– Надо связать им руки! – приказал главный начальник облавы. – Они все вооружены, вероятно, и им нельзя дать свободу рук.

Толпа дворников и полицейских окружила громил и стала связывать им руки.

– Давно, голубчики, мы до вас добирались. Пора!

Ганя – невеста

В доме Петуховых приготовления к свадьбе были в полном разгаре. Портнихи, модистки, белошвейки работали с утра до ночи.

До свадьбы осталось пять дней, а приданое еще наполовину не готово. Тетка Анна с ног сбилась в хлопотах: надо выбрать церковь, условиться со священником и певчими, пригласить шаферов, дружек, посаженного отца, приготовить невесту к венцу, запасти все приданое, свадебные подарки, устроить пир на всю заставу, обставить квартиру – гнездышко для молодых.

– Нет, это с ума можно сойти! – стонала старуха. – Хорош и Тимофей Тимофеевич, выдает дочку и сам пальца о палец не ударит! Мог хоть меня же за месяц пригласить! А тут, на-ко поди, в пять дней все изволь оборудовать! Ох, грехи!

С появлением в доме старухи-тетки Ганя совершенно ступсевалась и целыми днями просиживала в своей комнате. У нее оконча-

тельно опустили руки, пропала энергия, и она безучастно ко всему относилась; лишь когда рисовалась в мозгу перспектива супружеского сожительства с Куликовым, ее бросало в жар и холод, она вся дрожала, протягивала руки с мольбой в пространство и приходила в такой ужас, что невольно думала о самоубийстве. Его зверский взгляд, ядовитая улыбка на губах и грубый, сиповатый голос действовали на нервы девушки до такой степени, что она делалась больной, испуганной и близкой к потере рассудка. Даже к своему другу Николаю Гавриловичу Ганя перестала ходить. Она в состоянии была сесть на качалку или кресло, погрузиться в свои думы и просидеть так кряду часов шесть-восемь. Она искала такого уединения и покоя совсем не для того, чтобы обдумывать сама с собой свое безвыходное положение. Нет, об этом она перестала уже думать и старалась как можно реже вспоминать. Сколько обыкновенно она ни думала, всегда кончалось страшной головной болью и невольной мыслью о самоубийстве. Ганя знала эту мысль, как бесовское наваждение, но она неотвязчиво лезла в голову, то в виде пет-

ли на крюке потолка, то пули в лоб или, еще проще, смерти под маховым колесом заводской машины.

Почти моментальная и верная смерть. Нет, нет, прочь все эти грешные, худые мысли! Лучше ни о чем не думать! И Ганя могла часами сидеть, ни о чем не думая. К ней приходили портнихи и модистки, примеряли, прилаживали наряды, и она исполняла все, что ей говорили, хотя ничего не видела и не сознавала. Если у нее спрашивали: «как ваше мнение», то она уклончиво отвечала:

– Право, не знаю, или: мне все равно, как хотите.

Никто из окружающих не хотел замечать, что за эти несколько месяцев здоровье девушки было подорвано и сильно пошатнулось. Она иногда днем ложилась на постель усталая, измученная, тогда как решительно ничего не делала и даже двигалась мало. Эта усталость была чисто нервная, на почве развившегося малокровия, от постоянной душевной тоски, потери аппетита и покоя. Если бы свадьба была отложена или отдалена, то Ганя наверняка кончила бы в доме умалишенных

или наложила бы на себя руки. Долго длиться такое состояние не может, потому что оно, как ржавчина, ест организм, подтачивает силы и приводит к быстрому изнурению. Но свадьбу никто не думал откладывать. Тимофей Тимофеевич, указывая на Ганю знакомым, с улыбкой шептал:

– Сохнет девка! Надо скорей их повенчать! И то сказать – годы!

Он сделал все распоряжения насчет 50 тысяч приданого. Капитал был взят из банка, превращен в государственные бумаги, и в день свадьбы Петухов должен был передать Куликову портфель с этими бумагами.

– Остальной капитал и завод получите после моей смерти, – прибавлял старик.

Тетка Анна из кожи лезла, чтобы в короткий срок успеть все «по-хорошему» устроить. Благодаря деньгам, разумеется, не трудно было скоро достать и сделать, что нужно, а Петухов денег не жалел – трать, бери, сколько хочешь.

Нечего и говорить, что Куликов даже не допускал мысли об отсрочке. В церкви было сделано уже оглашение, свою квартиру он

подновил, заново меблировал; привез невесте роскошный бриллиантовый фермуар в подарок – словом, как жених был на высоте своего положения. Когда он привез драгоценный подарок, а Ганя не хотела брать, тетка пришла в негодование.

– Что это ты, Ганя, дурачишься?! Разве можно ломаться так с женихом? Где это видано?! Иван Степанович такой милый, любезный.

А бриллианты фермуара ослепительно горели всеми цветами радуги и приводили в восхищение всех, видевших их.

– Да, подарочек царский, – замечала тетка, – и после этого еще Ганя дуется на жениха?! Кажется, доказательство его любви и внимания налицо. Чего же еще?

– Не хотите ли поменяться со мной? – насмешливо произнесла Ганя. – Берите эти бриллианты и жениха, а я останусь старой девой или уйду в монастырь.

– Что это за шутки, матушка, и как ты смеешь смеяться над старухой! Я не девочка тебе!

– Так вы и не вмешивайтесь, когда не вам

жить!

Ганя не уступала тетке и пикировалась с ней постоянно. Петухов пробовал делать дочери замечания, но потом махнул рукой.

– Последние дни вместе живем, не хочется ссориться.

Раздражительность девушки отражалась на всех других, кроме отца, с которым она последнее время не говорила ни слова и встречалась только за обедом. Отец, бывший главной, хотя и бессознательной причиной ее горя, перестал быть для нее другом, как прежде. Она продолжала его уважать, может быть, даже любить, но прежней нежности не осталось и следа. Иногда, вспоминая прожитые годы, Ганя чувствовала прилив нежности к своему седому, сторбленному папеньке, с которым привыкла делиться всеми мыслями и мелочами будничной жизни, но этот прилив сейчас же разбивался о каменную стену, выросшую между ними. Девушка заливалась слезами, уходила в свою комнату и беспомощно ломала руки. И взор ее невольно останавливался на крюке, вбитом в потолок.

– Один момент – и всему конец! Конец

невыносимым мучениям, избавление от ужасной будущности и всех моих мучителей.

Но она гнала эти мысли.

– Нет, нет...

Однако, прогоняя мысли о таком исходе, она не могла примириться и с мыслью о замужестве... Это было свыше ее сил. Получалась пустота... Та ужасная пустота, которая доводит людей до отчаяния и влечет их к преступлению или в больницу для умалишенных.

Пока супружество было чем-то отдаленным, пока являлись надежды на какой-нибудь выход, Ганя не чувствовала отчаяния, отдаляла окончательное решение. Но теперь осталось только пять дней!.. Под опытным руководством тетки Анны приготовления к свадьбе быстро приходили к концу. Все препятствия устранялись. Причины отсрочек исчезали, и с каждым часом возможность расстройств свадьбы делалась одной неосуществимой мечтой...

– Но почему Куликов почти не показывает себя? Почему он не ищет бесед со мной? – задавала себе вопросы Ганя.

Увы! Это не было лучом спасения!.. Кули-

кову действительно в это время было не до невесты, но он находил время забежать на минуточку к Тимофею Тимофеевичу, уверить его в том, что он по горло занят приготовлениями к свадьбе, и каждый раз Иван Степанович почтительно свидетельствовал почтение своей посажёной матушке, тетке Анне... Этих визитов было вполне достаточно, хотя Ганя о них и не знала.

«С тобой-то, милая моя, – мысленно говорил по ее адресу Куликов, – мы успеем еще поговорить! Ты у меня не много попетушишься, хотя и Петухова урожденная!»

Притихли как-то, пригорюнились и защитники Гани. Николай Гаврилович, бедный, целые дни рыскал по городу, собирая справки и сведения о Куликове, но решительно ничего не узнал... Все ограничивались только тем, что «Куликов нехороший, несимпатичный человек». И только. Но Степанову нужны были факты и факты существенные... Дмитрий Ильич Павлов уехал в Орел, но от него не было известий. Он мог задержаться в Москве и отказаться совсем от поездки в Орел, тем более, что эта поездка была довольно гадатель-

на, да при том в такой короткий срок трудно было что-нибудь сделать. Николай Гаврилович видел, что Ганя избегает свиданий с ним, и, в свою очередь, не искал ее. Ему нечего было сказать девушке, нечем утешить ее, а одни слова соболезнования казались пошлыми, шаблонными.

Так проходили последние дни. Ганя еще более побледнела, похудела и сделалась еще более нервной. Каждый стук заставлял ее вздрагивать, каждый неожиданный крик приводил в трепет. Еще реже выходила она из своей комнаты и еще меньше открывала рот, чтобы поговорить с кем-нибудь.

Наконец в среду, то есть за три дня до своей свадьбы, поздно вечером, она накинула платок и, как тень, вышла из дому, направляясь к заводу. Николай Гаврилович точно ждал этого визита и выбежал навстречу к девушке.

– Агафья Тимофеевна, а я хотел сам вызвать вас. Телеграмма есть от Павлова.

– Телеграмма?! Где? Покажите!

– Вот читайте: «Получил важные сведения. Надежды растут. Постарайтесь на неделю от-

ложить свадьбу. Тороплюсь выехать. Может быть, успею, но лучше отложить хоть на два дня». Видите, видите, – радостно произнес Степанов, – я не даром говорил!

Ганя была, однако, по-прежнему бледна и мрачна. Она отрицательно покачала головой.

– Знаете ли, я не верю уже ничему!

– Полноте, Агафья Тимофеевна, как не верите?

– Отложить свадьбу невозможно, а он сам опоздает вернуться! Да и какие у него сведения?! Кто еще нам поверит?

– Вот мы и запросим Павлова, какие у него сведения. Пусть телеграфирует, мы тогда покажем телеграмму папеньке, и вы прямо скажете: я не хочу венчаться с бродягой! Я хочу сегодня же послать ему телеграмму, спросить, что стало известно. Павлов не такой человек! Он зря писать не будет!

– Дай бог! Телеграфируйте! А то я, знаете, решила...

– Что решили?

– Нет моих больше сил. Не могу.

– Но что же вы решили?

– Повеситься, – прошептала девушка. Ни-

колай Гаврилович в ужасе отскочил даже.

– Вы с ума сошли! Господи помилуй. Да не в тысячу ли раз тогда лучше прямо сказать: «Не пойду за него замуж».

– Невозможно. Вы помните, что было у меня с отцом, когда я высказывала нежелание. Отец готов был проклясть меня, преследовал, мучил. А теперь еще хуже! После моего визита к Куликову он скажет, что я опозорила его! О! Нет, нет! Я все уже передумала, все пере-страдала. Выхода нет никакого!

– Постойте, но во всяком случае теперь выход вам открывается! Я не сомневаюсь, что Павлов знает что-нибудь очень серьезное, когда телеграфирует о важных сведениях и надеждах. Я считаю теперь вас спасенной. Слышите?

Николай Гаврилович взял девушку за руки.

– Спасибо вам и Павлову! Вы добрые люди! Дай бог, чтобы все это так устроилось! А то... – Она вздрогнула. – Ах, если бы вы знали, как я измучилась! Как страдаю! Я удивляюсь, как еще держусь на ногах. Эту ночь я не сомкнула глаз. Все обдумывала, как лучше покончить с

собой! Не знаю только, хватило ли бы у меня сил наложить на себя руки! Страшно! – Ганя тихо заплакала и конвульсивно задрожала. – Боже! За что мне это?! Верно великая я грешница!

– Какая же, Агафья Тимофеевна, вы грешница; вы, как ангел, обращались со всеми людьми, рабочими. Вы мысленно даже никого не обидели, никому невольно не причинили зла. За что же Господь будет карать вас! Вот разве за тайные мысли.

– За все: за непокорность родителю, за обиды тетке. Вы говорите – я добрая, а знаете, что я чуть не побила тетку Анну, грубостей ей наговорила, видеть ее равнодушно не могу. Нет, злая я, нехорошая!

– Это не ваша вина! Вы нездоровы, раздражительны. Идите, дорогая, ложитесь спать и будьте покойны. Я сейчас отправлю телеграмму. Теперь вы спасены!

– Вы уверены?!

– Совершенно!

– О! Если бы вы не ошиблись!

Ганя почувствовала облегчение и бегом побежала домой.

Ликвидация

Куликов начал спешить с передачей своего «Красного кабачка». Он сидел дома, ожидая трактирщика Никонова, который обещал приехать и решить дело.

После такого крупного скандала, вызвавшего опечатание заведения, найти покупателя, разумеется, было нелегко, но Куликов не стоял за ценой. Он продавал «кабачок», чтобы скорее ликвидировать все свои дела с заставой и всецело посвятить себя заводу Петухова.

– Довольно, – говорил он сам с собой, – всех этих афер, предприятий и хлопот! Пора успокоиться. У меня будет крупное состояние, хороший завод, недурная жена. Чего же может еще желать и добиваться человек?! Достаточно, кажется, всяких сильных ощущений, превратностей и... и слез, крови!.. Неужели я не в состоянии буду остановиться, сделаться мирным семьянином, честным гражданином?! Предам навсегда забвению свое бурное про-

шлое и постараюсь начать новую жизнь! Старик Петухов скоро помрет, все его состояние перейдет ко мне. Ганя будет у меня в ногах ползать, заведу себе двух-трех французинок, каждый вечер буду ездить по «орфеумам» и «марцинкевичам». Разве не рай?! А средств хватит, с избытком хватит! У меня вещей разных тысяч на 70–80, наличными деньгами тысяч 60, да получу после Петухова не меньше 100 тысяч!.. Одними процентами можно жить, а у меня еще будет завод и трактор. Продам трактор, получу еще тысяч двадцать, а если вздумаю завод продать, так ого-го!..

Раздался звонок. Вместо Никонова вошел Игнатий Левинсон, тот самый метрдотель графа Самбери, который был заподозрен в убийстве камердинера.

– А, дружище, – встретил его Куликов. Между тем на лице его отразилось неудовольствие. Видимо, он был недоволен визитом метрдотеля.

– Здравствуйте, Иван Степанович, можете меня поздравить, я совсем освобожден от всякого прикосновения к делу об убийстве моего сослуживца!..

– Поздравляю, поздравляю...

– Граф меня уволил от должности, но я не особенно кручинюсь... А что, вас следователь не вызывал по поводу моих показаний?

– Нет... Но неужели меня опять потащут? Это становится скучным! Вы знаете: меня таскали по делу Коркиной... Ее обвиняют в убийстве первого мужа. Она припутала и меня. Нам делали очную ставку. Когда я сказал, что ее теперешний супруг рехнулся, она грохнулась на пол... Ха-ха-ха... Умора да и только! Следователь отправил ее в лазарет, а меня отпустил на все четыре стороны...

– Что же, против нее серьезные улики есть?

– Никаких! Следователь разжевывал ей и в рот клал, чтобы она взяла свое заявление назад – и ее сейчас же освободят, но она ни за что! Дура какая-то!

– Иван Степанович, а я к вам за расчетом... на мою долю приходится?..

– По условию, вам тысячу причиталось; вы получили двести, потом взяли сто, значит семьсот...

– Тысячу за «работу», а неужели из добычи

вы мне не хотите ничего уделить?

– Об этом, милейший, надо было раньше говорить! После драки кулаками не машут! Когда вы брали у меня последние сто, вы не заикались даже о дележе добычи!

– Я считал, Иван Степанович, что вы сами догадаетесь!..

– Догадаюсь?! А если бы вместо добычи мы одни шиши получили, вы скинули бы мне с тысячи?! Помните, что вы говорили: я не ручаюсь за последствия, а вы мне тысячу платите «за работу»...

– Помню-то, помню, а все-таки из ста тысяч можно бы хоть одну-три тысячи уделить... По совести!..

– Оставим эти разговоры! Желаете получить семьсот?

– Вы не очень-то покрикивайте! Я не из трусливых и вас совсем не боюсь!.. Я требую не семьсот, а три тысячи!..

– Вы не имеете никакого права требовать! Вы можете просить на бедность, если...

– У таких людей, как вы, не просят, а требуют!

– Это что за намек?

– Не намек, а очень ясное указание! Я требую часть того, что принадлежит нам одинаково! Это такая же ваша собственность, как и моя!

– Другими словами: шантажисты всегда требуют, потому и вы считаете себя вправе требовать... Хорошо. Мне надоело с вами разговаривать; я дам вам три тысячи, но с двумя условиями: во-первых, вы должны написать мне расписку в получении денег как мой соучастник, а, во-вторых, я не считаю обязанным выгораживать вас у следователя, если он меня вызовет. Напротив, я постараюсь даже отречься от знакомства с вами!

Игнатий Левинсон несколько побледнел.

– Вы, может быть, ничего не имеете против моей повинной?! Я думал уже об этом. Меня, знаете ли, совесть беспокоит. Да и корысти-то не много! Стоит из-за нескольких сот рублей брать на душу такой грех, когда другие наживают по сто тысяч. До свидания, господин Куликов, можете оставить себе и эти семьсот. Я не продаю чужих душ!

Левинсон посмотрел на своего собеседника и в ужасе отшатнулся. Налитые кровью

глаза сверкали как у зверя; сжатые кулаки, стиснутые зубы и взъерошенные волосы еще более придавали ему разбойничий вид. Левинсону стало жутко. Они здесь вдвоем, свидетелей никого, оружия у него при себе не было, да и физической силой он не мог с Куликовым мериться. Левинсон инстинктивно стал пятиться к дверям.

– Что?! Повтори, негодяй, что ты сказал, – прошипел Куликов, подвигаясь на него с кулаками, – повтори, лакейская образина!

– Нет, нет, я...

– Подлец! Садись и пиши!

Левинсон, у которого тряслись руки и ноги, немедленно повиновался.

– Вот, Иван Степанович, с вами и пошутить нельзя, вы уж и рассердились!

– Бери перо и пиши.

Левинсон присел на кончик стула и, тревожно поглядывая исподлобья на Куликова, взял в руки перо. Куликов диктовал, а он машинально писал. Это был настоящий обвинительный акт против самого себя и отречение от всякого соучастия Куликова. Левинсон не смел ни слова возразить. Когда расписка бы-

ла готова, Куликов достал семьсот рублей и передал их Левинсону.

– Получите и помните, что при первой попытке шантажа эта расписка будет отправлена прокурору; ступайте вон и постарайтесь забыть о моем существовании!!

Левинсон только и ждал этого приглашения, хотя и не совсем деликатного, но очень для него в эту минуту приятного. Он поспешно схватил деньги и задом стал пятиться к прихожей.

– Ракалия, – произнес Куликов, когда дверь хлопнула за гостем. – Меня запугивать вздумал! Шалишь, брат, не на таковского напал! Эта расписочка заменила мне необходимость пустить в ход стальное перышко и заставить молодца на веки смолкнуть! Шут с ним, пусть живет! Однако я стал гораздо мягче! Уж не влюбился ли я, в самом деле, в свою невесту?! Ха-ха-ха... Что же Никонов до сих пор не является! Мне нужно сегодня визит к невесте сделать! До свадьбы остается несколько дней, а мы еще толком ни разу не беседовали! Я не знаю даже, какие чувства женихи испытывают, как объясняются в любви своим невестам!

стам! Право, это должно быть очень интересно! Попробовать разве сегодня вечером? Стану на колени и закричу: «Агафья! Я тебя люблю! Ха-ха-ха...»

Раздался звонок.

– Ну, верно Никонов, – проговорил он и пошел отворять двери.

– Иван Степанович, мое почтение, – раздался густой хриплый бас необыкновенно тучного, рябого человека лет под шестьдесят.

– Мое почтение, Семен Сидорович, давненько поджидаю вас.

– Подзадержался малость. А что же вы это сами двери отворяете? Разве без прислуги живете?

– Есть у меня сторож при заведении, он все прибирает, чистит, а женской прислуги я не держу, не люблю.

– Правильно. Уф, устал!

– Да ведь вы на своей лошадке. Чего же устали?

– Да бутылочки четыре пришлось сегодня охолостить! Все приятели, компании. Наше дело такое, нельзя не выпить. Я и то уж перешел на херес. Мочи нет водку лущить! Годы

верно подходят.

Они вошли в комнату.

– Ну, Иван Степанович, давайте о деле толковать.

– Сначала посмотрите.

– Что зря-то смотреть! Сперва по инвентарю столкнемся, может быть, цена не подойдет, так и смотреть нечего!

– Сойдемся! Больше двадцати тысяч просить не буду.

– Ого-го-го! Это закрытый трактир!

– Я вам счета покажу, у меня на одиннадцать тысяч куплено одного инвентаря, кроме ремонта, отделки, прав, раскладки и всего прочего! Мне самому больше двадцати тысяч стоило!

– Мало ли что стоило! И мы моложе были – дороже стоили! Вот что я вам предложу: или шесть гривен за рубль по инвентарю – и я покупаю, или огулом все.

– Лучше огулом покупайте, пойдемте смотреть.

– Пойдем.

Они пошли по квартире к внутренней двери.

– А вы квартиру свою передаете? – спросил Никонов.

– Нет, нет, ни в коем случае, – встрепенулся Куликов, – квартиру я пока не могу передать.

– Все равно, как хотите.

Они вошли в буфетную. Сторож отвесил низкий поклон и стал в ожидании приказаний.

– Видите: игрушечка, а не заведение. Сотен пять разных вин. Двойной комплект всякой посуды. Три шкафа белья. Столы мраморные. Стулья буковые. Все солидно, не как-нибудь сделано! Две залы с мягкой мебелью, орган, зеркала, картины. Два бильярда. Черная половина тоже обставлена как следует.

Они обошли все комнаты, перешли в кухню. Никонов тщательно все осматривал, щупал, расспрашивал.

– Это вы где брали? По чем платили?

Около полутора часа продолжался осмотр; они перешли обратно в квартиру. Сторож принес бутылку старого хереса и два стаканчика.

– Ну, Семен Сидорович, выпьем, да и по ру-

кам.

– Моя цена, Иван Степанович, двенадцать тысяч. Больше ни копейки. Завтра к нотариусу. Задаточек получите.

– Шутить изволите! Мне ведь не на хлеб, благодаря богу сыт, не нуждаюсь. Если желаете на самом деле купить, я вам с двадцати тысяч пятьсот скину.

– Полноте, батенька, вы и не пятьсот скинете, но только торговаться-то нам далеко. Поверьте, больше меня никто не даст.

– Мне, Семен Сидорович, давали уж полторы красных, да я не взял! Расчету не было.

– Давали до скандала. И я полторы дал бы, если бы заведение закрыто не было. А теперь репутация испорчена. Еще скоро ли открыть разрешат! Я и то рискую.

– Вот что, Семен Сидорович, чтобы нам с вами много не разговаривать и времени понапрасну не терять, я вам две тысячи скидываю и за восемнадцать по рукам!

– Коммерсант вы я вижу, Иван Степанович, только и я не даром тридцать годов хозяйствую. Коса нашла на камень! Извольте, и я даром время терять не стану. Пишите зада-

точную расписку: все заведение, с товаром, правами, уплаченными за квартиру деньгами и всем имуществом, какое находится там, может быть, продано за пятнадцать тысяч; две тысячи задатку, остальные завтра у нотариуса. Заведение сейчас запрем, ключи я возьму с собой; сторож переходит ко мне на службу. Идет?

Никонов поставил стакан и встал, делая вид, что хочет уходить, если ответ будет отрицательный. Куликов сидел молча, погруженный в расчет. Наконец он встал.

– Извольте. Согласен на все, только... Тысячу прибавьте.

– Прощайте, Иван Степанович, желаю вам продать заведение за 25 тысяч.

И он направился к выходу.

– Семен Сидорович, вы и пятьсот не прибавите?

– Ни рубля!

– Давайте задаток!

– Вот люблю! Это по-купечески. Прикажите шипучего принести.

Сторож побежал в погреб, Куликов сел писать расписку, а Никонов вынул огромный

бумажник и стал отсчитывать сотенные бумажки.

Через несколько минут все было готово.

– Послушай, любезный, – обратился Никонов к сторожу, – запри эту дверь в заведение на замок и, пойдя с той стороны, заколоти гвоздями; дверь от кухни тоже замкни, а наружные двери на все запоры, и ключи отдай мне. Ты теперь у меня останешься служить. Ночуй на кухне; вот тебе три целковых на чай, только не напейся, смотри. – Никонов проговорил все это скороговоркой и поднял пенящийся бокал.

– Поздравляю вас, – произнес Куликов, – дай вам бог хорошо торговать и наживать.

– Спасибо. А вас поздравляю с красавицей-невестой и таким приданым, какое в наше время не часто попадается! Деньги к деньгам всегда впрок. Желаю вам преумножить капитал, только не открывайте больше трактиров! Вы на эту специальность не годитесь!

Бутылка была допита. Никонов стал прощаться.

– Завтра мое угощение, после нотариуса в «Ярославчике»! Будьте здоровы!

– До свидания.

Куликов проводил нового владельца «Красного кабачка», который не забыл спрятать ключи и попробовать, хорошо ли закрыты двери.

– Наконец-то, – вздохнул Куликов, оставшись один, – с одним делом развязался, понемножку ликвидация идет на лад! С Левинсоном покончил, с Коркиными тоже, теперь развязался с кабаком. Еще недели две, и я вздохну свободно. Надо, однако, отправляться к тестюшке с невестой. Умница эта тетка Анна, она много мне помогла.

Он уложил деньги, полученные от Никонова, в несгораемый шкаф, запер все двери и вышел на улицу. Наступили сумерки. Моросил осенний дождь. Продувал холодный ветер. Вдали раздавался вой собак и слышался отрывистый крик гуртовых погонщиков запоздалого скота.

Куликов поднял воротник, нахлобучил шляпу и стал переходить дорогу. В нескольких шагах от него, при слабом мерцании фонаря, он увидел какого-то человека. Этот человек с растрепанными волосами, без шапки

и пальто, стоял и дрожал. Куликов присмотрелся и хотел бежать в другую сторону, но было поздно – человек увидел его и бросился как тигр.

– А! Проклятый! Стой! Говори, что ты сделал с моей женой?! – шипел он, впившись ногтями в горло Куликова.

Это был умалишенный Илья Ильич Коркин.

32

Убийца найден

Большее двух недель сыскная полиция была поглощена розысками убийцы камердинера графа Самбери. Убийство, помимо своей дерзости, сопровождалось крупной кражей бриллиантов и денег, так что во всех отношениях представлялось выдающимся и требовало особо энергичных розысков. Следов до сих пор было немного. Не подлежало сомнению, что злодеяние совершено опытными громилами, и одного из них видели во дворе в день убийства. Затем из рук ювелира скрылся сбытчик похищенных бриллиантов. Вот и

все, что было известно. Агенты сыскной полиции делали частые обходы, забирали бродяжек, задерживали разных подозрительных субъектов, но все это было безрезультатно. Бродяжек, как и маклаков-сбытчиков, в Петербурге множество, более же конкретных указаний не было. За всеми притонами воров был установлен постоянный, негласный надзор, но и это не помогало.

Как чины сыскной полиции, так и судебный следователь, остановились окончательно на том, что убийц надо искать в вертепах, среди бродяг, и потому все другие версии были оставлены без внимания. Игнатий Левинсон, уволенный графом от службы, остался вне подозрений и уехал на родину в Калининскую губернию.

Наконец, усиленные и энергичные труды полиции увенчались полным успехом. Убийца был найден и уличен! Но расскажем по порядку.

После облавы Горячего поля в числе задержанных оказалось 18 человек беспаспортных рецидивистов и высланных из столицы бродяжек. Их всех доставили в сыскную поли-

цию для антропометрических измерений и удостоверения звания. Доставили и Антона Смолина, сразу показавшегося агентам подозрительным и сомнительным. Смолин имел страшно измученный вид, был бледен и с трудом отвечал на вопросы. При обыске у него нашли 200 рублей; почти все кредитные билеты были в крови.

– Откуда у тебя деньги и почему они в крови? – спросили Антона.

Он молчал. Что мог он сказать?! Между тем агенты переглянулись. Ведь убийцы камердинера, кроме бриллиантов и процентных бумаг, похитили и наличные деньги, похитили именно такими кредитными билетами. Может ли быть сомнение, что эти кредитки графа Самбери?! Пусть он скажет, где их взял, если не он убийца?!

– Говори, – наступали на него агенты. Смолин упорно молчал.

– Ты убил камердинера?!

Антон моргал глазами, ничего не понимая.

– Где ты был 17 сентября, – допрашивали его. Где был бродяжка 17 числа?! Да какой же бродяжка помнит и следит за числами, дня-

ми?! Счастливые часов не наблюдают, а обитатели Горячего поля вовсе не признают календаря; для них все дни одинаковы: сегодня как вчера, завтра как сегодня. Какая может быть разница?

– Говори, где ты был семнадцатого, – повторил вопрос агент.

– Не знаю, – растерянно произнес Смолин, и в голове его мелькнула мысль о Груше. Он видел, как агент подшивал к синей бумаге, обложке «дела», отнятые у него кредитные билеты. Прощай, значит, мечты о привольной жизни, о Груше, о деревне. У него стало двоиться в глазах, он чуть не упал.

– Не знаешь? – переспросил его агент. – Так я тебе скажу: ты убил камердинера графа Самбери и украл деньги, которые запачкал окровавленными руками; руки и блузу ты вымыл, а деньги вымыть нельзя, они свидетельствуют о тебе, предадут тебя в руки правосудия. Запираться невозможно против такой явной улики, но у нас есть и другие улики!

Через час Антона повели в тот дом, где совершено было убийство камердинера. Кроме городских его сопровождали два агента. Су-

дебный следователь был уведомлен по телефону и выехал на место происшествия, где ждал привода преступника.

– Иди вперед, – приказали Антону, когда они дошли до ворот.

– Куда? – простодушно спросил тот, ничего ровно не понимая.

– Ишь какой закоренелый злодей! Какая выдержка, – удивились агенты, – как искусно притворяется!

– А ведь молодой еще парень.

– Молодой, да из ранних! На его душе верно не первое убийство, но умел ловко концы в воду прятать!

– А это разве не ловко обставлено! Простая случайность выдала его! Никогда не нашли бы! Никаких следов!

– Иди налево, в квартиру графа Самбери...

Смолин повернул налево и, дойдя до первой лестницы, остановился.

– Чего остановился? Забыл дорогу?

– Я тут никогда не был...

– Смотри, так ли! Забыл 17 сентября?

Смолин безнадежно, беспомощно смотрел на агентов, точно умоляя их не говорить ему

шарад... Но те с негодованием, с презрением относились к нему, как к закоренелому убийце, надеющемуся обмануть и ввести в заблуждение правосудие...

– Открывай дверь, – сказали Смолину, когда поднялись на площадку.

Он взялся за ручку.

– Не ту! Напротив! Полно дурака валять, точно не знаешь!..

Смолин взялся за другую. Пошли... Следователь был уже там с понятыми и теми двумя свидетелями – дворником и кухаркой, которые видели бродяжку на дворе в день убийства.

– Ну, ты принесешь повинную? – обратился следователь к Антону. Он молчал.

– Я должен тебе напомнить, что закон значительно смягчает наказание тем преступникам, которые чистосердечно сознаются... Еще есть время воспользоваться этой милостью закона, пока мы сами не уличим тебя... Потом будет поздно...

Антон усиленно моргал глазами. Он готов был в эту минуту, что угодно сказать на себя, но если бы и хотел – не мог! Он не слышал ни-

чего ни о графе Самбери, ни об убийстве его камердинера и о краже вещей, денег...

– Я ничего не знаю, – прошептал он.

– Как не знаешь? А где ты взял окровавленные деньги?..

Он молчал. Рассказать истину о происхождении 200 рублей значило сознаться в другом убийстве и выдать всех товарищей, бескорыстно приютивших его, когда он скитался голодный и холодный, готовый умереть, как бродячая собака. Он предательски выдаст их, откроет их убежище и в то же время нисколько не облегчит своей участи, потому что его будут обвинять в соучастии в убийстве Сеньки-косого...

– Видишь, ты молчишь, – повторил следователь, – молчишь потому, что не хочешь принести повинную... Хорошо, мы обойдемся без тебя! Свидетели, подойдите...

Дворник и кухарка выступили вперед.

– Посмотрите внимательно на этого человека, не его ли вы видели 17 сентября на дворе?

– Как будто похож, – отвечал первый – дворник.

– Похож, – подтвердила кухарка, – только тот в сапогах был, а этот в опорках...

– Это ничего не значит. А фигура, лицо, рот похожи?

– Очень похожи.

– И теперь ты будешь продолжать запи- раться? – спросил следователь Антона.

– Я не был тут никогда, – твердо сказал Ан- тон, – и могу дать присягу.

– Что значит присяга для такого злодея, как ты!

– Клянусь, я ничего не сделал в жизни дур- ного. Эти деньги мне подарили.

– Кто подарил? Скажи! За что тебе подари- ли?

– Товарищи подарили.

– Какие товарищи? Неужели ты думаешь, что таким сказкам кто-нибудь поверит?! Дети даже не поверят! Полно! Лучше сознайся!

Следователь составил протокол, и свиде- тели подтвердили, что в предъявленном им арестанте они узнают неизвестного человека, проходившего 17 сентября по двору как раз в те часы, когда должно было произойти убий- ство камердинера.

– Посмотрите, – говорили агенты, – как хладнокровно он ведет себя на том месте, где пролил кровь неповинного камердинера!

– Удивительная закоренелость и присутствие духа!

– Посмотрим, что будет он говорить дальше. Сегодня утром задержали четырех его товарищей с Горячего поля, таких же, как и он, громил. Один из них, Пузан Мурманский, говорит, что Антошка хвастался ему, как зарезал камердинера и выручил полторы тысячи, кроме бриллиантов, отданных на комиссию для продажи какому-то маклаку. Мы обещали Пузана освободить, если он уличит Антошку и заставит его сознаться! Хоть бы он указал этого маклака! Тоже парень видно ловкий, сумел провести немца-ювелира и удрать!

Следователь окончил допрос, сложил бумаги и уехал.

Смолина с городскими повели обратно в сыскную полицию, куда одновременно приехали и агенты. Смолина позвали в кабинет чиновника, куда привели только что забранных в «Машкином кабаке» Тумбу, Рябчика, Вьюна и Пузана.

– Узнаете, ребята, своего молодчика?

– Узнаем... Антошка...

– Кто из вас подарил ему двести рублей с кровью?

Все устремили взоры на Смолина. Тумба задрожал.

– Не они, другие подарили, – твердо произнес Смолин.

– Другие? Кто же другие? Ты не знаешь?

– Не знаю.

– Ну, Пузан, напomini ему!

Пузан подошел к Смолину.

– Антошка, сознайся, не губи товарищей неповинных! Ты сам ведь рассказывал мне, как зарезал камердинера, сломал ящики, выкрал вещи, деньги.

Антон смотрел на него с удивлением и плохо понимал то, что слышал.

– Теперь все равно ты погиб, пойман, тебя уличили, а если ты будешь заператься, нам всем придется идти в каторгу. Сознайся!

– Пузан, что ты говоришь?!

Смолин поднял голову и видел умоляющие взоры товарищей. Тумба дрожал за свою семью, которая погибнет, если Антон все рас-

скажет и проведет на поляну полицейских. Бедная Настенька и так теперь осиротела. Скоро ли придется ему удрать, а она одна; Федька-домушник, пожалуй, мстить пойдет, узнав, что все арестованы. Пузан, Вьюн тоже умоляюще смотрели. Им обещана свобода, как Антошка сознается. Только Рябчик был безучастен. Ему все равно! Его судят за убийство неизвестного, и каторги ему не миновать.

Антон видел эти взоры и понимал их...

– Да, я убил камердинера, – произнес он глухо. Все ахнули. Агенты даже привскочили.

– Рассказывай, как ты убил? Один?

– Нет, вдвоем.

– С кем же?

– Вот с ним.

Он указал на Рябчика.

Рябчик удивленно посмотрел на Смолина и улыбнулся.

– Со мной?! Ладно, со мной, так со мной!

– Рассказывайте, как же вы убили.

– Убили и только.

– Куда бриллианты и процентные бумаги дели?

– Ты говорил, – произнес Пузан, – что бриллианты Степану с жидовского рынка отдал, а бумаги татарину продал за тысячу рублей.

– Да, да, так, – подтвердил Антон.

– А куда эту тысячу дел? У тебя только двести рублей.

Смолин подумал.

– Потерял. Когда меня забрали, я бросил.

Агенты, ликующие, довольные, писали протокол признания убийцы. Они не сбивали Смолина, боясь, чтобы он не взял назад своего признания и не причинил им новых хлопот. Теперь и без того новая улика есть. Степан-маклак с рынка давно известен полиции, как сбытчик краденого, и наружность его вполне подходит под описание примет того господина с бородой, который привозил немцу-ювелиру бриллианты для переделки. Улик вполне достаточно даже без признания убийцы, и если Степана не удастся разыскать, то тождественность сбытчика с маклаком установят на суде ювелир и его приказчик. Дело в шляпе! Облупленное яичко! Смолин не может взять назад признания, потому что есть свидетель Пузан, которому он раньше хвастался

убийством. Словом, дознание обставлено с такой полнотой и ясностью, что присяжные заседатели, не колеблясь, могут вынести обвинительный вердикт.

– Ваше благородие, – обратились к агенту Пузан и Вьюн, – вы обещали нас освободить.

– Погодите, погодите. Успеете еще! Надо справиться сначала с этим франтом. – Он опять кивнул головой на Смолина.

– Да он сознался во всем. Отпустите нас, ваше благородие.

– Сейчас не могу, дайте время. Стража! Разведите арестантов по камерам, – крикнул чиновник.

И, потирая руки, агенты принялись писать постановление о передаче сознавшегося убийцы в распоряжение следователя.

На следующий день во всех газетах появились целые столбцы под заглавиями «Исповедь убийцы», «Рассказ убийцы», «Признание убийцы» и т. д. Описывалась наружность Смолина, приводились его слова.

Смолин, оставшись наедине в секретной камере, опять вспомнил про Грушу, деревню, привольную жизнь и зарыдал.

Что он сделал? Сознался в убийстве, о котором не имел никакого понятия! Погубил себя навсегда!

Долго рыдал он, но слезы не облегчили его, как это часто бывает, а только окончательно обессилили, и он впал в состояние забытья.

Пузан с Вьюном тоже разочаровались. Они предали добродушного Антошку, самого безобидного из всех бродяг Горячего поля, и не получили обещанной свободы.

— За что мы его загубили? Он этих злощастных кредиток и брать-то не хотел! Бедняга!

Болезнь Коркиной

Елена Никитишна более часа пролежала в углубоком обмороке в лазарете дома предварительного заключения. Врач, находившийся при ней, констатировал страшное расстройство всей нервной системы и полагал, что больная требует продолжительного, систематического лечения. Когда Елена Никитишна очнулась, она была настолько слаба, что не могла даже говорить, и глазами спрашивала окружающих, где она, что с ней... Медленно сознание и память стали возвращаться; она вспомнила свой допрос у следователя, очную ставку с Куликовым и страшную новость о сумасшествии Ильи Ильича. Можно ли быть несчастнее ее?! Все в голове перемешалось. Страдания физические и нравственные были так велики, что Елена Никитишна не смела ни шевельнуться, ни думать о чем-нибудь. У нее повторился тот припадок, который она перенесла дома, перед исповедью священнику, но только еще сильнее и

мучительнее. К прежним угрызениям совести присоединилось новое – гибель неповинного Ильи Ильича, только теперь Елена Никитишна поняла, что она любила этого добродушного, простого и веселого человека, который привязался к ней всем своим существом и из-за нее загубил свою жизнь. Это горе переполнило чашу страданий молодой женщины. Два дня Елена Никитишна лежала без пищи и со слабым сознанием. Мало-помалу она стала приходить в себя. Теперь у нее была забота очистить совесть перед обоими своими мужьями. Один спит в сырой земле, другой сидит в доме умалишенных, и оба загублены ею! Перед которым же она больше виновата? С которого она должна раньше начать?

Сердце говорило ей, что Онуфрий Смуглев все равно спит непробудно и вернуть ему жизнь она не в состоянии, чтобы ни делала.

Илья же Коркин страдает, погибает и взывает о помощи! Кто знает, быть может, она спасла бы его и они начали бы прежнюю жизнь. Куликов отрекся от своих угроз – очевидно, он должен оставить их в покое. Никаких других поводов предполагать насиль-

ственную смерть Смулева у нее нет. Даже следователь сам предлагал ей взять назад свое заявление. Это вполне естественно и законно. Между тем, Коркин нуждается теперь в нежном, заботливом уходе любящей жены. Может быть, этот уход вернет ему рассудок.

Так говорило сердце, но совесть протестовала. Убийца первого мужа не может быть любящей женой второго! Сними сначала с себя пятно убийцы и тогда думай о милосердии. Коркин не расстанется с мыслью, что подле него предательница жена, пока ты не смыла с себя подозрения! А память Онуфрия Смулева? Что сделал он преступного против тебя?! За что ты предала его убийцам?! Почему Сериков наказан судьбой, а ты благоденствуешь?! Разве ты не виновнее Серикова, который для тебя завел знакомство с Макаркою-душегубом. Ты погубила их обоих, погубила и второго мужа. Сведи счеты с совестью и начинай новую жизнь. Если тебе придется попасть в каторгу, ты будешь счастливее, чем теперь.

Елена Никитишна металась между этими двумя голосами и долго не знала, на что решиться. Сердце рвалось к мужу, в больницу

умалишенных, совесть тащила на Волгу к холмику под тремя березами. Она не получила об Илье Ильиче никаких сведений, и эта неизвестность еще более усиливала ее душевные тревоги. Как арестантка, находящаяся под следствием, она лишена была всякого общения с посторонними и не могла даже лазаретной прислуге давать никаких поручений. В силу заявления свидетеля Куликова судебный следователь навел справки и узнал, что, действительно, Коркин лишился рассудка, заключен в больницу для душевнобольных в отделение буйных, квартира их опечатана, а над лавками и домом учреждена опека... Спустя несколько дней следователя уведомили, что Коркин бежал из больницы и был задержан в тот же день вечером около своего дома в момент, когда он напал на Куликова и душил его. Этого последнего эпизода следователь не стал передавать арестованной, так что Коркина знала только о заключении мужа в лечебницу.

На шестой день после обморока Елена Никитишна встала, несмотря на слабость и головную боль. Она за это время, и особенно по-

следние дни, заметно постарела, осунулась и похудела; глаза потеряли живость, взор потух, в волосах показалась седина. От прежней гордой, красивой и изящной женщины осталась одна тень, несколько сторбленная, сутуловатая. Если бы Коркина увидела себя в зеркало, она не узнала бы себя, так сильно она переменилась! Но в доме предварительного заключения зеркал не полагается.

Елену Никитишну повели из лазарета к следователю опять под конвоем тех же двух жандармов, которые водили ее раньше. Эти молчаливые, сумрачные, вооруженные с головы до ног люди производили на Коркину самое удручающее впечатление и заставляли ее нервно вздрагивать каждый раз, как звенели шпоры или бряцали сабли.

Следователь принял арестантку очень любезно, усадил и возобновил прерванный обмороком разговор.

– И так, сударыня, я еще раз обращаю ваше внимание на то, что кроме вашего заявления у нас нет решительно никаких данных продолжать начатое следствие.

Коркина молчала.

– Ваше теперешнее состояние, семейное горе – все это указывает на то, что заявление было сделано вами по меньшей мере недостаточно обдуманно; а так как оно противоречит имеющимся у нас данным, то достаточно будет вам взять его назад, чтобы немедленно получить свободу. Понимаете?

Елена Никитишна сидела неподвижно с опущенной головой и, казалось, не слышала следователя. При его вопросе «понимаете?» она очнулась и, схватившись обеими руками за голову, воскликнула:

– Ох, не могу, не могу! Понимаете ли, не могу?! Я должна, должна расплатиться за смерть Смулева!

– Но вы подумайте, что вы делаете! Главный свидетель всего, Сериков, умер... Макарка-душегуб – пустой звук. Значит, вы несете одну ответственность за всех! Вы будете не сообщницей, а прямой убийцей, потому что участие мифических лиц никто не поверит, как не поверят вам, что вы ничего не знали после горячки! Напротив, горячка, отъезд из Саратова с любовником – все это свидетельствует против вас!

– Хорошо! Пусть! Разве я боюсь последствий?! Бедный Илья! – вдруг залилась она слезами.

– Послушайте, но кто же мешает вам подать такое же заявление и начать вновь дело, когда вы получите более веские данные о предполагаемом убийстве вашего первого мужа.

– Улик и так слишком много! Эти улики в моей совести! Я убеждена, что под тремя берегами на Волге найдут кости несчастного Смужева. Разве этого мало?! Это не улика?!

– Улика тяжелая и для вас бесповоротная. Если кости будут найдены, вам грозит бессрочная каторга; никакие ссылки на Макарку или Серикова не облегчат вашей участи, но пока костей никто не находил и про холм этот, кроме вас, никто не знает!

– Я покажу вам его, и вы тоже будете знать!

Следователь пожал плечами.

– Я говорил уже вам, что вы могли бы поехать в Саратов и там заняться розысками. Это нисколько не изменило бы дела, а вы избавились бы от этапного путешествия, да и

мужу могли бы помочь. Он одиноко сидит теперь в больнице и все бредит вами.

Коркина закрыла лицо руками и тихо плакала. Она колебалась. Наконец, встав с кресла, она твердо произнесла:

– Нет, господин следователь, я не беру назад своего заявления и подтверждаю его во всех частях.

Следователь быстрым движением надвинул очки на глаза и стал поспешно писать. Он написал постановление о переводе арестантки Коркиной в пересыльную тюрьму для направления ее этапным порядком в распоряжение саратовского окружного суда. Когда он кончил, то прочитал постановление обвиняемой и спросил:

– Не имеете ли заявить что-нибудь?

– Ничего, – тихо ответила Елена Никитишна.

Он позвонил. Жандармы поставили арестантку между собой и пошли, звеня шпорами. Ее отвели в тот же секретный номер, в который она была водворена с самого начала. Она опустилась на свой единственный табурет и беспомощно свесила руки, как бы не за-

мечая катившихся по впалым щекам слез. Изнуренная, измученная, исстрадавшаяся, она в эту минуту почувствовала тот душевный покой, который давно покинул ее, но который был для нее дороже всего. Всякое горе, перенесенное ею, было легче нравственной пытки от проснувшейся совести. Она испытала это, когда упросила мужа поехать к прокурору с заявлением об убийстве Смужева, и вот испытывает то же чувство теперь, когда добровольно отказалась от свободы. Даже физические страдания и несносная головная боль меньше ее мучают. Она легко дышит, смелее смотрит в будущее и бодрее, крепче себя чувствует.

Через два часа дверь ее комнаты отворилась, и сторож спросил ее, не хочет ли она есть.

– Благодарю, я еще сыта.

– В таком случае потрудитесь собраться, вас сейчас поведут на угол Казанской улицы и Демидова переуллка, в пересыльную тюрьму.

– Я готова, мне нечего собирать, – встала она с табурета.

– Пойдемте.

В коридоре было два солдатика без шпор и звонких сабель, но с обнаженными тесаками на плече. Они пропустили Коркину вперед и пошли следом. На дворе их ожидала карета с опущенными шторками. Елена Никитишна и не подозревала, что это любезность следователя, а простых арестантов водят по мостовой, по всем улицам столицы, среди бела дня.

Карета, громыхая и едва двигаясь, выползла на Литейный проспект, и полудохлые клячонки потащили ее по Серпуховской, через Пантелеймоновский мост, по Конюшенной и Казанской, до ворот пересыльной тюрьмы, на углу Демидова переулка.

Масса публики, постояннодвигающаяся по таким бойким улицам, как Казанская и Демидов переулок, не подозревала даже, какой особый мирок открывается за воротами высокого толстого забора.

На довольно просторную площадь, занятую пикетами солдат, обозами и тюремной прислугой, выходят двенадцать дверей из двенадцати отдельных помещений для арестантов. Отделения: каторжное, ссыльное, пе-

ресыльное, бродяжное, дальних трактов и близких мест; каждое отделение в двух экземплярах: для мужчин и женщин. В последнем находятся и свободные граждане, но преимущественно женщины и дети, добровольно следующие в ссылку за своими грешными мужьями и отцами. Грустные, до слез трогаящие сцены на каждом шагу.

Вот забритый (выбрита одна половина головы) в кандалах на руках и ногах арестант смотрит безнадежно на свою исхудалую жену с грудным ребенком. Он звенит кандалами при каждом движении и с такой нежностью смотрит на жену с ребенком, что у бедной женщины сердце обливается кровью и душа надрывается. Крутом арестанта такие же забритые и закованные товарищи, но они бодро, почти весело толкуют о предстоящем путешествии и ведут себя совсем развязно. Все это бывалые душегубы, не впервые попадающие в «пересылку». Есть среди них и «полнухи», то есть приговоренные к бессрочной каторге. В остальных отделениях очень много подростков, мальчиков лет 16–17. Все отделения переполнены вдвое против комплекта,

отчего образуется такая духота, давка и теснота, в которой свежий человек теряет сознание. Потеряла сознание и Елена Никитишна, когда ее втиснули в пересыльное этапное отделение, где в сравнительно небольшой комнате было около сотни женщин.

Боже милостивый! Что это за женщины?! Изуродованные, испытые, в арестантских халатах, почти все как старухи, хотя некоторым нет и 25 лет от роду, с циничными до отвращения телодвижениями и выражением лиц. Они встретили «барыню в шляпке» дружный хохотом и градом острот. Костюм Елены Никитишны, помятый и попорченный последними скитаниями, представлял такой резкий контраст с окружающими «товарками» и в то же время имел вид такого убожества, что даже служители не удержались от улыбки. Арестанток эти улыбки подзадорили, они сделались смелее и от шуточек перешли к действию. Коркину стали щупать, поправлять туалет и при общем хохоте сорвали с нее шляпу.

– Смирно, – крикнул стражник и стал делать переключку. Когда дошла очередь до

Коркиной, то тогда только заметили, что она прислонилась в углу, без чувств. Ее перенесли в лазарет.

Она пробыла в лазарете сутки. На следующий день отправлялся этап в Москву, и ее в разряде «больных» назначили везти в телеге... Это преимущество больных и слабых... Их не водят пешком, а везут в розвальнях ломовой подводы.

Начальник тюрьмы очень удивился, узнав, что больная отправляется в такую дальнюю дорогу, как Саратов, осенью, и не имеет никакого узелка с вещами, ни копейки денег, а одета в какой-то странный визитный костюм, сильно помятый. Он спросил об этом Коркину.

– Я просила бы, как милости, дать мне казенную одежду, – отвечала Коркина...

Она сидела, потому что не могла стоять на ногах.

– Извольте, но не желаете ли дать знать дома...

– Нет, нет, пожалуйста, окажите мне милость... Я могу быть одета, как все арестантки, мне ничего не нужно...

– Хорошо...

Коркину нарядили в халат, серый платок на голову и толстые кожаные туфли на ноги.

Рано утром на следующий день многочисленный этап вышел из тюремных ворот и направился по улицам к Николаевскому вокзалу... На телеге сзади ехала Коркина...

Никто из знавших Елену Никитишну никогда не узнал бы в старой больной бабе, сидевшей на возу, красивой молодой дамы, блиставшей еще недавно в театрах и клубах.

34

Поздно!

Наступило воскресенье. Роковое воскресенье для Гани. В 7 часов вечера должно было состояться бракосочетание дочери Петухова с купцом Куликовым в церкви Иоанна Предтечи, а затем свадебный обед в кухмистерской Виноградова.

Приглашенных было около 200 человек. Свадебный поезд был составлен теткой Анной из десяти карет с дружками, шаферами, посажёнными и другими участниками празд-

нества. Все кругом ликовало, веселилось. Старик Петухов имел довольный и спокойный вид. Тетка Анна была без языка. Одна Ганя ходила как смерть: бледная, слабая, расстроенная, с глазами, постоянно наполненными слезами. Она не принимала ни в чем никакого участия, но и не выражала никаких протестов. Все делалось без ее ведома и участия, но когда ей говорили «возьми», «одень» или «сделай» – она молча повиновалась.

Несмотря на то, что до свадьбы осталось несколько часов, Ганя еще не совсем потеряла надежду. Дмитрий Ильич Павлов телеграфировал вчера:

«Имею важные сведения Буду сам воскресенье Остановите свадьбу».

Николай Гаврилович, получив эту телеграмму, хотел прямо идти к хозяину и рассказать ему и просить остановить свадьбу, но шаг этот показался слишком рискованным Гане.

– Подумайте: мы еще не знаем, какие «важные» данные имеет Павлов, а откроем все старику и вооружим его. Мало того, и Куликов придет в ярость, узнав, что мы шпио-

нили за ним, собирали о нем сведения. А может быть, серьезных, положительных данных у Павлова вовсе и нет! Мы сделаем только скандал, который после и не расхлебаешь! Подождем его. Он сегодня приедет. До семи часов вечера времени много.

Гане часы казались вечностью. Между тем, приготовления шли своим чередом. Рано утром от жениха принесли роскошный букет из роз. Модистки и портнихи целой толпой собрались в доме. Все они должны принять участие в туалете невесты, которую с утра не отводили от зеркала с примерками. Тетка находила, что все не идет ей.

– Да что ты, Ганя, хоть бы улыбнулась. Точно на похороны собираешься. Лица на тебе нет. Так ведь и одеть тебя нельзя! Бледная, как полотно, а глаза точно у кролика.

– Не все ли вам равно, – огрызнулась Ганя, – одевайте как в гроб кладут.

– И что это ты, матушка, да как тебе не стыдно! Я с ног сбилась, а она еще фыркает! Что я тебе, горничная?!

– Я не прошу вас! Мне в гроб лечь легче теперь было бы...

– Перестань ты! А то я папеньке скажу! Али ты не в своем уме?

Старик Петухов делал разные вычисления и выкладки. Он расплачивался по счетам за приданое, приготовил банковскими билетами 50 тысяч для вручения зятю и подготавливал дела завода для сдачи новому заведующему – «любезному» своему зятю. Тимофей Тимофеевич чувствовал себя в самом лучшем расположении духа. Наконец-то осуществляется давнишняя его мечта пристроить дочь за хорошего человека и спокойно закрыть глаза.

– Сохрани бог, умер бы я, не выдав своей Гани! Что бы она стала делать?! Все по ниточке расхватали бы и пустили бы ее по миру! А теперь я спокоен! Им жить не прожить, да и Куликов человек серьезный, степенный, не пьет, не играет и жизнь ведет не разгульную! Лучшего мужа моей дочери я и не желал бы.

– Что это, братец, с Ганей, сил просто нет, – вбежала тетка Анна. – Фыркает, бранится, а на самой лица нет. Сейчас платье примеряли, она сорвала его, швырнула и разрыдалась. Как мы ее к венцу повезем?!

– Что же она? Нездорова?

– Какой там нездорова! Всю неделю такая! Капризничает, из рук вон! Хоть бы ты, братец, прикрикнул на нее!

– Не хочется мне, сестрица, последний день ссориться с дочерью. Устрой так как-нибудь! Ну, уступи. Что она, другое платье хочет?

– Сама не пойму, чего хочет; это не девка, а фурия какая-то! Не завидую я ейному муженьку!

– Сживутся, ничего. Иван Степанович сумеет ей потрафить и в руки взять.

– Ох, грехи одни! Дружки все собрались, ухаживают за ней, а она как рожон, не подступись к ней. И чего она к Степанову на завод все бегает?!

– К Степанову? Не знаю. У них дружба какая-то. Он учит ее управлению. Этот Степанов последнее время манкирует службой. Я уж говорил ему. Ну, да завтра передам управление зятю, как он хочет.

Старик углубился в счета, а тетка Анна побежала встречать посаженного отца.

Ганя, действительно, все наведывалась к Николаю Гавриловичу.

– Ну что, не приехал еще?

– Нет, Агафья Тимофеевна. Господи, что же делать?!

– Приедет еще. Он телеграфирует, что выехал.

– По расчету ему утром сегодня приехать надо было! А теперь четвертый час. Разве с пассажирским будет.

– А пассажирский когда приходит?

– В четыре.

– Ну, значит, в пять он здесь будет, а мы поедем в шесть с половиною, полтора часа есть... Довольно.

– Довольно-то довольно, а все беспокойство одолевает. Вдруг да поезд опоздает!!

– Не опоздает! Чего ему опаздывать!

И Ганя возвращалась домой, а Николай Гаврилович выходил на дорогу посмотреть, не скачет ли их избавитель.

Собрались все поезжане. Ганю повели одевать к венцу. Поднялась уборка, укладка, суматоха. Вязали тюки, укладывали ящики, собирали вещи. Семь подвод должны были доставить на квартиру молодых приданое невесты. Квартиру Куликов отделал ту, в которой

сам жил, но прибавил еще несколько лишних комнат.

Уборка невесты к венцу заняла часа два. Красавица-девушка, несмотря на припухшие глаза, смертельную бледность и похудевшие, ввалившиеся щеки, была в этом подвенечном наряде так хороша и эффектна, что нельзя было глаз оторвать! Даже подружки ею любовались, а старик Петухов с гордостью смотрел на свое дитяtko.

К 6 часам все было готово. Все оделись, собрались. Ганя в легкой накидке, прикрывавшей ее туалет, сидела в зале и не отрывала глаз от окна. Она видела стоявшего у ворот Николая Гавриловича, без шапки, во фраке, несмотря на холод, и смотревшего вдаль, на дорогу. Она поняла, что «его» еще все нет, а роковой час приближается. И она начала не на шутку тревожиться. Зашли слишком далеко. Ни отложить, ни отсрочить венчания теперь невозможно. Одно только – если бы она вдруг умерла. О! Какое было бы счастье?! Но смерть не шла. Даже обморока не делалось. Неужели он опоздает?! Или... или все это только слова, пустые фразы, никаких важных

данных у Павлова нет. Он их только морочил. Да и с какой стати Павлов будет хлопотать о ней?! Ганя рвала свой кружевной платочек. Грудь высоко поднималась, на щеках заиграл болезненный румянец, в глазах зарябило.

В зале была тишина. Ганя вспомнила, как она стояла на коленях с Куликовым, принимая благословление, и он шепнул ей: «Советую вам переменить со мной обращение».

Переменить?! Может ли она переменить обращение, когда ее бросает в дрожь при одном виде его, а когда он дотрагивается до ее рук, у нее является такое отвращение, как от прикосновения гадюки. Что же она может делать?! А с этим человеком ей придется жить.

Она вскочила и стала ходить по зале, все посматривая в окна. Вдруг она увидела промчавшуюся карету, которая остановилась у подъезда.

– Он, он, – мелькнуло у нее в голове, и сердце трепетно забилося.

– Карета молодого приехала за невестой, – доложил лакей.

Ганю точно обдали холодной душой.

– Рано еще, – проговорила она. – Еще нет

шести с половиной...

И она продолжала ходить по зале.

– А все-таки собирайтесь... Пока что... Женитих уже в церкви, все в сборе. Чего же ждать.

– Собирайтесь, собирайтесь, – пронеслось по зале.

– Что же это, – шептала Ганя, – где же он?..

Николай Гаврилович все стоял у ворот, с развевающимися от ветра фалдами фрака. Значит, его не было.

В залу вошел старик Петухов. В парадном мундире Человеколюбивого общества, с медалями, напوماженный, помолодевший, он перекрестился и произнес:

– Пойдем, дочь моя, я передам тебя из рук в руки твоему будущему мужу.

Ганя опустила голову и подошла к отцу... Он поцеловал ее в лоб и, взяв под руку, повел.

За каретой молодой поехали шесть карет с дружками и гостями. Целый поезд. Кучеры заплели и убрали ленточками гривы лошадей. Вся застава высыпала смотреть и провожать невесту.

– И красотка же невеста, – шептались в толпе. Певчие в церкви встретили молодую

концертом. Священник передал красавицу-невесту жениху, и он повел ее к аналою.

Около часа длилось венчание. Начались поздравления. Молодые пошли к экипажу. Они только что сели в экипаж, как вдали показался извозчик, скакавший во всю прыть. На извозчике сидели Павлов и Николай Гаврилович без шапки, в одном фраке.

– Стойте, стойте, остановитесь, – кричали они. Вот они прискакали к церковной паперти.

– Важные, важные сведения! Стойте!

– Что такое?

– Где Куликов, где Ганя?

– Молодые? Они уж уехали.

– Поздно, – прохрипел Николай Гаврилович, – поздно, опоздали!

Часть вторая

1

В доме Куликова

Наступила весна 189* года... Дружная, теплая, хотя и поздняя весна. За заставой весна, как и осень, гораздо ощутительнее, чем в городе. Там нет дворников, искусственно создающих чистоту во время распутицы и влагу во время засухи и пыли, зато там гораздо больше природы, растительности и широкой дали... То же Горячее поле, покрывающееся зеленым ковром, садики и палисады, с высокими старыми деревьями, раскрывшими свои почки, громадные огороды и оранжереи садовников, идущие сплошной полосой позади строений до самой «рогатки», то есть пригородной черты, – все это приближает заставу больше к деревенскому приволью, чем к городскому благоустройству. Что сказали бы петербуржцы, если бы увидели на выхоленном и прилизанном Невском проспекте свинью с поросятами или корову-новотелку... А на про-

спектах заставы постоянно можно видеть десятки благородных животных, выпущенных погулять, и никого это не стесняет, никому не режет глаз... Целые стада кур составляют даже необходимую принадлежность заставных обитателей... Зловоние соседних свалок перемешивается с ароматом свежей зелени и составляет тот привычный «букет», с которым целыми поколениями сроднились и свыклись заставные жители... Тут же из мутной жижи Лиговки и Обводного канала, где пьют животные, полощут белье хозяйки, выделяют отбросы барки, заводы, фабрики, берут воду для питья (за отсутствием водопровода), и никто никогда не жалуется, что вода с душком, с примесью иногда целых мочал или рогож.

– Перекрестясь пить – все во благо, – говорит заставный рабочий или бродяжка, с аппетитом наполняя желудок вонючей мутью...

Истекшая зима принесла много перемен в жизни нашей заставы. Хорошенький домик – особняк супругов Коркиных – стоит заколоченным. Его садик оброс травой, а ставни и двери почернели. Видно запустение и одичание как на забытой могиле, которую давно

никто не посещает. Четыре лавки купца Коркина, славившиеся добросовестностью во всем околотке, уничтожены, и вместо них открылись новые, других владельцев, далеко не похожих на Коркина по добродушию и простоте. Самое имя Коркина успело уже отойти в область предания, хотя не прошло и года после тяжелой, трагической ликвидации почтенной фирмы.

Прогремевший «Красный кабачок», перешедший к новому владельцу, существовал менее месяца. С изгнанием бродяжек торговля сделалась настолько убыточна, что новый хозяин вынужден был перевести кабачок в город, а квартиру переделать под жилье рабочих. Смежный домик, арендованный Куликовым, имеет какой-то печальный, унылый вид. Около ворот дома стоит и караулит двух боровов пожилая, сухая, как щепка, с лимонного цвета лицом и ввалившимися глазами женщина. Под левым глазом багровый синяк, на лбу струится кровь, она смеется.

– Чего ты, голубушка, смеешься? – спрашивает прохожий.

– Муж приказал смеяться.

– А чего у тебя кровь течет по лбу?

– Муж побил. Его хозяйская воля.

Кто бы узнал в этой пожилой, несчастной женщине, одетой чуть не в рубище, красавицу Ганю, дочь богатого фабриканта, вышедшую семь месяцев тому назад замуж за Ивана Степановича Куликова?! Можно ли поверить, что в семь месяцев человек в состоянии так перемениться? А между тем, это, действительно, была Ганя – беременная, избитая, измученная, исстрадавшаяся, полуголодная, полунагая. Она широко улыбалась и поминутно вздрагивала от боли.

Насупротив, на противоположной стороне проспекта, завод Петухова тоже имел какой-то унылый, запущенный вид. Работы почти прекращены, хозяин, говорят, при смерти, болен. Даже бродяжек на Горячем поле меньше. Только соловьиные трели Машки раздаются по-прежнему на поле и собирают поредевшую толпу ее поклонников. Машка одна нисколько не переменилась и все такая же веселая, беззаботная, довольная.

– Машка, видно тебе больно уж хорошо живется, – дразнят ее товарищи.

– Хорошо! Хорошо, потому что плакать мне не о чем! Терять нечего! Я вся тут! Ни кола, ни двора, ни родных, ни друзей – ничего! Я никому не нужна, и мне никто не нужен! Голодаться случается, так мне не привыкать стать! Помирать придется – и то не беда! Хуже на том свете не будет, а может быть и лучше!

И Машка заливалась соловьем. Но вернемся к Гане.

Как дошла она до такого ужасного состояния в короткий срок?

Повесть эта не длинна.

В день свадьбы Гани был заказан лукуллов свадебный пир в зале Виноградова; но пир этот не мог состояться, потому что с молодой после венца сделался припадок и ее увезли домой. Старик Петухов выразил желание доставить дочь к себе в дом, но Иван Степанович очень мягко и вежливо заметил, что Ганя его жена и ей место в их квартире. Старик не спорил, но в первый раз почувствовал как бы протест со стороны зятя, и это его покорило. Ганя была отвезена самим Куликовым к себе. Квартиру он отделал действительно уютно и удобно. Гостиная в восточном вкусе,

вся с иголки, столовая, кабинет хозяина и спальня с большой двухспальной кроватью. Для Гани не было не только отдельного уголка, но даже отдельной постели или стола. Куликов умышленно ее обезличивал в доме, делал собственной своей принадлежностью и лишал возможности как уединяться, так и сознавать свое собственное «я». Во времена седой старины русская женщина во всех слоях общества была обезличена, и поэтому Петухов, осматривая с теткой Анной квартиру молодых, даже похвалил за это будущего зятя. Но Ганя, выросшая без матери, имевшая с раннего детства свою отдельную комнату, должна была тяготиться больше всего этим обезличенным положением. Теперь, когда ее привезли бесчувственную, больную из церкви, Иван Степанович отвел ее в спальню и перешел сам в кабинет, но это только потому, что в квартире собрались доктора, родственники и близкие знакомые.

– Невеселая же свадьба, – говорил сокрушенно старик, не успевший снять даже своего мундира и не отходивший все время от постели больной дочери.

– Папенька, вы пошли бы отдохнуть, – уговаривал Куликов, – я присмотрю за Ганюшей, неужели вы беспокоитесь?!

– Нет, разумеется, нет, но все-таки сердце покойнее, когда на глазах. Я никогда не расставался с дочерью, и вдруг приходится расстаться при таких печальных обстоятельствах.

– Доктор говорит, что это простой обморок, просто в церкви было душно. Это скоро пройдет.

– Дай бог! Ну, я пойду, а в случае чего вы дайте мне знать. Я буду дома.

Вслед за Петуховым разошлись и другие. Молодые остались одни. Куликов подошел к постели больной, взял ее за руку и сильным движением стащил на пол:

– Ты, милая женушка, оставь эти штуки! Мы с тобой не баре какие-нибудь и нам не к лицу эти самые обмороки! Слышишь! – рявкнул он громовым голосом.

Ганя, стоявшая, прислонившись к постели, раскрыла широко глаза и выпрямилась.

– Вот так! Теперь снимай свои уборы и переоденься. Слышишь!! Чтобы у меня этих

штук не выкидывать! У меня лечение простое и самое действенное. – Он поднес к лицу Ганя свой мощный, красный кулак. – Живо приводи себя в порядок! Маланья поставила самовар, распорядись закусить, мы ведь, благодаря твоей дури, остались без обеда. Ну, шевелись!

Ганя очнулась и машинально стала исполнять приказания мужа. Она была точно в состоянии гипноза. Куликов с усмешкой смотрел на ее быстрые движения.

– Так! Вот это я понимаю! В нашем, матушка, положении нюни нельзя распускать! Ты у меня белоручкой сидеть не станешь! Мне жену нужно, а не миндальную барышню!

Старик Петухов зашел на следующий день утром и нашел Ганю совершенно здоровой. Она собиралась ехать с мужем делать визиты и чувствовала себя совсем хорошо. От вчерашнего припадка не осталось и следа.

– Ай-да зятек! Да ты, брат, лучше всякого доктора! Право, молодец, недаром ты мне с первого знакомства понравился! Как ты, Ганя, довольна мужем?

– Довольна, папенька, – отвечала молодая,

не глядя ни на кого.

– Первый визит к вам, папенька, – проговорил Куликов, – сейчас едем.

– Нет, уж вы ко мне последний, да не очень-то таскайтесь, отложите до завтра. Я вас буду с обедом ждать, и сегодня же наши счета сведем.

– Полно, папенька, какие там счета, – скромно ответил Куликов.

Петухов поцеловал деток и поплелся домой.

Вечером Куликов получил обещанные 50 тысяч чистоганом и сразу переменял тон с тестем, хотя остался в границах холодной вежливости. Жене он объявил, что она не смеет видеться с отцом иначе как в его присутствии и не должна никуда отлучаться из дому без его ведома и разрешения. Ганя пробовала было что-то возразить, но когда она встретила взгляд мужа, то язык прилип к гортани, и она не кончила фразы. Это тот взгляд, который впервые она почувствовала во время своего визита к Куликову, который заставил ее дать клятву выйти за него замуж, заставил в день брака встать с постели и теперь оборвал фра-

зу на полуслове. Этот самый взгляд всегда впоследствии производил на Ганю то же магическое действие и превращал ее в бессловесную, безответную и покорную овечку. Ганя не могла объяснить себе силу этого взгляда. Был ли это страх, боязнь или как бы паралич воли и сознания. Как несчастный кролик, встретивший взор змеи, покорно идет сам в пасть хищника, так и Ганя, трепетная, обессиленная, шла в когти своего палача.

При такой робкой покорности жены у Куликова не могло, казалось бы, встретиться ни малейшего повода к ссорам, а тем более избиям жены. Ганя в одну неделю превратилась в его рабу, не смеющую без своего повелителя даже мыслить и говорить, а не только что-либо делать. Малейшее желание или требование мужа было для нее законом, священным долгом.

Она отрешилась решительно от всего своего и жила, дышала только для повелителя-мужа. О противлении или протесте, о жалобе отцу и речи не могло быть! Как верный сторожевой пес, она старалась угадывать вкусы и желания мужа.

Чего же, казалось бы, еще требовать от нее? Куликов и не требовал... Он был вполне доволен ее поведением и при всем желании не мог ни к чему придраться, но... но его душа жаждала видеть около себя чьи-нибудь страдания, наслаждаться чьими-нибудь мучениями. Он не мог без этого жить, как в старину римляне не могли жить без гладиаторских ристалищ, испанцы – без боя быков. Как Грозный наслаждался потоками крови, так ему для хорошего расположения духа нужны были истязания живого существа. Таким существом и сделалась для него Ганя. Это представлялось вдвойне для него выгодно и удобно. Во-первых, Ганя была совершенно им порабощена, а во-вторых, как жена, она лишена возможности жаловаться, протестовать.

Куликов очень скоро начал издеваться над молодой женой. Он придумал чудовищную форму разврата и сделал жену страдальницей. Но этого ему было мало. Он начинал ее бить и заставлял в это время смеяться. В кабинете у него висел толстый ременный кнут, и каждый раз, когда он приходил домой не в духе, он звал жену, приказывал ложиться и бил

кнутом по обнаженному телу. Конвульсивные корчи мученицы и ее слабые стоны постепенно улучшали его расположение духа, и, насладившись, он вешал кнут на место. Когда обнаружилось, что Ганя собирается сделаться матерью, Куликов стал сдерживаться и относился к жене мягче, но это было недолго. Натура взяла свое.

Омерзительно описывать все пытки, которые придумывал для жены мучитель, но один вид Гани, после семимесячного супружества, красноречиво говорил, что она перенесла. И Куликов никого не стеснялся, даже не думал скрывать своего обращения с женой. Ему случалось бить Ганю об стену головой в присутствии многих гостей. Единственный человек, которого несколько побаивался Иван Степанович, был старик Петухов.

– Что это у нее за синяк под глазом? – спрашивал старик Куликова.

– Представьте: припадки какие-то делаются; вышла в кухню вчера и упала, да об угол плиты хватилась. Хорошо еще глаз цел остался. Правда, Ганя?

– Правда, папенька, правда.

Болезнь Петухова

Старик Петухов не знал и не подозревал даже об участии своей дочери, но сердцем угадывал, что с ней происходит что-то недоброе. Что такое – он не мог определить. Противен ли дочери муж, за которого она пошла почти против воли, или действительно беременность осложнилась какой-нибудь болезнью – Господь знает, но Ганя страдает, это он видел ясно, и это мучило его самого. Пробовал он уговаривать зятя переехать к нему в дом, но Куликов упорно отказывался и имел на это, помимо истязания жены, другие серьезные основания. Тимофей Тимофеевич вначале часто заходил к дочери и, заставая в слезах, нежно расспрашивал, но она отвечала всегда одно и то же.

– Так, папенька, сама не знаю.

Однажды, когда отец застал Ганю одну, в отсутствии мужа, у нее появилась мысль рассказать все отцу и умолять его взять ее от мучителя, но после долгого колебания она не ре-

шила. А вдруг отец не поверит? Вдруг он расскажет все Куликову и ограничится одним внушением зятю?! Мороз пробежал по коже при одной мысли, как она осталась бы после этого наедине с мужем! Нет, нет, это невозможно! Иван Степанович и на отца производит то же магическое действие, как и на нее! И отец покорно исполняет волю зятя, как она! Разве он не сумел совершенно поссорить ее с отцом, еще не будучи даже женихом? А теперь разве отец не исполняет слепо все, что диктует ему Иван Степанович? Почтенного, уважаемого начетчика Павлова он не принимает из-за того, что Павлов не понравился Куликову. Своего старого, верного управляющего Степанова он уволил только потому, что этого хотел Куликов. Завод наполовину сократил свою деятельность по советам опять-таки Куликова, который всем служащим и рабочим сбавил жалованье, прибавил рабочие часы, установил разные штрафы, хотя у Петухова исстари никогда не было никаких штрафов. Даже сам старик Петухов, под влиянием Ивана Степановича, изменился во многом, начиная со взгляда на людей и кончая свои-

ми патриархальными привычками. А Петухову минуло 72 года, из коих 50 лет он жил самостоятельно, своим домом и своим умом. Даже такого одряхлевшего в седых традициях старообрядца Куликов сумел подчинить своей воле и влиянию. Можно ли после этого рисковать заговором против мужа, рисковать исповедаться отцу?

Нет, нельзя, решила Ганя и, прижавшись к груди старика-отца, она истерически зарыдала.

Так шли недели и месяцы. Петухов обедал по пятницам у зятя, а по воскресеньям молодые обедали у него. И странно! Эти обеды оставляли какой-то след в желудке старика. Обеды зятя всегда были прекрасные; он сам возился на кухне; точно так же, когда они приходили по воскресеньям, Куликов отправлялся на кухню готовить любимую селянку Тимофея Тимофеевича, ту самую, которую когда-то они вместе едали в «Красном кабачке». Куликов гордился своими селянками, как ресторатор, и для дорогого тестюшки хотел особенно постараться! Селянки, и говорить нечего, были превосходные, но... стран-

ное какое-то влияние они имели на старика. Оставалась тяжесть в желудке, истома во всем теле и на другой день слабость. Слабость такая, которая не проходила, а с каждым обедом, с каждой новой селянкою, увеличивалась. Смешно было приписывать это селянкам!

– Нет, – говорил Петухов, – чувствую я, что начинаю стареть! Видно, смерть стучится в окно! Пора! Что ж, дочь пристроил, никого не обидел, довольно! Одно вот только – не ладно что-то с Ганей! Так худеть, стареть и меняться могут только люди, сильно страдающие! Не скрывает ли она от меня что-нибудь? Попробую еще потолковать с ней.

Старику тяжело было идти к зятю, и он послал за дочерью прислугу.

Вместо Гани явился Куликов. Ганя в это время лежала избитая на полу.

– Жене нездоровится, папенька, она прилегла соснуть, прикажете разбудить?

– Нет, нет, что ты! Не надо! Я так только хотел повидаться с ней. Плохо мне что-то. Помирать собрался. И знаешь, Ваня, я чувствую, что твои селянки не впрок мне идут. Я не бу-

ду больше их есть! Каждый раз после обеда я ощущаю тяжесть, боль и потом слабость!

– И что вы, папенька, быть этого не может! Тут что-нибудь другое!

– Нет, нет, я чувствую. Не буду!

– Как хотите, папенька, воля ваша, только это пустое. А против слабости вам бы хинные лепешечки принимать, оно очень полезно! Хотите я вам принесу? У меня дома есть. Мигом слетаю.

– Спасибо, сынок, принеси.

Старик принял несколько лепешек и почувствовал то же самое действие, как после селянок зятя.

– Нет, уж видно, когда смерть приходит, никакие лепешки не помогут.

– А вы все-таки не бросайте, – уговаривал Иван Степанович, – оно очень полезно.

– Нет, не хочу. Божья воля...

– Лекарство, папенька, тоже ведь от Бога. Нельзя брезговать... Это искушение...

– Искушение, сынок, искушение, ну дай, приму.

Лечение Петухова лепешками Куликова началось в феврале, а к апрелю старик так

стал слаб, что с трудом двигался и, наконец, весной слег в постель. Болезнь его была какая-то загадочная, непонятная. Он чувствовал себя довольно бодрым и здоровым, но после каждого приема лепешек начинались рези в желудке, временами боли в голове и учащенное сердцебиение. Удары сердца он явственно слышал, когда лежал на подушке.

– Надо бросить лечение, – твердо решил Петухов и, не говоря ничего зятю, стал прятать лепешки, вместо того чтобы принимать. Через неделю ему стало гораздо лучше, хотя общая слабость не покидала его. Он начал вставать. Пробовал даже выходить погулять на солнечной стороне. Куликов находился почти безотлучно при нем, но дочь он видел редко. То она хворала и лежала, то доктора запрещали ей выходить, опасаясь преждевременных родов. Когда Тимофею Тимофеевичу стало лучше и он выразил намерение посетить дочь, то Куликов обещал сегодня же прийти с женой. И, действительно, вечером он привел Ганю.

Несмотря на то, что в комнате был полумрак, старик, увидев дочь, вскрикнул в ужасе

и, бросившись в ее объятия, зарыдал.

– Господи помилуй! – шептал он. – Да ты ли это, Ганя?! Ты ли это?

Ганя тихо плакала и ничего не отвечала.

– Свят, свят, свят! С нами крестная сила, да не ослеп ли я?! Не сошел ли с ума?! Ванечка, что же это такое?!

– Что, папенька? Я говорил ведь вам, что жена очень больна. Доктора говорят, что у ней какая-то женская болезнь.

– Но у нее синяки на лице, опухшая вся голова, посмотри, гной в волосах какой-то. Да ведь ее узнать нельзя!

– Падает все, папенька, вы думаете, мне легко это переносить?! Я исстрадался, глядя на нее! Жена, говори.

– Исстрадался он, папенька! Я счастлива. Болезнь, что ж делать. Пройдет. Я очень за вас, папенька, мучилась. Ваня говорил, что вам...

– Что вам скоро лучше будет, – перебил Куликов, – и вот не ошибся. Все мои лепешки.

– Нет, Ваня, не лепешки; воля Божья...

– А если бы не принимали лепешек, вам не стало бы лучше.

– Сказать тебе, Ваня, правду? Я твоих лепешек давно не брал, бросал их, и вот мне лучше стало!

Куликов изменился в лице. Это заметила и Ганя, которую он уверил, что отцу не встать с постели, и обещал повести ее проститься, когда он отходить будет. Как ни умоляла Ганя позволить ей посмотреть на больного, умирающего отца, он отвечал на ее просьбы пощечинами, от которых она не могла удержаться на ногах.

Куликов, впрочем, скоро пришел в себя.

– Тем и лучше, если обошлись без лекарств, но я уверен, что если бы вы принимали лепешки, то были бы совсем здоровы!

– Как же, Ваня, ты говорил?.. – заикнулась Ганя. Он метнул на нее взгляд и перебил:

– Я и говорил, что не сегодня-завтра папенька к нам придет здоровый.

Тимофей Тимофеевич взял в руки голову дочери, долго, долго смотрел на нее с любовью и опять зарыдал.

– Господи! Мог ли я думать, что ты так изменишься! Ганя, Ганя...

И слезы градом текли из глаз старика.

Трогательная сцена свидания отца с дочерью мучила Куликова, который всегда возмущался такими нюнями.

– Ну, папенька, нам пора, пойдём, жена.

Старик встал, выпрямился и почти грозно произнес:

– Ваня, я оставляю дочь при себе на несколько дней. Я не могу с ней расстаться.

– Папенька! Но как же наш дом?

– Какой там у вас дом – три комнаты! Нечего ей там делать; я хочу, чтобы она погостила у меня. Желаете – оставайтесь и ты. Я не отпущу ее!

– Ваша воля, папенька, – проговорил сквозь зубы Куликов и стал рвать в руках носовой платок. Он в эту минуту готов был задушить их обоих и делал сверхъестественные усилия, чтобы сдержаться.

Велика была радость Гани, хотя она ни одним звуком не смела проявить своих чувств. На несколько дней она избавлена от невыносимых мучений и проведет эти дни со своим отцом, в своей девичьей комнате, вспомнит минувшие светлые дни своей жизни.

– Что же, Ваня, ты остаешься с нами?

– Разумеется, папенька, куда же я пойду один! Не разлучить же вы хотите меня с нею?

– Боже упаси! Что ты, Ваня, как не грех тебе! Я не видал дочки больше месяца, она на себя не похожа стала, мученица какая-то, а ты упрекаешь, что я...

– Нет, папенька, я не упрекаю. Ваша воля...

– Спасибо, сынок. Вели себе приготовить девичью комнату Гани, а она в моей ляжет...

– Папенька, позвольте уж нам вместе... Ганя, ты как хочешь? – спросил Куликов.

Ганя молчала.

– Нет, Ваня, я не расстанусь с ней! Господи, да на кого она похожа стала! В гроб краше кладут! – И старик опять заплакал.

А Куликов совсем уже изорвал несчастный платок и дрожал от злобы на Ганю, которая осмелилась не ответить на его вопрос и не просить отца отпустить ее к мужу. А она лежала на груди отца и тихо плакала, боясь, чтобы муж не заметил ее слез...

– Ганичка, дитяtko мое родное, солнце мое красное, да скажи же мне, что у тебя болит, чем ты страдаешь?! Страдаешь ты?! Правда?!

– Право, папенька...

– Открой мне душу твою! Ганя, ведь я отец тебе, отец, души в тебе не чающий! Возьми жизнь мою, возьми до капли всю кровь мою, только будь здорова!.. Боже, боже, какой у тебя вид!

Слезы душили старика. Он с трудом поднялся и повел дочь в другую комнату. Иван Степанович пошел сзади.

– Ваня, – обернулся Петухов, – оставь нас наедине... Я хочу поговорить с дочерью... Ты иди в свою комнату или останься здесь...

– Папенька, разве я помешаю вам?

– Не мешаешь, сын мой, но я хочу один на один поговорить с дочерью... Пойдем, Ганюшка, ангел мой...

Они скрылись за дверьми. Если бы Петухов увидел теперь своего зятя, он понял бы все. Это был зверь, у которого вырвали из рук добычу и оставили его голодным...

В пути

Елена Никитишна только весной добралась до Саратова. Большую часть зимы она провела в пересыльных тюрьмах: сначала Москвы, где два месяца пролежала в лазарете, а после в Нижнем Новгороде, где пришлось ждать открытия навигации. Горе, болезнь, тюремные скитания и тяжелый этапный путь совершенно исковеркали и подорвали здоровье молодой женщины. Она поседела и состарилась.

От Петербурга до Москвы этап ехал в товарных вагонах Николаевской дороги, и арестанты были скорее нагружены, чем размещены. Сорок часов такой дороги разбили Елену Никитишну так, что ее сдали прямо в лазарет, где она и пробыла почти до рождественских праздников. Больше всего ее мучила неизвестность относительно Ильи Ильича. Она не видала его с самого момента разлуки, и, несмотря на ее просьбы, ей не разрешали свидания. Да и как могло бы состояться свидан-

ние, когда Илья Ильич находился в больнице для душевнобольных, а жена его – в пересыльной тюрьме? Состояние Ильи Ильича внушало врачам серьезные опасения. Из разряда буйных он перешел в так называемые меланхолики и ни разу не пришел в себя, оставаясь в убеждении, что его преследуют враги за намерение занять болгарский престол. О жене у него исчезло всякое представление. В большинстве случаев буйные, после минования острых приступов, приходят в память, к ним возвращается рассудок, и они постепенно выздоравливают. Но если буйное состояние переходит в меланхолию, то такие больные считаются почти неизлечимыми.

Из Москвы этап, с которым назначили и Коркину, отправили в Нижний Новгород опять по железной дороге, в таких же вагонах, как и по Николаевской дороге. В Нижнем пришлось несколько ждать, пока пошли первые товарно-арестантские пароходы Курбатова. Светлый праздник Пасхи Елена Никитишна встретила почти радостно, покинув ужасную обстановку старой пересыльной тюрьмы. В ней принял живое участие известный тю-

ремовед-литератор и местный товарищ городского головы Галицкий, состоявший попечителем пересыльной тюрьмы. Ознакомившись из бумаг с делом Коркиной, он приказал привести ее к себе и долго с ней беседовал. Один вид арестантки, добровольно одевшей халат с бубновым тузом и безропотно переносящей все этапные муки, тронул почтенного филантропа. Но сочувствие его еще больше возросло, когда он узнал от нее подробности начатого дела.

— Что же заставляло вас губить себя? — спросил Галицкий задумчиво.

— Я не сумею ответить вам на этот вопрос. Мне предлагали свободу, я отказалась, потому что не могла принять ее! Не подумайте, что мне не нужна была свобода! О! Мой несчастный муж, томящийся в больнице для умалишенных, был бы, может быть, теперь здоров, если б я получила свободу! Я отдала бы ему всю жизнь! Но мне нужна свобода та, которую ни следователь, ни вы не в состоянии мне дать. Свобода совести перед памятью моего первого мужа, Онуфрия Смулева.

Галицкий ничего не возразил.

– Скажите, – спросил он ее после некоторого молчания, – что сделалось с вашим домом, имуществом, капиталами, лавками.

– Право ничего не знаю.

– А с собой есть у вас деньги?

– Ни копейки.

– Но это невозможно! Я буду телеграфировать в Петербург, наведу справки, а пока позвольте мне ссудить вам рублей сто.

– Но на что мне деньги?

– Как на что? Вы ведь не осужденная преступница, вы пользуетесь всеми правами гражданства, кроме личной свободы, как меры пресечения способов уклониться от суда. Но я дам вам и эту свободу! Я беру вас на поруки. До отправления пароходов я предлагаю вам комнату в своем доме! Согласны?

– Помилуйте. Я не знаю, чему приписать ваше великодушие, не знаю, как благодарить вас!

Галицкий в полчаса выполнил все формальности и отправил Елену Никитишну прямо в... баню, где приготовили ей все новое белье и платье. Елена Никитишна больше всего страдала в этапе от мириадом насеко-

мых и грязи, покрывавшей слоями всех ее спутниц, а в конце концов и ее. Вернувшись из бани не в тюрьму, а в уютную комнатку скромной квартиры Галицкого, она первый раз после своего ареста вздохнула свободно. Завтрак с рюмкой вина показался ей давно неиспытанной роскошью. Со слезами благодарности она пожала руку маститого филантропа и легла отдохнуть. Бедная женщина спала почти двое суток, и когда встала со своей постели, то ей показалось, что она воскресла в новой жизни; к ней вернулись силы, бодрость, свежесть головы, энергия. Галицкий получил ответ на свою телеграмму. Все имущество супругов Коркиных сохранено судебным приставом, и, так как никаких исков или претензий не предъявлено, то Елена Никитишна Коркина может располагать им по собственному желанию, тем более, что капиталы принадлежат ей лично, а дом куплен на ее имя.

– Что вы думаете делать? – спросил ее Галицкий, показывая ответную телеграмму.

– Право, мне решительно все равно.

– Конечно, все может остаться так до окон-

чания вашего дела и все будет цело, но вам следует взять себе известную сумму на расходы. Возьмите тысячи три и переведите их в Саратов на текущий счет. Деньги будут необходимы вам, потому что, по всей вероятности, и саратовский следователь оставит вас на свободе. Я послал вчера прокурору письмо о вас.

– Ах, придется ли мне когда-нибудь выразить вам свою признательность.

– Меньше всего я жду благодарности от тех лиц, которым приходится часто помогать не только советом, влиянием, положением, но и материальными средствами.

Коркина встретила в доме Галицкого Пасху. Она много лет не была в церкви. Молиться дома тоже не умела.

В Софийском храме, торжественно иллюминированном в Святую ночь и переполненном народом, Елена Никитишна приютилась между задними колоннами и опустилась на колени. Священник, исповедовавший ее во время болезни, отказал ей в святом причастии, и она, как отлученная от церкви, как оглашенная, не смела поднять глаз к разверз-

шимся вратам Небесного Царя. Она не дерзала даже мысленно обратиться к Престолу Всевышнего и, как великая грешница, припала к каменным плитам церковного пола.

Крестный ход вернулся в предшествование клира, и своды храма огласились радостным «Христос Воскрес». Сердце Коркиной забило так сильно, что готово было разорваться. Оно переполнилось безотчетным радостным чувством почти мгновенно, и в эту минуту она забыла все: и смерть Смулева, и сумасшествие мужа, и пересыльную тюрьму, этап с ее страшными спутницами-товарками. Все, все она забыла, все исчезло, испарилось, и душа переполнилась одним «Христос Воскрес». Это восклицание она часто повторяла в жизни и раньше, особенно христосуясь с многочисленными знакомыми, но теперь это был не простой звук, не восклицание, а подавляющая все существо сила, всепоглощающая власть, светлая, великая, славная, всеобъемлющая истина, альфа и омега всякого бытия. Какими мелкими, ничтожными, пустыми, вздорными кажутся все жизненные заботы перед этим событием – «Христос Воскрес!»

– О, Боже!! Не все ли мне равно, идти на ка-
торгу, в тюрьму, на эшафот, когда «Христос
Воскрес» и я это чувствую, понимаю, ощу-
щаю, сознаю!

Коркина очнулась, когда в храме никого
уж не было, огни были потушены и сторож
тихонько тронул ее за плечо.

– Сударыня, уходит пора.

– Как уходите? Пора?! Куда?! Отчего?! Разве
нельзя остаться здесь долго, долго, всегда, всю
жизнь.

– Поздняя обедня в десять часов, пожалуй-
те...

– Обедня?.. Ах, да... Служба отошла... Да...

Она вышла. Трепетное чувство, поглотив-
шее все ее духовное существо, не покидало ее.

– Господи, если бы это чувство не покину-
ло меня навсегда... Если бы всю жизнь звуча-
ли в ушах эти ангельские звуки: «Христос
Воскрес»... О! Как хорошо, как хорошо, – шеп-
тала она, приближаясь к дому.

Квартира Галицкого была освещена... Се-
мья его разговлялась. Елену Никитишну под-
жидали, и жена Галицкого начинала уже тре-
вожиться.

– Смотри, удерет твоя арестантка, будет тебе после горе с поручительством! Ты постоянно рискуешь!.. Говорила я не раз тебе не соваться по этапам... Какие это люди!

– Не беспокойся, никуда она не скроется... Не сделалось ли ей дурно?

В это время Елена Никитишна тихонько позвонила.

– Ну, вот видишь, – обрадовался Галицкий, которого тоже смущало отсутствие Елены Никитишны.

– Пойдемте разговляться, – пригласил он Коркину и ввел ее в залу.

Жена Галицкого первая подошла к «арестантке» христосоваться, за нею муж и дети.

– Знаете ли, – произнесла Елена Никитишна, – мне кажется, что я нахожусь теперь не на земле, а в каком-то райском уголке. Как тихо, мирно и покойно вы живете! В Петербурге не живут так!

– Отчего же? Везде есть...

– Нет, таких семей там нет! Там люди не живут, а горят, рвутся, мечутся, топят друг друга, рвут один у другого. Не проходит дня без каких-нибудь историй, приключений,

неприятностей... Всем есть до других дело, все суются в чужие дела, сплетничают, пересуживают, роют ямы для друзей. А посмотрите, как светло на душе и в доме у вас?! Вы, как добрые гении, боитесь даже в мыслях кого-нибудь обидеть, желаете словом и делом всем добра, счастья... Зато сами наслаждаетесь безмятежной счастливой жизнью! Если на том свете существуют рай и ад, то я представляю их себе именно в таком виде: рай – ваша семья, вот эта зала, этот домик над обрывом Волги. Петербург же это настоящий ад крошечный, со всеми пытками и мучениями, какие только можно себе представить! пытки, которые люди устраивают не только для других, но и сами для себя. Если что-нибудь нарушает райский покой вашего дома, то это только отголоски ада – Петербурга. Такой отголосок, например, мое пребывание у вас... С какой стати вы дали мне приют, причинили себе беспокойство, заботы?

– Не обижайте себя! Право, вы совсем не олицетворяете в себе крошечного ада!

– Я не считаю себя петербургской обитательницей. Я тоже провинциалка, хотя дале-

ко не такая счастливая, как большинство! Что делать! И на солнце есть пятна! Вот я такое пятно провинции!

– А знаете ли, – перебил Елену Никитишну хозяин, – вчера получена телеграмма из Астрахани – Волга вскрылась уже там... Еще неделя и...

– Что ж, мой рай кончится! Я готова на все; я мечтаю только, чтобы проведенные в вашем доме дни остались навсегда моей путеводной, спасительной звездой; под сенью этого дома я нашла то сокровище, которое в тысячи тысяч раз дороже всяких земных благ! Вы могли бы прибить к вашим дверям золотую вывеску: «Блажен всякий, сюда входящий!»

Елена Никитишна опустилась на колени перед Галицким и ловила его руку. Он поспешил поднять ее.

– Пожалуйста, что вы, не делайте этого!

– Вы не знаете, чем я вам обязана!

Вся светлая неделя была воистину светлой для Елены Никитишны. Как бы в довершение счастья она получила очень утешительную телеграмму от директора больницы для ду-

шевнобольных. Здоровье Ильи Ильича начало поправляться. Четыре тысячи, которые потребовала Елена Никитишна, были ей немедленно переведены в Саратов, и оттуда она получила через банк 500 рублей для расчета в Нижнем и для дороги.

Первый пароход отправлялся в среду на Фоминой неделе, и Галицкий предложил Елене Никитишне ехать с этим пароходом.

– Но ведь я должна ехать с этапом!

– Видите ли: строго говоря, да. Но если вы явитесь к прокурору лично раньше прихода этапа, то это не может иметь серьезного значения.

– В таком случае я предпочитаю все-таки ехать с этапом. Благодаря вам, я теперь сильна, здорова и легко перенесу эту дорогу.

– Нет, уж если вы непременно желаете соблюсти закон, то я вам устрою отдельный «конвой» из переодетого урядника. Вы заплатите стоимость «конвоя», и он официально доставит вас по месту назначения. По моему мнению, это лишняя формальность, но все же это лучше этапа.

– Спасибо. Так я с урядником поеду на пер-

вом пароходе в среду.

– Хорошо. Мы все подготовим.

Широко разлилась матушка Волга; весь правый берег утонул в привольных волнах, и потоки великих вод затопили луга, поля, долины. Местами Волга имела вид огромного озера, если не залива. Лед почти прошел. С первым пароходом отправлялось много пассажиров. «Каспий» развел уже пары, шкипер дал свистки. На палубу вышла Елена Никитишна и позади нее седенький старичок с бегающими глазками. На пристани стоял Галицкий и приветливо кивал ей головой.

– Счастливого пути!

Пароход отвалил. Пассажиры замахали платками. Шумя колесами, взбудораживая воду и поднимая волны, «Каспий» поплыл, огибая Нижний со стороны Оки, и вышел на Волгу. Долго еще Галицкий стоял на высоком берегу города у памятника Минину и Пожарскому, следя глазами за исчезающим «Каспием».

– Бедная, – прошептал он и мелкими шажками поплелся в свой райский уголок, где ждал его новый этап арестантов.

Двойник Куликова

Что же делали друзья Гани, Павлов и Степанов?

Читатели помнят, что Степанов обещал съездить из Москвы нарочито в Орел, чтобы собрать там, на родине Куликова, достоверные о нем справки и подробные сведения об его прошлом. Степанов имел очень серьезные собственные дела в Москве по расколу и старообрядчеству, но оставил их и поехал в Орел. Прежде всего он обратился здесь к старосте мещанского общества, пожилому и малограмотному мужику. Рассказал сущность дела.

– Это надо справки навести в канцелярии. Обратитесь к делопроизводителю, – прогнул староста.

Степанов пошел в грязную, затхлую комнатку, в которой сидели и копошились три обтрепанных, в засаленных казакинах, субъекта.

– Что вам? – поднял голову субъект постар-

ше. Степанов рассказал.

– Зайдите через недельку.

– Помилуйте, как через недельку?! Я приезжий, мне завтра нужно уезжать обратно в Петербург. Пожалуйста.

Обтрепанный субъект смилостивился.

– Пожалуйста сюда, я вам покажу все дела, реестры...

Они вошли в смежную комнатку наподобие кладовочки. Делопроизводитель разрыл несколько пачек и вытянул связку с литерой К.

– Как вы говорили его фамилия?

– Куликов, Иван Степанов...

– Ку-ли-ков, есть, есть, вот пожалуйста...

Да... Куликов, Иван Степанов, 46 лет, волосы русые, глаза серые, лицо чистое, подбородок обыкновенный, особых примет нет... Он?

– Похож, ну дальше?

– Женат на нашей мещанке...

– Женат, – воскликнул Степанов.

– Женат, даже имеет четверо детей, старшей дочери 17 лет. Ее зовут...

– Мне этого не нужно, какие еще есть у вас сведения о Куликове?

– А это вы потрудитесь обратиться к моему помощнику, он заведует этим участком и на-верняка знает Куликова.

Степанов, как ужаленный, выскочил в канцелярию и, не спрашивая, сунул помощнику десятирублевку...

– Ради бога, прошу вас, дайте мне все сведения о Куликове... Скорее, скорее...

Помощник начал разбирать бумаги, искать что-то в книгах.

– Есть... Вот он... Куликов... Находится под надзором полиции... Доставлен этапом из Петербурга за бесписьменность и бродяжничество. Живет на Бугорках, в доме Нелаптеева со своею семьею...

– Еще, еще, – горел нетерпением Павлов.

– Больше нет сведений... Если вам угодно, я сведу вас вечером к самому Куликову и его семье!.. Расспросите их сами.

– О! Конечно, конечно, хочу! Пожалуйста.

Павлов немедленно пошел на телеграф и дал Степанову известную уже нам телеграмму. С трудом дождался он вечером прихода помощника делопроизводителя, и они вместе отправились к Бугоркам. На самой окраине

города, в крошечной покосившейся избушке, среди грязи и нищеты проживало семейство Ивана Степановича Куликова, горького пьяницы и забуддыги. Когда посетители вошли через закопченные двери в тесную, душную комнату, их обдало нестерпимой вонью и специфическим букетом промозглой нищеты с сивухой... На полу возились ребятишки, около печки суетилась полная, старая женщина, а на лежанке храпел мужик.

– Куликов дома? – спросил чиновник, ни к кому не обращаясь и не снимая шапки.

– Дома, родимый, сейчас пришел, пьяница, завалился спать на печь.

– Иван, Иван, вставай, господа пришли, – расталкивала она мужика.

С печи поднялся рыжеватый мужик, с окладистой бородой и сонными глазами.

– Чаво? – произнес он и, увидев помощника делопроизводителя, быстро соскочил с печи и поклонился в пояс.

– Здравия желаю, Алексей Сергеевич, простите, выпил малость.

И он опять поклонился.

– Одевай картуз и пойдем с нами, – произ-

нес чиновник.

Мужичонко в одну минуту был готов, и они втроем вышли, Павлов повел их в свой номер гостиницы, где они и заперлись, потребовав предварительно водки и закуски.

– Садись, Куликов, гостем будешь, на, выпей. Я хочу поговорить с тобой. Расскажи мне про жизнь твою в Петербурге.

Мужичонко присел на край стула, озираясь на чиновника, утер рот рукавом, перекрестился, жадно выпил рюмку и, откусив кусочек хлеба, опять вытер губы рукавом. Он имел очень жалкий вид забитого всеми человеком.

– Расскажи, – повторил Павлов, наливая вторую рюмку, – долго ли ты жил в Питере, чем занимался и как уехал?

– Годов семь жил, – произнес сиплым голосом мужик, – в дворниках, а после чернорабочим и поденщиком.

– Ну?

– Пил, значит, вот и погубило вино меня.

– Ну?

– Забрали меня. Этапом отправили.

– Врешь, – перебил чиновник, – ты бродя-

гой прикинулся, тебя доставили к нам для удостоверения личности.

– Я не прикинулся. В этапе бродяга какой-то был, не помнящий родства. Я за пять рублей и поменялся с ним кличками. Паспорт у меня в исправности был. Вот того бродягу с моим паспортом как раз доставили в Орел и выпустили, а меня прогнали с этапом дальше. В Перми я объявил, что я не бродяга, а Куликов, орловский мещанин. Меня вернули в Орел, удостоверили здесь и выпустили.

– А тот бродяга?

– А бог его знает. Он мне пять целковых отдал, больше я ничего не знаю.

– Как он выглядел бродяга, как его звали?

– Звали между товарищами Макарка-душегуб, а в этапе он шел под номером сто пять – не помнящий родства. Ему лет сорок было. Глазища такие страшные.

Павлов весь дрожал от волнения. Их подозрения более чем оправдались! Не подлежало больше никакому сомнению, что жених Гани был подложный Куликов и если не Макарка-душегуб, то во всяком случае самозванец и темная личность.

Павлов рассказал все, что знал про петербургского Куликова чиновнику мещанской управы и настоящему Куликову.

– Как вы думаете, что же теперь делать? Ваша управа не может телеграфировать в Петербург прокурору?

– Что же мы будем телеграфировать?

– Да вот-с то, что мы сейчас узнали!

– Но ведь это частный, не проверенный никем, разговор! Никому дела нет до нашего Куликова, никто из петербургских властей нас не спрашивал.

– Но вы слышите, что Куликов рассказал о подмене личности?

– Это известно было начальству. Он рассказал это в Перми, нам телеграфировали задержать бродягу номер сто пять, но где его задержать? Он не являлся вовсе к нам в управу. Зачем он явится?!

– А если я вам говорю, что в Петербурге этот бродяга скрывается под именем вашего мещанина Куликова?

– Это вам следует заявить в Петербурге. Если градоначальник или прокурор запросят нас, мы ответим, как есть.

– А вы мне можете дать официальное удостоверение, что Куликов живет здесь и в Петербурге нет никакого орловского мещанина с этой фамилией?

– Помилуйте! Да разве мы можем давать частным лицам подобные справки?

– Отчего же, если это правда?!

– Мало ли что!

– Ну, так вы сами телеграфируйте за мой счет прокурору, что вот до сведения управы дошло то-то и то-то.

– Да какое же нам дело до Петербурга?! Да хоть сто Куликовых там будет! Мы ни при чем, и до нас это не касается. Разве мы отвечаем за то, что делается в Москве, Петербурге, Одессе?! Нет, мы ничего не можем! Хлопочите сами в Петербурге.

Павлов задумался, опустил руки, и несколько минут длилось молчание.

– Делать нечего, но и в Петербурге я не добьюсь ничего с голыми руками. Мне нечем подкрепить, доказать свои слова.

Гости откланялись, ушли. Павлов сунул чиновнику и Куликову по бумажке. Он отправился на телеграф и послал вторую извест-

ную читателям телеграмму, а на следующий день с утренним поездом выехал в Москву. Надо же было случиться, что под Москвой какой-то товарный поезд сошел с рельсов и загроздил путь. Поезд опоздал на пять часов, и Павлов не смог выехать в Петербург ни с почтовым, ни курьерским поездом. Пришлось ехать с вечерним пассажирским. Читатели знают, что он примчался со Степановым к церкви Иоанна Предтечи, когда венчание Гани уже закончилось.

– Что же делать? Куда идти?

Степанов говорил, что без согласия Гани нельзя возбуждать дела и неудобно даже объясниться с стариком Петуховым.

– Вы подождите, а я постараюсь увидаться с Агафьей Тимофеевной.

– Хорошо. Я буду ждать, когда будет нужно, вызовите меня, а я не хочу и знакомиться с Лже-Куликовым.

Целый месяц Степанов ловил Ганю и никогда не мог ее видеть. Однажды он решился сходить к ним на квартиру, но встретил там Куликова и несколько смешался. Иван Степанович сухо его принял и на другой день, в

конторе, объявил ему, что Тимофей Тимофеевич увольняет его от службы по случаю сокращения работ на заводе.

– Как? За мою двадцатипятилетнюю службу?! Господин Петухов не желал даже объясниться со мной!

Степанов пошел к хозяину, но Петухов не мог его принять; он лежал больной. Между тем Куликов потребовал, чтобы Степанов немедленно выехал с завода, так как ему нужна его квартира. Едва ли надо описывать, что испытывал и переживал оскорбленный и неожиданно лишившийся куска хлеба Николай Гаврилович. Он глубоко чувствовал свою обиду, но признавал, что противиться невозможно, и через два дня, уложив свои пожитки, уехал из-за заставы. Далее судьба несчастной Гани занимала его меньше, хоть он не отказывался в душе помочь ей. У него появилась забота о своей собственной семье, оставшейся необеспеченной. Приходилось искать места, может быть в отъезд. Сбережений от службы у Петухова Николай Гаврилович имел немного, и на эти сбережения он мог прожить с трудом несколько месяцев.

Около двух-трех месяцев прошло в поисках места, пока Степанов получил наконец должность конторщика в Чекушах на одном из кожевенных заводов. Он устроился только к Пасхе и вскоре, выбрав один из праздничных дней, поехал за заставу проведать Ганю. Погода была хорошая. Застава оживлена. Николай Гаврилович зашел прежде всего на завод Петухова. Старых сослуживцев почти никого не осталось. Рабочих сокращено на две трети. Хозяин продолжал болеть. Молодые жили по-прежнему в домике Куликова; от служащих Степанов узнал, что Ганя страшно забита, мучается и почти не видится с отцом.

– Как бы мне повидать ее?

– Что вы! Муж запирает ее на замок, когда уходит, а когда дома – она дальше ворот не выходит; пасет на дворе свиней, моет полы, помогает в кухне кухарке – и больше ничего. Жизнь ужасная, неслыханная.

– Господи! Неужели из соседей никто не сжалится над несчастной, не донесет на душегуба!

– Посмотрите еще, какие приятели с Куликовым. Чуть не целуются, завсегда в гости

ходят. Бывает, он при гостях начнет бить несчастную, а они смеются, подшучивают.

– Ну, и народ! А еще купцы, хозяева, господами величаются! Сердца ни у кого нет!

– Сами натравят еще. Он угощает их, поит, деньги дает в долг, кто просит, значит, человек хороший, а что жену бьет, мучает – это так и полагается! Значит, стоит!

– Дело у меня к Агафье Тимофеевне есть, как бы повидаться с ней.

– Это из головы выкинуть надо. Никогда не увидите.

Степанов прошелся по заводу и попросил доложить о нем хозяину.

– Болен, не встает, – ответили ему. Николай Гаврилович вышел за ворота. Опускались сумерки. Появились толпы пьяных рабочих. Где-то вдали слышались крики, перемешанные с раскатами песен и звуками гармоний.

Тяжело было на душе доброго Николая Гавриловича. Всего семь месяцев прошло, а какая неузнаваемая картина. Десятки лет под заводскими кровлями Петухова царили тишина, покой, общее довольство и мир. Все были счастливы, если возможно счастье на зем-

ле. А теперь? Сколько горя, слез, страданий? И за что? Во имя чего?

– Воистину это Макарка-душегуб! С появлением его у заставы проклятье Божье нависло над всеми обитателями. Погибла семья Коркиных, погибли Петуховы, сотни рабочих семей лишились всего, спились и пропали десятки людей в «Красном кабачке», безвинно пострадали многие и многие честные, мирные люди. Будь ты проклят! – произнес Степанов и взял извозчика к Павлову. – Надо донести на него. Хуже никому не будет.

5

Виновен ли?

Третьего мая 189* года, в одном из отделений петербургского окружного суда было назначено к слушанию сенсационное дело о неслыханном по дерзости убийстве камердинера графа Самбери и о краже его фамильных бриллиантов. Злодей, совершивший это, выражаясь языком репортеров, «кровавое злодеяние среди белого дня», был схвачен и сознался; при нем нашли часть похищенных денег

со следами крови, бриллианты же исчезли; по всей вероятности, их успели вывезти за границу. Очень красноречиво описывали репортеры наружность злодея:

«В глазах его виднеется кровожадное хищничество. Все лицо носит отпечаток закоренелого зверства. Прошное злодея полно всевозможных пороков и преступлений. Он даже был выслан из столицы административным порядком и самовольно возвратился, скрываясь в разных трущобах городских застав».

Настал день суда. На скамью подсудимых усадили тщедушного, исхудалого, кроткого, как овечка, злодея, с добрым выражением красивых голубых глаз. Его светлая курчавая голова, тихого мягкого тембра голос и робкие движения обратили на себя внимание даже прокурора.

– Неужели этот человек мог нанести быковой удар камердинеру, взломать все шкафы и так искусно спрятать концы в воду? – задавал себе вопрос прокурор.

– Где же страшный злодей? Неужели

этот? – шептались между собой присяжные заседатели.

Начался процесс. Прочитали обвинительный акт.

– Признаете ли себя виновным? – спрашивают Антона.

Он пугливо озирается и молчит. Вопрос повторили.

– Виноват...

Зала вздрогнула, все заволновались, слышались вздохи.

– Расскажите, как вы совершили преступление? – предложил председатель.

Преступник молчит. Он низко опустил голову. Грудь высоко поднимается, он с трудом переводит дыхание.

– Вы можете ничего не говорить. Закон предоставляет вам право не отвечать. Не хотите?

– Мне нечего рассказывать, господа судьи, – тихо произнес Антон, – я сознался, я виновен, но я никого не убивал и не грабил.

– Зачем же вы сознались?

– У меня нашли деньги с кровью, мне не поверили бы, если бы я сказал правду. Все

равно, судите меня.

– Вы теперь можете рассказать. Поверить или не верить вам – дело присяжных заседателей.

Антон еще ниже опустил голову и замолчал.

– Пригласите свидетелей.

Судебный пристав ввел Тумбу, Рябчика, двух дворников понятых, двух кухарок из дома графа Самбери и чиновника сыскной полиции, производившего дознание.

Свидетелей, кроме Тумбы и Рябчика, привели к присяге. Священник разъяснил им святость присяги, а председатель добавил, что ложное показание под присягой карается строго.

Первого допрашивали Тумбу, который объявил себя не помнящим родства.

– Что вы знаете по делу?

– Ничего...

– Антон Смолин ваш товарищ?

– Нет... Он просто голодный человек...

– Он при вас сознался в убийстве камердинера?

– При мне. Только он зря сознался.

– Как зря?

– Так зря. Он не убивал никого, да ему и не убить.

– Суду неинтересно знать ваше мнение. Потрудитесь говорить только о фактах: значит он сознался?

– Сознался.

Свидетель Рябчик, тоже не помнящий родства, явился закованным в ножные кандалы. Он осужден уже за убийство неизвестного у Громовского кладбища, в канале, когда он душил Машку-певунью. Кто этот убитый, так и осталось неизвестным, по всей вероятности, какой-нибудь приезжий торговец.

Рябчик показал то же, что и Тумба. И он высказал мнение, что Антошка-голодный, как они звали бедного парня, не мог «мухи убить, а не только человека». Этакое убийство впору Сеньке-косому или Макарке-душегубу, и даже они, то есть Тумба, Рябчик и другие, не возьмутся за такое дело.

Следующие свидетели – дворники-понятые – повторили обстановку, при которой Антон сознался в убийстве, и рассказали, как у него нашли деньги, все в крови. Денег оказа-

лось 200 рублей, тогда как одет он был нищим и, очевидно, не мог ни заработать, ни получить честным путем такой суммы.

Кухарки, видевшие в день убийства на дворе оборванца, давали показания неопределенно.

— Похож был, но точно сказать не можем. Мы не видели в лицо проходившего по двору и не знаем, имел ли он касательство к квартире графа Самбери.

Фигура похожа, и больше ничего сказать они не могут. Самым существенным и важным было показание чиновника сыскной полиции, говорившего полтора часа. Он подробно описал быт громил Горячего поля, среди которых Антон прожил полтора года и, следовательно, не мог не участвовать в их разбоях и кражах. Дознанием не удалось установить, один ли Антон убил камердинера или в компании с кем-нибудь. Весьма возможно, что Антон был с тем же Тумбой или Рябчиком, а смертельный удар нанес не он, а товарищ, но все-таки Антон участвовал в этом убийстве, участвовал активно, как и сам сознался, воспользовался частью добычи, которая, в виде

окровавленных денег, у него найдена, и упорно не хочет выдать ни своего сообщника, ни похищенных бриллиантов. Такое заpiresательство и укрывательство усиливает вину Антона, и, если бы ему удалось «разжалобить» присяжных заседателей, то население столицы оказалось бы в серьезной опасности. Полиция и суд бессильны в борьбе с такими злодеями, которые все прикрывают друг друга, собираются в шайки и нападают на квартиры, на прохожих. Поймать их на месте преступления удается очень редко, а улики, даже веские, не всегда достаточны для суда.

Как же бороться с ними? Всякий вор или убийца, разумеется, будет избегать постороннего свидетеля, и уличить прямо его невозможно. Надо верить косвенным уликам, которых против Антона много, не говоря уже про то, что сам по себе он человек порочный, высланный административно и много раз подозревавшийся в разных преступлениях.

Показание это было настоящей обвинительной речью, основанной на фактах и официальных данных. И действительно, прокурор немного только добавил к этой речи и

требовал Смолину обвинительного вердикта.

– Не позволяйте, господа присяжные, – окончил прокурор, – торжествовать бродягам Горячего поля! Когда их высылают, они самовольно возвращаются; когда их судят, они прикидываются овечками, прячутся за спины таинственных соучастников и выходят оправданными. В интересах спокойствия и безопасности столицы я требую обвинения Антона Смолина...

Защитник, назначенный судом по очереди защищать Смолина, говорил вяло и мало. Не все ли равно в сущности, за что бродяга Горячего поля пойдет на каторгу? Если он не убил камердинера, то наверняка десять раз участвовал в других убийствах, но не попадался!

Такое именно впечатление произвела речь защитника на присяжных заседателей.

– Вы внимательно выслушали судебное следствие, – закончил он, – и по совести вынесете ваш приговор.

Последнее слово было предоставлено подсудимому.

– Не убивал я, господа судьи, никакого камердинера и не знаю ничего об эфтом деле...

Клянусь вам, господа судьи... – Антон произнес это полусшепотом.

Председатель сказал резюме, вручил старшине присяжных вопросный лист, и они удалились совещаться. Настало самое томительное время для Антона. До этой минуты ему все казалось, что кто-то скажет правду и защитит его! Ведь не убивал же он камердинера! Он вовсе и в городе не был с тех пор, как вернулся с родины. Как же могут обвинять его? Должны же они (судьи, прокуроры, присяжные) познать истину! Не могут же карать невиновного человека! Да и в самом деле, кто-то убил ведь камердинера, унес бриллианты... Неужели они не могли найти настоящего убийцу и раскрыть все, как было?

Антон глубоко был убежден, что на суде его невиновность ясно обнаружится, – для этого и «суд делают», однако с ужасом он убедился, что суд кончился, а его никто и не думал защитить; напротив, он сам стал как будто верить, что он страшный злодей и место ему в каторге. Так хорошо, убедительно все говорили. Быстро промчались в его голове минувшие годы. Он напрягал память, чтобы

отыскать в этом прошлом хоть что-нибудь такое, за что называют людей злодеями и ссылают в каторгу. Ничего такого не отыскивалось. Мухи он никогда не обидел. Скотинке никакой зла не сделал, а людей... людей любил всегда, больше же всех любил Грушу. Его часто обижали, понапрасну забрали в постоянном дворе, выслали за компанию с другими и... и больше ничего! За что же каторга? Сеньку-косого, правда, они убили и мне 200 рублей дали, но я пальцем не трогал покойничка и слезно просил оставить его! А взял деньги... взял только для Груши. Так за это в каторгу?

– Ваше превосходительство, – вдруг закричал Антон, – обращаясь к проходившему мимо судебному приставу.

– Молчать! Что ты с ума, что ли, сошел!

– Ваше превосходительство, – не унимался он, – подождите, дайте сказать.

– Молчи! Теперь ничего нельзя говорить!

– Не погубите безвинно! Дозвольте слово молвить, я все, все расскажу, как было! Я не убивал камердинера! Я ни в чем, ни в чем не виноват!

– Я прикажу тебя сейчас в тюрьму отвести,

если ты будешь шуметь. Следствие окончено, теперь разговаривать поздно! Тебя спрашивали – что же ты молчал?!

– Простите, ваше сиятельство, не мог говорить, а теперь могу! Я и в городе вовсе не был и знать не знаю про камардина ничего!

– Ты говорил уж это! Присяжные знают и теперь некому говорить! Ни слова больше, а то сейчас прикажу тебя увести!

Антон беспомощно упал на скамью. «Так-таки и поздно! Значит, он прозевал! Ох, ты несчастье! Стало быть, говорить надо было! Груша, Груша! Во сне тебя видел вчера, думал, сон в руку – выпустят значит, а н вот тебе и выпустили!»

И опять помчались мысли о прошлом, о деревне, о Груше, о свободе с двумястами рублями, с новой избой, лошадкой, коровой.

– Ты злодей, разбойник, – звучали у него в ушах слова прокурора, – душегуб. По всему видно! Шлялся по Горячему полю, высылался, дружбу вел с разбойниками, награбленным делился... В каторгу тебя.

– Господи! Да что же мне с голоду помирать было, когда хозяин рассчитал, а другого

места не находилось! Куда же мне было на три копейки обедать идти, как не на постоянный двор?! Виноват я, что там мазурики собирались? Взяли меня ведь без вины и выслали только за то, что места не имел, работы не было! Так вина моя разве это?!

Антон сидел неподвижно, уставив глаза в одну точку – резной шарик на спинке кресла старшины присяжных. Шарик точеный, красивый. Ему казалось, что этот шарик тоже его судит и тоже хочет обвинить.

Раздался громкий, резкий звонок. Серебристый голос электрического звонка пронесся по коридору и переполошил всех. Публика бросилась занимать места. Вышли прокурор, защитник. Они зевали. Им было скучно. Пустое, безынтересное дело, а затянулось.

– Суд идет! – объявил судебный пристав.

Настенька

Истекшая зима была для Настеньки преисполнена самых ужасных приключений. Когда, по доносу Машки-певуньи, Тумбу вместе другими забрали в кабаке Обводного канала, Настенька ничего не знала и тщетно ждала его целыми ночами, боясь лечь спать. Погода окончательно испортилась, целые сутки лил дождь, сделалось холодно. Тумбачонки начал покашливать, запас провизии приходил к концу. Настенька знала, что скоро Горячее поле делается совсем непроходимым, что наверняка с Тумбой случилось какое-нибудь несчастье, иначе он не бросил бы их.

Она осталась одна с ребенком посреди непроходимых дебрей этой чащи. Она была не из трусливых, но не закрывала глаза перед опасностью и ясно видела, что положение ее очень критическое. Правда, на Горячем поле много таких же кущей, как ее, но все они разбросаны подобно гнездам птиц, норам кротов или муравейникам, без всякого плана или

симметрии и при том в наиболее глухих и непроходимых местах. Настенька не знала этих кущей, как не знала и выходных тропинок из своей собственной норы. Идти искать выхода на «счастье», в такую погоду, как теперь, когда многие настоящие пути сделались уже непроходимыми, было слишком рискованно. Но и оставаться в таком положении тоже невозможно, потому что это грозило голодной смертью. Долго Настенька обдумывала свое положение. Особенно жутко ей становилось, когда смеркалось, ветер рвал деревья, зловеще завывая в отдалении, а дождь пробивал крышу их кущи, усиливал сырость помещения и заставлял еще больше кашлять малютку. К тому же хлеба и овощей оставалось совсем не много, мясо давно вышло, а достать кругом чего-нибудь съестного было негде. Денег у нее было свыше 400 рублей, были золотые и бриллиантовые изделия, но в ее теперешнем положении все это не имело цены. Когда однажды она сидела над спавшим Тумбачонком, в непроницаемой мгле ночи, со стиснутыми зубами и сдвинутыми бровями, она ясно услышала какой-то, непохожий на

шум ветра и дождя, шорох вблизи их кущи... Как будто кто-то пробирался к ним, раздвигая кусты и шлепая по лужам. Настенька выпрямилась, напрягла зрение и слух, но не могла ничего рассмотреть в темноте. Быстро она потянулась в угол хижины, ощупью достала большой кинжал и стала ждать.

Вдруг шорох возобновился около самых входных дверей, и она явственно услышала свое имя, произнесенное шепотом.

– Настя, ты спишь?

– Кто там? – отозвалась она.

– Выйди на минуточку.

Да ведь это голос Федьки-домушника, мелькнуло в ее голове. Он удрал тогда от расправы и явился теперь, очевидно зная, что Тумбы нет.

Она вспомнила его масляные глаза, которыми он пожирал ее на последней попойке, вспомнила его низкую, подлую, предательскую роль в деле с Сенькой-косым, у которого он холопствовал, и она даже вздрогнула от отвращения.

– Кто это? – спросила она.

– Свой, – отвечали шепотом.

– Если свой, так подожди, я найду сейчас огня и отопру дверцы.

Пошарив в углу, она достала конец толстой веревки и затем отвернула крючок дверец. Раньше чем стоявший у входа человек успел опомниться, Настя бросилась на него, схватила за горло, нанесла слабый удар кинжалом в плечо и, повалив обезумевшего от неожиданности «гостя» на землю, скрутила ему назад руки и туго затянула ноги.

– Вот так! Теперь мы будем с тобой разговаривать, – произнесла она и начала осматривать его карманы.

– Ого! Перышко-то вострее моего! – пошутила она, вынимая большой острый нож. – А это целая краюха ситного. Это кстати, я четвертый день постничаю. Ну, рассказывай, где Тумба и что с ним?

– Арестован. Его забрали с другими в «Машкином кабаке».

– Благодаря твоему доносу, холуй?

– Клянусь, Настя...

– Я тебе не Настя, а Настасья Федоровна! Можешь не клясться, я тебе все равно не поверю. Да дело не в этом, говори, где он?

– В сыскную взят, а больше не знаю.

– Подлец! А ты зачем ко мне в гости пожаловал с этим перышком?!

– Настасья Федоровна...

– Знаю, знаю, ты хотел предложить мне свои услуги! Ты знаешь, что теперь плохо на Горячем поле, что скоро мне не выбраться будет, тропинок я хорошо не знаю, и вот ты пришел помочь. У тебя хоть и холуйская душа, но ты умеешь быть благородным. Правда?

Федька молчал, кряхтя от туги перетянутых веревок.

– А вовремя ты пришел! Жутко мне здесь с ребенком, хоть с голоду помирай! Чуть рассветет, мы отправимся в путь. Ты будешь нашим проводником! Согласен?

– Помилуйте, Настасья Федоровна...

– Еще бы! Разумеется! Я забываю, что ты для этого ведь и пришел. Ну, а пока можешь здесь полежать. Не вздумай только пробовать распутаться. Конец веревки от твоих рук я возьму к себе в хату, и если веревка пошевелится, ты познакомишься с тем кнутом, который отправил Сеньку-косого к праотцам.

Настенька вернулась в хатку, вся промокшая от усилившегося дождя. Теперь она чувствовала себя спокойно, обдумывала, что взять с собой и как выбраться. Остаться в Петербурге было рискованно и неудобно. Она решила ехать немедленно в деревню, в Новгородскую губернию, Валдайский уезд. Чтобы миновать столицу, нужно было выйти с поля дальше Средней Рогатки и сесть в поезд на станции Преображенской. Там до Болого никаких опасностей нет, а в деревне у нее старуха мать, которая будет рада повидаться с дочерью. Настенька предусмотрела и то, что после путешествия по болотам Горячего поля невозможно по пояс в грязи сесть в поезд... Она возьмет вторую смену платья, обуви и нагрузит это на Федьку. Пусть тащит.

Так прошла ночь. Настенька не сомкнула глаз и, как только появились признаки рассвета, вышла посмотреть на связанного.

Федька, несмотря на дождь, неудобное положение и затекшие руки и ноги, спал спокойно и похрапывал. Настенька растолкала его и развязала ему ноги.

– Вставай, пора собираться.

Федька очнулся, хотел вскочить на ноги, но не мог пошевелить их. Они затекли.

– Ничего, разомнешься, – успокоила его Настенька и пошла укладывать вещи. Действительно, Федька недолго поползал, и ноги начали отходить. Он чувствовал себя прекрасно. Настенька не убьет его, он ей нужен, а об остальном ни о чем не заботился. Положим, цель его визита к Настеньке не осуществилась, воспользоваться положением «соломенной вдовы», которая ему нравилась, не пришлось, но стоит ли горевать о таких пустяках?

Между тем Настенька упаковала два больших узла, накинула на себя теплый платок и, закутав Тумбачонка, вышла из хатки. Рассвело настолько, что можно было видеть дорогу. Связав узлы веревкой, она перекинула их на плечи Федьки.

– Ты видишь это, – показала она ему дорогой стальной кинжал Тумбы, – я всажу его тебе в спину по самую рукоятку, если ты осмелишься сплутовать и завести меня в какую-нибудь чужую нору! Ты можешь мне поверить, что я исполню свои слова!

– Помилуйте, что вы, Настасья Федоровна.

– Ты должен держать путь выше Средней Рогатки, знаешь ли ты хорошо дорогу?

– Как не знать! Будете покойны, в лучшем виде предоставлю!

Они тронулись. Путь лежал по топким, почерневшим кочкам. Низменные лоцины смежнялись густым кустарником. Дождь моросил. Ветер несколько стих. Настенька прижала к груди своего Тумбачонка и зажала в руке конец веревки, на которой вела Федьку, опасаясь, как бы он не вздумал бежать. Мертвая тишина окружающих болот нарушалась изредка криком вороны или шелестом опадавших листьев. Жутко было здесь осенью даже птицам, которые бежали с угрюмого Горячего поля. Не могли бежать только многие бродяжки, которые не смели показать носа за черту облав и полицейских обходов. Холод, ненастье, болотистые выделения, голод – все это не могло сравниться для них с опасностью попасть в руки стражей общественного спокойствия и безопасности.

Настенька шла, не чувствуя усталости. Она была счастлива, что покидала свое осироте-

лое гнездо, чуть не сделавшееся ее могилой вместе с сыном. Она жалела только, что в их селе не было близко школы и потому она осталась неграмотной; а то она написала бы Тумбе записку и оставила бы в покидаемой куще. Он наверняка пришел бы сюда и прочитал ее письмо, узнал бы, как горячо она его любит, как вечно думает о нем и живет надеждой скоро свидеться. Он узнал бы о новом вероломстве Федьки-домушника и узнал бы, где его Настенька с Тумбачонком находятся. Настя всегда любила слушать, как ей читали интересные книжки, и всегда горько жалела, что осталась неграмотной.

Они шли часов шесть, пока стали замечаться признаки близкого жилья. Слышался запах дыма, встречались воробьи, доносился лай собак. Настенька хотя и устала до изнеможения сил, но все торопила Федьку и ускоряла шаги. Дорога иногда лежала почти по колено в воде, ноги вязли в тине, но Настенька не обращала ни на что внимания. Лишь бы скорее, скорее добраться до Средней Рогатки. В одном месте Федька с испугом остановился.

– Не пройти тут, Настасья Федоровна.

Сильно распустило.

– Как не пройти? Веди кругом.

– Кругом ходу нет на шесть верст.

– Так веди прямо.

– Смотрите, как распустило, на четверть воды да болото топкое.

– Пустяки! Иди!

Федька долго мялся на краю болота, наконец тронулся и сразу погрузился выше колена.

– Нельзя, нельзя, погибнем.

– Все равно погибать! Иди!

Настенька подняла платье и, выбиваясь из сил, вытаскивала каждый раз ногу из глубокой тины. Казалось, вот-вот они застрянут окончательно, но ужас положения заставлял делать сверхъестественные прыжки. Полверсты болота они шли более трех часов, за то, как награда, вдали показались кровли домов Средней Рогатки.

– Ну, теперь спасибо, дальше я сама выйду, – произнесла Настенька.

– А я куда же?

– А ты иди назад.

– Назад, – закричал он, – да разве это воз-

можно?!

– Ты видел, что возможно!

– Что вы, Настасья Федоровна, да мы ведь чудом прошли!

– А ты чудом назад перейди! Иди, или я сейчас с тобой покончу! Я не могу взять тебя с собой! Ты способен меня выдать.

Он упал на колени, но Настенька вынула кинжал и занесла его над головой труса.

– Иду, иду, Настасья Федоровна, только вы руки-то мне развяжите.

– Не надо! Развяжешь сам после.

– Да как же я развяжу, Настасья Федоровна.

– Не мне учить тебя! Пошел!

И Федька погрузился в болото. Пока он медленно двигался, Настенька стала переодеваться. Все платье и белье было в таком виде, что не оставалось ничего больше, как бросить его тут же в болоте. Одев все сухое, чистое, Настенька села отдохнуть и глядела за удалявшимся Федькой. Только когда он миновал половину и, следовательно, возвращаться ему не было смысла, Настенька тронулась в дальнейший путь.

Через два дня она благополучно добралась

до своей деревни и спокойно прожила там всю зиму. Ее мучило только отсутствие вестей о Тумбе. С наступлением весны ее начало тянуть на Горячее поле, где она, если не найдет Тумбы, то получит о нем сведения.

Тумбачонок подрос и еще более окреп.

В первых числах мая она выехала в Петербург.

7

Объяснение

Куликов метался по кабинету Тимофея Тимофеевича и в бессильной злобе скрежестал зубами. Неужели у него вырвут добычу, лишат возможности тиранить безответное существо?! Неужели Ганя осмелится выдать его отцу, рассказать всю правду? Что тогда? Положим, он мог бы сейчас задушить их обоих, но... но это крайность и при том очень рискованная! Идти в каторгу, когда можно уладить все по-хорошему. Ведь удача была так близка! Он рассчитывал сегодня хоронить старика, и, не прекрати старый хрыч принимать «целебные» лепешки, он непременно

протянул бы ноги. В расчете на это Куликов и дал себе полную волю с Ганей, не считая нужным побережь ее хоть от наружных изъянов! И вдруг!.. Свидание!.. Нет, этого он не ожидал. Не предвидел и попал впросак. Ну, да не беда! Даже в случае разрыва у него останутся 50 тысяч, да других денег и бриллиантов на столько же! Жить можно... Уеду... Но дешево я все-таки не сдамся! Посмотрим еще и поборемся!

Между тем, старик Петухов увел дочь в спальню, заперся с ней и, посадив Ганю в кресло, упал перед ней на колени.

– Ганя, счастье мое, жизнь моя, прости меня, я вижу, что загубил тебя, – говорил он, рыдая и целуя руки дочери.

Ганя сидела неподвижно, плохо сознавая происходящее и боясь шевельнуться, чтобы не очнуться к роковой действительности.

– Господи, да если бы мне во сне приснилось что-нибудь подобное, я с ума сошел бы! Слеп я, что ли, старый дурак! Дочь моя, прости, прости меня! Кто вернет тебе потерянное?! О, как ты страдаешь! Так не страдают и в каторжных тюрьмах! Черточки в лице не осталось прежней! Если бы не голос, я не

узнал бы тебя! Свят, свят, свят!

– Папенька, мы опять вместе, милый папенька, вы не отпустите меня от себя?

– Ганя, Ганя, только перешагнув через труп мой, возьмут тебя от меня!

Минуту длилось молчание.

– Дочь моя, – сквозь слезы, душившие его, говорил старик, – да скажи же мне, что с тобой?! Ты несчастна, это я вижу, но в толк не возьму, какие припадки у тебя делаются! Ты всегда была так здорова, что я не помню даже случая легкого недомогания! Кто тебя лечит? Что у тебя?!

– Папенька, я совсем здорова, ничего не болит у меня и никаких припадков нет.

– Но ты посмотри, посмотри на себя! С радости ты, что ли, так исхудала, покрылась такими синяками, струпьями!

Ганя тихо плакала. Она не решалась еще сказать отцу правду, но чувствовала непреодолимую потребность высказаться, излить наболевшую душу. Если бы Куликов был здесь и Ганя встретила бы его взгляд, то, конечно, даже мысль одна об откровенных излияниях не пришла бы ей в голову! Свидание

же с отцом наедине как-то окрыляло Ганю, делало ее самостоятельнее, смелее. Страх предстоящих истязаний не останавливал ее. Нет! Она не была трусливой и еще менее малодушной, но муж имел какую-то неразгаданную, непонятную власть над ней, поработал ее волю и тогда делал что угодно – она превращалась в безответного ребенка. В эту минуту мужа не было, и она постепенно делалась самостоятельнее, постепенно избавлялась от гнета, сковывавшего ее волю. Старик Петухов точно угадывал это состояние дочери и медлил, давал ей время «отойти», подобно тому, как отходят онемевшие члены тела, бывшие долго в ненормальном положении.

Они молчали. Ганя по-прежнему сидела в кресле, а старик лежал у ее ног, обняв колени дочери, и с неясностью смотрел на ее страдальческое лицо.

– Ах, я дурак старый, злодей своего дитяти, – шептал Тимофей Тимофеевич, – и как мог я допустить это, где были глаза у меня, что случилось с рассудком? О, горе извергу!! Я жестоко отомщу за поругание твое, дочь моя!!

Он почти угадывал истину, хотя Ганя ни-

чего еще не сказала ему. Этот изнуренный вид, следы побоев, потухший взор, худоба – все это говорило красноречиво о пережитом. Никакая болезнь не может сделать такой перемены. Здесь, очевидно, кроме физических, были жестокие нравственные страдания, душевные муки. Тимофей Тимофеевич вспомнил, с каким упорством зять не хотел привести к нему жену и согласился только тогда, когда он неожиданно сам собрался идти к ним. Вспомнил он неопределенные, уклончивые ответы зятя относительно болезни Гани: ему удалось однажды уловить магический взгляд Ивана Степановича, брошенный на жену, которая сразу испуганно притихла. Все то, на что он прежде не обращал внимания, теперь представлялось ему ясным доказательством истинной причины увядания дочери.

«А я-то сам, – думал старик, – разве я не подчинился ему и не сделался жестоким? Зачем я почти насильно заставил Ганю идти за него замуж? Как мог я уволить без повода, причины и даже объяснения моего старого верного слугу Степанова, чего ради я сокра-

тил всем рабочим плату, ввел суровые штрафы? Что мне, больше барыша захотелось? Сколько слез и горя причинил я всем своим служащим, и в результате сам должен был наполовину сократить производство, терпеть убытки. Кто был моим коварным советчиком? Кто искал слез людских?»

– Господи! Но она-то, она за что перенесла столько ужасов и обречена жить с таким мужем?! Она-то чем виновата? – шептал он, не спуская глаз со страдальческого лица дочери. И слезы опять подступали к горлу. А Ганя находилась в состоянии полудремоты. Страшное переутомление нервов и физическая слабость брали верх над надорванным организмом.

По мере того как она избавлялась от сильного, наподобие наркоза или гипноза, искусственного оцепенения под влиянием плети и глаз мужа, силы оставляли ее, она слабела и переходила в сонливое состояние. Но это состояние было благотворным, целебным бальзамом для исстрадавшейся женщины. На лице ее появилось отражение того блаженного покоя, который покинул ее с момента появле-

ния в доме Куликова. По этому отражению Тимофей Тимофеевич узнал свою прежнюю Ганю, и сердце его радостно забилося. Он бережно приподнял ее с кресла, перенес на постель, уложил и перекрестил, как делал в детстве Гани. Ему стало легче на душе. Он опустился на колени перед большим кивотом со старинными иконами и тремя теплившимися лампадами. Давно не молился он так горячо, страстно, как тот мытарь, который бил себя в грудь и произносил: «Господь, будь милостив ко мне, грешному!»

Больше часу он простоял перед кивотом. Ганя спала крепким, спокойным сном. На цыпочках он вышел из спальни и прошел в свой кабинет.

Здесь Иван Степанович продолжал шагать из угла в угол. Увидев входящего Тимофея Тимофеевича, он слегка вздрогнул, что случилось с ним каждый раз, когда он не чувствовал под собой почвы. Он не знал, выдала ли его жена, к чему пришли они на совещании, все ли знает старик, на что решится, и поэтому в свою очередь Куликов боялся взять неверный тон, не мог угадать, как ему вести

себя.

Петухов прошел к столу, опустил голову на руки и едва сдерживал слезы.

– Папенька, – начал тихо Куликов. Старик вскочил, как ужаленный.

– И ты смеешь называть меня отцом? Ты! Ты, палач моей дочери! Злодей, загубивший ее молодость, красоту, жизнь?!

«Все знает», – мелькнуло в голове Куликова, и, посылая мысленно проклятия жене, он сразу овладел позицией.

– Папенька, – повторил он, – бросаясь к нему в ноги, выслушайте, дайте слово молвить!

Глаза их встретились. Старик, только что готовый растерзать палача, остановил на нем долгий взгляд и затих.

Куликов воспользовался моментом:

– Выслушайте и после казните! Возьмите нож и отсеките мне голову, если я заслужил это, но прежде выслушайте. Папенька, неужели я не чувствую, не понимаю всех благодеяний, которыми вы осыпали меня? Неужели я зверь какой-нибудь бесчувственный, чтобы напрасно мучить, истязать нежно любимую

жену, которая для меня все, все... Подумайте, что вы говорите! Ведь это бессмыслица! Этого не может быть! Так дайте же мне сказать! Я клянусь вам всем, что у меня есть святого, всем, что мне дорого, – я неповинен! Я люблю до безумия вашу дочь – мою жену, я питаю безграничную привязанность к вам – моему благодетелю и, кроме добра, кроме счастья вам и себе, ничего не желаю. Выслушайте.

Тимофей Тимофеевич сделал над собою усилие, чтобы оторвать взор от сковывавших его глаз зятя, и повернул голову к окну.

– Дочь ничего еще не говорила мне, – произнес он, – но я вижу сам.

У Куликова точно камень свалился с плеч.

«Ничего не говорила, ну, так мы справимся с тобой, старый хрыч», – мелькнуло у него в голове. Он встал с колен, уселся напротив старика и продолжал:

– Не вам, папенька, сомневаться в том, как я нежно, страстно люблю Ганю, и вы можете мне верить, что я исстрадался не меньше ее.

– Не заметно, – процедил сквозь зубы Тимофей Тимофеевич, искоса взглянув на крас-

ные, лоснящиеся от жира щеки зята.

Куликов сделал вид, что не расслышал этого замечания, которое в другое время заставило бы его расхохотаться до слез, и продолжал тем же тоном:

– Вспомните, при каких условиях Ганя вышла за меня. Когда я вел ее к венцу, она шепнула мне, что ей легче было бы лечь в гроб. Не знаю, почему она ненавидела меня, презирала, я был ей противен. Но я не мог расстаться с ней. Она сделалась моей женой. Только страстная любовь могла заставить человека жениться при таких условиях! Мы стали жить. Вы помните, в каком состоянии я привез ее из церкви? С каждым днем ненависть ее ко мне росла! Чем больше я изливал перед ней свою страсть, тем больше я был ей противен. Что же оставалось мне делать?! Разойтись через неделю после брака? Но я не мог и не могу жить без моей Гани! Не могу, понимаете ли!.. И вот, затаив свою любовь, свою страсть, я стал показывать Гане притворное равнодушие. Я надеялся, что, по пословице «что имеем не храним, потерявши плачем», моя жена испугается равнодушия мужа, по-

жалет меня и мы сойдемся, по меньшей мере, как друзья. Я стал с женой строг, груб. Мне приходилось толкнуть или, каюсь, ударить ее, но я сейчас же отворачивался, чтобы скрыть слезы. Я плакал и бил, страдал, мучился, изнывал от страсти и выдерживал роль! Увы, время шло, а Ганя не изменялась к лучшему! Напротив, она худела, у нее появились какие-то припадки, она болела и, к ужасу моему, еще забеременела... Я пригласил лучших докторов, бросил свою роль строгого мужа, валялся у нее в ногах – ничего не помогало! Иногда я, казалось, сходил с ума, приходил в бешенство, рвал и ломал вещи, потом стихал опять и ласкал, опять валялся у нее в ногах... В один из припадков я ее сильно избил и верите ли, только благодаря врачам, я не повесился с горя!.. Вот, папенька, как прожили мы семь месяцев! Будьте вы нашим судьей! Не моя здесь вина и причина! Вы сами благословили наш брак, а спросите Ганю, сказала ли она мне за семь месяцев хоть одно ласковое слово! Спросите, приняла ли хоть одну мою ласку? Не повторяла ли она, что жизнь ее загублена?! Кто ее загубил?

– Я, – тихо прошептал Тимофей Тимофеевич, продолжая глядеть в окно.

– Папенька! Я не теряю еще надежды, что под вашим родительским попечением Господь благословит наш брак! Папенька, позвольте нам пожить у вас! Я не буду даже встречаться с Ганей, но позвольте мне дышать одним воздухом с вами! Не гоните меня! Посмотрите, я, как верный пес, валяюсь у ваших ног...

И он встал на колени перед стариком.

Тимофей Тимофеевич молчал.

– Папенька, вы видите, что я не сумел примириться с женой... Может быть я глуп, груб, неотесан. Умоляю вас: попробуйте вы примирить нас! Клянусь вам, что если и вы не сумеете примирить нас, я дам Гане разводную, я скроюсь навсегда, и вы никогда не услышите о моем существовании... Я повешусь, утоплюсь, я сам не знаю, что я сделаю.

Куликов сильно тер глаза, чтобы они покраснели и казалось бы, что он плачет, но это ему не удавалось.

– Отвечайте, папенька...

Он остановился.

На пороге появилась Ганя.

8

Дознание

В обширном кабинете красного дерева, с широкими сафьяновыми диванами и громадным письменным столом был полумрак; в глубине кабинета в вольтеровском кресле сидел пожилой господин с седыми длинными баками, побритым подбородком, густыми, седыми, нависшими бровями и блестящими, как у юноши, глазами. Господин вертел на пальце золотое пенсне. На нем был вицмундир с двумя звездами на груди. На почтительном расстоянии от него стоял ни жив ни мертв молодой человек с опущенными пошвам руками.

– Ну-с, Иванов! Как вы исполнили свое испытание? Я поручил вам, в виде экзамена ваших способностей, узнать, кто живет в квартире № 22, на Большой Морской улице, дом № 32, собрать об этом жильце точные сведения, узнать образ его жизни, средства и знакомства. Я дал вам три дня сроку и предупре-

дил, чтобы об этом дознании не знала ничего ни одна живая душа! Теперь я жду вашего рапорта – трое суток истекли час тому назад.

– Ваше превосходительство! В квартире этой проживает молоденькая девушка, красивая как ангел, кроткая как голубица. Она дочь бедных родителей и покинула их дом. Живет она роскошно. Средства доставляет ей какой-то плюгавый старикашка, с обезьяньей физиономией.

– Довольно о нем, – перебил начальник сысской полиции Дмитрий Иванович Густерин, – дальше.

– Словом, особа эта живет на содержании, но обставляет приемы содержателя такой таинственностью и скромностью, что никто ничего не подозревает и считают старикашку ее отцом, дядею или, вообще, родственником.

– Благодарю вас, Иванов! Вы выдержали экзамен блестяще, я назначаю вас надзирателем старшего оклада!

– Если прикажете, ваше превосходительство, я выслежу и доложу вам, кто этот старикашка, содержатель красавицы-девушки.

– Ох, нет, не надо, не надо, забудьте об этом

поручении, – поспешил сказать Густерин.

В этот момент дверь тихонько приоткрылась, и вошедший курьер доложил:

– Степанов и Павлов желают лично видеть ваше превосходительство.

– Кто такие?

– По-видимому, из купечества, чисто одеты.

– Проси. А вы, Иванов, останьтесь, может быть, для вас сейчас будет поручение; на ловца, видно, и зверь бежит.

Курьер скрылся и через минуту впустил наших знакомых. Впереди шел Павлов. Он имел серьезный, таинственный вид и, не разглядев никого в темноте, нерешительно остановился на пороге. Иванов стоял около портьеры внутренней двери, так что даже привычным взглядом его нельзя было бы скоро заметить.

– Я к вашим услугам, – поднялся начальник сыскной полиции и, делая легкий поклон головой, перешел к письменному столу.

Павлов и Степанов низко поклонились.

– Садитесь, – указал Дмитрий Иванович рукой на пустые креста около письменного сто-

ла и прибавил, вынимая часы:

– Я в вашем распоряжении двенадцать минут.

– Ваше превосходительство, – начал Павлов, – мы имеем очень важное дело.

– Ну, для важного дела срока не полагается, не угодно ли вам начинать.

– Вашему превосходительству, быть может, известен богатый кожевенный заводчик Петухов, за заставой.

– Знаю. Он прошлой осенью выдал свою дочь за какого-то трактирщика.

– За Куликова, временного купца из орловских мещан. Вот об этом-то Куликове мы и пришли сделать заявление.

Густерин сделал недовольную гримасу:

– Что же? Семейное дело?

– Нет, ваше превосходительство. Мы имеем очень веские данные предполагать, что это вовсе не настоящий Куликов, а какой-то беглый каторжник, скрывающийся под именем Куликова, это какой-то Макарка-душегуб!..

Густерин вздрогнул, перегнулся через письменный стол и, уставив глаза на Павло-

ва, приложил левую руку к уху и весь обратился в слух:

– Говорите, говорите, какие у вас есть данные!

Павлов начал. Он подробно изложил появление Куликова за заставой, его сватовство за Ганей, их решение со Степановым ехать в Орел и наводить справки и, наконец, свое свидание с чиновниками орловской мещанской управы и настоящим Куликовым.

Густерин слушал, затаив дыхание, и, когда Павлов кончил, начал тереть лоб, припоминая что-то. Он надавил одну из пуговок электрических звонков, размещенных около письменного стола, и через минуту явился плотный, низенького роста господин в синих очках.

– Александр Иванович, потрудитесь сейчас навести справки в делах прошлых лет о Маркарке-душегубе. Эта кличка принадлежала беглому каторжнику, скрывавшемуся в Вяземской лавре. Затем, справьтесь, мне помнится, фамилия Куликова недавно у нас фигурировала.

– Слушаю-с.

Господин в очках скрылся.

– Скажите, пожалуйста, – обратился начальник сыскной полиции к Степанову, – какую, собственно, вы роль играете во всем этом деле, почему вы собирали справки, принимали такое живое участие в судьбе дочери Петухова. Мне для дознания необходимо все это знать.

– Я, ваше превосходительство, прослужил двадцать пять лет на заводе Петухова, я вынужден был, можно сказать, на своих руках эту девушку.

– А вы, – обратился Густерин к Павлову. Тот замялся и несколько сконфузился.

– Вы должны мне говорить все искренно, иначе я не могу вам помочь.

– Извольте... Мы были когда-то братья по вере с Петуховым или, лучше сказать, Петухов с моим отцом. Потом Петухов перешел в единоверие, а я, после смерти отца, сделался начетчиком нашего филипповского согласия. Дочь Петухова, которую я часто встречал раньше, очень мне нравилась, и я мечтал перейти также в единоверие, заслужить ее взаимность, а там... Но Куликов опередил меня.

Я опоздал с предложением и опоздал со своими справками. Что делать! Мне вечно суждено опаздывать в таких случаях, и я примирился уже со своим положением, выбросил из головы пустое и опять погрузился всецело в свои книги, рукописи, предания святых отцов. Я забыл было о Гане, но вот Степанов явился ко мне и рассказывает, что Куликов истязает, мучает свою несчастную жену. Все соседи, местные коммерсанты, видят это и относятся с полным равнодушием к судьбе молодой женщины; они жмут руку палача, водят с ним дружбу, компанию, делят хлеб-соль... Мне, знающему гораздо больше их и посвятившему свою жизнь делам милосердия, постыдно было бы не помочь. Не правда ли?

– Простите, господин Павлов, за нескромный вопрос, дочь Петухова не знала о ваших намерениях. Вы не объяснились ей в любви, не замечали каких-либо чувств с ее стороны?

– О, ваше превосходительство, я первый раз говорю сам об этих чувствах. Не только Гане, но, кажется, я сам себе еще не признавался в этих чувствах. Ганя и не подозревает!

– Еще вопрос: эти чувства потухли в вас или вы по-прежнему интересуетесь дочерью Петухова?

– Что вы, ваше превосходительство, разве я могу интересоваться чужими женами?! Для меня она – страдающая женщина.

– Теперь мне ясно, но почему же вы тотчас, по возвращении из Орла, не пришли ко мне с этими сведениями?

– Степанов искал случая повидаться с Ганей, а между тем его уволили с завода. Я ничего не знал, думал, они живут счастливо. Да и с какой же стати мне расстраивать чужие семьи? Бог с ними!.. А теперь, когда злодей хочет в гроб заколотить неповинную Ганю, я не смею молчать! Я на все готов!..

– Вы будете согласны поехать опять в Орел с нашим агентом?

– Не только в Орел, в Сибирь, на Сахалин, куда прикажете, ваше превосходительство, – воодушевленно произнес Павлов.

– Вот видите, – заметил Густерин, – вы уже и неискренни. Сейчас сказали, что не питаете к дочери Петухова никаких чувств, а оказывается, готовы для нее на Сахалин идти.

Неужели, по христианскому долгу, вы готовы за всякого идти в огонь и воду.

Павлов ничего не ответил и перебирал в руках свой картуз. В кабинет возвратился чиновник в очках.

– Вот дело в трех томах об арестанте, именующем себя Макаркою-душегубом.

– Положите, мы его после разберем с вами.

– О Куликове нашли что-нибудь?

– Куликов, Иван Степанович, содержатель «Красного кабачка» за заставою, привлекался два раза к следствию, но оба раза в качестве свидетеля и оба раза почти одновременно, в сентябре прошлого года. Во-первых, по делу о притоне воров, накрытом на черной половине его трактира, и, во-вторых, по делу Коркиной, которая созналась в убийстве своего первого мужа. Достоинно удивления, что, по словам Коркиной, сговор об убийстве ее мужа приведен в исполнение Макаркою-душегубом, а Куликов запугивал ее этим. Поведение Куликова в камере следователя признано самим следователем «странным», а Коркина на очной ставке высказала предположение, не он ли и есть Макарка-душегуб. Все это записа-

но следователем в протокол.

Густерин даже привскочил в кресле.

– Знаете! Я почти уверен, что Куликов, зять Петухова, и Макарка-душегуб – одно то же лицо!.. Но эта-то уверенность и обязывает нас сохранять величайшую тайну и действовать как только возможно осторожнее!.. С Макаркою-душегубом справиться не легко! Это зверь, а не человек, который ничего не боится и ни перед чем не останавливается. Мы одиннадцатый год гоняемся за ним, а он у нас, под носом, ухитряется проделывать самые ужасные преступления! Можно думать, что это сам воплощенный сатана, одаренный шапкой-невидимкой! Посмотрите, три громадных тома открытых его злодеяний, а сколько еще не открытых вроде Онуфрия Смулева или Гани Петуховой?!

– Нельзя ли, ваше превосходительство, сейчас его арестовать? – спросил Павлов.

– Невозможно. Мы пока не имеем основания его взять, и он нас же оставит на бобах! Нужно сначала заpastись вескими данными, опутать его, как сетями, прямыми уликами и тогда только взять. Скажите, господин Степа-

нов, Куликов не подозревает, что вы ездили наводить о нем справки?

– Нет, едва ли Ганя ему это сказала!

– Я тоже полагаю, что нет! Иначе он не сидел бы покойно у заставы!

– Я на этих днях видел его на заводе, – прибавил Степанов.

– Прекрасно, значит вы, господин Павлов, согласны совершить вторую прогулку в Орел!

– Хоть сейчас.

– Я ловлю вас на слове. Теперь первый час. В три часа идет почтовый поезд в Москву с прямой пересадкой на Орел. Завтра вечером вы будете в Орле. Согласны?

– К вашим услугам.

– Отлично! Видите ли, нам необходимо прежде всего иметь в руках настоящего Куликова, снять с него опрос и показать ему здешнего Куликова. Если он признает в нем того Макарку, с которым он поменялся в этапе паспортами, то дело сразу будет в шляпе! Я командирую с вами опытного агента, который и доставит сюда Куликова настоящего.

– С большим удовольствием готов слушать.

– Иванов, – произнес Густерин.

От портъеры отделился господин, которого Павлов со Степановым до сих пор и не заметили.

– Вы внимательно все слушали? – спросил его начальник.

– С полным вниманием, ваше превосходительство.

– Так отправляйтесь немедленно устроить свои дела и к трем часам будьте на вокзале. Господин Павлов окажет вам всякое содействие в Орле... Позвольте вас познакомить... Один из лучших надзирателей, Иванов. Я снабжу его открытым письмом к орловским властям.

Павлов протянул руку Иванову и проговорил:

– Очень рад.

– Так не будем, господа, терять дорогое время. Прошу телеграфировать мне все подробности. Со своей стороны, я займусь здесь розысками самыми энергичными и, надеюсь, что Макарка-душегуб, если только это действительно он, не уйдет из наших рук.

– Ваше превосходительство, не могу ли я

быть чем-нибудь полезен вам? – произнес Степанов, вставая.

– Разумеется; я попросил бы вас по возможности чаще видеться с вашими друзьями за заставой и сообщать мне все, достойное внимания. Я всегда готов вас выслушать, днем и ночью.

Они откланялись начальнику сыскной полиции и вышли.

– Так вот причина вашего участия в нашем горе, – произнес Степанов. – Ох, если бы Ганя это знала тогда! Она не пошла бы за Куликова. Мы сумели бы отсрочить свадьбу.

– Почему вы это думаете? – горячо спросил Павлов.

– Потому что бедная Ганя с таким восторгом относилась вначале к вам, а потом... потом бедняжка стала, кажется, сомневаться. И что бы вам хоть мне намекнуть.

Павлов покраснел, как девушка.

– Что вы, что вы, да я и сам еще ничего не знаю!

Они расстались, оба печальные, задумчивые и со слезами, подступавшими к горлу.

У холма

Путь до Саратова был для Елены Никитишны сладким отдыхом при самой поэтической обстановке. Широко разлившаяся Волга, зазеленевшие поля, оживившаяся навигация – все это открывало картины, одна живописнее другой, точно в волшебной панораме. Тихая, ясная погода вполне гармонировала с окружающей природой и наполняла душу безотчетной радостью, заставлявшей забывать все житейские невзгоды. А у кого же было больше, чем у Елены Никитишны, этих невзгод?! Беспокойная, крикливая и неумолимая совесть требовала расплаты за смерть Онуфрия Смулева. Неясное, любящее сердце страдало за Илью Ильича Коркина, томившегося из-за нее в больнице для умалишенных. Не было только у нее жалости к самой себе, хотя пережила она много, и еще больше предстояло впереди. Если бы не добрый ангел-хранитель Галицкий, то перенесла ли бы она еще все пытки этапного путешествия! Прав-

да, и кроме Галицкогого ей все время делали разные послабления. Она сама видела, как в нескольких вагонах арестантского поезда все этапные сидели скованными попарно, то есть кандалы сковывали левую руку одного арестанта с правой рукой другого. И ее хотели сковать с ужасной лохматой женщиной, но начальник этапа шепнул конвоиру: «Не надо – она и так не уйдет». А каково было бы ей слиться на целые сутки с этой женщиной, от которой зловоние шло на несколько сажень?!

– Брр!

И мороз продирает по коже при одной мысли о всех этих минувших невзгодах, и кто знает предстоящее еще впереди при сугубой обстановке?! Ведь она идет почти на верную каторгу!

На второй день к вечеру пароход приблизился к Саратову. Елена Никитишна стояла на палубе и вперила взор в правый берег. Она искала глазами три березки на холмике, который был ей хорошо знаком с детства и который столько мучил ее в последние месяцы!

Пароход шел медленно, и весь берег хорошо было видно. Елена Никитишна боялась

только, не срубили ли березки, и тогда исчезнет след к могиле Смужева, пропадет надежда раскрыть когда-нибудь истину, примириться с совестью. И она еще напряженнее впивалась глазами в берег, осматривала каждое возвышение, каждый кустик.

Вдруг Елена Никитишна вскрикнула и схватилась за сердце. Ее седенький спутник подбежал к ней на помощь. Но она не нуждалась в помощи. Она вскрикнула, потому что увидела знакомый холмик с тремя березками, стоявшими точь-в-точь, как во времена ее детства. Только березы вытянулись высоко-высоко над Волгой, раскинули свои широкие ветви, постарели и покосились. Но холмик, обрывом спускающийся к Волге, несколько не изменился, хотя он не манил ее, как бывало в старину, под тень своих березок, а пугал и заставлял дрожать от ужаса. Елена Никитишна начала набожно креститься на холмик и шептала молитву. Пароход давно миновал уже березы и причаливал к пристани, а она все не могла оторвать взора от холмика.

– Он, он, – шептали ее губы, и она усилен-

нее крестилась, точно отгоняя крестом мучительные призраки.

Старичок-урядник нанял извозчика, усадил на него Коркину и повез прямо к прокурору. Так как присутственные часы окончились, то арестантку водворили в тюремный замок, находящийся на окраине города. Это заставило Елену Никитишну пережить еще несколько мучительных часов. В своем скромном, но приличном наряде, ей пришлось путешествовать с двумя городскими по всем улицам города, где многие ее хорошо знали и могли теперь узнать. Она закутала, как только было возможно, голову и шла почти бегом, так что городские едва поспевали за ней. Сколько воспоминаний, радостных и печальных, рождали эти улицы, дома с палисадами, вывески? Вот и тот дом, где она провела детство, но теперь он перестроен и в нем открыт трактир. Только той улицы и дома, где она жила с первым мужем, им не приходилось проходить, и Коркина была рада этому. Слишком тяжелы эти воспоминания.

В тюремном замке была уже тишина, арестанты спали. Для Коркиной отвели койку в

общей палате. Духота, зловоние, удушливая спертость, убогая обстановка и страшные обитатели палаты, от которых Елена Никитишна успела уже отвыкнуть, – все это привело ее в ужас, когда провожатые ушли, замок щелкнул и она осталась одна среди этих товаров. Она теперь боялась их, боялась цинизма, наглости и бесстыдства этих падших женщин, живущих скандалами, пороками и преступлениями. Коркина видела два этапа и три пересыльных тюрьмы, но нигде не видела ни одной женщины, достойной носить это имя. Нет, это не женщины, а какие-то отвратительные выродки рода человеческого. Преступники мужчины в большинстве случаев сохраняют что-то человеческое, и среди них существует дух товарищества, даже какого-то условного благородства, долг чести. Иногда порочный мужчина способен даже на отвагу, почти рыцарский подвиг. Ничего подобного нет среди женщин, потерявших высшую свою добродетель – стыд. Такие женщины отвратительны и способны доходить до последней степени нравственной наготы. С потерей женственности, стыда они теряют все святое,

дорогое и способны на самую низкую подлость по отношению к кому угодно. Коркина испытала это десятки раз за свою дорогу, и потому-то теперь ей стало так жутко. Спать она не могла. Сесть было негде. Прислонившись к двери, она стояла, боясь сделать шаг вперед. С нар начали подниматься головы и с любопытством присматриваться к новой появившейся фигуре. Послышался шепот и затем возгласы.

– Барыню доставили!..

Коркина стояла ни жива, ни мертва. Палата освещалась тусклым керосиновым ночником, коптившим и распространявшим зловоние. Елена Никитишна тихонько передвинулась по стене в самый угол комнаты, куда вообще не попадал свет ночника, и осталась там до утра. Всю ночь она бодрствовала. С первыми лучами загоравшегося дня она почувствовала облегчение, заметила у дверей табуретку и, опустившись на него, задремала.

Был совсем уж день, когда в тюрьму вошел стражник и пригласил Коркину следовать к прокурору. Опять пришлось совершать путешествие по городу, на этот раз при ясном

дневном свете прекрасного весеннего утра. Досаднее всего было, что путь лежал по самым людным улицам и толпы зевак собирались на всех углах, а из окон домов высовывались головы любопытных. К счастью, Елену Никитишну никто не узнавал, потому что за последнее время она переменилась до неузнаваемости, а прикрытая платком, имела вид не то кухарки, не то местной мещанки. Наконец они достигли здания суда и скрылись в воротах. Прокурор суда, пожилой, маленький господин с глазами навывкате, ждал уже Коркину и немедленно приказал ввести ее в кабинет.

Это таинственное дело интересовало его тем более, что он знал покойного Онуфрия Смулева, знал родителей Елены Никитишны и помнил ее девочкой. Никому в Саратове и в голову не приходило, что Смулев сделался жертвой гнусного заговора, в котором участвовала и его молоденькая жена. Подобное сенсационное дело и в столице не прошло бы незамеченным, а в провинциальном же городке оно обратило на себя внимание всего судейского персонала и заинтересовало своей

таинственностью. Как стало известно, что бывшую жену Смужева доставили, кабинет прокурора переполнился. Члены суда, прокурорского надзора, следственные и судейские кандидаты – все спешили взглянуть на «ужасную преступницу». Однако вид слабой, утомленной женщины с кротким лицом, на котором лежал отпечаток пережитых страданий разочаровал многих.

Прокурор прочел показания Коркиной, данные у судебного следователя в Петербурге.

– Поддерживаете ли вы свое объяснение, – спросил он арестантку.

– Да, – тихо прошептала она.

– Не можете ли вы указать здесь, в Саратове, кого-нибудь из близко знавших ваши отношения с покойным мужем.

– У нас почти никто никогда не бывал. Покойный вел самый уединенный семейный образ жизни.

– Но ведь он торговал, вел агентуру?

– Мне неизвестны были его торговые дела, он не посвящал меня в них.

– Нет ли кого из близких друзей его?

– Сколько мне известно, Смужев не имел

друзей и по своему замкнутому, подозрительному и крайне эгоистическому характеру он не мог иметь друзей!.. Деспот до последней степени, он и меня держал взаперти.

– Это не мешало, однако, вам иметь близкого человека?

Коркина потупилась.

– Вам угодно будет показать нам то место, где, по вашему предположению, сокрыт труп убитого?

– О! Угодно ли?! Во имя этого я пережила столько горя, перенесла столько мытарств! Я стогаю нетерпением! Идемте, идемте сейчас!

Присутствовавшие переглянулись и начали шептаться.

– Хорошо, мы сейчас отправимся, с понятиями и землекопами, – произнес прокурор.

Елена Никитишна радостно затрепетала. Наконец-то настал тот момента, которого она ждала с таким энтузиазмом, во имя которого принесла столько жертв. Что бы ни было впереди, все это ничто в сравнения с мучительной неизвестностью! Только бы скорее, скорее.

Она стала торопить, совершенно забывая,

что находится в положении арестантки и не может проявлять никакой инициативы. Ей казалось, что она чичероне, вожатый всей этой судейской толпы, что она совершает какой-то христианский подвиг, а не приносит повинную, не дает ответа судьям в качестве тяжкой преступницы. Прокурор несколько раз улыбнулся, глядя на вдохновенную фигуру Коркиной. Он шепнул что-то следователю, и тот тоже улыбнулся. А Елена Никитишна ничего не видела и не слышала, сгорая нетерпением скорее, скорее разрыть холмик на берегу Волги. Точно она собиралась освободить Смужева из западни, вернуть свободу задышавшемуся живому существу!

– Пойдемте, пойдемте, – молила она, видя что большинство не трогается с места.

Рассыльный доложил, что землекопы готовы и кареты поданы.

– Прекрасно, отправимся.

Коркину посадили в карету с понатыми и конвойными. Она должна была ехать впереди и показывать дорогу. За ними в двух каретах следовал судейский ареопаг. Многие пошли ради простого любопытства. Вдруг пе-

редняя карета остановилась. Что случилось?
Коркина высунулась из каретки:

– Ради бога, пригласите священника.

– После, после, – ответил прокурор.

– Нет, прошу вас вместе, я не могу без священника.

Многие улыбнулись и пожали плечами, но не решались протестовать. Один из конвойных побежал в церковный дом, мимо которого они ехали, и через несколько минут вернулся с батюшкой. Кортёж продолжал путь. Доехав до пароходной пристани вдоль Волги, кареты остановились. Дальше дороги не было, и к уединенному холмику вела узкая тропинка. Идти пришлось около версты. Коркина шла впереди. Выпрямившись, высоко подняв голову, с блестящими глазами она шагала так быстро, что остальные едва поспевали за ней. Щеки у нее горели, дыхание было прерывистое, руки дрожали от волнения. Она была в эту минуту похожа на полководца, который вел своих солдат на верную смерть за отечество!..

– Вот, – торжественно указала она рукой на холм под тремя березами и остановилась.

Нервы не выдержали. Она бросилась обнимать землю и зарыдала. Все стояли в молчаливом ожидании. Прошло несколько минут. Елена Никитишна порывисто вскочила и повелительно закричала:

– Что же вы стоите?! Разрывайте скорее! Ну же!..

Землекопы ожидали приказаний. Прокурор приблизился к холму и внимательно осмотрел его со всех сторон. Холм состоял из довольно высокой насыпи, густо заросшей травой, так что объяснить его происхождение было трудно. Он подозвал землекопов.

– Где же мы начнем раскопки?

Те почесали в затылке.

– Земля мягкая, черноземная, копать не трудно. Надо с краю начинать и идти к берегам.

– Ну, начинайте.

– А глубоко ли брать прикажете?

– Сначала возьмите пол-аршина, а после можно будет еще пласт снять.

Коркина подошла к священнику. Она вся дрожала.

– Батюшка, ведь его без отпевания закопа-

ли.

Священник ничего не ответил.

Землекопы стали копать.

Елена Никитишна тихо всхлипывала.

10

Да, виновен...

Присяжные заседатели ответили на вопросе о виновности Антона Смолина в убийстве камердинера:

– Да, виновен, но заслуживает снисхождения...

– Как же так? – удивился Антон. – Да ведь я и не слыхивал о камердинере ничего, а не только не убивал?! Как же так?!

– Молчать! – произнес председатель и увел судей совещаться.

Через две-три минуты они снова вошли.

– «Лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы на восемь лет...»

Председатель долго читал разные статьи закона, но Антон ничего больше не слышал; эти слова ошеломили его, как обухом, и вытеснили все другое из головы.

– Каторга на восемь лет... Каторга...

Вдруг кто-то стал бить его по вискам чем-то острым, зала затанцевала в глазах, люди запрыгали и... он грохнулся со скамьи на пол.

На следующий день Антон Смолин заявил в тюрьме, что он хочет сказать всю правду, и его доставили к прокурору.

– Говори, что ты хочешь сказать! – резко обратился к нему прокурор.

Смолин подробно описал убийство Сеньки-косога и рассказал о происхождении у него окровавленных денег.

– Сеньку я пальцем не тронул. Мы уговорили Тумбу простить его. Он сам помер. Смерть пришла...

– А камердинера кто убил?

– Клянусь Господом Богом, не знаю!

– Врешь! Может быть, тоже Тумба, а ты помогал...

– И знать не знаю! Понятиев никаких не имею.

– Ну, теперь, брат, об этом поздно толковать. Ты осужден и должен идти в каторгу, а про Сеньку-косога, которого вы уходили на Горячем поле, мы соберем сведения. Годика

три-четыре тебе прибавят к восьми годам каторги.

– За что?!

– А ты думаешь, тебе поверят, что ты даром получил кровавые бумажки?! Полно, ведь мы не дети!

– Господи! Да что же это такое?..

И Антона опять увели в тюрьму.

Началось следствие по делу об убийстве Сеньки-косоного. Рябчик, Вьюн и Тумба вместе с Антоном были привлечены к следствию. Все они, как один, отрицали даже и существование Косоного и прямо заявили, что Смолин брешет.

– Пусть он покажет, где мы зарыли убитого.

Антон с конвойными повели на Горячее поле. Долго бродили там по кочкам и ничего не нашли. Антон и сам не мог найти без провожатого ни кущи Тумбы, ни того леска, куда уволокли они мертвого Сеньку.

– Послушай, – строго обратился к нему следователь, – да ты, кажется, шутки шутишь с нами, сказки рассказываешь?

– Видит бог, я говорю правду!

– Ты уж божиться-то брось! Какой Бог у разбойников Горячего поля?! Как же ты жил на поляне у Тумбы и не можешь найти?

– Никогда я там не жил! Я и был-то там всего два раза, и оба раза меня проводили товарищи. Когда я последний раз возвращался один и запутался, вышел к скотобойне, меня забрали.

– Ну, довольно нам с тобой возиться! Твой рассказ о Сеньке-косом мы признаем вымыслом и следствие прекращаем. Ты пойдешь в Сибирь, а за то, что ты обманывал нас четыре месяца и заставлял по пустякам время тратить, тебе, по прибытии на место, дадут сорок ударов плетьюми. Вперед сказок не выдумывай.

Опять у Антона запрыгало и заплясало все в глазах. Он грохнулся в камере.

В «салошке»

Глухой шум доносился даже на улицу из ярко освещенных окон второго этажа дома, занятого «салошкою». Странный шум. Звуки какой-то кадрили, крикливое пение не то цыганского хора, не то молчановских песенников, возгласы пьяных посетителей, визг женщин – все это сливалось в один общий гул.

По устланной коврами лестнице посетители поднимались в «салошку». При входе – аквариум с фонтаном и за ним широкие двери в залу. Как ни широка дверь, а из нее, точно из бани, несетя клубами спертый, почти раскаленный воздух. Только воздух этот насыщен не водяными парами, как в бане, а удушливой смесью сивухи, табака, человеческого пота, пищи и неопределенным зловонием. На свежего человека этот букет действует ошеломляюще и, чтобы остаться в этой атмосфере, нужно скорее пить и пить как можно больше.

Зал переполнен. Гуляет человек пятьсот.

Вид гуляющих напоминает переполох в доме умалишенных. Все отравленные, дикие, бессмысленные и в то же время бесстыдные, наглые, циничные. Кавалеры ходят, обнявшись с дамами. Одинокие задевают «свободных» девиц. Смех перемешивается с визгом, руганью. Выпучив осовевшие глаза, покрасневшиеся лица «ищут» друг друга. Ослабевшие ноги дают возможность передвигаться только от стула к стулу, не далее пяти-шести шагов. Более дальнее путешествие влечет падение. Впрочем, для выручки таких путешественников разгуливают по залу несколько атлетов с рюкзачками в петличках. Это распорядители, которых короче называют вышибалами. На их обязанности водить и выводить посетителей. «Водят» таких, которые имеют деньги пить и угощать девиц, а «выводят» потерявших денежную способность. Последних у фонтана бесцеремонно выносят под руки и выталкивают на улицу. Зала огромная, уставленная вдоль стен буковыми стульями. В глубине сцена, на которой вопят и пляшут раскрашенные девицы в грошовых тюлевых костюмах. Их никто не слушает, но им полагается во-

пить, и они вопят. По программе это концертное отделение. После него танцы для самой публики. Три скрипки с контрабасом и барабаном режут ухо. Девицы и кавалеры, способные еще держаться на ногах, пляшут. Смех, визг, крики, возгласы совершенно заглушают скрипки.

– Господин, потише, – останавливает распорядитель танцующего, старающегося задраить ногу до плеча своего визави.

– Вход запрещу, – грубо заметил другой распорядитель девице, перешедшей все границы даже здесь дозволенного.

– Ан, врешь, не запретишь, – дразнит та и продолжает канканировать в том же духе.

К залу примыкает анфилада комнат со столиками. Это буфетная зала, где публика сидит окончательно на якоре; если бы раздался крик «пожар» или «землетрясение», то и тогда ни один из них не в состоянии был бы пошевелиться! Большинство дошло до кондиции. Еще рюмка и...

– Обирай!..

Но все это цветочки... Ягодки в глухих кабинетах, вход в которые задрапирован витри-

нами цветов и фруктов. В кабинетах настоящий гость, а это все шантрапа, корюшка, мелочь одна. Эти берут числом. Их бывает до 1500 человек и, следовательно, по рублю составляет полторы тысячи. А в кабинетах иногда один гость платит по счету 1500–2000 рублей. И его не видно. Про то, что делается в его кабинете, знают только свои. Ему все позволено, дозволено и разрешено, потому что он платит. И платит не как-нибудь! Всем девицам в кисейных платьях по золотому. А девиц этих штук сорок. Всем им по коробке конфет и дюшесу. Батарея бутылок шипучего, целая дюжина ликеров, а простой жратвы хватило бы накормить тысячу голодных. И все это по счету оценивается ценами французских ресторанов с надбавкой за развлечение, ведь девицы пели, плясали, забавляли гостя.

Не всегда, разумеется, в кабинетах бывает такой гость, но вот теперь третий день кряду идет «ликование». Хозяин, управляющий, десять официантов и все девицы концертного отделения не отходят от главного кабинета.

– Да, такого гостя давно мы не помним, – шепчутся они.

– Деньжищ-то, деньжищ у него!

– Вчера всем по четвертной, кроме подарков, дал.

– И по счету тысячу восемьсот.

Чтобы не беспокоить важного гостя, все остальные кабинеты закрыты и в коридор никого не пускают. Тапер непрерывно играет на рояле, девицы непрерывно пляшут и поют. Хозяин на цыпочках входит осведомиться, не прикажет ли чего «его степенство».

А «его степенство» развалился на диване, засунул руки в карманы, расстегнул жилет и откинул красную рожу на подушку дивана.

– Ходи веселей, – мычит он, – я гуляю.

Его степенство – это Иван Степанович Куликов. Он «закрутил». Он хочет повеселиться. И как же ему не повеселиться? Ганя его простила. Она ничего не сказала отцу с тем, что теперь они будут жить вместе в доме Петухова. Ганя заняла свою девичью комнату, а он поместился в двух комнатах конторы завода. У них водворился мир, и вот он решил отдохнуть, развлечься, сделать антракт! И что ему значит бросить этой челяди, этим пресмыкающимся тварям десяток-другой тысяч? У него

наличными больше ста, да после тестюшки ему скоро предстоит получить тысяч полтора. Это доподлинно теперь выяснилось: старый хрыч накопил уйму денег.

– Иван Степанович, – чуть дыша произнес хозяин «салошки», – не прикажете ли Дашкиной «Камаринскую» сплясать? Она первый сорт отмахивает.

– Чего, – протянул гость, – «Ка-ма-ринскую?» Ну, вали, жарь на прованском!

Тапер заиграл. Молодая, рослая девица с орлиным носом, ударила по бедрам, подбоченилась и пошла по кабинету, притоптывая каблуками.

– Ходи веселей, вот так, важно, поддай пару! Ай да Дашкина! Хе, хе, хе...

– Прикажете заморозить, Иван Степанович, – поклонился управляющий гостю.

– Морозь, надо Дашкину sprыснуть, важно, важно.

– Я прикажу полдюжинку.

– Пошел прочь! Не мешай смотреть!

Девица откалывала вприсядку. На диване, на всех креслах и стульях сидели арфистки и хористки со стаканами в руках. Они делали

вид, что пьют. Незаметно каждая из них выливала свое вино в стоявшее в углу ведро и ставила на стол пустой стакан.

– Доливай, – командовал гость, – пустых стаканов у меня чтоб не было! Доливай.

И опять та же история. Официанты зорко следили за ведром. Это ведь их барыш. Из ведра вино пойдет в бутылки и опять будет подаваться другим гостям, когда компания достаточно подвыпьет.

После «Камаринской» хор затянул «Среди долины...».

– Нет, стой! Брысь! Не хочу, – кричал гость, – плясовую, пляшите, черти, все, веселей, я сегодня гуляю.

На дворе давно начало светать, когда упившийся гость, еле ворочавший языком, потребовал счет.

– Сколько?

– Одна тысяча триста...

– Все тут?

– Никак нет, за пение что пожалуйста.

– Натe, черти, – бросил он пачку сторублевых на стол и хотел подняться. Ноги не повиновались.

К нему подбежало несколько человек. С трогательной заботливостью и нежностью его подняли и осторожно повели к выходу. Сзади провожала целая свита. В коридоре пробивался утренний свет. Величаво, с сознанием своего достоинства, гость передвигал ноги и посылал во все стороны ругательные эпитеты. Никто не оскорблялся. Все кланялись и улыбались. В прихожей с тою же заботливостью гостя одели и стали прощаться. Первый обнял и руками схватил болтавшуюся руку гостя сам хозяин, долго тряс ее и благодарил. За ним стали трясти ту же руку поочередно управители и девицы. Все нежно благодарили и трогательно просили не забывать их, приехать завтра. Простая публика давно разошлась, и двери были заперты наглухо, но для дорогого гостя несколько сторожей широко их распахнули. Лучи проснувшегося солнышка ворвались в двери и осветили лица свиты. О! Что это за лица?!

– На завод, – промычал гость, и коляска помчалась к заставе.

Ужас друга

Тимофей Тимофеевич снова жил с Ганей, которая быстро стала поправляться и воскресла душой... Наступили дни, очень похожие на доброе старое время, с тою только разницей, что заводом всецело управлял Куликов.

Старик Петухов и дочь как-то безотчетно предались полному покою... Их наболевшие души искали тишины, уединения, и они целыми днями могли просидеть в своих комнатах, никуда не выходя и никого не видя... Наступившая теплая, хорошая весна благотворно влияла на состояние их духа... Ганя шила приданое своему будущему наследнику, старик погрузился в толстые старинные книги с древними кожаными переплетами... Когда они сходились, то любили сидеть молча, рядом, изредка прерывая свое созерцательное состояние короткими фразами...

– Ганя, можешь ли ты его полюбить?

– Нет, папенька...

– Как же будет?

– Не знаю...

И долгая пауза...

– Надо развод устраивать...

– Надо, папенька...

– А как его устроить?

– Не знаю, папенька...

Отец и дочь не сознавали, что минувшая зима так надорвала их силы, энергию и здоровье, что им не скоро удастся восстановить потерянное равновесие... Тимофей Тимофеевич хотя меньше дочери страдал душевно, зато перенес тяжелую болезнь, завершившуюся нравственным потрясением, когда он увидел дочь в первый раз после выздоровления; кроме того, и лета его брали свое; ему пошел 74-й год... Изломанная, исстрадавшаяся, с незажившими еще рубцами на всем теле, Ганя поправлялась хотя и быстро, но все еще была слаба и надорвана... Неудивительно, что в их характере и образе жизни произошла большая перемена... Они были вполне довольны, когда могли ни о чем не думать, не заботиться и долгими часами сидеть или лежать молча, не шевелясь... А прежде Ганя, например,

не могла и минуты пробыть без движения, работы...

В доме Петухова установилась мертвая тишина, которую изредка нарушало появление зятя. На Ганю его приход наводил панический страх, а Тимофей Тимофеевич чувствовал себя ужасно неловко и был доволен тогда, когда аудиенция кончалась и зять уходил на завод.

– Долго ли так продолжится? – задавал он себе вопрос. – Надо же ведь кончить чем-нибудь! Но что же, что я буду с ним делать?! Господи, помилуй!

Иван Степанович держал себя с большим тактом в доме тестя и не поднимал своих глаз ни на жену, ни на старика. Он ограничивался необходимыми вопросами и спешил уходить, отлично видя, какое впечатление производит его появление.

– Знаешь, Ганя, – говорил старик, – он, кажется, исправляется, – замечал Тимофей Тимофеевич.

И он, и дочь в разговорах старались не называть Куликова по имени.

– Исправляется, папенька, – отвечала дочь,

вздрыгнув всем телом.

Она исполняла обещание, данное мужу, не рассказывать ничего отцу об их жизни, но эта жизнь вспоминалась ей во всех ужасных подробностях, как только речь заходила о нем. Иногда ей хотелось все рассказать, но язык не поворачивался. Тяжело было вспоминать минувшее.

– Что же нам с ним делать? – продолжал Тимофей Тимофеевич.

– Право, не знаю, папенька, только вернуться к нему мне не под силу.

– Ты не говорила с ним об этом?

– Нет, ни слова.

И они молчали.

Однажды, спустя неделю или две по водворении Гани в родительском доме, старику доложили, что пришел бывший его управляющий Степанов. Тимофей Тимофеевич страшно обрадовался и побежал к нему навстречу.

– Николай Гаврилович, голубчик, ты ли это, – бросился он к нему на шею и заплакал.

Прослезился и Степанов. Ганя, свидетельница этой встречи, стояла радостная, торжествующая, как никогда! Степанов поцеловал

ей руку и шепнул, что ему нужно с ней о многом, многом переговорить. Больше часа продолжались дружеские излияния. О заглавной отставке верного слуги, разумеется, не было и помину. Петухов не мог на него наглядеться и сказал, что он не согласен опять расставаться с ним.

– Переезжай опять к нам, пока я не умру! А умру, завод откажу дочке, и ты будешь полным управителем!

– А зять ваш, Иван Степанович, – спросил Степанов.

Петухов нахмурился, сдвинул брови:

– Зять не оправдал моего доверия, мы не свели еще с ним счетов... Так слышишь, Николай Гаврилович, – прибавил старик, – вези вещи и переселяйся сюда! Я давно хотел послать за тобой, а ты пришел сам – спасибо! Значит, любишь меня и Ганю. Коли не любил бы, не пришел, правда?

– Правда, Тимофей Тимофеевич, только куда же я перееду к вам? Мою квартиру занимает Иван Степанович.

– Найдем тебе место, у нас в доме можешь занять пока две комнаты.

– Пока?

– Ну да, пока я выселю зятя. С ним надо кончать.

Степанов не стал больше расспрашивать и вопросительно посмотрел на Ганю. Та сидела, опустив глаза. Николай Гаврилович сгорал от нетерпения скорее рассказать все о Куликове, о начальнике сыскной полиции, начавшемся дознании, но хотел переговорить сначала с Ганей. Между тем Тимофей Тимофеевич потащил его на завод и стал все показывать. Завод пришел в полный упадок, и они оба видели это ясно. Хорошие мастера все разошлись, большая половина станков не работала, некоторые подмастерья выделывали почти не очищенную кожу и портили только товар.

– Где ты был, – спросил старик нового главного мастера, явившегося откуда-то, когда они пришли в мастерские.

Тот замялся.

– Хорош мастер, нечего сказать, посмотри, какую кожу вы пустили в дело!

Мастер засуетился, остановил станок и вырвал у рабочего кожу.

– А где Иван Степанович? – продолжал ста-

рик.

– Их нет.

– Куда он ушел?

– Не могу знать, их второй день уже нет.

– Как, он и дома не ночевал?

– Не ночевали-с.

Тимофей Тимофеевич переглянулся со Степановым, и оба пошли дальше.

– Вот вам старый управляющий, – обратился Тимофей Тимофеевич к главному мастеру, указывая на Степанова, – теперь он опять будет заведовать всем, а зятя, когда он вернется, попросите ко мне.

– Слушаю-с.

Они обошли весь завод и везде нашли то же запустение. Фирма завода Петухова очевидно упала. Лучшие заказчики перешли в Чекуши. Куликов говорил и раньше об этом тестю, обвиняя Степанова в том, что он переманил заказчиков, но теперь Тимофей Тимофеевич ясно видел, что вина вовсе не Николая Гавриловича.

После подробного осмотра завода они вернулись в дом, и Степанов зашел в комнату Гани. Бедная женщина бросилась к нему на

шею так же, как и ее отец. И она видела в Степанове если не избавителя, то, во всяком случае, верного, преданного друга. Они уселись на диванчике. Николай Гаврилович взял ее руки и, глядя в потухшие глаза, начал:

– А я вам принес радостную весть. Скоро, скоро вы не только будете свободны, но...

Она отрицательно покачала головой.

– Я не могу быть свободна. Для меня все кончено, все потеряно!..

– Что вы, Агафья Тимофеевна, да вы опомнитесь, что вы говорите!

– Дорогой Николай Гаврилович, – я жена Ивана Степановича, и для меня не может быть ни свободы, ни выхода.

– А если окажется, что ваш муж не Куликов Иван Степанович, а беглый каторжник Макарка-душегуб, скрывающийся под чужой фамилией! – тихо прошептал ей на ухо Степанов. – Если окажется, что настоящий Куликов давно женат, имеет взрослых детей и благополучно живет в Орле?

Ганя вспыхнула, глаза ее широко раскрылись, она трепетала, низко нагнувшись к Николаю Гавриловичу.

– А если окажется, что каторжник Макарка-душегуб купил за пять рублей у Куликова паспорт и под чужой фамилией явился купцом и обманул всех, даже бдительное правосудие. Если окажется, что он загубил сотни душ и ему место на виселице?!

Ганя крепко стиснула Степанову руки и дрожала вся от ужаса.

– О! Я чувствовала все это на себе. Я испытала и сама все это. Вы не знаете, что я пережила? Я удивляюсь еще, как я жива!

– Все, что я вам говорю, сделалось уже достоянием правосудия. Слушайте, я расскажу вам все подробно.

И Степанов передал со всеми деталями свое посещение начальника сыскной полиции.

– Голубчик, Николай Гаврилович, но чем я отблагодарю Павлова за его хлопоты и заботы? С какой стати он приносит мне столько жертв?!

Степанов улыбнулся.

– Скоро, может быть, вы узнаете об этом.

Ганя посмотрела на него, ничего не понимая.

– После, после, теперь об этом еще не время!

– А что же, мы скажем все это папеньке? – тихо спросила Ганя.

– Не знаю. Я думаю повременить. Не надеялся бы он ошибок! Пожалуй, испортит все дело!

– А надо бы ему сказать!

– Густерин строго запретил мне кому-нибудь рассказывать, но вам я не мог не сказать.

– Боже, Боже, чья же я жена? Неужели все это правда и я буду свободна?! – шептала Ганя.

– Расскажите-ка мне, Агафья Тимофеевна, – что у вас было? Вы страшно переменились, похудели, постарели. Я хоть и знал кое-что, но почти не узнал вас!

Ганя горько усмехнулась и вместо ответа расстегнула немного кофточку. Вся шея и грудь ее были покрыты струпьями.

Степанов в ужасе отшатнулся.

– Возможно ли, Боже милостивый!

– Это теперь все подсохло, заживает, а две недели тому назад это были живые раны.

– Отец видел?

– Нет.

– Агафья Тимофеевна?! И вы все это переносили?!

– Но что же мне было делать? Вы забыли разве, что отец был при смерти, а я сидела неделями запертой в полутемном чулане. Он бросал мне, как собаке, кусок хлеба, чтобы я не умерла с голоду.

Степанов сидел с выражением неподдельного ужаса на лице. Ничего подобного он не мог и представить себе.

– Проклятый Макарка, – прошипел он, – ты жестоко заплатишь за это. Нет, нужно все это показать и рассказать Тимофею Тимофеевичу.

– Жаль папеньку! Вы видели бы, как он убивался, глядя на меня! Он и так ведь еще не совсем поправился от болезни!

Долго еще ошеломленный Степанов не мог прийти в себя, и рубцы с запекшеюся кровью мученицы не выходили у него из головы.

– Боже, Боже, но кто мог даже предположить что-нибудь подобное!

– Пойдемте к папеньке, – встала Ганя, – мы слишком долго с вами засиделись. Не забы-

вайте, что пока я еще не свободна, а мужняя жена.

– Не жена вы мужа, а мученица каторжника! И отчего вы не могли как-нибудь раньше меня позвать?

Она улыбнулась.

– Я и отца не могла видеть, кроме двух боровов муж не позволял мне ни с кем видеться!

– Не называйте его мужем.

– Увы! Я обязана его так величать, и еще неизвестно, удастся ли мне от него избавиться?! Теперь я знаю о нем больше, чем прежде! Поверьте, с ним нелегко справиться! Это человек чудовищной силы, не только в руках, но главное в глазах. Он своим взглядом может заставить другого делать что ему угодно! Меня однажды бил его приятель, который видел меня первый раз в жизни и ничего решительно не имел против меня! Он дал ему плеть и повелительно сказал: «Постегай». Тот и стегал, пока тот смотрел на него, а как отвернулся, приятель швырнул плеть и стал извиняться.

– Будь он проклят, подлец, со всеми свои-

ми приятелями.

– У него в доме есть какие-то подземные ходы, куда он скрывается по временам. Что-то такое очень таинственное! Мне чудилось, что там кто-то стонет, молит о пощаде.

– От такого душегуба все станется.

Они перешли в столовую, где подали самовар и Тимофей Тимофеевич сам заваривал чай.

– Так когда же, Николай Гаврилович, вы окончательно переезжаете к нам?

– На днях, Тимофей Тимофеевич, ведь я служу, мне нужно еще отказаться, сдать дела.

– Пожалуйста, поторопитесь, вы видите, какие мы несчастные с дочерью! Вы ведь наш старый друг.

– Старый друг и верный друг, – подчеркнула Ганя.

– Не напоминай мне прошлого, дочь моя, я не в состоянии мириться с ним и чувствую себя больным, как только начинаю припоминать.

Степанов посидел еще часа два и, распрощавшись, уехал.

– Мужайтесь, недолго осталось, – шепнул

он на прощание Гане.

А Куликова все не было.

– Третьи сутки пропадает, – вздохнул Петухов, – ах, пропади ты совсем!

«Не пропадет», – подумала Ганя.

13

Три тома

Начальник сыскной полиции Густерин, с двумя помощниками, принялся за разборку трех томов, составляющих дознание о различных зверствах и преступлениях бродяги, именующегося Макаркою-душегубом. Лет восемь назад этот Макарка исчез с горизонта воровского Петербурга, и сыскная полиция предала память о нем забвению. И без Макарки в трущобах Вяземской лавры, Горячего поля, Обводного канала, Таирова переулка и у застав много разных громил и душегубов, требующих бдительного полицейского ока.

И вдруг... опаснейший враг общественной безопасности, самый отчаянный голово-рез-каторжник оказывается не только в столице, но возвращается в обществе, в одной из по-

чтеннейших сфер торговли и промышленности, среди видного, именитого купечества и пользуется чуть ли не почетом, уважением. Густерин смутно припоминал, как этого зятя Петухова ему представили как-то на купеческом балу, и он прошелся даже с ним под руку по зале. Этот Куликов был принят в лучших купеческих домах и со многими представителями заводской промышленности был даже дружен. И что же?! По-видимому, этот почтенный зять фабриканта на самом деле первый петербургский злодей, каторжник, душегуб?! Но возможно ли?! Так ли?! Полно! Не попали ли мы на ложный след? Это ведь невозможно. После этого окажется, что среди миллионеров-тузов нашей биржи и рынка найдется тоже какой-нибудь не помнящий родства душегуб!

Густерин раскрывал тома, перелистывал тетради.

– Не угодно ли: Макарка судился несколько раз, был наказан плетью, совершил много побегов, ссылался в каторгу и теперь вдруг... купец, заводчик, богатый человек, зять Петухова. Нет, это глупости. Не может быть.

– Позвольте заметить, ваше превосходительство, – произнес один из помощников, – что подобные превращения преступников в людей с солидным положением вовсе не редкость. Не только за границей, но в Одессе, Риге, Варшаве еще недавно...

– Это там, но не в Петербурге! Там нет Густерина! Я не допускаю, чтобы у меня можно было проделать такую штуку, чтобы я гулял под руку на балу с бродягой...

– Но этот бродяга попал на бал! Очевидно, вы не могли предположить...

– Постойте, но у нас, кажется, имеются сведения о смерти Макарки-душегуба?

– Никак нет... Он скрылся после убийства семьи Смирновых и Алёнки. С тех пор мы не имеем о нем никаких сведений.

– Сколько же числится за ним убийств!

– Нам известны только шесть эпизодов, но имеются указания на гораздо большее число. Происхождение Макарки составляет непроницаемую тайну. Нам не удалось выяснить не только его прошлого, но даже настоящего имени. Рубцы на спине и какие-то выжженные знаки на левой руке указывали на то, что

он побывал на каторге, но когда, как и при каких условиях – неизвестно. В Петербурге он дебютировал убийством купца Сашина. Ваше превосходительство, помните это дело? Он явился к Сашину и предложил сделать выгодную покупку в Старой Руссе... Сашин поехал с ним, захватив деньги... Макарка завел его в лес в версте от станции железной дороги и убил, ограбив все ценное... Мы схватили его в ночлежном доме на Обводном... Он был приговорен к каторге на двенадцать лет и бежал из дома предварительного заключения... Тогда этот Макарка был еще молодой человек... Второе злодеяние его было летом в окрестностях дачной местности Серпево... Он, в компании с двумя товарищами, повесил в парке гимназиста. При дележке добычи злодеи поссорились и вдвоем повесили своего третьего товарища. Макарка вместе с товарищем попался и снова был приговорен в каторгу... Наконец, убийства Смирновых и Алёнки были последними его выступлениями.

– Как же он бежал после второго приговора?

– С этапа, близ Урала...

– Позвольте, неужели личность Макарки ни разу не была установлена как следует?

– Ни разу... Да это и невозможно... Он никогда не откроет своего настоящего имени, потому что наверняка за ним числятся подобные же дела в других городах и местечках.

Густерин заложил руки в карманы брюк и нервно стал ходить по кабинету.

– Из Орла нет телеграммы? – спросил он после долгой паузы.

– Никак нет, ваше превосходительство...

– Черт возьми, что за каша! А вдруг мы ошибаемся? Хорошенькая ошибка будет, нечего сказать! Явиться к почтенному коммерсанту и сказать: «Не Макарка ли ты, братец, душегуб?» Приятно, я вам доложу, если он докажет свое алиби... Наличность Куликова в Орле еще ничего не доказывает!.. Может быть, у мещан есть двадцать однофамильцев!.. Нет, воля ваша, я думаю отказаться от этой каши! Какие-то Степанов и Павлов могут заблуждаться и ошибаться, но мне, Густерину, которого знает вся Европа, непростительно разыграть глупейшую комедию.

И он опять нервно зашагал по кабинету.

– Но орловский Куликов говорит, что он продал свой паспорт в этапе именно Макарке.

– Так что ж? Значит, все Куликовы сделались Макалками? Ну, продал! Да где же указание, что тот арестант и наш петербургский заводчик одно и то же лицо? Нельзя же с бухты-барухты предъявлять подобные ужасные подозрения и обвинения.

– А совпадение у следователя? Коркина прямо в глаза назвала этого Куликова убийцей мужа, Макаркою-душегубом.

– Назвала?! Сумасшедшая баба выругалась, не имея ни малейшего повода!.. А где же у нее основания, доказательства? Небось, следователь не арестовал его! Попробовал бы!

– Как прикажете, ваше превосходительство, можно заявление Степанова и Павлова оставить без последствий.

Густерин задумался. Он сел к столу и стал опять перелистывать дела.

– Вот спишь да выпишь, – говорил он, не обращаясь ни к кому. – Пожалуй, самое лучшее прекратить. Впрочем, подождем возвращения Иванова из Орла.

В кабинета вошел курьер.

– Господин Степанов желает видеть ваше превосходительство.

Густерин сделал кислую гримасу.

– Проси.

Степанов порывисто вбежал в кабинет. Густерин сухо ему поклонился и неохотно про-
бормотал «садитесь».

– Нельзя ли, ваше превосходительство, арестовать этого злодея, – начал Степанов, с трудом переводя дух.

Густерин посмотрел на него удивленно.

– Знаете ли, господин Степанов, я хочу совсем оставить ваше заявление без последствий, я начинаю раскаиваться, что командировал в Орел чиновника. Вы, мне кажется, заблуждаетесь. Зять Петухова не может быть Макаркою-душегубом... Это вздор!..

Степанов с выражением ужаса на лице вскочил с кресла.

– Ваше превосходительство, умоляю вас, я за все, за все отвечаю – сошлите меня в каторгу, если он не Макарка-душегуб! Посмотрели бы вы, что он сделал с несчастной женой: на ней живого места нет! Одна сплошная рана!

– Вы сами видели?

– Сам видел! Послушайте, что она рассказывает про него.

– Рассказывает?! Мало ли, что про кого рассказывают! Супруги могли не сойтись, могли драться, но от этого еще далеко до такого ужасного обвинения! Посмотрите: у нас три тома о злодеяниях Макарки-душегуба. Возможно ли, чтобы этот Макарка преобразился вдруг в купца, фабриканта, был принят в обществе. Это в романах только бывает, а не в действительности!

– Ваше превосходительство, умоляю вас – только не прекращайте дела! Посмотрим, что будет дальше. Жена Куликова рассказывает о каких-то стонах в подzemелье его дома. Не можете ли вы обыск произвести.

– Как это вы легко на все смотрите? Мне скажут, что вы фальшивые кредитки делаете, и сейчас к вам с обыском идти? Этак мы все дома перероем! Надо же принимать в соображение не одни только «слова», а факты!

– Неужели мало у нас фактов, чтобы арестовать злодея!

– Не только мало, а я совсем их не вижу!

– Но ведь вы сами говорили прошлый раз,

что наличности орловского Куликова достаточно для ареста зятя Петухова!

– Да, если мещанская управа удостоверит, что другого Куликова в их обществе нет, и если орловский Куликов признает в зяте Петухова того арестанта, которому он продал свой паспорт...

– Признает, признает, я уверен в этом.

– А я более чем сомневаюсь! Я сомневаюсь настолько, что, право, не знаю, как я решусь вызвать зятя Петухова и сделать ему очную ставку с орловским мещанином! Мое положение крайне щекотливое.

– Но, ваше превосходительство, я беру всю ответственность на себя.

– Вы не можете отвечать за действия начальника сыскной полиции. Вот если бы вы обратились к прокурору и прокурор предложил бы нам произвести дознание, тогда другое дело. Но я уверен, что прокурор точно так же уклонился бы от этого и признал бы ваше заявление недостаточным.

Степанов в отчаянии ломал руки.

– Господи, что же делать, что же делать?

– Я вас научу, – произнес Густерин. – Сиди-

тес и напишите заявление о жестоком обращении Куликова с женою. По поводу этого заявления мы будем обязаны произвести дознание. Когда из Орла доставят Куликова, я вызову зятя Петухова для объяснений по вашей жалобе. Мои агенты будут его караулить. Если он не захочет явиться, его доставят силой. Здесь я предъявлю ему ваше заявление и как бы невзначай, случайно, устрою встречу обоих Куликовых. Признает тот его за арестанта, купившего паспорт, конечно, зять Петухова будет арестован; не признает – извините, я ничего дальше предпринимать не буду.

– О, боже, боже, неужели Гане суждено погибнуть?!

– Простите, но я еще раз советую вам бросить это дело! Поверьте, вы ошибаетесь! Я не допускаю возможности, чтобы человек, совершивший столько злодеяний, как Макарка-душегуб, мог бы очутиться зятем Петухова! Это совсем нечто сказочное!

– А я клянусь вам своею головою, он Макарка-душегуб или вообще какой-нибудь злодей, разбойник, каторжник! Только душегуб мог так известить жену в семь месяцев – и ка-

кую жену: кроткую, тихую, нежную.

– Посмотрим. Возвращение чиновника не за горами. А пока пишите заявление.

Один из помощников увел Степанова в канцелярию. Густерин провел рукой по лбу:

– Неужели это, в самом деле, возможно? Неужели я гулял на балу с Макашкой-душегубом?! Нет, положительно невозможно! Как ни ловок и ни бесстрашен Макашка, но до такой наглости ему не дойти!

– Ваше превосходительство, из дела Коркина видно, что в Саратове теперь производится следствие по убийству Макашкой Онуфрия Смулева, – заметил помощник, – не найдете ли полезным командировать туда чиновника?

– Пожалуй... Макашка, хоть он и не зять Петухова, но во всяком случае наш злодей и нужен нам по делу Смирновых и Алёнки. В самом деле, распорядитесь. Кто у нас свободен?

– Петров не занят.

– Хорошо, так пошлите Петрова. Пусть немедленно едет. Это не повредит делу. Может быть, там мы настоящего Макашку и схватим.

Степанов возвратился с написанным заявлением. Густерин внимательно прочел и произнес:

– Хорошо. Больше вы ничего не имеете мне сообщить?

– Я поступаю опять на службу к Петухову.

– Прекрасно. Во всяком случае, вы не забывайте сообщать мне, если что-нибудь откроете новенькое. Только об одном прошу: не окрашивайте все так мрачно. Старайтесь смотреть беспристрастно. Отрешитесь от мысли, что Куликов – Макарка, и вы увидите все иначе. Уверяю вас!

Степанов горько усмехнулся.

– Ах, ваше превосходительство, если бы вы видели Ганю, видели, что сделал с ней злодей в семь месяцев, вы не сомневались бы...

– Посмотрим, посмотрим...

Исчезновение Игнатия

Осиротело Горячее поле. Наступившая весна не застала здесь главных обитателей и коноводов.

Одни ему изменили, другие погибли в бою... с правосудием... Затерялась тропинка к хижине Тумбы. Настенька с Тумбачонком заявила желание следовать за своим возлюбленным. Жить одной на Горячем поле не имело для нее смысла. Рябчик ушел уже в кандалах на Сахалин. Несколько бродяг попало в обходах или задержано в окрестных кабаках, так что население Горячего поля поредело. Правда, в разных кустах и дебрях этого поля осталось еще много народа, но все это разбросанные, разъединенные элементы, не имеющие характера дружины, банды или шайки, подобно существовавшей при Гусе и Тумбе. Беспаспортные, голодные оборванцы, пропойцы, дошедшие до опорок, и мелкие воры составляли теперь главный элемент населения Горячего поля.

Больше всего с весны появилось на Горячем поле «безместных». Так зовут здесь прислугу, потерявшую места: лакеи, дворники, кухарки, горничные, приказчики... Все это спившийся, опустившийся люд, отвыкший от работы, труда и ищущий разврата, тунеядства. И сколько же их?! Не только просторы Горячего поля, но и наружная площадь, примыкающая к скотопрогонному двору, переполнена этим сбродом столичного омута. Есть молодые и старые, новички и бывалые; есть художники своего дела, артисты по профессии, но попадаютя и сошедшие невольно с колеи, только что окунувшиеся в омут...

Едва солнышко садится, как со всех сторон тянутся к Горячему полю группы безместных. Женщины в больших байковых платках, мужчины в картузах, пиджаках, опорках. Многие держатся попарно, но большинство кучками в пять-десять человек. Все их имущество на себе и при себе. Ни у кого ни узелка, ни подушки. У некоторых нет даже белья на теле. На Горячее поле они перекочевывают как на дачу, из зловонных трущоб городских лавр. Безместные считаются тысячами, и доб-

рая половина их состоит в этом звании годами.

Все лужайки поля оживляются с 8–9 часов вечера, когда безместные собираются «по трудам» с некоторой добычей. Кто поденно стирал, кто работал на барках, в огородах, а кто просто «стрелял» на паперти. У каждой группы есть полуштоф или сороковка в кармане, есть колода засаленных карт. Они разваливаются на траве, под кустиками, и с 9-10 часов начинается оргия, иногда на всю ночь. Группы с восходом солнца тут же засыпают.

Особенно отличалась в эту весну небольшая группа безместных, державшаяся особняком от остальных, в густой траве за скотогонным двором. Здесь устроен был под большим тенистым кустом холщовый ковер, подобие стола, и несколько подушек из сена. Все это – роскошь, недоступная заурядным «дачникам» Горячего поля. И на самом деле, группа была незаурядная. У них игра шла на десятки и на сотни рублей, на столе появлялись бутылки мадеры, портвейна. Группа состояла из шести человек – и во главе их Игнатий Левинсон. Тот самый Игнатий, который служил

у графа Самбери, когда убили несчастного камердинера.

Он несколько опустился, физиономия припухла от пьянства, глаза окружены синими поволоками от бессонных ночей. С ним Катя – молоденькая, семнадцатилетняя горничная, недурненькая блондинка, служившая с Игнатием на одном дворе. Игнатий обольстил несчастную девушку и увел за собой, когда отошел от места; теперь она сделалась его постоянной спутницей и готовилась стать матерью. Компаньоны Игнатия: один старший дворник большого дома, уволенный за неисполнительность и поборы с жильцов – Мартын, а другой – официант увеселительного заведения Андрей, с которого сняли номер за неумелый и чересчур дерзкий обсчет гостя. Оба они с девицами-подругами: первый с кухаркой Дарьей, женщиной лет двадцати семи, а второй с посетительницей увеселительного заведения Настюшей, ловко обиравшей, по уговору с ним, гостей. Настюша – недурненькая кокоточка; любовь к Андрею ее погубила и привела на Горячее поле. Теперь, когда костюм потерял свежесть, карман опу-

стел, из комнаты ее выселили, она волей-неволей сделалась спутницей Андрея.

– Наливай, – распоряжался Мартын, который теперь был богаче остальных и чувствовал некоторое превосходство над сотоварищами. Он хоть и не умел скопить капиталъца, но денежки у него еще не перевелись, тогда как Игнатий совсем спустил свое «наследство», а Андрей имел «дырявый карман», и сколько он с Настюшей ни добывал, все спускал немедленно в карты или прокручивал по разным вертепам. Впрочем, он не унывал. Номер ему дадут в другом заведении, Настюшу он экипирует в кредит у какой-нибудь мадамы, и они опять заживут по-старому, а пока... пока...

– Наливай, выпьем, надо sprыснуть наследника.

– Тю-тю, – протянул Игнатий, – было да сплыло, вчера проиграл последнюю пятишку.

– Что ты? Плохо, брат, опять, значит, в камердинеры?

– Зачем баловать! Погуляем еще!

– Какое гулянье без денег?

– Будут и деньги, постой, дай срок!

– Опять наследство?

– А хоть и наследство?! У тебя не попрошу.

– У меня и просить нечего, сам всегда без денег! Знаешь ведь – карман с дырой!

– А у кого из нас без дыры?

– У Мартына Андреевича, видишь, дом скоро покупает!

– Врите, – промычал старший дворник, злобно покосившись на «шестерку». Он не любил, когда шутили на его счет, и сам не умел шутить.

Компания выпивала и делалась разговорчивее. Настюша ухарски опрокинула рюмку и чмокнула:

– Эх, кабы не Андрюшка, жила бы я теперь большой барыней! Помнишь дядю Васю, старичка?

– Помнишь, помнишь, – передразнил Андрей, – нечего вспоминать, коли дура! Потому и не живем, что дура!

– Удивительные люди, – заметил Игнатий, – как сойдутся, так ругаться! И что это у вас за привычка? Посмотри, как мы с Катей дружно живем! И не горюем.

Настюша презрительно поглядела на блед-

ную, похудевшую горничную и сказала:

– О чем вашей Кате горевать? Что она видела? Плиту да половую щетку?! А я проживала по две тысячи в месяц, каталась на рысках...

– Все мы катались, – перебил Игнатий, – а теперь на Горячем поле сидим! Нечего и скулить понапрасну! Пей, когда домовладелец угощает!

– Ну, ты, наследник из лавры Малкина переулка, – огрызнулся дворник.

Ночь была тихая, теплая. Вдали заливалась малиновка. Со стороны города доносились какие-то крики.

– Не обход ли? – произнес, прислушиваясь, Андрей.

– А хоть бы и обход? Нам-то какое дело! Мы с паспортами, хоть и не прописаны.

– Нет, слышишь, пьяные орут, обход кричать не будет! – пробасил Мартын и налил рюмки.

– Сыграть бы, братцы?

– Денег нет, – отвернулся Андрей.

– Ты отдашь, тебе кредит есть.

– И у него нет, – показал Андрей на Игна-

тия.

– Ты обо мне не печалься! – отозвался Игнатий. – Я захочу, у меня сейчас будут! Хоть тыща!

– Ой! Какой хват выискался, и впрямь наследник!

– Наследник или нет, а кредит имеем неограниченный! Напишу записку, пошлю Катю, и сейчас деньги будут!

– Что ты? К банкиру, поди, пошлешь! Положено на текущем.

– Наше дело! Даром никто не даст, стало быть заслужено!

– К кому же это вы пошлете? Не секрет?

– Какие у нас секреты! К заводчику Куликову, Ивану Степановичу, зятю Петухова. Слышали такого?

– Как не слышать! Бывали у него в «Красном кабачке». Он не с родни ли тебе придется?

– Наше дело! А напишу тыщу – и пришлет! Беспременно пришлет, потому ему нельзя не прислать! Такое дело, что должен обязательно прислать!

– Ну, ну, потише! Ты не очень заливай,

недалеко ушел от нашего чина: камердинер тоже шестерка, что и официант.

– То, да не то! Мы только у графов да князей, а к вам какой лапотник ни придет с деньгами, обязаны служить.

– Видали и мы графов, почище ваших! А все-таки Куликову ты не родня!

– Хочешь, сейчас напишу, да еще «ты» напишу. Пришли, мол, Ваня, тыщу. И пришлет. Поздно только теперь, тревожить неловко, а утром беспременно пошлю!

– Да ты скажи уж начистоту, что за дело у тебя с Куликовым?

– Много будете знать – скоро состаритесь! Сказано – дело, и довольно!

– Вот видишь и врешь! Если б взаправду дело было, сказал бы, не утерпел бы, не такой ты человек: ты – хвастунишка.

– Не могу сказать, потому чужой секрет.

– Не таковский ты, чтобы чужие секреты беречь! Видно, у самого рыло в пуху. Откупается от тебя Куликов? Так?

– Да что вы привязались? Я не спрашиваю, за что вас выгнали?

– Мы, брат, ушли без убийства, а у тебя че-

ловека зарезали. Бог знает еще, кто зарезал!

– Извини, и суд был, убийца Антон в каторгу пошел.

– Один пошел, а другие, статья может, и не пошли. Дело темное.

– Бросьте, – промычал Мартын, – не наше дело. Сыграем? Все одно в кредит сыграем, свои люди. Игнатий завтра тыщу получит, отдаст, а ты...

– Не попросить ли мне у Игнатия оказать протекцию к Куликову: пусть писульку даст к ресторатору, он знакомство ведь имеет.

– Не можем, чего не можем, того не можем! Тыщу могу, а писульки не могу.

Андрей усмехнулся и достал из кармана колоду карт.

– Кто банк закладывает?

– Вот вам по красненькой для банка, – произнес Мартын, протягивая две десятирублевки.

– А мы спать ляжем, – зевнула Настюша.

– Марш по кустам! – скомандовал Игнатий. «Дамы» разбрелись по соседним кустам, подложив под головы подушки и покрывшись своими платками. Игнатий заложил банк, но

Мартын сейчас же сорвал его. То же повторилось и с Андреем. Они выпили, и тогда Мартын сам заложил, но вместо денег вынул лист бумаги и карандаш.

– На запись будем играть. Я тоже платить не стану. Отвечаю триста.

Игра пошла азартная. Партнеры меньше 25 не писали. Игнатию не везло окончательно. Андрей играл вничью. Мартын утроил банк и передал следующему. Взошло солнышко, совсем стало светло, а товарищи все «резонились». Дамы мирно спали. Раздался протяжный рожок пастуха. Оживилось Горячее поле. Потащились в город за добычей безместные.

– Пора, братцы, кончать, надо соснуть, – объявил Мартын.

– Подводи записи.

– Игнатий проиграл 922 рубля, Андрей выиграл 46 рублей.

– Ай да Игнатий, молодчина, вот без малого тыщу и продул! Теперь хочешь не хочешь – посылай.

– Сам пойду! Во как! Не токмо пошлю!

Он встал, потянулся, зевнул.

- А который теперь час может быть?
- Солнце высоко, часов семь-восемь есть.
- Пора идти, а то уедет... Я мигом... Вы меня здесь ждите...

Приятели не дождалась Игнатия, как осенью в «Красном кабачке» громилы не дождалась Гуся. Куда делся Игнатий? Бедная Катя все глаза выплакала, ходила узнавать и получила тот же ответ, как когда-то громилы:

- Вошел, но не выходил из дому.
- Где же он? Куда делся? Никто не мог на это ответить.

Жена Куликова говорила Степанову о каких-то стонах, мольбах, которые она слышала под землю, в подвалах, но...

Есть ли какая-нибудь связь между этими стонами и участью Игнатия?

Катя умерла в преждевременных родах.

Заговор

С опухшей от нескольких ночей пьянства и Соргий физиономией Иван Степанович вошел утром в кабинет тестя, где застал и жену. Петухов сидел, наклонившись над столом, а Ганя стояла возле, обвив его шею рукой. При появлении Ивана Степановича они оба вздрогнули. Старик теперь так же быстро разочаровался в зяте, как прежде быстро увлекался. Поводы и причины разочарования встречались на каждом шагу. У него точно открылись глаза. Прошрое увлечение казалось ему каким-то бесовским наваждением.

– Сатана попутал: туман на рассудок навлек, – вздыхал часто Тимофей Тимофеевич, припоминая и взвешивая прошедшее. – И где я в нем солидность нашел? Трактиришка какой-то, да и тот в аренде! А степенность? По две ночи дома не ночует! И в деле ничего не понимает: что он с моим заводом в полгода сделал! Хоть совсем закрывай.

– Здравствуйте, папенька, здравствуй, же-

на, – подошел к ним Куликов.

– Здравствуй, зятек, – произнес Тимофей Тимофеевич, – а мы только что о тебе говорили; тебя не было два дня.

– Я уезжал в Новгород по делам.

– Видишь ли: уехал в Новгород и не сказал ничего! А завод? Так нельзя, мой милый, делать! Я пригласил вернуться на службу Степанова.

– Пригла-си-ли! – вскрикнул Куликов, совершенно забыв свой нежный, минорный тон, и напускная улыбка исчезла с его лица, сделав его сразу суровым.

«Ого, вот ты каков», – подумал старик, уловив это превращение, и проговорил громко:

– Да, пригласил, и на днях он обещал вступить в управление; я предложил ему переехать назад в свою прежнюю квартиру.

– Но зачем вы это сделали, разве вы не знаете, что я уволил его за непочтительность ко мне и я не могу быть с ним на заводе!

– Да тебе и нечего там делать. Я попрошу тебя вовсе не вмешиваться в заводские дела. Ты мне запустил так завод, что я не узнал его после болезни!

– Благодарю вас за аттестацию. Так что же прикажете мне делать в вашем доме?

– Послушай, Иван Степанович, нам нужно с тобой серьезно переговорить, ведь я совсем не знаю, какие у тебя дела, чем ты занимаешься, что ты делал в Новгороде два дня, зачем туда ездил, да и ездил ли еще?! Я начинаю не вполне тебе доверять! Правда, я несколько поздно спохватился, но во всяком случае – лучше поздно, чем никогда!

Куликов слушал молча, опустив голову: он успел овладеть собою, но все еще не мог прийти в себя от неожиданности. В последнее время у него промахи следуют за промахами: как мог он не позаботиться завести около себя на заводе «верного человека», то есть шпиона, который доносил бы ему все, что происходит?! Тогда он не попал бы впросак; а то у него нет кругом ни одного преданного человека, и он не в курсе того, что происходит. Слишком он понадеялся на себя, на свои силы!

– Стыдно мне, старику, – продолжал Тимофей Тимофеевич, – сознаваться в легкомыслии, но я сознаюсь. Я не отпускал никогда ки-

пы кож в кредит без того, чтобы не собрать предварительно подробных справок о покупателе, а тут отпустил самый драгоценный свой товар человеку, которого совсем не знал. Скоро пришлось мне каяться, но, увы, кажется, слишком поздно! Моему зятю за сорок лет, он успел прожить больше полжизни, а я не имею даже представления, как он прожил свою жизнь, кто, что, откуда он! Ты говорил мне о каких-то подрядах, делах, но все это неопределенно, неясно, без всяких осязательных фактов!

– Папенька, вы напрасно себя вините и напрасно оскорбляете меня! Если бы вы располагали целой сыскной полицией, то и тогда ничего предосудительного не узнали бы из моего прошлого! Мое прошлое светло и ярко, как хрусталь! На мне нет ни одного пятнышка, и вы с первого знакомства узнали меня, поняли и оценили! Вы слишком мудрый и опытный человек, чтобы нуждаться в сыщиках для определения окружающих вас лиц. Но я решительно не понимаю, что за перемена произошла в вас по отношению ко мне?! Я ждал, как вы обещали, водворения мира, ти-

шины, согласия, а выходит... Ганя, что произошло? – обратился он к жене, стоявшей все время молча, не переменяя положения.

– Я только что вошла и ничего сама не знаю, – прошептала она, не поворачивая головы.

– Что ж, жена, если папенька меня гонит, нам нужно вместе уходить! Я без жены не уйду!

И он приблизился к Гане. Та инстинктивно отступила по другую сторону отца, который откинулся на спинку кресла и твердо произнес:

– Я тебе сказал, что не отпущу пока Гани от себя. Тебя же я вовсе не гоню: я только отстранил тебя от управления заводом, потому что ты все страшно запустил и по двое суток не показывал глаз. Но жить у меня в доме ты можешь! Занимайся чем хочешь. Что ты раньше делал? Какие подряды? Бери опять подряды или трактор открывай. Разве я тебе мешаю?

– Но что же это за жизнь, на бивуаках, без своего угла, почти без жены, в каком-то неопределенном положении?

– Молчи, Иван Степанович, не тебе сетовать на нас! Посмотри, как быстро поправляется Ганя у меня, а что ты с ней сделал в семь месяцев?! И ты еще смеешь меня попрекать?! Кажется, я тебе ничего не должен и попрекнуть тебе меня нечем. Скажу тебе откровенно: я был бы счастлив видеть Ганю свободной. Я не верю, чтобы она могла быть с тобой счастлива! Не сумел ты или не хотел, Бог тебя знает, но счастья ты нам не принес! Конечно, я не вправе отнять у тебя жену, но, если ты пойдешь наперекор, я постою за дочь! Слышишь?! – И старик хлопнул по столу кулаком с такой силой, что все вещи затанцевали. Дрогнул и Куликов. Такой прыти от старика он не ожидал!

«Ах ты старая обезьяна, – подумал он, – надо тебя накормить моими лепешечками, авось поутихнешь! Чего доброго еще тут дождешься, что из дому выгонять начнет и приданое потребует».

И он прибавил вслух:

– Вы не забыли, Тимофей Тимофеевич, моей клятвы; если вы пришли окончательно к такому выводу, то мне остается возвратить

вам полученное за женою приданое и просить вас подать в консисторию разводную; я беру на себя вину и ваша дочь будет свободна.

— Я не требую пока ничего. Я желаю только, чтобы Ганя осталась при мне до полного выздоровления, а ты можешь жить с нами и заниматься своими делами. Но мне, как тестю, было бы небезынтересно все-таки знать, какие дела у моего зятя. От твоих прежних подрядов остались, вероятно, контракты, расчеты, документы. Я желал бы видеть все это. Ты не меньше четверти века занимался делами, вероятно, есть у тебя какие-нибудь заслуги, памятные бумаги, награды... Ты можешь показать их?

— С большим удовольствием... У меня несколько ящичков этого добра, и я прикажу перевезти их с квартиры сюда или сам разберу и выберу для вас наиболее интересные... Я не привык хвастаться, но похвастаться есть чем! Даже несколько медалей за выставки имею!

Тимофей Тимофеевич был обезоружен спокойным, самоуверенным тоном зятя и такой

уступчивостью, на которую он даже не рассчитывал. Ганя почувствовала это впечатление, и ей сделалось страшно... Если они часто будут вместе и он покажет свои медали и заслуги, то она опять потеряет защиту в отце и ей придется вернуться к мужу... Вернуться к этой страшной плети, к истязаниям, к унижительным издевательствам! Она готова была зарыдать... А старик сделался, видимо, мягче и почти ласково посмотрел на зятя.

– Когда же Степанов переезжает? Надо ему приготовить квартиру, так я переберусь к себе, – произнес Куликов тоном обиженной жертвы.

– Зачем к себе? Разве мало у нас места? Хватит, я думаю, всем. Ты отдай ему заводскую квартиру, а сам живи здесь, в доме... Возьми комнату рядом со столовой... Или мало тебе? Чай, не тесно.

– Благодарю вас, папенька... Но, может быть, я вас стесню?..

– Стеснишь, не стеснишь, теперь толковать поздно... Мне комнаты нечего жалеть, когда дочери своей я не пожалел!..

«Так, мягче стал, – пронеслось в голове Ку-

ликова, – медали понравились старому дураку: я тебе покажу такие медали, что ты живо у меня ноги протянешь, а там другие разговоры и с женушкой пойдут. Очевидно, это ее штуки со Степановым; ну, попомните вы меня, голубчики! Не долго вам удастся попраздновать победу! Не на того напали!.. Надо, однако, торопиться, пока Степанов не водворился; этот, кажется, лучше всех меня сразу раскусил, только руки коротки, не доросли!»

Он встал.

– Я вам, значит, папенька, не нужен теперь, могу уйти?

– На что же ты мне нужен?

– Когда очистить квартиру для Степанова?

– Чем скорее, тем лучше...

– Так я сегодня переберусь...

– Перебирайся...

– А когда мы с вами медалями и дипломами займемся?

– Не к спеху, не горит... Все равно... Устраивайся раньше, да дела вот свои не запускаяй, как ты завод мне запустил.

Куликов повернулся уходить. Видимо, роль покорной овечки, которую он разыгры-

вал, стоила ему огромных усилий, потому что, как только он повернулся, физиономия его приняла обычное зверское выражение, с стиснутыми зубами и выкатившимися глазами, налитыми кровью. Довольно увидеть его с таким выражением лица, чтобы понять сразу, что это за человек. Ганя видела его таким часто, и потому-то один голос его заставлял ее дрожать. Эта разбойничья голова с глазищами тигра жаждала крови, как голодный хлеб, и томилась в роли покорного зятя. Видит она свою жертву, да взять нельзя!

– Пора, пора, – шептал он, удаляясь, – дальше медлить нельзя; надо кончать со стариком и вступать в полные права хозяина.

А Петухов остался визитом зятя очень доволен, и тревожная наболевшая душа его почувствовала некоторое облегчение.

– Медали имеет, дипломы, ящички целые документов. Очевидно, человек работал, а коли работал, значит, недурной человек; может, и вправду, не сумел с женой поладить, а потом сойдутся, сживутся, счастливы будут. Господи, если бы это устроилось! Не радость ведь и жене с мужем врозь жить. Я со своей женой

тридцать один год прожил, не зная, как и ссориться! Царство ей небесное, и сейчас жили бы, если бы Господь веку дал! Его святая воля.

Старик расчувствовался, и на его седой реснице заблестела крупная слеза.

– Ганюшка, – обратился он к дочери, – что ж ты молчишь?

– Ничего, папенька.

– Что ты скажешь насчет него?

– А что?

– Есть надежда?

– Нет, папенька.

– Что ты? Отчего. Кажется, он того... Может, он и вправду ничего себе.

– Я не могу жить с ним, папенька!

– Ах, не говори так, дочь моя! Грех великий! Конечно, если нужда заставляет, супруги расходятся, но долг наш испробовать все средства, прежде чем решиться на такой шаг! Вот я пересмотрю все документы его. Может быть, окажется, что он и недурной человек. Тебя он любит. Если бы не любил, не стал и бить. Только любя бьют, дочь моя. Не зверь же он. Оно, конечно, больше я не буду тебя неволить. Нет, нет, Господь с тобой, делай,

как знаешь, живи у меня. А все-таки хорошо было бы с мужем жить, по закону, как церковь велит. Худой мир лучше доброй ссоры, говорили старики.

Ганя молчала, но по лицу ее текли слезы. Хотела она расстегнуть ворот и показать отцу следы «любви мужа», хотела рассказать про все, все, но язык не шевелился. И огорчать старика не хотелось, и страшно за мужа было.

«Подождать надо... Дознание идет, говорил Степанов, опять с Павловым в Орле. Не долго уж осталось... А хороший этот Павлов. Такие добрые, ласковые глаза. И как он нежно говорил с ней, когда она вместе со Степановым посетила его келью. Он душу готов был отдать за нее. Второй раз в Орел поехал. И за что он так добр с ней?! Чем она отблагодарит его?!»

– Что ты думаешь? – перебил отец ее мысли.

– Подождем, папенька, увидим. Божья воля...

– Подождем, доченька, подождем. Мне кажется, он не такой дурной человек, как вы-

глядит. Бывают такие натуры, что не скоро поймешь их. Если бы ты видела, как он на коленях молил меня помирить вас. Говорит, сам плакал, когда ударил тебя, думал силой любить заставить. Да, в жизни случается, что иногда вот так одно слово, один поступок навсегда портит отношения людей.

– Тут не слово, не поступок, папенька, а вся жизнь. Я верно скоро умерла бы, если бы вы меня не взяли...

– Да, Ганя, умирать буду – не забуду этой страшной минуты, когда я тебя увидел после моей болезни. Боже, боже, за что ты так карашь меня! Думал прожить уже век свой, хотел спокойно глаза закрыть и вдруг... Точно сон какой страшный... Ты теперь совсем не та. Очень поправилась... А может... может, привык уж я... Поди, дитя мое, на грудь ко мне.

Старик обнял дочь – и они замерли. А из дому выходил в ту минуту Куликов с одним из рабочих, которого он решил купить. Зять злобно посмотрел на окна кабинета и прошептал:

– Скоро, скоро, старый черт, ты узнаешь

меня! Не долго покуражишься!..

16

Разрытый холм

Четыре землекопа дружно снимали один пласт земли за другим, и холм быстро исчезал, сравниваясь с поверхностью крутого берега Волги. Но во время работ к группе наблюдавших за работами подошел господин в цилиндре.

– Не могу ли я видеть господина прокурора, – обратился он ко всем.

– Я прокурор, что вам угодно, – ответил высокий брюнет и выделился из группы.

– Я чиновник петербургской сыскной полиции, – тихо проговорил он, предъявляя открытый лист. – Я командирован в ваше распоряжение по делу Коркиной об убийстве Смужева.

– Ах, прекрасно, мы как раз только вот начали раскопки места, где предположено, что зарыт труп убитого. Пожалуйста, прошу вас принять участие в дознании, это очень полезно для нас; дело какое-то темное, загадочное

и поднято самую Коркиною. Вот она, посмотрите, как убивается.

Елена Никитишна, бледная, дрожащая, не отрывала глаз от заступов землекопов и ничего окружающего не видела и не слышала. Она гордо выпрямилась, и суровое выражение не сходило с ее лица. Можно было принять ее скорее за грозного мстителя, чем за обвиняемую.

– Она арестована? – спросил сыщик на ухо у прокурора.

– Пока да, но если мы ничего не найдем здесь, то я полагаю освободить ее и прекратить дело. У нас кроме ее заявления нет решительно никаких данных.

– Она действительно имеет ненормальный вид. Может быть, все дело есть плод ее болезненной фантазии.

– Я того же мнения. Смотрите, землекопы работают часа полтора и ничего, кроме девственных пластов земли. Ясно, что эту землю никто никогда не копал.

Чудное утро, при полном затишье, на обрыве широкой привольной Волги представляло неподражаемую, живописную картину.

Только равномерные удары заступов нарушали тишину. Но у всех присутствующих было тяжелое чувство на душе, как бывает на похоронах или на пепелище, на развалинах, после пожара или иной катастрофы. Никто не замечал ни ярких лучей весеннего солнышка, игравших и переливавшихся цветами радуги в быстроходной разлившейся поверхности ма-тушки Волги, ни причудливых звонких трелей малиновки, свившей себе гнездо на одной из березок холма и тревожившейся поднятым переполохом с заступами. Дивная перспектива зазеленевших полей, расстилавшихся за Волгой на необозримые пространства, никого не привлекала. Если бы малиновка могла говорить, то она наверняка послала бы горькие упреки злому человеку, который не замечает всей благодати Божией, не наслаждается ниспосланными щедрыми дарами природы и, вместо благодарности Творцу, занимается какими-то раскопками, мучает друг друга и заставляет страдать всех, не исключая и перетрусившей малиновки. О, какой злой, гадкий человек!

Между тем землекопы остановились. Верх-

ние слои были сняты, и копать сделалось труднее.

– Позвольте отдохнуть полчаса, – взмолились они.

– Отдохните, отдохните.

Елена Никитишна испуганно подбежала к прокурору.

– Вы прекратили раскопки?

– Нет, только перерыв для отдыха.

– Ах, я испугалась! Ради бога не прекращайте. Если мы не найдем здесь, то придется начать с той стороны холма. Чем ближе к цели, тем больше я уверена, что мы непременно найдем его.

Она подошла к священнику.

– Батюшка, если мы найдем труп, его можно будет похоронить со всеми почестями? Можно отпеть, отслужить панихиду?

– Если не встретится препятствий со стороны гражданских властей, конечно, можно.

– Умоляю вас, примите все это на себя! У меня здесь в банке приготовлено 4000. Вот перевод. Пожалуйста, получите и расходуйте по вашему усмотрению, только чтобы все, все было сделано.

– Да постоит, еще может быть ничего не найдут!

– О! Нет, нет, я чувствую, я хорошо знаю! Найдем непременно! Батюшка, если меня сошлют в каторгу, в рудники, я могу тогда получить прощение от Бога, могу примириться с церковью?

– Вы, что ли, убили своего мужа?

– Хуже. Я предала его в руки наемных убийц, чтобы стать свободной и выйти замуж за своего любовника!

Пастырь сделал шаг назад от Коркиной и осмотрел ее с головы до ног.

– И вы теперь принесли повинную?

– Да, я бросила дом, мужа, все, все и умоляла судей сослать меня в каторгу, лишь бы смерть убитого была отомщена! Мне нужно примирение с совестью, прощение мертвого, свобода души! Здесь на земле мне ничего, ничего не надо! Скажите, батюшка, неужели мне нет прощения, неужели я проклята небом и осуждена на вечное отлучение от Воскресшего Христа Спасителя?

– Господь не отталкивает кающихся грешников, если покаяние их искренно и если они

покончили свои счета с земным правосудием. Нет такого преступника, который, при искреннем раскаянии и твердом намерении загладить преступление не мог бы получить прощения от Бога.

– Батюшка, помогите мне, – простонала Елена Никитишна, схватив руку священника и покрывая ее поцелуями.

– Посмотрите, как она, бедная, мучается, – показал прокурор сыщику на Елену Никитишну.

– Да, она, очевидно, ненормальна.

Прокурор улыбнулся.

– В наш практический век подобные угрызения совести, как и вообще душевные стремления ко всему отвлеченному, принято считать умственным расстройством.

– Позвольте, да кто же в полном уме и твердой памяти поступит так, как Коркина?! Бросить дом, мужа, богатство, насильно проситься в тюрьму, каторгу?!

– Но я право не знаю, что делать с Коркиной, если мы не найдем трупа? Она, пожалуй, начнет просить весь берег перерыть!

– Пусть сама, за свой счет наймет землеко-

пов и роет!

– У вас в Петербурге никаких данных и сведений по этому делу нет?

– Есть. Но только очень сомнительные. У нас заподозрили в одном богатом купце самозванца и именно бродягу под кличкой Макарка-душегуб. А Коркина на следствии показала, что ее любовник вел переговоры об убийстве мужа тоже с Макаркою-душегубом. Может быть, конечно, все это ерунда, ошибка, но...

– Знаете ли, что Макарка-душегуб известен и у нас, помимо дела Коркиной! Он сидел у нас в остроге за ограбление одного помещика, с вооруженными товарищами, но бежал, подкопавшись под дом острога. Это разбойник, которого знают на Волге и почти везде! Если только труп Смулева будет найден, то не подлежит сомнению, что это одна из жертв Макарки!

– В самом деле? Неужели же такой разбойник может благополучно преобразиться в богатого купца и жить в столице?! Да еще как жить! Он женился на дочери заводчика и взял около ста тысяч приданого!

– Что же тут удивительного? Мало ли самозванцев, скрывающихся под чужими паспортами! И заметьте – их обнаруживают только случайно! Оно и понятно – скрывающиеся под подложными паспортами пользуются всеми правами мирных граждан, которых никто не беспокоит и не проверяет! Живи, пока Бог смерти не пошлет!

– Однако, ребята, – обратился прокурор к землекопам, – пора начинать!

Опять застучали заступы, и все сосредоточенно устремили взоры на холм.

– Что мы, дело делаем или дурачимся? – невольно спрашивал себя каждый присутствовавший, кроме Коркиной. Последняя имела такой трагический вид, который сам по себе исключал всякую возможность предположить шутку.

Томительно шло время. Все стояли, потому что сидеть было негде, и все внимательно смотрели, хотя кроме свежей пластовой земли ничего не видели. Все, начиная с прокурора, теряли уже терпение и готовы были, если не прекратить совсем, то отложить раскопки до другого раза.

Вдруг землекопы остановились и, сняв шапки, набожно перекрестились. Коркина дико вскрикнула и бросилась к яме. Там, на глубине аршина, обнажилась нога, обутая в ботинок.

– Он, он, – дико кричала Елена Никитишна, – скорее, скорее. Господи, помоги!

Она простерла вперед руки, уставила обезумевшие глаза в кончик носка отрытого ботинка и вся тряслась. Землекопы осторожно стали отбрасывать землю с трупа. Постепенно обнаружилась другая нога, бедра, живот, грудь, руки и, наконец, череп. Труп лежал на спине и представлял совершенно высохший скелет, одетый в черный сюртук и полосатые брюки.

Коркина не могла оторваться от этих страшных дыр вместо глаз, носа и рта. Она дрожала и быстро меняла краски в лице: то бледнела, как полотно, то краснела, как кумач. Воспаленные губы потрескались, и из них сочилась кровь. Она была близка к помешательству. Между тем рабочие принесли носилки и стали бережно подымать труп. Благодаря костюму, скелет не рассыпался.

– Бедный, несчастный, – шептала Коркина, следя, как рабочие перекладывали бранные останки неповинной жертвы.

– Батюшка, – упала она в ноги священнику, – благословите кости, отслужите хоть панихиду, умоляю вас!

Прокурор кивнул головой в знак согласия. Священник достал епитрахиль, облачился и, сделав широкий крест, приблизился к носилкам.

Коркина припала к земле и не поднимала головы. По вздрагиванию тела можно было заключить, что она рыдала. Мужички землекопы опустились на колени, когда священник произнес:

– И сотвори ему вечную память!

– Вечная память, – перекрестились присутствующие.

Рабочие подняли носилки и пошли.

– В анатомический кабинет тюремной больницы, – приказал прокурор.

Елена Никитишна поднялась с земли. Ее поседевшие раньше волосы сделались белыми как лунь. Глаза ввалились, и вокруг них образовались широкие, черные круги. За эту

панихиду она изменилась так, что видевшие ее полчаса тому назад не узнали бы ее теперь!

– Боже, как она сразу переменялась, – прошептал прокурор священнику.

– Да, велики ее душевные страдания! И знаете, чем строже вы с ней поступите, тем легче ей будет.

– Теперь ее придется арестовать по всем строгостям формального следствия. Убийство теперь не подлежит сомнению! Покойный не мог сам себя закопать, хотя следов смертельных ран мы, разумеется, не увидим.

– Вы позвольте мне преподать несчастной женщине духовное утешение. Это укрепит ее силы.

– Пожалуйста, пожалуйста, вам всегда открыт к ней доступ. Я посажу ее в одиночную камеру, и вы можете, когда угодно, ее навестить без моего даже ведома. Не поверите ли, мне самому очень жаль ее, но теперь...

– Да, теперь, – подошел сыщик, – Коркиной трудно будет вывернуться! Она несомненная сообщница Макарки, который только помогал ей! Ссылки на покойного любовника не

спасут голубушку! Никто не поверит в ее незнание! Недаром она так убивается! Значит, совесть не чиста.

– Положим, это зависит от того, у кого какая совесть; один может убиваться, причинив простую обиду ближнему, а другой десять человек задушит и не убивается! Лично я глубоко верю Коркиной и готов сейчас сделать из нее простую свидетельницу, но, как представитель обвинения, я этого не могу; пусть решают присяжные заседатели.

– Я буду сейчас телеграфировать в Петербург начальнику сыскной полиции о найденном трупе. Позвольте прибавить ваши сведения о Макарке-душегубе?

– Не только разрешаю, но прошу! Нам необходимо вытребовать Макарку!

– Если подозрения наши о купце Куликове подтвердятся.

– Разумеется! Неужели же я на свой страх могу арестовать купца Куликова, когда мне нужен бродяга Макарка! Это уж ваше дело!

– То-то, ваше! И наш начальник не хочет рисковать обжечься! Не так-то легко сорвать маску с ловкого мошенника!

– Я сегодня же официально сообщу вашему начальнику о розыске Макарки-душегуба. А как и где он его будет разыскивать, до меня не касается.

Процессия медленно двигалась по улицам Саратова к тюрьме. Весь город уже знал историю, и все от мала до велика встречали процессию. Седая Коркина шла с открытой головой и выпрямившись. Ветерок растрепал ее белые волосы. Она точно наслаждалась своим позором, зная, что все смотрят на нее, как на убийцу.

– Бейте меня, плюйте на меня, православные, – закричала она толпе.

Новые препятствия

Павлов горел нетерпением скорее домчать-ся до Орла и не давал своему спутнику Иванову отдыха ни в Петербурге, ни в Москве. С почтовым поездом они выехали по Николаевской дороге и в Москве прямо пересели на курьерский поезд. Иванов хотел ехать с вечерним поездом, чтобы воспользоваться случаем посмотреть на Москву, но Павлов и слышать не хотел.

– Нет, нет, ни за что! Едем сейчас, в Орле отдохнем!

Однако в Орле Павлов отослал с посыльным багаж в ту гостиницу, где останавливался прошлый раз, и потащил Иванова прямо с вокзала в Зеленину улицу, где жил настоящий Куликов. Они скорее ворвались, чем вошли в смрадную квартиру пропойцы-мещанина, но... здесь их ожидал роковой удар.

– Хозяин загулял, – сообщила жена Куликова.

– Как загулял? Где он?!

– А кто ж его знает.

– Его и в Орле совсем нет?

– Нету... Поехал в Курск на заработки, но дорогою загулял и неизвестно, где находится!

Павлов переглянулся с Ивановым.

– Что же делать? – с мучительной тоской во взгляде спросил Павлов.

– Право, не знаю. Целый скандал. Я не имею полномочий жить здесь и ждать месяцы его возвращения.

– Придется ехать в Курск.

– Зачем? Ведь он не дошел до Курска. Скорее вернуться обратно придется.

– Бога ради, умоляю вас!..

– Но будьте же благоразумны, господин Павлов, вы видите, что ничего нельзя сделать.

– Скажите, сколько дней вы можете пробыть здесь?

– Дня три-четыре, самое большее.

– Хорошо. Я буду разыскивать его один, и, если в четыре дня ничего не сделаю, мы поедем обратно. Но четыре дня вы обещаете ждать?

– Извольте.

Они пошли в мещанскую управу. Павлов был здесь, как старый знакомый, и торжественно сообщил делопроизводителю, что он не один, а с чиновником петербургской сыскной полиции и, следовательно, имеет право требовать официально разные справки.

– Поздравляю вас, – ответил делопроизводитель, просматривая открытый лист Иванова, – теперь мы к вашим услугам и готовы исполнить всяческие требования.

Павлов рассказал об исчезновении Куликова настоящего.

– И представьте, семья не имеет о нем никаких сведений! Мы не знаем, где его и искать!

– А на что, собственно, он вам нужен.

– Для удостоверения, действительно ли он продал свой паспорт нашему Куликову, бывшему в этапе под кличкою Макарка-душегуб. Это самый важный свидетель.

– Действительно, это важно, но самозванство Куликова петербургского вы можете удостоверить подложностью его паспорта. Паспорты мы выдаем на годичный срок. Срок проданного паспорта истек три года тому на-

зад. Других паспортов мы в Петербург Куликову, разумеется, не высылали. Значит, он живет или по подложному паспорту, или просроченному, с переправленными датами и подскобленными числами.

– В таком случае, вы дайте нам подробную справку. Нет ли у вас еще Куликовых в составе мещан?

– Есть, родной его брат, очень почтенный здешний купец, но тот ни при чем здесь! Он живет безвыездно в Орле, на Монастырской улице, за Монастырской речкой. У него мельница.

– И больше такой фамилии никто не носит?

– Вот не угодно ли алфавит посмотреть! Решительно никого!

– Так вы будьте добры, скрепите все это официально бумагою. Пропишите, какой паспорт и за каким номером был выдан Куликову Ивану...

– Который он продал в этапе?

– Да.

– Извольте. Завтра утром все будет готово.

– Это весьма ценные документы, – произ-

нес Павлов. – С такими данными можно арестовать зятя Петухова и без предъявления настоящего Куликова.

– Арестовать – да, – возразил Иванов. – Но что же дальше? Он упрется – «знать ничего не знаю», и с ним ничего не поделаешь! А когда Куликов признает в нем Макарку, назовет других арестантов, бывших в этапе, которые, в свою очередь, признают душегуба, тогда дело в шляпе и никаких разговоров больше не может быть.

– О, бесспорно Куликов нам нужен, и во что бы то ни стало я постараюсь его отыскать, но, в крайнем случае, мы вернемся с удостоверениями, которых достаточно для ареста злодея.

– Смотрите, как бы наш начальник не отказался арестовать зятя Петухова на основании этих справок, ведь здешняя управа может ошибиться или войти в заблуждение, а Густерин не захочет рисковать впутываться в историю... Он не церемонится с разными бродяжками, но когда дело касается людей с положением, он очень осторожен. Это его правило: избегать скандала, не навязывать себе

лишних дел!

Павлов возмутился:

– Неужели же на злодеев нет ни суда, ни расправы?!

– Знаете пословицу: не пойман – не вор!

– Еще бы Макарка-душегуб да не умел бы обставить тонко свое дело!

Павлов вышел из управы и простился с Ивановым.

– Вы получите завтра все нужные справки из управы, а я сейчас уеду вместе с женой Куликова на розыски. Я не теряю надежды его найти, потому что он не имеет надобности скрываться. Вероятно, где-нибудь он оставил след, и мы найдем его.

Они простились. Павлов скорым шагом пошел на Зеленину улицу.

Странное чувство он теперь испытывал. Ганя сделалась ему почему-то очень дорога, и судьба ее занимала его больше своей собственной. Он понимал, что это не простое чувство христианского милосердия, но объяснить его не умел. В его практике начетника встречались не менее трагические положения разных жертв, но он никогда так не увле-

кался. Например, известный их богач филипповец Смирдин заточил в монастыре в одиночную келью свою молодую красавицу жену только за то, что она подала руку, здороваясь с православным. Муж увидел это и для того, чтобы очистить жену от скверны, потребовал двадцатилетнего заточения ее в одиночную монастырскую келью. Ни мольбы, ни слезы молодой женщины не тронули жестокого мужа, и Смирдина была водворена в глухую келью под надзор трех старух-богомолок. Сколько мук и страданий перенесла жертва сурового старика, вошедшая в келью молодой красавицей и вышедшая старухой! В судьбе Смирдиной многие, в том числе и он, принимали участие, хлопотали за нее, но все это было не то, что теперь! Ему тогда и в голову не приходило настаивать во что бы то ни стало на освобождении страдальицы. Он поминал беднягу в своих молитвах, но рассуждал так: «Божья воля! Видно, судьба ее такова! Больно уж она хороша, соблазну много, погибла бы, несчастная, от соблазнов! Господь пожалел, видно, ее и уберег. Научится молиться, углубится в себя и сохранит чистоту души. Часто

мы ищем счастья и находим погибель, потому что без руки Всемогущего мы во тьме блуждаем! Может быть, и Смирдина шла на погибель, но милосердный Вседержитель уберег ее! Так нам ли, грешным, противиться воле Божией, явленной через законного мужа ее?»

Так рассуждал Павлов, и с ним соглашались другие, хотя недавно, когда минул срок двадцатилетнего заточения и бывшая красавица вышла на улицу, знакомые ее буквально рыдали, глядя на одичавшую, сморщенную старуху, просившуюся обратно в свою келью. А между тем Смирдину прихожане разрешили еще 18 лет тому назад жениться на другой, и, когда бывшая его жена вышла, он объявил, что знать ее не хочет!

– Она согрешила, – поучали старцы согласия, – и понесла заслуженное наказание! Господь уготовал ее для Себя, и велика награда ее на небесах!

Такого же мнения был и Павлов. Почему же теперь он с таким волнением хлопочет освободить дочь Петухова? Вероятно, и Ганя страдает себе во благо, души во исцеление и

уготавливает царствие небесное, кое нетленно и вечно есть. О чем же он хлопочет?

Но он не хочет даже и думать в этом направлении. Он во что бы то ни стало хочет вырвать Ганю из рук злодея, сделать свободной и потом взять ее за руки, сесть рядом и говорить, говорить... О чем говорить – ему безразлично, лишь бы быть близко к ней, слышать ее голос. И так хорошо ему тогда будет, что ради этого он готов теперь на какие угодно подвиги! Готов даже жизнью пожертвовать.

«Скорее, скорее, – говорил он самому себе и почти бежал на Зеленину улицу. – Неужели и теперь мне суждено будет опоздать, как я опоздал в прошлый раз, когда рвался, метался на поезде, проклинал задержки и дрожал при мысли, что опоздаю».

И страшно ему становилось; он ускорял шаги, обдумывал планы поисков.

«Куда, в самом деле, он бросится искать? Разве можно найти на пространстве от Орла до Курска забулдыгу-пьяницу, который застрял где-нибудь в попутном кабаке или валяется

в каком-нибудь углу?! Не прав ли Иванов, который говорит, что подобные поиски бесполезны?! Не вернуться ли?»

И ужас охватывал его с такой силой, что заставлял дрожать.

– Куда вернуться? Назад в Петербург, одному? Отказаться навсегда от мысли освободить Ганю?! Нет, нет, лучше умереть в поисках, пожертвовать своей жизнью! Пусть хоть Ганя знает, что он умер для нее, ради нее.

Павлов застал старуху Куликову со всеми детьми. Они второй день не имели ничего во рту. Краюха хлеба кончилась третьего дня. Работы не было, продать нечего. Впрочем, это мало их сокрушало. Они уже привыкли голодать по нескольку дней и знали, что все-таки умереть с голоду им не дадут, а остальное – не беда.

– Слушай, тетка, – обратился к ней Павлов, – вот тебе пять рублей, купи все, что нужно для детей, и пойдем вместе искать твоего мужа.

Куликова удивленно смотрела на барина. Ей казалось, что он шутит, смеется над их нищетой, и она не решалась протянуть руку,

чтобы принять даваемую пятирублевку.

– Слышишь? Бери, что же ты стоишь?

– Спасибо, родименький, только никак я в толк не возьму: на что наш Иван понадобился вам? Ведь он ничего не умеет, не знает и сам-то пьяница горький, прости Господи!

– После узнаешь, а теперь собирайся скорее, мне время терять нельзя, торопиться надо! Не бойся, худого ничего не будет!

– Да какое худое, коли сразу такие деньги даешь! Я такой бумажки, как замужем, не видала! Спасибо, кормилец наш!

Старуха засуетилась, побежала за покупками, а Павлов вышел из смрадной конуры и на дворе стал ожидать возвращения Куликовой.

Надежды его оживились. Он опасался какого-либо противодействия со стороны семьи Куликова, но встретил, наоборот, полное сочувствие и доверие. Вопрос весь только, удастся ли им напасть на след пропойцы.

День клонился к вечеру, сделалось прохладно, начал моросить дождь, погода нахмурилась.

– Скорее, скорее! – крикнул он, увидев приближавшуюся с покупками Куликову.

– Сейчас, сейчас, родимый, – отозвалась она и засемила ногами. Через пять минут старуха накинула платок и вышла.

– Куда же, кормилец, мы пойдем с тобой? – спросила она.

– А я это у тебя хотел спросить, – произнес удивленно Павлов и задумался. – В самом деле, куда же мы?

А на дворе непогода усилилась. Становилось все холоднее, дождь полил как из ведра.

– Не переждать ли? – нерешительно проговорила Куликова, боявшаяся, как бы барин не потребовал у нее обратно денег.

– Нельзя, нельзя, скорее нужно!.. У нас мало времени. Так куда же мы?

– Куда прикажете...

– Прикажете, – передразнил Павлов, – что я могу приказать, когда я ничего не знаю и не имею понятия, где искать твоего пьяницу...

– Да неужто вы и впрямь его искать хотите? Не шутите?

– Тьфу, – потерял терпение Павлов, – так зачем же я взял тебя? Гулять, что ли, мы с тобой вышли в такую погоду!..

– Не сердись, родименький, я ведь ничего

не понимаю... Я так, по глупости!.. Ищи, благодетель наш, ищи, коли волюшка твоя такая. Господское дело нам не понять!..

– Ищи! Так я тебя и спрашиваю, где его искать?!

– А я-то почему, родименький, знаю, нешто он мне сказывал; я ведь по таким местам отродясь не хаживала!..

«Господи, – простонал Павлов, – да как же я сговорюсь с этой дурой! Ведь это несчастье! Мы не понимаем друг друга!»

– Слушай, – обратился он опять к ней, – слушай внимательно. Я тебя взял для того, чтобы ты показала мне разные места, деревни, села, кабаки, где может быть твой муж, где он бывал раньше, где другие такие же, как он, бывают! Понимаешь? Я знаю, что ты прямо не можешь указать, где он, ты сама не знаешь, он тебе не сказал... Но ты знаешь, что в Москву или Петербург он не уехал..

– Знаю, знаю, родимый, нет, не уехал...

– Постой! Ну, так ты говори мне, где он может быть и как ближе попасть туда! Поняла?

– Поняла, родимый...

– Так куда же мы сейчас отправимся?..

– А куда волюшка твоя, кормилец наш, я готова, куда прикажешь...

– Нет, это всякое терпение лопнет!.. Дура, дура... – чуть не заплакал он.

– Дура, батюшка, дура, вестимо дело, дура, наше дело бабье, где же нам ума набраться...

А дождь совершенно смочил их. Начинала пробираться дрожь. Павлов стоял, разведя руки...

18

Таинственная шкатулка

Куликов вошел в свою квартиру. За ним шел по пятам тощий субъект в картузе и блузе. Иван Степанович не был в своем уединенном домике больше двух недель. Квартира была совершенно запущена и потеряла жилой вид. Но Куликов даже не замечал этого. Все это пустяки, которые не могли его интересовать, особенно теперь, после таких важных событий. Он видел, что на карту приходится ставить все! Пан или пропал. Сойтись с тестем он не мог ни в каком случае уже потому, что тот потребовал документы и дан-

ные о его прошлом. Где же он возьмет какие-то дипломы и медали, когда в жизни своей ему вовсе не приходилось работать ради медалей или дипломов! Раскрывать тестю свое настоящее прошлое он не имел ни малейшего желания. Значит, сойтись по-прежнему нельзя. Остается: или уходите самому, или... удалить его... Как удалить, вопрос второстепенный, но удалить, во всяком случае, в тот лучший из миров, откуда нет возврата.

Куликов бросил на стол свою шляпу, сел на кресло около преддиванного стола и рукой пригласил сесть своего спутника. Это был один из рабочих завода Петухова, принятый на службу самим Куликовым, некто Петр Ильин. Сухой, желтый, с узкими косыми глазами, он имел жалкий вид бродяги и производил отталкивающее впечатление. Но Иван Степанович был, очевидно, другого мнения о своем госте; он посмотрел на него и ласково заговорил. Впрочем, «ласка» на лице Куликова выражалась одними искривлениями линии рта и глаз, самое лицо оставалось таким же нагло-циничным и с тем же выражением жестокости.

– Петр, ты ведь приятель с кухаркой Петухова?

– Приятель, – осклабился тот и стал мять в руках картуз.

– Ты хочешь заработать триста рублей?

– Кто же, Иван Степанович, не хочет... Я человек, сами изволите знать, бедный... Очень даже хочу!..

– Отлично, так слушай... Мой тесть все хвораёт... По старой вере он ни за что не принимает никаких лекарств. А мне необходимо дать ему лекарство, чтобы он поправился... Понимаешь? Но только дать надо так, чтобы никто, никто этого не знал...

– Понимаем-с!

– Слушай дальше. Старик пьёт после обеда квас. Кроме его, никто квасу не пьёт. Надо в бутылку квасу, которую ему понесут после обеда, положить порошок, который я дам... Но как положить? Бутылку откупоривают в столовой... Значит, ты положить не можешь, так мы устроим вот как: в тот день, когда нужно будет дать порошок, я сам приготавливаю бутылку квасу, передам ее тебе, и ты должен на кухне переменить бутылку, то есть подсу-

нуть ту, которую я тебе дам... Бутылки будут совершенно одинаковые, только на горлышке я сделаю метку: повяжу красную нитку... Метку только мы с тобой будем знать... Сумеешь ты переменить бутылки, получишь триста рублей; не сумеешь – мы придумаем другой способ...

– Сумею, Иван Степанович, чего тут не сумею! Пустяки! Премного вам благодарен!..

– Это еще не все. Мне нужно, чтобы ты через кухарку следил за всем, что делается в доме тестя, и сейчас же мне передавал... На заводе тоже присматривайся и прислушивайся и сейчас беги ко мне, как только узнаешь что-нибудь новое... К вам Степанова опять назначают управляющим...

– Слышали, Иван Степанович, у нас поговаривали, что вы совсем покинете дом тестя... Не поладили с супругой видно...

– Пустое все говорят... Я хлопочу теперь только, чтобы тесть поправился хорошенько, и поеду потом с женой за границу.

– Т-а-ак, вишь какой вы добрый человек. Тесть обидел вас, от завода отстранил, а вы заботитесь о здравии его, бережете...

– Нельзя старика не уважить! Надо потешить! Так, значит, ты понимаешь мое поручение и исполнишь его в точности?

– Беспременно...

– Пуще всего смотри, не уходит ли куда жена, к ней не приходит ли кто. Постарайся узнавать, что они между собой говорят, что задумывают.

– Понимаем-с, понимаем.

– Если меня не будет дома, я тебе буду оставлять адрес, где я. Сейчас беги и дай знать. Вот тебе пока на расходы.

Куликов дал ему пачку мелких кредиток:

– Премного вами благодарны, Иван Степанович. Заслужу.

– Ты, разумеется, понимаешь, что все, что мы сейчас говорили, должно с нами помереть! Не вздумай виду подать кухарке или кому из товарищей!

– Что вы, что вы, Иван Степанович, не маленький ведь я.

– Хорошо. Ну, отправляйся. Сегодня я весь день буду дома, а вечером уеду в «салошку». Если что, ты туда прибеги, я накажу, чтобы тебя прямо провели ко мне в кабинет. Ты зна-

ешь, где «салошка»?

– Знаю-с. Мигом явлюсь!

– Ну, ладно, ступай.

Гость низко поклонился, и Куликов сам проводил его и запер дверь.

Он остался один. На душе у него было легко и радостно. Наконец-то, дело идет на лад, и скоро, скоро он будет иметь давно уже неиспытанное удовольствие. Он налюбуется на предсмертные корчи старика, а после... после заставит свою милую женушку прыгать под плетью, как резиновый мячик от удара ладони. Ха-ха-ха! Довольно уж ей благодушеествовать с папенькой. Пора и меня потешить! Черт знает, как я извелся! Заскучал я совсем без своей Гани! Просто хоть пса доставай для плети, ха-ха-ха!

Он прошелся по квартире.

– Надо, однако, дела привести несколько в порядок, – произнес он громко. – Хотя я не сомневаюсь нисколько в успехе, однако... Осторожность не мешает.

Он вошел в кухню, отодвинул большой стол и внимательно осмотрел плиты каменного пола. Посторонний человек не смог бы

ничего увидеть или заметить на этом старом обыкновенном каменном полу, но Куликов надавил носком сапога край одной плиты, и она подалась вниз. Тогда он взял рукой приподнявшийся противоположный край плиты и без труда опрокинул ее. Под плитой образовалось пустое пространство. Куликов зажег фонарь, спустил в дыру обыкновенную лестницу, стоявшую в углу кухни, и стал спускаться по ней. На глубине двух – двух с половиной аршин, при слабом мерцании фонаря, можно было разглядеть довольно просторное подземелье, вроде обыкновенного погреба. Затхлая сырость подземелья лишала возможности дышать, но Куликов не ощущал почти никакого неудобства, благодаря привычке или железному воловьему здоровью. Он прошел в самую глубину подземелья и остановился перед большой железной дверью с огромным висячим замком. За дверью все было тихо. Он ощупал замок, брякнул кольцами пробоя и отошел, прошептав:

– Все исправно, в порядке.

Вдоль стен подземелья были расставлены ящики и шкатулки. Куликов достал из како-

го-то отверстия связку ключей и, поставив фонарь посередине, на полу, начал открывать поочередно ящики. Первый ящичек оказался со связкою писем и бумаг. Он поставил его на ступеньку лестницы.

– Надо пересмотреть и сжечь.

Второй ящик вдвое больше. Он весь был набит процентными бумагами и сторублевыми пачками. Небрежно, чуть не с отвращением он пересчитал пачки.

– Однако восемнадцать тысяч уже нет. «Салошка» обходится не дешево. Настя недаром за мной ухаживает.

Он скорчил гримасу брезгливости и отвращения, затем сунул в карманы несколько сторублевых пачек и захлопнул ящик.

– Сегодня на гульбу хватит! Надо будет Настюшу напоить, как следует!

Он перешел к третьему ящику. Там тоже бумаги, письма.

– Их тоже пожечь следует!

И он отставил ящик на лестницу. Следующая шкатулка была набита бриллиантами.

– Вот целое состояние! А на что они? Можно бы Настюшу всю увешать! Рискованно,

еще пойдет, пожалуй, закладывать и попадется! Нет, эти штуки надо за границей сбыть, но как? С кем отправить? Поживем – увидим, а пока пусть лежат. – И он щелкнул замком. Последняя шкатулка была больше остальных. Куликов долго и пристально на нее смотрел.

– Что ж, Надя, – прошептал он, – ты сама виновата! Я предупреждал тебя! Ты не послушалась! Любовь таких людей, как я, не похожа на обыкновенную любовь! Мы любим горячо и страстно, но также горячо и страстно делаемся палачами своих любовниц, если они нас обманывают! Прости! Ты была единственной женщиной, которую я любил в своей жизни! Любил так, как не всякий в состоянии любить! И все-таки я не остановился перед твоими мольбами, когда убедился в измене и коварстве! Пощада не в моих правилах! Щадить я не умею!

Он не открыл ящика и, взяв фонарь, направился к лестнице. Он тщательно уложил плитку на прежнее место и понес шкатулки в кабинет.

– Вот дипломы и медали для моего тещюшки, – рассмеялся он.

Раскрыв ящики, он стал пересматривать бумаги. Целая пачка паспортов. Довольно объемистый сверток писем.

– Это ее письмо. Вот предательское письмо, которое она написала под диктовку полицейского. Коварная! И кого ты думала погубить?! Жестокую получила ты месть, но заслуженную! А зачем я храню эти письма и тот ящик? Почему они дороги мне? Верно, я и до сих пор люблю еще ее. Или не ее, а память о ней. Люблю даже после того, как она заманила меня в полицейскую западню! Несчастливая!

Куликов затопил в кабинете камин и стал бросать в огонь бумагу за бумагой. Первыми полетели паспорта.

– Они мне не нужны более! Торговать ими я не собираюсь. Имя Куликова я сумел сделать почтенным, сумел породнить его с именитым заводчиком. От добра добра не ищут.

За паспортами полетели разные счета, записки. Сверток писем он бережно положил обратно в шкатулку. Затем пошли акции, облигации, банковские билеты.

– Все это именные, и хранить их больше не стоит! Теперь, имея такое состояние налич-

ными да еще наследство Петухова, не имеет смысла рисковать, сбывая именные бумаги.

В двух связках находились красные билеты. Он поспешно швырнул их в огонь.

– Зачем я их-то хранил! Вот ротозей! Этакую улику давно минувших дней. А это что! Ах да, самоотречение Игнатия, прогнанного лакеишки графа Самбери! Теперь оно тоже напрасная улика. Больше он угрожать мне не может и признание его не нужно!

Куликов бросил бумагу в огонь. Это признание Игнатий писал, если помнят читатели, под диктовку Куликова.

– Теперь, кажется, все лишнее уничтожил! Следовало бы уничтожить и тот ящик, и эти письма, но... но не могу! Двенадцать лет я с ними не расстаюсь! Не расстанусь и теперь.

Куликов страшно вздрогнул и побледнел. В прихожей раздался резкий звонок. Он схватил шкатулку с письмами, побежал в кухню и, быстро открыв плиту, бросил шкатулку в подzemелье. Звонок повторился. Иван Степанович побежал в прихожую.

Мщение

Вернемся к Илье Ильичу Коркину, которого в день отправления жены к судебному следователю, как помнят читатели, отвезли в больницу для умалишенных. Несчастный Илья Ильич не мог переварить в своем мозгу всех последних событий. Ему было жаль жену, и в то же время он чувствовал, что Елена Никитишна вдруг сделалась для него чужою, почти врагом, способным и его отравить или придушить, как она придушила первого мужа Онуфрия Смулева. Когда Елену Никитишну посадили в карету и увезли, так что факт совершился и совершился вдруг, неожиданно, Илья Ильич не в состоянии был разобратъся, дать себе отчета, привести мысли в порядок и... и помешался.

Больше полугода просидел он в доме для умалишенных, почти не приходя в сознание. Временами с ним делались припадки умоиступления, и он метался, кричал, повторяя все имя своей жены. Только с наступлением

весны в положении Ильи Ильича произошла перемена. Он совершенно утих, сделался задумчив и мало-помалу начал приходить в себя. Первое время он не помнил ничего из происшедшего. Ему казалось, что он перенес тяжкую болезнь, и он очень удивлялся, что подле него нет жены.

– Где же моя Лена? Позовите мне Лену, – просил он надзирателей.

– Нельзя еще, погодите, – успокаивали его. После Пасхи сознание совершенно вернулось, и Илья Ильич все понял. Целыми днями он тихо плакал и молил окружающих навести справки о положении дела его жены: где она, кончилось ли следствие?

Илья Ильич первое время находился в общем отделении, но потом его перевели в отделение платное, дали отдельную довольно комфортабельную комнату, прекрасный стол, уход и все удобства. Может быть, благодаря перемене обстановки улучшение пошло так быстро, и к лету врачи признали Коркина совершенно выздоровевшим. Велика была его радость, когда ему объявили, что он свободен! Трудно передать то восторженное настро-

ние, которое он испытывал. Эта ужасная зима, проведенная в больнице, казалась ему страшным сном, тяжелым кошмаром, хотя воспоминаний более или менее реальных у него не осталось. Очутившись на свободе, он помчался прежде всего в окружный суд и здесь узнал, что все дело, вместе с самою обвиняемою, отправлено в Саратов, по месту совершения преступления. Тут же он послал экстренную депешу в Саратов. Только телеграфист видел, что вся телеграмма смочена слезами отправителя. Увы, эти слезы нельзя было переслать по телеграфу пострадавшей женщине. А слезы были красноречивее всяких слов! Теперь, когда рассудок вернулся, Илья Ильич понял всю глубину несчастья своей жены, и сердце его сжималось при мысли о том, что она переносит. Из суда Илья Ильич отправился к себе за заставу! Если бы петербургская застава испытала нашествие неприятельского войска или землетрясение, то и тогда Коркин чувствовал бы себя здесь больше «дома»! Заколоченный, заброшенный дом напоминал ему, что когда-то он тут жил, торговал, был весел, счастлив, доволен. Каза-

лось, трудно было быть счастливее его, и вдруг...

Что же произошло? Что?! Ведь в сущности никакого события не обрушилось на его голову, а такие ужасные последствия?! Было или нет на совести жены убийство ее первого мужа, она во всяком случае прожила с ним почти восемь лет и была счастлива. Почему же именно теперь явилось все это?!

Невольно Илья Ильич повернул голову на тот дом, где когда-то помещался «Красный кабачок». Трактира нет, но из подъезда квартиры Куликова кто-то вышел.

– Эй, любезный, – окликнул его Илья Ильич, – кто живет там? У кого ты был?

– Иван Степанович Куликов, – ответил неизвестный.

– Ку-ли-ков, – вздрогнул Илья Ильич, – а дома он теперь?

– Дома.

– Один?

– Да, один.

Неизвестный пошел своей дорогой.

– Дома... Один... Куликов!! Вот, – прошептал Илья Ильич, – истинная причина всех мо-

их несчастий! Вот виновник наших страданий! Злодей! Если бы я мог задушить тебя!

Коркин весь трясся от злобы и не спускал глаз с окон квартиры бывшего содержателя кабачка.

– Что же мне делать с ним? Неужели я не отомщу злодею?! Неужели он останется безнаказанным и не сведет со мной счетов?! Нет, нет, это не возможно! Я потащу его к прокурору, в суд, на виселицу! Он должен ответить!

Капли пота выступили у него на лбу. Руки тряслись.

Около часа стоял он, не отрывая взора от роковых для него окон. Он ждал, сам не зная чего, и никак не мог ответить все на тот же вопрос:

– Что мне с ним делать?

У него зашевелились в памяти какие-то смутные воспоминания.

– Разве я не задушил его?! Мне помнится, что я задавил его, как гадину? Или это был бред больного мозга? Человек сейчас сказал, что он был у него и он жив. Значит, я ошибаюсь! Да ведь мне сказали бы в больнице, если бы, в самом деле, задушил кого-нибудь! Нет,

это были одни мечты. А мечты эти доставили столько радости мне!

– Не задушил, так надо задушить, – решил он вдруг и быстро направился к дому Куликова. У подъезда он с силой дернул звонок. Какой-то шорох – и все стихло. Через минуту он опять дернул. Послышались шаги, и дверь отворилась. Лицом к лицу он очутился со своим врагом.

Куликов сначала сделал шаг назад, но сейчас же оправился и спокойно произнес:

– А, господин Коркин, милости прошу.

Илья Ильич вошел и запер за собою дверь.

– Наконец-то, – произнес он, – я встретил вас, теперь мы с вами объяснимся!..

Совершенно спокойный и хладнокровный Куликов отвечал:

– С полным удовольствием, я весь к вашим услугам. Милости прошу. Садитесь.

Илья Ильич не слышал ни ответа, ни приглашения.

– Говори, злодей, что ты сделал с моей женой!

– Я?! – протянул удивленный Куликов. – я... простите, господин Коркин, я не понимаю,

что вы говорите!..

– Понимаешь, негодяй, – подступил к нему гость, – понимаешь! Лучше меня понимаешь! Говори, зачем ты требовал мою жену к себе? Зачем? Как ты ее запугивал?

– Господин Коркин, прошу вас успокоиться, я ничего так не пойму!

– Поймешь! Что ты знаешь об убийстве Смулева? Кто убил его? Ты?! Ты, разбойник...

Куликов, в свою очередь, сжал кулаки, глаза налились кровью.

– Молчать, – заговорил он, – ни слова больше; я не хочу вовсе разговаривать с тобой! Вон из моей квартиры!

– Что?! Ты смеешь гнать меня?! Врешь! Я не уйду, пока ты не дашь мне ответа.

– Ответ мой, что ты сумасшедший и твое место...

– Врешь, Макарка-душегуб, я не сумасшедший! Я задушу тебя сейчас же, если ты не скажешь мне все!

И Коркин бросился на него. Железными пальцами он стиснул горло Куликова, повалил на пол и придавил коленом. Несмотря на огромную силу, Куликов оказался побежден-

ным и не мог шевельнуть ни одним членом. Он пытался достать из кармана шведский нож, с которым не разлучался, но не в состоянии был его ощупать. Лицо его посинело, он задышался и близок был к потере сознания. Сделав отчаянное усилие, он освободил горло, но Коркин пальцами правой руки опять схватил его. Завязалась борьба. Лежавший Куликов и насевший на него Коркин были не в одинаковых условиях. При обыкновенных условиях Куликов без труда справился бы с гостем, но он не ожидал такого быстрого нападения, потерял позицию, а Коркин, в экстазе, обладал удвоенной силой.

– Говори, говори, душегуб! – шипел над выбивавшимся из сил его победитель. – Говори, а то сдохнешь как собака.

– Скажу, все скажу, – простонал Куликов, прятая горло от пальцев врага.

– Говори!..

– Я убил Смулева, ваша жена неповинна.

– Ты?!. Значит, ты Макарка-душегуб?!

– Да, я...

– Докажи! Докажи, а то после ты скажешь, что соврал. Доказывай...

– Я дам сейчас вещи, ограбленные у Смуглева; у меня его часы и портсигар.

– Где они?

– Там, у меня в кабинете.

– Давай!..

– Так пустите меня, вы задавили меня!

– Врешь! Обманешь! Не пущу... Говори, зачем ты требовал к себе мою жену?

– Хотел денег получить. Отступного за молчание. Жена ваша знала об убийстве.

– Знала? А ты чего от нее хотел, кроме денег? Отчего прямо не просил денег, а приглашал к себе? Говори все, все...

– Переговорить надо было, условиться.

– Да ты знаешь, что она жена моя, и приглашаешь к себе?! Как ты смел, душегуб проклятый? А? Говори, как смел?

Куликов сделал еще одно усилие и как кошка выскользнул из-под Коркина. Прыжок – и он был на свободе. Илья Ильич опять бросился на него, но Куликов увернулся и поднял крик.

– Спасите, караул!

Он хотел пробраться к окну, чтобы выбить стекло и позвать на помощь, но Коркин за-

гнал его в угол. Куликов выхватил из кармана нож.

– Не подходи, зарежу!

– Давай часы и портсигар Смулева. Где они?

– Караул! – продолжал реветь Куликов. Как опытный человек, Куликов не решался пускать в дело нож: во-первых, он мог только ранить обезумевшего Коркина и тогда тот задушил бы его, а во-вторых, если бы он и убил дурака, то навязал бы себе только непонятное дело. Между тем Илья Ильич с удивительной силой и ловкостью сдвинул от стены шкаф и тащил его на Куликова. Этим шкафом он хотел придавить злодея. Положение становилось еще более опасным. Куликов кричал громче о помощи, но никто не показывался.

– Так околей, если не отдаешь улики, – произнес Илья Ильич, задвигая вход шкафом.

– Отдам, отдам, – взмолился тот.

– Брось нож, – приказал Илья Ильич. Куликов повиновался.

– Теперь повернись ко мне спиной.

Иван Степанович искоса следил за неприятелем и с ужасом видел, что тот готовит из ве-

ревки петлю. Холодный пот выступил у него на лбу. А Коркин сделал крепкую петлю и, набросив ему на голову, слегка затянул.

– Вот так, теперь пойдем искать твои улики. Если ты крикнешь или захочешь обмануть меня, я сейчас же затяну петлю! Слышишь?!

– Илья Ильич, что вы со мной делаете?

– А что ты сделал со мной, с женой, со Смуглевым? Ну, марш вперед! Малейшее сопротивление – и я удавлю тебя! Показывай, где улики.

– В кабинете... Там... В столе...

– Иди, сам ищи и передай мне из рук в руки.

Куликов нарочно сказал в столе, потому что стол стоял у окна. Едва он подошел к окну, как быстро его распахнул и поднял отчаянный крик.

– Спасите, душат, режут! – завопил он.

На улице проходил какой-то рабочий, увидевший Куликова с петлей на шее и сзади Коркина, державшего конец веревки. Рабочий в свою очередь крикнул дворника, стоявшего у соседнего дома, и они вдвоем побежа-

ли на выручку Куликову. Между тем Илья Ильич, увидев маневр врага, крепко затянул петлю и, повалив Куликова на пол, продолжал стягивать веревку.

– Так умри же, – шептал он над посиневшим бесчувственным телом Куликова.

20

Тяжкие улики

Дмитрий Иванович Густерин опять раздраженно ходил по кабинету. Глупейшая история с зятем Петухова не давала ему покоя за последние дни. Он получил телеграмму из Орла от Иванова с извещением, что Куликов скрылся, и только что хотел приказать ему вернуться, прекратив розыски, как пришла телеграмма из Саратова:

«Обнаружено убийство Смужева, совершенное девять лет тому назад, как надо полагать, бродягой Макарой-душегубом. Есть указание, что бродяга этот скрывается в Петербурге и имеет ложное положение купца. Прокурорский надзор просит ваше превосходительство произвести скорейшие ро-

зыски и о последующем сообщить».

Густерин обдумывал уже ответ прокурору в том смысле, что никакого Макарки-душегуба в числе временных петербургских купцов не имеется, как вдруг разыгралась новая история. Только что выпущенный здоровым Илья Коркин вновь совершил нападение на Куликова. Врачи больницы для умалишенных дали заключение, что на этот раз Коркин помешался бесповоротно, положение его безнадежно и, по всей вероятности, личность Куликова связана с ним какою-то тайною. Больной не перестает бредить, что Куликов признал себя Макаркою-душегубом, сознался в убийстве Смужева и хранит часы и портсигар убитого. Главный врач больницы, сообщая об этом начальнику сыскной полиции, прибавил:

– Коркин вышел вполне вменяемым человеком, и потому нападение на какого-то Куликова нельзя признать случайностью. Очевидно, этот Куликов играет в жизни супругов Коркиных какую-то преступную роль, на что необходимо обратить серьезное внимание...

Густерин позвонил.

– Справьтесь, как состояние здоровья Куликова, – приказал он вошедшему чиновнику.

– Я сейчас справлялся. Он почти здоров и отправлен на квартиру тестя Петухова. К счастью, его успели отнять у сумасшедшего. Еще две-три минуты, и Коркин задушил бы его! Наше и так остался глубокий шрам.

– Так что его теперь выпустили уже из больницы?

– Выпустили и отметили здоровым. Некоторое время он будет только говорить хрипло, потому что петля повредила голосовые связки.

– Хорошо. Можете идти. Пригласите ко мне помощника Ягодкина.

– Слушаюсь.

– Однако дело принимает серьезный оборот, – раздумывал Густерин, шагая по кабинету. – Неужели, в самом деле, возможно, что зять Петухова – Макарка-душегуб?! Час тому назад я готов был присягнуть, что все это ерунда, но теперь... теперь... дело осложняется! Придется серьезно заняться этим делом.

Вошел Ягодкин.

– Вы слышали, – остановился перед ним Густерин, – историю с Куликовым и Коркиным?

– Как же.

– Читали телеграмму саратовского прокурора?

– Читал, ваше превосходительство.

– И что же вы скажете?

– То же, что и раньше говорил: личность Куликова более чем подозрительна. Я очень рад, что Коркин не удавил его окончательно, а то мы потеряли бы нить многих преступлений. Я почти убежден, что это Макарка-душегуб!

– Послушайте! Но какие же у вас положительные данные? Вы увлекаетесь, как юноша!

– Я служу, ваше превосходительство, тридцать лет и давно перестал быть не только юношей, но и зрелым человеком. И все-таки я почти убежден, что Куликов – Макарка! Поведение несчастного Коркина еще более укрепило меня в моем убеждении! Нельзя допустить столько совпадений. К тому же я верю Степанову, который видел раны на теле дочери Петухова!

– Что ж! Будем действовать, только с полной осторожностью. Назначьте двух агентов на завод Петухова и поручите разузнать на Горячем поле, в лаврах, трущобах, не знает ли кто лично Макарки, не помнят ли его в лицо?

– У нас есть арестованная Машка-певунья, подруга убитой Макаровкой Алёнки; она хорошо знает и помнит душегуба.

– За что эта Машка арестована?

– Она пьяная подралась с городовым.

– Позовите-ка ее ко мне.

Через несколько минут в кабинет ввели знакомую читателям Машку-певунью. Она была в разодранном платье с несколькими синяками на лице и с грустным видом, что случилось с ней очень редко.

– Ты что это, милая, с городовыми драться вздумала? А? – строго произнес Густерин.

– Он меня потащил в участок, ударил, а я не шла, потому что я свободная, ни в чем не виновата и меня он не должен был трогать.

– За что он тебя взял?

– За то, что я выпила и песни пела.

– Слушай, Машка, ты помнишь Макаровку-душегуба?

– Помню.

– Ты хорошо его знала?

– Хорошо.

– Где он теперь?

– Не знаю. Он убил Алёнку и я его прокляла. Алёнка была добрая, честная девушка. Я ее очень любила. Мы вместе пели на Горячем поле, а потом она ушла с ним в лавру.

– А ты где же его видала?

– Я часто ходила к Алёнке, и она приходила ко мне с ним.

– Что ж этот Макарка добрый был?

– Нет. Он бил Алёнку, а больше я ничего не знаю.

– Если бы тебе показать Макарку, ты узнала бы его?

– Узнала бы. Я никогда не забуду его глаз. Злые, нехорошие глаза.

– Ты часто бывала у заставы. Не бывала ли ты в «Красном кабачке», не видала ли хозяйна Куликова?

– Нет, у меня свой кабак, я в другие не хожу.

– Как это «свой»? – улыбнулся Густерин.

– Так и прозывается «Машкин кабак» на

Новой канаве.

– Хорошо. Ступай, только явись, когда я тебя позову, чтобы Макарку посмотреть.

– Явлюсь.

Машку увели.

– Ваше превосходительство, – произнес Ягодкин, – не позволите ли вы мне самому откомандироваться на завод Петухова для дознания?

– Нет, пока не стоит; пошлите агентов; если дело примет серьезный оборот, тогда мы с вами вместе отправимся.

– Слушаюсь, но я обязан доложить вашему превосходительству, что против Куликова, содержателя «Красного кабачка», есть в наших делах еще несколько подозрений.

– Каких? Отчего же вы мне раньше ничего не говорили?

– Все это мне только теперь удалось выяснить и разыскать в делах. Я посвящаю все свободное время делу Куликова.

– Я вас слушаю.

– Громилы Горячего поля заявили подозрение, что один из их товарищей, под кличкой Гусь, убит Куликовым. Я спрашивал буфетчи-

ков бывшего «Красного кабачка», и они рассказали много интересного... Во-первых, буфетчик Дмитриев видел, как однажды Куликов приехал с кем-то в карете и оба они были в крови. Когда Куликов заметил буфетчика, то поспешил скрыться; Дмитриев видел следы крови на руках и на платье хозяина... Так как Дмитриев не имел с хозяином недоразумений, то предполагать, что его показание ложно, нет никаких оснований... Окровавленный, сконфуженный вид Куликова явно говорил о каком-то преступлении...

– Дальше...

– Во-вторых, оба буфетчика подтверждают, что Гусь исчез в квартире хозяина бесследно... Несколько дней после они слышали какие-то стоны и крики в подвале... Впрочем, это все может быть случайным совпадением, и я не придавал этому значения, но дело в том, что буфетчики удостоверяют, что Гусь был свой человек у Куликова, ходил к нему запросто, тогда как вообще Куликов утрюм, нелюдим и никого не принимает... Да и что общего он мог бы иметь со старым громилой Гусем? А если, ваше превосходительство, припомни-

те: Гусь был очень близким товарищем Макарки, с которым они совершали свои похождения, хотя и оставались неуловимыми... Раньше с Гусем он проживал в доме Вяземского и с ним же скрылся в дебрях Горячего поля. Только Макарка исчез бесследно, а Гусь продолжал оставаться, делая вылазки... Вот, если сопоставить все это, то рассказы о столах, об исчезновении Гуся приобретают некоторое значение...

– Да, это действительно серьезные открытия.

– Но это еще не все, ваше превосходительство. Самое важное обстоятельство следующее... Вы изволите помнить, что убийца камердинера графа Самбери, Антон Смолин, посланный на каторгу, принадлежал к громилам Горячего поля и резиденция его, как и других, была в «Красном кабачке» Куликова. В одно время с убийством совпал обыск у буфетчиков «кабачка», причем нашли массу краденых вещей. Сам Куликов не уличен в укрывательстве воров, но оба буфетчика сознались и отсиживают в тюрьме сроки наказания. Казалось бы, он тут ни при чем... Но...

но есть одно случайное обстоятельство, проливающее свет на этот воровской притон... Куликов в это время сватался к дочери Петухова, а какой-то господин, очень на него похожий, заказывал у немца-ювелира драгоценный свадебный подарок из бриллиантов графа Самбери. Господину этому удалось провести немца и бежать, но приказчик ювелира описывает как две капли воды портрет Куликова. Сопоставьте это с тем, что буфетчик видел хозяина в крови, что сообщники Антона Смолина остались не разысканными...

Густерин вскочил:

– Послушайте, но вы рассказываете чудеса сыска! Вы меня совершенно убедили! В самом деле всех этих улик достаточно для ареста и обыска!

– Я давно не сомневаюсь в этом, как не сомневаюсь и в том, что Павлов привезет настоящего Куликова. А если этого Куликова мы оденем бродягой, то его узнают все бродяги, начиная с Машки-певуньи. Узнает его и ювелир со своим приказчиком, потому что он имел храбрость прийти в магазин, несколько не изменив внешний вид.

– Что ж! При таких условиях я разрешаю вам немедленно откомандироваться на завод Петухова! Продолжайте ваши изыскания и, если потребуется, вызывайте меня. Вы меня почти убедили, хотя, во любом случае, это дело неслыханное, небывалое.

– Неслыханное по дерзости и смелости, но ведь и Макарка-душегуб не заурядный преступник! Таких кровопийц, злодеев я за свою практику не запомню!

– Я с нетерпением буду ждать дальнейших донесений из Орла, а пока вы действуйте на заводе. Возьмите в помощники лучших агентов.

– Не подлежит, разумеется, сомнению, что, открыв в Куликове Макарку, мы откроем и саратовское убийство Смулева. Не послать ли нашему агенту приказа тщательно ознакомиться с «работами» Макарки на Волге!

– Непременно. Если Коркина наняла его, значит, нанимали и другие, значит, он был известен там!

– Еще бы! Кличка «душегуб» принадлежит ему не даром; под этой кличкой он подвизается уже около десяти лет!

– Желаю вам успеха.

Ягодкин поправил очки и вышел.

21

Вечная память

С утра в Саратове замечалось необыкновенное оживление. Целая толпа окружила тюремную церковь, в которой было назначено отпевание и похороны убитого Онуфрия Смужева.

Полуистлевшие останки покойного, обнаженные кости извлеченного из холма трупа были уложены в парчовый золотой гроб и прикрыты саваном. При осмотре обветшавшего платья в нем не нашли ничего, кроме носового платка и неопределенных пятен, по видимому, следов крови. Похороны, благодаря переданной Коркиной в распоряжение духовенства всей бывшей у нее суммы, свыше 4000 рублей, были устроены пышные. Церковь убрана трауром и экзотическими растениями. Катафалк с гробом тонул в цветах под пышным балдахинном. Два хора певчих, соборное служение, полная церковь народа –

все это придавало величие и торжественность. С разрешения властей вдова убитого, под конвоем жандармов, находилась в церкви. Она молила разрешить ей провести у гроба всю ночь, но следователь согласился доставить ее только к шести часам утра. Едва только ее ввели в храм, как она с отчаянным криком «прости, прости» бросилась на гроб и конвульсивно рыдала. До самого начала службы она лежала на гробу, не переставая шептать «прости, прости». Когда появилось духовенство, начал собираться народ, Елена Никитишна сошла на последнюю ступеньку катафалка и, припав к подножию гроба, не поднимала головы. По вздрагиванию ее тела можно было видеть, что она рыдает, но лица ее никто не видел.

После литургии началось отпевание соборное. Сторожа подошли к Коркиной, чтобы отвести ее в сторону от гроба, но она вырвалась у них из рук и закричала:

– Не пойду, не пойду, положите меня вместе в могилу. Ах, боже, боже, сжался, сжался надо мной. А-а-ах!..

Среди молящихся произошло смятение.

Истерические крики вдовы походили на стоны умирающего, которого режут тупыми ножами. В толпе послышались рыдания женщин.

– Оставьте ее, – сказал настоятель сторожам. Богослужение продолжалось.

Когда хор певчих стройно запел «Со святыми упокой», Елена Никитишна опять начала кричать и рвать на себе волосы. Ей подали стакан воды, но она оттолкнула его.

– Яду, яду дайте мне, лютой злодейке! Убили, убили тебя, Онуфрий, а-а-а-ах! Бо-о-же!

Услышав «вечная память», она стала биться головой об пол так, что сторожам пришлось силой ее сдерживать.

Наконец, гроб подняли и понесли из церкви. Коркина рванулась вперед и грохнулась на пол без чувств.

Предание останков земле происходило в ее отсутствии.

На допросе у следователя Елена Никитишна дала пространное показание, во всем обвиняя только себя.

– Ради меня, ради моей свободы был убит Смулев, и я одна хочу нести ответственность!

Мертвые сраму не имут, а Макарка-душегуб, если он и жив, был наемный убийца, и о нем не стоит говорить. Одна я, только я за все в ответе! Наденьте скорее на меня кандалы, бросьте меня в тюрьму, предайте анафеме, только отомщена была бы память покойного.

Она говорила резко, почти кричала, глаза горели лихорадочным огнем, дыхание было прерывистое.

– Вы постарайтесь успокоиться, – упрашивал следователь. – Нам не нужно вашего самообвинения. Мы узнаем сами всю правду.

– Могу ли я говорить о спокойствии теперь, когда я увидела кости убитого мужа, который пал от руки наемного убийцы и, как собака, был зарыт под деревом! Какой же покой нужен мне, главной сообщнице этого неслыханного злодеяния, мне, нанявшей убийцу.

Коркину отвели в отдельную камеру. Все время, с момента обнаружения трупа, она, не переставая, терзалась, так что даже тюремная стража стала с состраданием относиться к несчастной преступнице. Она ломала руки, стонала, взывала к памяти покойного, шепта-

ла молитвы и рвала на голове свои седые волосы. Первое время она плакала, но потом слезы истоцились, и воспаленные глаза дико блуждали. Каждый день она справлялась, скоро ли ее осудят, сошлют в каторгу. Ожидание в одиночной камере было мучительнее всего для нее, но следствие не обещало скоро окончиться. Правосудию нужно было не только принять меры к розыску Макарки-душегуба, но восстановить картину супружеской жизни Смуглевых и обстоятельства, при которых было совершено преступление. Последнее было сделать не трудно, потому что в Саратове все еще хорошо помнили Смуглевых, а некоторые близко знали их семейную жизнь.

Владелец дома, в котором все время жил Смуглев, рассказал приблизительно следующее:

— Онуфрий Смуглев на двадцать три года был старше своей жены, но по виду он казался гораздо старше. Это был болезненный, раздражительный старик; он вел замкнутый, уединенный образ жизни и не имел не только никого близких, но даже простых знакомых. У него даже прислуга не могла уживаться

ся, потому что он отравлял существование всех и каждого.

– Как же он жил с женою?

– Елена Никитишна была истинной мученицей; она безропотно несла свой крест; веселая, бойкая девушка превратилась в сиделку, сестру милосердия и безответно выслушивала постоянное брюзжание больного старика. Только когда он уезжал в Петербург или за границу, она отдыхала.

– Как вела она себя без мужа?

– Очень скромно. Говорили о какой-то связи с чиновником, но об этом я ничего не знаю. Вообще, если бы такая связь и была, то никто не стал бы обвинять молодую женщину.

– Чем вы объясните, что родители выдали дочь за такого старика?

– Смулев был богат. К тому же думали, что он долго не проживет.

Дядя Коркиной старик-купец показал:

– Я готов отдать голову на отсечение, что моя племянница не могла совершить убийства: это кроткая, добрая девушка, которая понятия не имела о жизни и никогда мухи не

обидела! Она ни разу даже не пожаловалась на мужа, терпеливо все переносила и вполне покорилась судьбе.

– Но она обвиняется в сообщничестве и сама принесла повинную.

– Помилуйте! Какое же сообщничество! Смуглев исчез 22 октября 188* года. Теперь оказывается, что в этот день он был убит, а Лена в этот день слегла в горячке и три месяца была между жизнью и смертью. После, полгода она глаз не осушала от слез! Может быть, у нее были какие-нибудь подозрения, она знала что-нибудь, но как же пособничать она могла, лежа без памяти?

– Точно ли вы знаете число и день?

– Справьтесь у врачей, которые лечили, по сигнатуркам аптеки, наконец, у прислуги, соседей.

– Но могла она заболеть сейчас после убийства?

– Нет, не могла. Покойный Смуглев приходил двадцать первого октября поздно вечером к родителям жены и ко мне жаловаться, что Лена исчезла. Мы ходили с покойным братом искать ее в доме и не нашли. Утром

Смулев собирался ехать в Петербург и уехали или его убили, а Лену нашли в саду без чувств. Врач говорил, что она пролежала всю ночь. Значит, она лежала в то время, когда мы со Смулевым искали ее в доме. Как же могла она участвовать в убийстве?

– Причина такого продолжительного обморока осталась неизвестной?

– Неизвестной. Очевидно, что-то такое у нее произошло в саду, потому что обморок перешел в горячку, и она все бредила мужем, которого грабят, убивают.

– Если вы хорошо помните эти дни, то показания ваши очень важны для дела.

– Я не только помню, но могу доказать. Справьтесь по книгам в полиции, когда уехал Смулев в 188* году? Узнайте по скорбным листкам, когда заболела его жена. А тот факт, что Смулев с нами накануне отъезда искал жену в доме, подтвердит прислуга и все знакомые.

Семейство почтмейстера, в доме которого Елена Никитишна бывала, дало о ней самый восторженный отзыв.

– Мы все удивлялись только кротости и

долготерпению жены Смулева. Ее жизнь была хуже монастыря. Если бы не отлучки мужа, то она верно не пережила бы своего заточения. И никогда Леночка, которой тогда было двадцать с чем-то лет, не только не сетовала на мужа, но не любила даже рассказывать про свою несчастную жизнь. Это был ангел, а не женщина; родители из корыстолюбия загубили ее; бойкая и веселая девушка сделалась через полгода молчаливой, сосредоточенной, грустной. Мы все жалели ее. Не только убить мужа, но она никогда не решилась бы причинить ему даже какую-нибудь неприятность. Она считала своим нравственным долгом беречь, заботиться, любить мужа и исполняла этот долг священно. Нет, что хотите, но в Саратове никто не поверит, чтобы этот кроткий ангел мог быть коварным убийцей.

В таком же смысле дали показания и другие саратовские старожилы. Все рисовали покойного Смулева суровым, скупым, вообще невыносимым человеком, а его жену – идеалом кротости и добра. Достоинно удивления, что никто не знал и не верил в возможность существования тайной любовной связи у же-

ны Смулева. Значит, если это и было, то обставлялось полной тайной.

Показания врачей, прислуги и домашних вполне подтвердили ссылки дяди Елены Никитишны на число и день октября 188* года.

Со своей стороны все члены суда, прокуратуры и следственной власти, видя душевные терзания обвиняемой и результаты, полученные из показаний свидетелей, начали склоняться в пользу освобождения Коркиной. Ее вторично доставили на допрос.

– Послушайте, обвиняемая, – обратился к ней следователь, – не желаете ли вы более точно сформулировать ваше участие в убийстве Смулева? Вы до сих пор принимаете на себя всю вину и ответственность, тогда как данные, добытые следствием, говорят противное. Правосудие не ищет жертв и не карает людей, которые считают сами себя виновными! Нам нужны факты.

– О! Какие вам еще факты, когда я привела вас к холму и вы нашли в нем кости убитого Смулева? Что же, я во сне получила откровение, где он зарыт?! Значит, я знала, что он там! Разве мало вам этой улики?!

– Бесспорно, это тяжкая улика, если бы все остальное следствие не шло вразрез! Мы, например, знаем, что в то время, когда вы лежали без чувств в саду, Смулев искал вас; значит, он был жив, а после того вы три месяца не вставали с постели.

– Ах, боже мой, да я же говорю вам, что я наняла убийцу, наняла Макарку-душегуба! Понимаете? Не все разве это равно?!

– Расскажите, как вы его наняли, где нашли, как он выглядит, где вели переговоры, на чем сошлись, сколько заплатили и когда платили?..

– Не хочу, не хочу, ох, не мучьте меня. Зачем все это вам?! Я умоляю вас, скорее, скорее повесьте меня, если возможно, или в вечную каторгу сошлите!

– Мы не вправе исполнять подобные просьбы... Отчего вы не хотите назвать имя вашего посредника и рассказать все, как было?

– Отчего? Оттого, что ваши судьи способны дать мне снисхождение... Снисхождение мужеубийце!! А я не хочу, я боюсь этого снисхождения и беру все на себя!.. Тот умер, его

нечего впутывать в дело, нечего сваливать на него ответственность... Да и кому это нужно? Умоляю вас, судите скорее меня, судите со всею строгостью! Я прошу этого, как милости, потому что только строгий приговор может избавить меня от невыносимых мук! О! Если бы вы знали, как тяжелы эти муки и как сладки в сравнении с ними кандалы! У меня нет больше сил! Я боюсь умереть, не получив примирения с совестью, с небом, с...

Следователь пожал плечами:

– Во всяком случае вам придется дожидаться розысков вашего соучастника Макарки-душегуба...

– Предчувствие какое-то говорит мне, что Макарка – это петербургский купец Иван Куликов... Нельзя ли допросить его?..

– Мы телеграфировали уже в Петербург об этом... Здесь находится агент сыскной полиции, который разыскивает следы Макарки. Жаль, что вы не можете указать этих следов.

– Не могу... Нет, не хочу... Скажите, господин следователь, а я не могу ответить за Макарку? Я скажу, что сама убила мужа и закопала под березами...

– Вам не поверят.

– Отчего? Какое вам дело не верить?

– Правосудию нужен истинный преступник. Я сказал уже вам, что мы жертв не ищем и не принимаем...

– Так судите меня отдельно. Я главная преступница... Я купила, наняла убийцу! Может быть, Макарку вы не найдете много лет, а я умру, не искупив вины...

– Годы мы ждать не будем, но принять меры к розыску необходимо. Несколько месяцев вам придется подождать...

– Месяцев?! Если бы вы знали, чего стоят мне эти месяцы?!

– Что делать? Если бы вы желали свободы, вы могли бы получить ее скорее...

Коркина вскочила в испуге:

– Не говорите! Не говорите!! Этого быть не может!!

Роковой день

Неожиданная неприятность, происшедшая с Иваном Степановичем Куликовым, показала, насколько велика его популярность среди торгово-промышленного мира столицы, особенно же заставы. Оказалось, что собутельничество, попойки, кутежи и швыряние денег создали ему множество друзей среди весьма почтенного общества, именуемого «столичным купечеством». Никто не интересовался ни происхождением капиталов Куликова, ни его прошлым; никому не было дела до его зверского обращения с женой, столкновений с тестем; никому и в голову не пришло, что в истории с Коркиным Иван Степанович мог сам быть кругом виноват. Напротив, все знали, что Куликов богат, щедр, умеет на славу угостить приятелей – значит, он милейший, прекраснейший и добрейший человек. А если он истязает жену и ссорится с тестем, то это семейное, до чего посторонним нет дела. И вот в первый же день помещения Кули-

кова в больницу его посетили: владелец мастерской, оптовый торговец кожевенным товаром, содержатель «салочки», владелец трех домов у заставы и крупный мясоторговец. Эти пять человек были особенно дружны с ним и часто пользовались его широкими попойками. Они немедленно разнесли весть о неприятности, приключившейся с Куликовым, по всему городу и везде прибавляли то же:

– Бедненький Иван Степанович! Человек-то он прекрасный, ужасно жаль! Подумайте, чуть совсем не погиб.

– Да, да! Это удивительно! Замечательно хороший товарищ!

И навестить Куликова ехали со всех сторон. Оставляли карточки, записки, стремились лично выразить ему свое искреннее соболезнование.

– Куликов добрый малый, – говорили все. – Он хороший товарищ, любит выпить, угостить, не прочь кутнуть и не жмот, не считает грошей! До остального же нам, право, никому дела нет! Трудно судить о человеке в его семейной жизни, домашней обстановке.

– Но говорили, он чуть не на смерть забивал свою жену, так что тесть отнял ее?

– Забивал?! Значит, заслужила!.. Его жена, его и дело!

– Оно точно; такие люди все-таки лучше Коркиных, которые от жениного халата ни на шаг!.. Что толку от таких людей?.. Бабу нельзя не учить уму-разуму; это полезно, дашь ей волю – потом не сладишь! Вон Коркина двух мужей на тот свет отправила! Это лучше, что ли?..

– Разумеется! Степенный купец должен бабу в страхе держать, тогда и хорошо будет!

– Иван Степанович при нас свою жену плетью выхаживал за то, что вина не хватило! И резонно...

– Правильно!.. Сидоров тот просто так бьет, и то ничего!..

Куликов три дня провел в больнице и принял до сорока визитов своих друзей. Это его радовало и утешало. Он беспокоился только, что его не посетил никто из домашних... В Петухове и Гане он не сомневался, что они не придут; они были бы рады, если б Коркин совсем его задушил, но почему ни разу не при-

шел его сообщник – рабочий?! Из-за этого он ничего не знает, что делается на заводе... Переехал ли Степанов? Как ведет себя жена?... Он раньше замечал, что между ними существует какая-то дружба.

«Неужели Ганя находится с ним в преступной связи», – вдруг пришло ему в голову, и он заскрежетал зубами от ярости. В самом деле... Где у него были глаза? Сколько раз он встречал Степанова около своего дома, когда они только что повенчались!.. Даже после увольнения Степанова он не раз встречал его на заводе. Ему рассказывали о дружбе управляющего с дочерью Петухова, но он не обращал на это внимания. Ах, я телятина! Они теперь благодушествуют там вместе!

И Куликов корчился от бессильной злобы на кровати, ворочал свои налившиеся кровью глаза и сжимал кулаки с такой силой, что трещали пальцы.

– Пойдите же, презренные! Я с вами разделаюсь! Дайте мне только встать!.. О, вы со мной расплатитесь!

Как большинство больных быстро поправляется под влиянием душевного покоя и ти-

шины, так Куликов стал чувствовать себя гораздо лучше, придя в присущий ему бешеный экстаз. Он почуял кровь, страдания своих врагов, и его потянуло на свободу.

– Доктор, я совсем здоров, позвольте мне выписаться из больницы, – обратился он к ординатору палаты при вечернем обходе.

– Да, вам гораздо лучше; если желаете, я разрешу вам завтра выйти из больницы.

– А мой сдавленный голос?

– Это пройдет нескоро. Может быть, останется на всю жизнь. У вас повреждены головные связки.

– Неужели? Ведь я с трудом говорю!

– Благодарите Бога, что живы остались! Вы были на самом краю гибели!

Куликов не умел никого «благодарить». В его жизни и в его лексиконе такого слова никогда не было! И теперь он злобно смотрел на доктора, который так легко относится к его теперешнему голосу и рекомендует еще благодарить! Проклятый сумасшедший Коркин! Второй раз он его чуть-чуть не отправляет на тот свет, ну, теперь попадись только!

Всю ночь Куликов почти не спал от мучив-

шей его злобы. Петухов, Степанов с его женой, Коркин, дурак рабочий, нанятый в шпионы, – все его изводили, все требовали жестокого мщения, а он лежит в больнице, бессильный, и дает над собой потешаться! Даже докторишка подтрунивает над ним, советуя благодарить Бога за то, что его чуть-чуть не задушили и оставили без голоса!

Только под утро Иван Степанович заснул, но сон его был тревожный, прерывистый. Он бредил, кричал и просыпался каждые полчаса. В 9 часов утра доктор опять обошел палату и дал Куликову справку на выход из больницы.

– Вас там ждет рабочий какой-то, – сказал доктор. – Пусть он отвезет вас, вы еще слабы.

– Рабочий? А, наконец-то!

Куликов поспешно спустился в контору больницы, где увидел своего шпиона-сообщника.

– Отчего ты до сих пор не был?!

– Помилуйте, Иван Степанович, каждый день прихожу, но меня не допускают к вам.

– Доложить велел бы!

– Говорил, не слушают! Каждый день при-

ходил, извольте сторожей хоть спросить.

– Ладно, пойдём.

Они наняли карету и поехали.

– Рассказывай скорее, что там делается!

Знают ли они о моей болезни? Почему ни тесть, ни жена не навестили меня в больнице?

– Они про вас слышать не хотят! Совсем думают разойтись с вами!

– Как разойтись?

– Степанов теперь целые дни с ними просиживает и все настраивает против вас.

– Степанов?! Он с моей женой все вместе?!

– Вместе гуляли вчера почитай всю ночь по заводу!

Куликов стиснул кулаки и заскрежетал зубами.

– Я так и знал! Ну, погодите! А тесть, – спросил он.

– Тимофей Тимофеевич ничего. Тоже против вас. Сказал, что видеть вас не хочет!

– Ну, это-то мы ещё посмотрим! Я муж его дочери, и так легко от меня не отделаешься! Однако медлить больше нельзя. Послушай. Мы проедем сейчас ко мне, и я тебе передам

бутылку клюквенного квасу, про которую я тебе говорил. Помнишь? С красной ниткой на горлышке!

– Помню, как не помнить, Иван Степанович.

– Постарайся сегодня же к обеду ее подать. Слышишь?

– Слышу, Иван Степанович, с полным удовольствием. Я теперь на погреб сам хожу с кухни. Мне это ничего не стоит.

– И отлично. Я буду обедать у тестя и, если увижу свою бутылку, вечером ты получишь условленное. Понял?

– Понял.

– Старик здоров?

– Здоров.

– А что на заводе про меня говорят?

– Не любят вас, Иван Степанович.

– Дураки!

– Точно дураки. При вас нам всем куда лучше жилось. Своего добра люди не понимают!

Они доехали до домика Куликова. Парадные двери оказались запертыми.

– Где ключ?

– А когда вас увезли без памяти, двери по-

лиция заперла и ключ передала Тимофею Тимофеевичу.

– Беги скорей, принеси. Или нет, постой, я сам схожу.

– Ключ на кухне, Иван Степанович, я принесу, никто и видеть не будет.

– Ну, неси скорее, только тихонько.

Через пять минут они вошли в дом. Все было в том же виде, как в момент визита Коркина. Даже веревка с петлей, бывшая на его шее, тут же валяется. Куликов успокоился.

– Значит, ни обыска, ни осмотра не происходило. Ни тесть, ни жена не посетили квартиры. Тем лучше. Скоро, скоро я со всеми разделаюсь. Надо будет бросить заставу и Петербург. Схороню сначала тестя, а потом жену. Подвалы засыплю и квартиру передам. Надоело. Поеду на Волгу или на Кавказ.

Он в изнеможении опустил в кресло и, закрыв глаза, отдыхал. Дорога, волнения и следы болезни утомили его. Он просидел больше часа и вдруг, очнувшись, закричал:

– Ты здесь?

– Здесь, здесь, Иван Степанович, не извольте беспокоиться, – ответил рабочий.

– Сейчас я передам тебе.

Иван Степанович ушел в кабинет и заперся. Через полчаса он вынес бутылку.

– Вот получи. Так смотри же, постарайся сегодня к обеду. А если не успеешь – завтра. Слышишь?!

– Будьте покойны. Устроим.

Оставшись один, Куликов опять погрузился в забытие. Он был слаб, и это беспокоило его больше всего.

Теперь, когда нужно действовать и действовать быстро, энергично, слабость совсем не уместна. Больше всего его беспокоило вдовение Степанова. И раньше он питал к нему какое-то инстинктивное чувство не то страха, не то ненависти, а теперь присоединилось чувство ревности. Он не любил жены и даже не видел в Гане женщины, которая нравилась бы ему, но когда ему показалось, что его место занял другой, он пришел в бешенство от ревности.

– Ганя моя, – говорил он, – моя шкура, собака, вещь, все что я хочу, и никто другой не смеет интересоваться ею! Никому нет до нее дела! Бью ли я ее, ласкаю ли плетью, дело

мое! Разве только отцу ее можно позволить вмешиваться, да и то до поры до времени! А какое право имеет Степанов? Что ему Ганя? Смеет ли он гулять с моей женой?! Негодяй этакий! Пожалуй, Ганя разоткровенничалась с ним, а он передал все старику! Иначе нельзя объяснить их теперешнего поведения. Я умираю в больнице, а они даже визита не сделали. Чужие люди ходят, справляются, жалеют, а своим горя нет! Трех дней свободы было довольно, чтобы возобновить старую дружбу. Жена Куликова сделалась любовницей рабочего Степанова! Каков позор, срам!.. Что скажут теперь все мои друзья, знакомые, товарищи, приятели?! О! Презренные!! Скоро наступит час мщения, и я вашей кровью залью свои неприятности, свой конфуз!

Он встал и, собираясь с силами, начал ходить по комнатам, обдумывая план дальнейших действий.

– Сейчас надо идти к тестю. Что он узнал еще? Показала жена свои рубцы на теле? Может быть, сегодня же ночью мы откроем карты! Слишком долго тянется вся эта канитель! Я не привык ждать развязки годами!

Он вымылся, переоделся, поправил перед зеркалом прическу и собрался идти к тестю.

– Придется выдержать бурю! Ну, что ж, я ведь на все теперь согласен! Хоть сейчас разводную подпишу, приданое возвращу и сам в монастырь... Ха-ха-ха...

И Куликов вышел из дому, направляясь к заводу.

23

В поисках

Павлов так и не мог сговориться с «дурой бабой» – зачахлой, замученной женою пьяницы Куликова. Он решил наконец обратиться к содействию местной полиции, которая должна же знать, где известные пропойцы обыкновенно проводят время. Действительно, пристав 2-й части, ведающий квартал, где жил и Куликов, очень любезно сообщил, что все орловские пропойцы обыкновенно бродяжничают на постоянных дворах окрестностей Орла или же по линии большого шоссе на 3, 7 и 9-й версте, где находятся кабаки и притоны. Если во всех этих пунктах не

окажется «искомого», то значит, он уехал в Курск или Харьков и товарищи-пропойцы наверняка знают его маршрут. Павлов был очень благодарен за указания и решил ехать один, потому что таскать за собой эту полуидiotку не имело никакого смысла. Куликова страшно перепугалась, опасаясь, что барин потребует обратно пять рублей, но барин дал ей еще три рубля и отпустил домой, не сделав никакого упрека; он просил только, если Куликов вернется в его отсутствие, непременно задержать его и не выпускать из дому.

В тот же день, несмотря на проливной дождь, Павлов взял хорошего извозчика и поехал по кабакам.

Мрачную, смрадную и убийственную атмосферу представляют кабаки петербургские или московские, но притоны пьянства в провинции еще вдвое трущобнее! Здесь уже ничем не стесняются и никаких границ безобразий не признается! Кабаки занимают чуть ли не курную избу, в которой пьют, скандалят, дерутся, спят и, выспавшись, начинают опять пить, снимая с себя и отдавая целовальнику все постепенно до последней рубахи. В каба-

ках царят полумрак, облачная, смрадная атмосфера, самая убогая обстановка и грубость обхождения до глумления, издевательства. Казалось, что если пьяница однажды попал в эти дебри порочной слабости к вину, то он потерял все права человека и превратился в какую-то жалкую парию, над которой властвует и царствует целовальник. А это владычество горше и пагубнее всякого иного!

Трудно описать, с каким отвращением Павлов, никогда не посещавший вообще никаких трактиров и не пивший ничего хмельного, начал осмотр постоянных дворов, да еще вечером, в дурную погоду, когда население притонов достигает крайних пределов.

В первом постоялом дворе у него закружилась голова, начало мерещиться в глазах, и он едва не лишился чувств. Целовальник, увидав непривычного посетителя, поспешил к нему с предложением услуг:

– Пожалуйте наверх, там есть комната почище.

– Благодарю вас, мне не нужно комнаты, – ответил Павлов, – я зашел только узнать, нет ли тут Куликова Ивана? Вы знаете Куликова?

– У нас по фамилии никого не называют. Мы фамилии не знаем. Как его прозвище?

Павлов остановился в недоумении: прозвища Куликова он не знал и не догадался хоть это узнать у его жены.

– Кто он, откуда, как выглядит? – продолжал допрашивать целовальник.

– Он башмачник из Орла, Иван, лет двадцать пьет запоем, в Питере был и этапом выслан.

Целовальник зажмурился, стараясь припомнить по этим приметам своего посетителя.

– Нет, башмачника орловского у нас нет. Может быть, не башмачник? Закройщик из Орла у нас есть, только того не Иваном звать...

Павлов поспешил выскочить на свежий воздух. Он видел, с каким пристальным вниманием все гости кабака смотрели на него. А он, бледный, с разболевшейся головой, стучавшими висками, едва стоял у стойки.

На воздухе ему сразу сделалось лучше, и он скоро пришел в себя. Извозчик повез его в другой кабак. Обстановка и все атрибуты те

же, только этот притон еще больше и многолюднее. Павлов предложил тот же вопрос о Куликове и опять описал его приметы. Целовальник, не задумываясь, ответил:

– Такого не знаем...

– Но, помилуйте, ведь он двадцать лет пьянствует запоем: неужели не приходилось вам его видеть?!

– Вам нужно кличку его знать, а иначе не найдете.

– Да где же я узнаю его кличку?!

– Не могу знать! А вам зачем, собственно, понадобился какой-то пропойца? Какой толк от него?

– Нужно...

Павлов не хотел вступать в пространные объяснения при толпе любопытных слушателей и вышел из кабака.

Оставалось еще шесть притонов около Орла и затем четыре на шоссе.

– Не лучше ли, барин, вернуться вам теперь, – предложил извозчик, – а то ночное время наступает, как бы греха не вышло! Бродяги нарочно заведут с вами спор, а после...

– Что после?

– Оберут, а нет, так и укокошат! Тут это недолго! И концов опосля не сыщешь. Смотрите: в эту пору никого здесь проезжих не бывает!

Павлов согласился. Действительно, ночью трудно производить поиски. У него есть еще два дня. Лучше он заедет к Куликовой и осведомится насчет клички-псевдонима ее мужа. Повидается с сыщиком, посоветуется.

– Ну, поезжай в город, – приказал он, – а завтра пораньше подай утром, мы опять сюда приедем.

Извозчик ударил кнутом и поехал полной рысью. Ему самому хотелось выбраться из этого глухого квартала, где и для извозчика небезопасно. Оборванные бродяги ходят группами, толпами и нередко нападают на проезжающих и проходящих. Павлов вернулся в номер гостиницы. Сыщик еще не спал и окликнул его:

– Ну что, нашли?

– Больно скоро хотите, – произнес недовольным тоном Павлов и, не вступая в дальнейший разговор, начал укладываться.

Наутро, чуть свет, Павлов проснулся. Утро

было чудное, ясное, теплое. Дружный хор певцов природы разбудил его. Ему не спалось, и душа рвалась скорее, скорее на поиски, а затем в Петербург, где с таким нетерпением ждет его она. Странно, как это до сих пор он не замечал, что она ему дороже всего, что она наполняет его мысли и все существо! Как ни заглашал он этого чувства, казавшегося ему преступным, как ни боролся он со своим увлечением при помощи старинных поучений святых отцов церкви, все-таки страдальческое личико Гани рисовалось в его воображении и заставляло его думать о «чужой жене».

Сыщик крепко спал еще, когда Павлов вышел из гостиницы и направился к хижине Куликовых. Дуры-бабы он не застал уже дома. Она была на поденщине.

– Опять неудача! Судьба сама меня преследует! Нехорошее, видно, дело я задумал! Чужую жену у мужа отбиваю! Господи! Да разве я отбиваю?! Ведь я одного слова никому не сказал! И не видел Гани с тех пор, как она невестой стала другого! Из мыслей выкинул совсем! Вот пусть будет воля Божия! Объеду

все кабаки, побываю везде и обратно в Питер. Судьба – так судьба! Забуду и думать о ней! Непременно забуду!..

Павлов вернулся в гостиницу, где ждал его уже извозчик. Он молча сел и велел ехать.

День начинался жаркий, почти знойный. Солнышко палило, но Павлов не замечал его. В нем происходила внутренняя борьба, заставлявшая его сильно страдать. Многолетние убеждения, привычка, голос совести, веры, религии боролись с каким-то щемящим чувством сердца, которое помимо его воли рисовало образ Гани. Одно из течений его внутреннего «я» должно было пожрать, уничтожить другое, а между тем оба чувства ему были одинаково дороги и расставаться с ними было невыразимо тяжело. Интересуясь «чужою женою» (слово «люблю» пугало его), он грубо нарушал основы своей церковной миссии начетчика и пастыря староверов. Отказаться же от Гани он был не в силах. Компромиссы не давались его прямой, честной натуре. Обманывать он не умел ни себя, ни других.

– Пожалуйте, барин, кабак Судакина, – вы-

вел его из раздумья извозчик, остановившийся у ворот полуразрушенного деревянного дома с запертыми ставнями.

– Да ведь он закрыт, – произнес Павлов, не выходя с дрожек.

– Нет, не закрыт, это они от жары закрывают... День сегодня знойный, – ответил извозчик и, соскочив с козел, постучал в ставни кнутом.

Ставня приоткрылась, и высунулась голова с густыми кудрями самого Судакина.

– Скажите, пожалуйста, – обратился к нему Павлов, – нет ли у вас Куликова Ивана, сапожника из Орла?

– Нет.

И голова скрылась.

– Теперь куда? – спросил извозчик.

– Дальше... Надо все кабаки и постоянные дворы объехать.

Извозчик почесал в затылке, дернул вожжи, чмокнул губами, и лошаденка потащилась. Жара становилась нестерпимой. Ехать приходилось по открытым местам. Пот крупными каплями выступал на лбу Павлова, но он не обращал ни на что внимания. Пооче-

редно они останавливались у каждого вертепа, везде Павлов предлагал один и тот же вопрос, получая в ответ:

– Нет...

С покорным терпением велел он ехать на третью версту, потом седьмую и девятую.

«Сегодня же поеду в Курск, оттуда в Харьков и затем обратно в Петербург», – думал он.

Лошаденка тащилась под палящим солнцем почти шагом. На дороге не видно было ни проезжих, ни прохожих. По сторонам пыльной дороги шел мелкий кустарник и болотистые кочки. Три версты они тащились более часа.

– Барин, дозвоьте здесь лошадку накормить, – взмолился извозчик, – совсем измучилась.

– Покорми. Сколько же тебе времени нужно?

– Часа три. Отдохнуть же надо, а то и поесть можете!

– Делать нечего. Но что я буду тут три часа делать?

Павлов вошел на постоялый двор, велел поставить себе самовар и дать закусить на

вольном воздухе. Хозяин вынес столик на завалинку и предложил приготовить яичницу на молоке.

– Отлично, – согласился Павлов. – А что, любезный, не знаешь ты пропойцу башмачника из Орла, Куликовым звать?

– Не могу знать. Это вам, барин, лучше у товарищей его порасспросить. Тут у нас двое есть из Орла. Прикажете позвать?

– Позови, позови, голубчик.

Через несколько минут на столе появился самовар, яичница. Павлов с большим аппетитом принялся за завтрак. Хозяин привел двух оборванцев с подбитыми, припухшими физиономиями.

– Куликова из Орла они не знают, – произнес он, – у них по фамилии не зовут никого. Надо имя или прозвище знать.

– Имя Иван Степанов.

– И-ван? – протянули бродяги. – Такого не слыхивали.

– Башмачник он, – продолжал Павлов, – в Петербурге был, оттуда этапом выслан. У него жена, дети...

– В Пи-те-ре, постойте. Есть такой из Пите-

ра, башмачник, годов двадцать пьет.

– Вот, вот, он самый!

– Только его не Иваном, а Макаркою прозывают.

– Как Макаркою?!

– Так, его все Макаркою прозывают. Он, слышь, в этапе шел Макаркою, так потом и прозывать стали!

Павлов торжествовал.

– Он и есть! Он, он! Макаркою назвался, а по-настоящему Куликов. Где же он?

– Он там в пригороде у Судакина.

– У Судакина я спрашивал.

– Да вы спрашивали Ивана Куликова, а он Макарка.

– Голубчики мои, если бы вы сбегали к Судакину и привели его. Это три версты – вы мигом слетаете, а я подожду, лошадь ехать теперь не может. Я вам по три целковых дам!

– По три? С нашим удовольствием. Через полтора часа предоставим. Алеша, бежим? – обратился один бродяга к другому.

– Бежим.

– Так вы, барин, пообождете нас?

– Еще бы! Разумеется, обожду.

Бродяги убежали. Хозяин, довольный, услуживал Павлову.

– Удивительно, барин, какое такое дело у вас может быть до Макарки. Это самый непутевый человек: он в этапе паспорт даже продал и Макаркою прозвался; вот его теперь так и прозвали. Горе с ним семье-то. Дочь его, слышь, шестнадцати-семнадцати лет, сбилась с пути и теперь тоже пьет. В отца, знать, пошла. А жена с малютками из сил выбивается на поденщине. Цены-то у нас на бабьи руки дешевы. Больше гривенника платы не дают за день, а как на гривенник с малыми ребятами просуществуешь. Угол пятак стоит. Да и гривенник-то не кажинный день заработаешь.

– Неужели никто не поможет ей?

– Кому помогать-то? Народ у нас бедный, сами перебиваются, а у ней все-таки муж есть, должен попечение иметь.

– Нельзя разве его заставить работать, наказать?

– Некому наказывать. У мещан никакого начальства нет и взыскать некому.

– А старшина их?

– Старшина, управа только для сбора повинностей существуют. Больше им дела ни до чего нет. Они не входят в жизнь своих мещан. И сколько у нас, барин, таких жен и дочерей, как Куликовы! Измор один, а не жизнь! В двадцать пять лет старуха старухой! Лица нет! Кожа да кости!

– Несчастные!

– А вам зачем же, барин, Куликова-то надо?

Павлов рассказал всю историю с Макаровкой-душегубом, назвавшимся Куликовым.

– Ишь дела-то какие! И у вас в Питере-то, знать, живут не лучше нашего! Эх, за грехи, видно, Господь прогневался на Русь православную.

На жизнь и на смерть

Тимофей Тимофеевич сидел у себя в кабинете с Ганей и Степановым, когда прибежал запыхавшийся околоточный надзиратель с ключом от квартиры Куликова и рассказал прискорбное происшествие с его зятем, которого чуть не задушил Илья Ильич Коркин.

Старик Петухов с испугом и тревогою выслушал полицейского.

– Надо скорее ехать к нему в клинику! – проговорил он со слезами в голосе и встал.

– Пойдите, Тимофей Тимофеевич, – остановил его Степанов, – настало время открыть вам истину. Не тревожьтесь жалеть вашего зятя. Если его задушил Коркин, то надо радоваться, а не сокрушаться.

– Что вы говорите?! Я ничего в толк не возьму. Радоваться, что зятя задушили?!

– Слушайте... – И Степанов подробно рассказал старику про их поиски с Павловым, про поездки в Орел, про начавшееся дознание. Степанов не знал еще, какие веские ули-

ки собраны были Ягодкиным, и не знал, что Густерин переменял уже свое мнение о Куликове. Но и того, что он знал, было слишком много для старика. Тимофей Тимофеевич слушал с напряженным вниманием, уставив глаза на Степанова, и на лице его отражался ужас. Он не прерывал говорившего ни одним вопросом, хотя многое показалось ему чем-то сказочным, легендарным, фантастическим, невозможным.

Когда Степанов кончил, Петухов все еще продолжал его слушать и смотреть на него тем же пристальным взглядом. Он как бы застыл в одном положении, не будучи в состоянии ориентироваться и сообразить то, что ему сообщили. Ганя испуганно бросилась на шею отца и зарыдала.

– Дочь моя! – простонал старик. – Во сне все это я слышу или наяву?! Правду он говорит?

Ганя не могла ничего ответить сквозь рыдания. Степанов продолжал:

– С минуты на минуту мы ждем телеграммы от Павлова. Как только они привезут настоящего Куликова, ваш зять будет арестован.

Начальник сыскной полиции Густерин сомневается еще, точно ли Иван Степанович – это Макарка-душегуб, но во всяком случае он самозванец, скрывающийся под чужой фамилией!

– Господи! С нами крестная сила! Да как же это может быть?! Ганя, Ганечка, дитя мое!! – И, склонив свою седую голову над рыдавшей дочерью, Тимофей Тимофеевич тихо заплакал.

– Вот возмездие за грехи мои! Но за что ты, дитя мое, несешь этот крест?! Неужели за грехи родителей Господь карает детей? О! Ганя, не может этого быть! Господь справедлив и милосерден! Ты вынесла испытание и отныне будешь свободна! Я задушу злодея собственными руками, как душил его Коркин, если только он останется жив!

Свидетель этой тяжелой семейной сцены Степанов сидел, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить горестной тишины. Такое ужасное семейное горе, которое переживал в эти минуты старик Петухов, требует свободы, чтобы излить свои чувства, и только тогда можно получить облегчение. Степанов хотел

даже тихонько уйти, но старик жестом просил его остаться.

– Вы не чужой нам, – прошептал он, – вы более чем родственник, и словами нельзя передать вам благодарность. Ах, отчего не посвятили вы меня в свои тайны раньше?! Отчего не сказали всего этого раньше?!

Степанов молчал.

– Папенька, – проговорила Ганя, – разве мы не можем вернуть прежнюю жизнь? Не можем жить опять, как жили?! Посмотрите, я совсем оправилась, чувствую себя бодро, хорошо. Вы тоже здоровы. Нам остается благодарить только Бога.

– Ганя, милая, ты носишь в себе наследника и потомка Куликова; ты законная жена этого злодея, и еще одному Богу известно, как мы с ним разделаемся. Конечно, я своей грудью защищу тебя, отдам всю кровь до последней капли за тебя! Но долго ли я буду с тобой?! Не сегодня-завтра ты можешь остаться одна с ним! Одна!! Понимаешь ли ты это?!

– Но, папенька, неужели брак нельзя расторгнуть, если он самозванец?

– Зовут ли его Петром или Иваном, ведь ты

с ним венчалась! Ты его жена! Только, когда окажется, что он беглый каторжник, ты будешь свободна, но докажут ли это? Сам Густерин не верит! Не верится и мне.

— А может, он помрет теперь после петли Коркина?

— Дал бы Бог! А кто, Ганя, вернет тебе пережитое? Ты думаешь все это не отзовется на тебе в будущем? Увы! Вернуть твою веселость, цветущее здоровье, радостный дух так же трудно, как воскресить мертвого! Разве ты теперь прежняя Ганя, беззаботная, порхающая, довольная?! Этот год стоит двадцати лет жизни!

И он поник головой, а по морщинистым щекам медленно катились, одна за другой, крупные слезинки.

Весь этот день Тимофей Тимофеевич просидел над плачущей дочерью. Оба они ясно сознавали свое безысходное горе, облегчить которое никто не мог.

На следующий день Степанов переехал со всем семейством на завод Петухова и вступил в управление делами. Он навел справки о состоянии здоровья Куликова и узнал, что тот

поправляется, опасность миновала. Это известие очень его опечалило тем более, что от Павлова до сих пор не было телеграммы. Неужели опять он явится поздно, явится, когда выздоровевший Куликов, по праву мужа, силой увезет Ганю, увезет в глухую провинцию и там доконает?! О, несчастная дочь Петухова!

Степанов долго не мог решиться сказать Гане о выздоровлении ее мужа. Бедняжка надеялась, что петля Коркина сделает ее свободной и все мучения ее окончатся. Она не смела даже самой себе признаться в этих жестоких мечтах; ей казалось преступлением желать смерти даже такому лютому врагу своему, как муж, но... инстинкт самосохранения, незажившие еще раны на всем теле, ужас будущего, непреодолимое отвращение к злодею – все это брало верх над чувством человеколюбия.

Ганя несколько уже раз спрашивала:

– Что, умер он?

– Не знаю еще, нет ответа, – уклонялся Степанов.

Наконец он должен был сознаться.

– Не надейтесь, Агафья Тимофеевна, врачи сказали, что он поправляется.

– Поправляется, – повторила она с дрожью в голосе, – что ж, видно такова воля Божия. А от Павлова нет телеграммы?

– Нет.

– Опять, – простонала она, – хоть бы умереть! Как тяжело, как тяжело! Я не перенесу, Николай Гаврилович, чувствую, что не перенесу! Последние ночи я не смыкаю глаз. Боли в животе невыносимые! Не говорите только папеньке.

– Агафья Тимофеевна, лучше послать за доктором. Вам нужны теперь силы. Так нельзя.

– Силы? На что мне силы! Я мечтаю о смерти как о высшем благе! Часто думаешь, отчего другие накладывают на себя руки и ничего. А я боюсь, боюсь. Не смерти боюсь, нет, а противления воле Божией. Дерзновения предстать пред Ним удавленницей! Какое я право имею самовольно перейти в тот мир. Господь карает меня за слабую веру. С тех пор, как я повенчалась, не была в церкви, не молилась.

– Молитва подкрепляет нас в горе.

– Как молиться? У меня дня не было без плети, без побоев. Он бил головой моей о стену и совсем разум забил. Голова точно в чаду постоянно, не соображает ничего, не думает; теперь только я опять стала сознавать все, как прежде. Верите ли, иногда ходила совсем как помешанная. А он бьет и бьет.

– Злодей! Не беспокойтесь, Агафья Тимофеевна, теперь папенька все знает и не отдаст вас больше в его руки.

– Легко сказать не отдаст, если все поиски ни к чему не приведут, да он еще узнает, что на него жаловались, следили за ним. Мороз по коже продирает при одной мысли, что тогда будет!

Степанову хотелось успокоить несчастную женщину, но он не находил, что сказать ей. В самом деле, если Павлов, как и первый раз, опоздает, Густерин прекратит дознание, что тогда делать? А Густерин говорил, что он знаком с Куликовым. Он может рассказать ему про заявление, жалобу.

И Степанов волновался не меньше Гани. Старик Петухов тоже спрашивал раз пять о здоровье Куликова и, когда узнал, что он по-

правляется, значительно упал духом.

– Сказать ему все? Назвать его прямо Макаркой-душегубом? Выгнать вон? Но какие могут быть последствия?! Ганя даже паспорта не имеет, и он прикажет ей следовать за собой. Ехать жаловаться, просить? Куда, к кому? Если Густерин отказывается, кто же поможет?! Попробовать сойтись на мирных условиях. Предложить ему еще 50 тысяч отступного. Предложить сто тысяч за разводную. Все, все отдать – и завод и деньги, только откажись от Гани!..

– Пожалуй, это лучше и вернее всего! – раздумывал старик. – Но во всяком случае он не возьмет у меня дочери иначе как перешагнув через мой труп! Пока я жив, он не прикоснется больше к Гане!

Весь этот день, как и накануне, все трое провели в печали, почти не разговаривая друг с другом и не переставая думать о близком выздоровлении их общего врага. Степанов понимал, что его водворение на заводе должно ожесточить Куликова против него, хотя и раньше их отношения были натянутыми. Ганя пуще всего боялась, не узнал бы муж

про их розыски, потому что тогда он способен забить ее до смерти; хорошо, если бы он сразу убил, но он будет долго наслаждаться ее мучениями, может быть, годы.

Рано утром Петухов послал человека в больницу за справкой. Тот вернулся и объявил, что Куликов сегодня выходит, совсем здоров. Как громом поразила всех эта роковая весть.

– Надо готовиться к визиту, – проговорил старик. – Ты, Ганя, не выходи из своей комнаты. Я сам переговорю с ним и постараюсь кончить.

Петухов напускал на себя храбрость, но чувствовал, что в ожидании этого визита у него подкашиваются ноги, мерещится в глазах.

– Умоляю вас, папенька, – просила Ганя, – не ссорьтесь с ним, не говорите про то, что мы знаем. Постарайтесь мирно разойтись. Пусть даст мне паспорт, ведь я не могу, не могу с ним жить.

Слезы подступили к горлу, и Ганя не могла больше ничего сказать.

– Хорошо, хорошо, только ты не беспокойся.

ся! Что бы ни случилось, ты со мной не расстанешься! Я пойду в суд, к прокурору, к царю-батюшке пойду, а не отдам тебя.

И он отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. Он плохо верил в то, что говорил, и трусил не меньше дочери. Отчего он трусил? Откуда взялась эта трусость, которой он никогда не знал в жизни? Куда девалась его твердая решимость, не покидавшая его всю жизнь? Увы! Старик видел, что он ставит на карту все, а противник его, ничем не рискуя, имеет много шансов впереди! Борьба не равна, а исход борьбы стоит жизни его дочери!

– Иван Степанович приехали, – доложил слуга.

Старик вскочил.

– Боже, да будет воля твоя!

Бутыль кваса с красной ниткой

Куликов вошел в кабинет на цыпочках и, переступив порог, остановился у дверей в позе кающегося грешника. В его фигуре было столько смирения, кротости и раскаяния, что Тимофей Тимофеевич, ожидавший бури, почувствовал облегчение. С минуту длилось молчание. Заговорил Куликов чуть слышно, голосом, прерывающимся от волнения.

– Тимофей Тимофеевич! Вы знаете, вероятно, что я чуть не сделался жертвою сумасшедшего. Богу угодно было спасти мою жизнь. Ни вы, ни жена не сочли нужным даже навестить меня в больнице, проститься перед смертью! Увы, может быть, я принял то, что заслужил, не смею спорить, но во всяком случае обманывать себя было бы напрасно – у меня нет жены, нет тестя. Да будет воля Всевышнего! Я покорно понесу свой крест и пришел проститься с вами, может быть, навсегда! Простите меня окаянного. – Куликов грузно опустился на колени и положил земной по-

Клон.

Ничего не понимая, удивленный и обрадованный Петухов не знал, что сказать. Зять продолжал:

– Увидев перст Божий в моем спасении, я решил замаливать свои грехи. Я отправляюсь в далекое странствование к святым местам, на богомолье. Пойду в Иерусалим. Желание имею постричься где-нибудь в монастырь и остаться там навсегда. Не откажите в вашем отцовском благословении! Грешен я перед вами, перед Ганей, но теперь все кончено. Я даю ей полную разводную, возвращаю вам приданое, и, по всей вероятности, мы никогда больше не увидимся. Благословите! – И он опять повалился в ноги.

Добрый старик был совершенно растроган. Он забыл в эту минуту все, что ему рассказали про зятя, и видел перед собой близкого человека, несчастного, раскаивающегося.

– Бог тебя простит, Ваня, я ничего худого тебе не сделал и не желал тебе зла! Ты сам не умел устроить свою жизнь. Мне жаль тебя, но еще пуще жаль дочь! Поверь, нелегко мне переживать все это! Сходи к гробу Господню, по-

молись, может быть, все и устроится по-хорошему! Я душевно желаю тебе всего лучшего.

Куликов крепко тер глаза кулаком и, встав с колен, подошел к тестю.

– Я решил, Тимофей Тимофеевич, завтра же отправиться в путь. Позвольте мне сегодня покончить все наши счета. Я напишу вам бумагу об отречении от вашей дочери и о своем согласии на расторжение брака. Ваши пятьдесят тысяч, в тех же бумагах, в каких я получил, хранятся в государственном банке; я напишу вам доверенность на получение вклада и передам квитанцию. Квартиру я запру и ключи передам вам. Пусть Ганя делает с нею, что хочет.

– Отчего же ты вдруг так заспешил. Устроил бы все сам. Лишние два-три дня ничего не значат.

– Не хочу, опостылело мне все, ничего не надо мне теперь! Одна только просьба к вам. Дозвольте проститься с Ганей, получить ее прощение, ведь, может, не увидимся более. Она за другого выйдет, счастлива будет. И еще...

– Что еще?

Куликов опять стал тереть глаза и опустил голову.

– Вы знаете, я готовился стать отцом. Я мечтал, надеялся. Не погубите дитя, не оставьте! – И он опять повалился в ноги.

– Господь с тобой, Ваня, да неужели ты сомневаешься, что я могу внука обидеть, а Ганя – своего собственного ребенка!

– Лишил я младенца отца! Будьте вы его отцом! – говорил Куликов, не поднимая головы с полу.

– Полно, Ваня, съезди к святым местам, может быть, все устроится, обойдется! Помолись мощам угодников, поклонись Гробу Господню. А теперь пойдём к Гане.

Куликов поднялся. Глаза его были красны, голова низко опущена, движения медленны, нерешительны.

Ганя была в своей комнате, когда дверь отворилась и она увидела отца, который вел за руку точно сейчас вытасченного из воды зятя. На нее муж произвел такое же впечатление, как и на отца: кроткого, кающегося грешника. И странно: в таком виде этот злодей даже у нее вызвал чувство сострадания.

– Ганя, Иван Степанович пришел проститься с нами, он завтра уходит на богомолье, к святым местам.

Ганя молчала. Она не поздоровалась с мужем, но зато и не испугалась его появления, как раньше всегда было. Она набралась храбрости даже смотреть на него, тогда как прежде не рисковала поднимать головы в его присутствии. И у нее легче сделалось на душе.

– Скажи же, Ганя, прощаешь ты его? Он просит отпустить ему грехи, – продолжал старик.

Ганя боялась ответить. Она не питала к мужу никакой злобы, не искала никакого мщения, но если это «прощаешь» вызовет его возвращение и совместное жительство, то эта перспектива все-таки казалась ей страшной. Она могла простить, но забыть была не в состоянии. Отец как бы угадал ее мысли.

– Он дает тебе полную разводную и просит только не оставить его будущего ребенка. Да что же ты сам не говоришь, – обратился он к зятю.

Куликов молчал, так же как и Ганя. Про-

шло несколько минут.

– Простите, Агафья Тимофеевна, – произнес наконец Куликов, – забудьте прошлое, оно миновало безвозвратно... Вы выйдете за другого, будете счастливы...

О! Если бы отец и дочь могли видеть, что происходило в это время в душе Куликова!.. Как клокотала в нем бешеная злоба и какую страшную ненависть скрывал он в себе! Почти нечеловеческих усилий стоило ему сдерживаться и разыгрывать эту комедию. Не надеясь на себя, он все время прятал голову на груди, изо всех сил тер глаза кулаком и старался почти не говорить... Вид «любовницы Степанова» и ее «выжившего из ума старика» бесил Куликова... Ему бы развернуться, показать им, «где раки зимуют», а тут надо разыгрывать роль благочестивого странничка... Но роль эту недолго ему играть! Скоро он откроет свои карты, а пока... только бы не выдать себя...

– Что же, Ганя, ты молчишь? – произнес с оттенком раздражения старик. Ему упорство дочери казалось странным, при таком полном искреннем раскаянии мужа.

А Ганя не в состоянии была собраться с мыслями. Это поведение мужа, которого она привыкла видеть не иначе, как со сжатыми кулаками или с плетью в руке, казалось ей настолько странным, что она не могла с ним освоиться и не знала, как отвечать... Случалось и раньше, что он напускал на себя такой вид, шутки ради, но эти шутки всегда предвещали особенно жестокие истязания...

Как сейчас помнит она его такой «овечкой», когда он вернулся домой и застал ее спящей. Она была больна и настолько слаба, что не могла встать, а он подошел к ней со свечкой в одной руке и плетью в другой... После притворно ласковых эпитетов он за волосы сбросил ее на пол, избил сильнее, чем обычно, и приказал ночевать голой на полу, без подушки и одеяла. Долго она не могла забыть той ужасной ночи, и его теперешний вид напомнил ей минувшие муки.

– Папенька, – произнесла она, – я ничего не хочу, право, я не знаю. Бог с ним!

– Ведь он завтра уйдет, не хочешь ли поговорить с ним?

– Нет, нет, нам не о чем говорить...

– Ну, дело ваше, как хочешь.

– Простите! – проговорил опять Куликов.

– Я... мне... я... – заикалась Ганя, не решаясь ничего сказать.

– Ты останешься пообедать с нами? – спросил старик.

Куликов ждал этого вопроса. Еще бы. Он под разными предлогами и сам остался бы. Он за этим и пришел.

– Если позволите, последний раз, – тихо пробормотал он, маскируя прилив удовольствия.

– Хочешь пройти по заводу, вчера Степанов переехал к нам.

Куликов знал уже о переезде Степанова, это заставило его поспешить, но он сделал вид удивленного.

– Переехал?! И хорошо, теперь у вас порядок будет опять, а то я запустил ваш...

– Не ты, моя болезнь, для тебя это дело новое, с тебя и спрашивать нельзя. Хочешь пройти?

– Нет, благодарю. Нам лучше делами заняться до обеда, оформить все нужно.

– Пожалуй, пойдем в кабинет... Ганя, ты

пойдешь?

– Нет, папенька, я распоряджусь обедом.

Они вдвоем вернулись в кабинет.

– Я полагаю, Тимофей Тимофеевич, нам у нотариуса нужно сделать документы, а то не вышло бы какого-нибудь недоразумения. Я, значит, сделаю у вашего нотариуса три документа. Во-первых, полную разводную жене. По ней вы получите отдельный паспорт для Агафьи Тимофеевны и подадите прошение в консисторию о разводе. Я напишу, что поступаю в монастырь. Во-вторых, доверенность на получение вклада. Там, в банке, лежит семьдесят одна тысяча, ваших пятьдесят, а остальные я отдаю на своего ребенка. Это мое право. В-третьих, доверенность на ликвидацию моих дел и квартиры. Я, по всей вероятности, не вернусь, вы не откажите взять на себя труд, потому что все это для моего ребенка. – И Куликов повесил голову на грудь, тяжело вздохнув.

Старик совсем был тронут.

«Я был прав, считая его честным человеком, – думал он, – все несчастье в том, что они не сошлись. Может быть, была тут вина и Га-

ни. Но самозванство его? Не заблуждаются ли Степанов с Павловым? Вздор все это!»

– Не теряй, Ваня, надежды, – задумчиво произнес старик, – все зависит от тебя! Ты был бы счастлив с Ганей, если бы...

– Если бы не мое несчастье, что я не сумел понравиться вашей дочери; насильно мил не будешь. Что делать! Нет, я решил кончить в монастыре! От судьбы не уйдешь! Я еще в детстве имел влечение к обителям! Итак, мы прощаемся навсегда.

Они оба погрузились в сосредоточенное раздумье. Старик искренно жалел разбитой брачной жизни дочери и в душе не хотел расставаться с мыслью о возможности примирения. Куликов же сдерживал хохот над «дураком» и радость близкой развязки. Он не думал даже, что все обойдется так хорошо, просто и легко.

– Обедать пожалуйста, – нарушил их думы слуга.

Старик встал и пригласил рукой зятя идти вперед. В столовой были уже Ганя и Степанов. Увидев их вместе, Куликов вздрогнул и стиснул зубы, но сейчас же овладел собой и при-

нял то же удрученное выражение. Он подошел к Степанову и протянул ему руку.

– Простите и вы меня, Николай Гаврилович, я перед вами тоже очень виноват; завтра я уйду на богомолье, позвольте и за вас помолиться.

Ганя успела предупредить Степанова о неожиданной развязке, но он недоверчиво покачал головой.

– Врет он, что-нибудь не так! Верно, пронюхал о розысках и хочет бежать.

Увидев смиренную фигуру злодея, он тоже удивился, как и Петухов.

– Неужели, в самом деле, злодей хочет пародировать разбойника на кресте?! Или притворяется? Скорее всего, притворяется, комедию играет.

Степанов сухо ответил:

– Я ничего против вас не имею.

Обед начался молча. Никто не расположен был поддерживать беседу, и каждый имел сокровенные мысли, с которыми не хотел делиться. Ели плохо, ни у кого не было аппетита. Степанов хотел что-то рассказать о новом заказе кож для провиантского ведомства, но

Петухов перебил его.

– После!

Ему теперь было не до кож. Унесли жаркое, и вместе с киселем кухарка принесла Тимофею Тимофеевичу обычную бутылку квасу. Куликов вперил взгляд в бутылку, и руки его задрожали. Он увидел на горлышке красную нитку.

«Она, – пронеслось у него в голове, – молодец, исполнил поручение!»

И он еще ниже наклонил голову над тарелкой, сделал еще умильнее гримасу. Старик всегда сам раскупоривал бутылку; он пил клюквенный квас один, и потому бутылку ставили к его прибору. Куликов, затаив дыхание, не спускал с него глаз.

Он волновался, как никогда еще в жизни! Его адский план сейчас должен осуществиться. Вот старик протянул руку и взял бутылку за горлышко. Красная нитка попала ему в руку. Куликов вздрогнул.

– Это что за нитка? – Старик небрежно оборвал ее и бросил. Не торопясь, он взял штопор.

Пробка хлопнула. Квас без пены.

– Что это, плохо закупоренная бутылка?

«А вдруг велит переменить, – испугался Куликов, – опять я рискнул, оторвал себе отступление!»

Но старик не велел подать другую бутылку и налил стакан. Решительная минута. Наполнив стакан, старик залпом его выпил. Раздался глубокий вздох Куликова. У него гора свалилась с плеч! Все кончено. Одного стакана довольно вполне.

Между тем Тимофей Тимофеевич налил еще полстакана и выпил.

«Готово, – ликовал Куликов. Он сразу сделался бодрее, поднял голову и самоуверенно откинулся на спинку кресла. – Теперь вы все в моих руках, никуда не уйдете!»

Старик сморщился и потянулся.

– Что это за квас сегодня, точно жжет в груди.

«Постой, голубчик, не так еще зажжет».

Начали вставать из-за стола. Тимофей Тимофеевич с трудом поднялся и схватился за грудь.

– Так позвольте откланяться, – произнес Куликов. – Я к нотариусу поеду. Будьте здоровы!

И он вышел.

Старик побледнел. С каждой минутой ему делалось хуже. Ганя и Степанов тревожно смотрели на его лицо, выражавшее страдание.

– Тимофей Тимофеевич, не послать ли за доктором.

– Нет, ничего, это пройдет.

Приступы сделались сильнее.

– Я прилягу, – произнес Петухов и прошел в спальню.

Степанов переглянулся с Ганей.

– Куликов ушел?

– Нет, вот он гуляет по двору.

– Он говорил, что к нотариусу пойдет.

– Смотрите, на завод пошел. Рабочих зовет. Что это? Ко мне в контору идет.

Степанов побежал на двор. Испуганная Ганя, предчувствуя что-то недоброе, пошла в спальню к отцу.

Карты открыты!

Старик Петухов весь посинел, у него сделались приступы рвоты и такие боли в желудке, что он кричал. Перепуганная Ганя послала скорее человека за доктором, но человек вернулся.

– Иван Степанович не приказали идти.

– Муж?! Он разве здесь?!

– Они в конторе.

– Доктора, доктора, умираю! – кричал Тимофей Тимофеевич.

Ганя ломала руки в отчаянии. Оставив около отца человека, она побежала в контору. Не успела она открыть двери, как отшатнулась в ужасе. Прежний Куликов, с налитыми кровью глазами, всклокоченными волосами, стиснутыми кулаками, стоял лицом к лицу со Степановым, который не походил на себя.

– А!.. Вот твоя любовница пожаловала!! Ну, теперь вы у меня иначе заговорите. Вон сию минуту с завода! – закричал он на Степанова.

– Убирайся сам вон! Я приглашен хозяи-

ном и не хочу знать тебя!

– Что?! Не хочешь?! Ну, так узнаешь! Я здесь хозяин! Эй, люди, рабочие! Взять его!!

– Отец умирает! – закричала Ганя, бросаясь к Степанову.

– Умирает?! Боже, бегите скорее за докторами...

– Ни с места! Не ваше дело здесь распоряжаться. Я сам знаю, что нужно делать!

Около конторы собралась толпа рабочих, которые с удивлением смотрели на происходящее и не трогались с места.

– Свяжите этого нахала и отправьте в часть! – закричал Куликов, указывая на Степанова.

Никто не тронулся с места.

– Чего же вы стоите, олухи, я вам приказываю, я хозяин здесь!

Куликов заметил в толпе своего рабочего-шпиона и крикнул:

– Давайте веревку!

Рабочий выступил вперед.

– Что ж, братцы, хозяин велит, надо слушать, мы не в ответе.

К нему присоединилось несколько чело-

век. Степанов метался в конторе, отбиваясь от нападавших, но сила взяла верх. Его повалили и связали руки.

– Разбойники, что вы делаете, опомнитесь, – кричал Степанов, – ваш хозяин умирает, я должен к нему идти.

– К любовнице своей? Я тебе покажу, голубчик, как к чужим женам поддельваться! Хлоп несчастный!

– Подлец, – произнес Степанов, – клеветник, думаешь ли ты, что говоришь! Уж не подсыпал ли ты чего старику!!

– Это мы после узнаем, кто подсыпал! А теперь я тебя в кладовую отправлю и запру! Эй, ребята, ведите его в амбар! Слышите?! Я приказываю.

– Караул, помогите, спасите! – вопил Степанов, когда несколько человек взяли его за плечи и силой поволокли в глубину фабрики.

– Дело хозяйское, Николай Гаврилович, мы ничего супротив не можем поделать, – сочувственно говорили рабочие.

– Дураки, какой он хозяин! Петухов – хозяин, и я его управляющий!

– Не можем знать. Зять ведь они и супруга

их молчит, дочь, значит, хозяйская.

Ганя стояла, как помешанная, ничего не понимая и не соображая. Волосы прядями рассыпались на голове, глаза бессмысленно уставились в пространство, смертельная бледность покрыла все лицо, она дрожала. Куликов бросал на нее уничтожающие взоры, два раза поднес мощный кулак к самому лицу ее, но она не видела ни его, ни кулака. Ее мысли остались у постели умирающего отца, которому она не может помочь, а дорога каждая минута. Не видела она, как на ее глазах вязали Николая Гавриловича, тащили в амбар, не слышала крика его «бегите за доктором, он отравлен». Между тем Степанова стащили в кладовую, наполненную кожами, втолкнули в двери, и тяжелый замок щелкнул. Куликов опустил ключ в карман и приказал:

– По местам! Продолжайте работу, вот вам на чай. – И он бросил несколько бумажек.

– Где жена, – спросил он своего шпиона.

– В конторе-с.

– Я тебе поручаю временно управлять заводом, после шабаша приди ко мне.

Он поспешно вернулся в контору, где Гани уже не было. В окно он увидел белевшее на проспекте ее платье.

– Ракалия, она убежала!

И быстрее молнии он бросился вдогонку. Ганя мчалась по направлению к заставе, где жил полицейский врач. Куликов, забыв все, сбивая с ног прохожих, бежал почти по пятам, но только у самых дверей настиг жену.

– Ты куда? Назад!

– Доктора, доктора, – кричала она, – отец, отец умирает!

– Доктор уже там! Дура! Слышишь, доктор у папеньки, он тебя требует, бежим скорее!

– Там? У него?! Бежим, бежим...

И они помчались назад. Из всех окон смотрели на них и провожали удивленными взорами. Вдруг Ганя остановилась. Судороги исказили ее лицо.

– Ты лжешь, доктора нет!

И она хотела повернуться. Куликов стиснул ее руку и прошипел на ухо:

– Ты скандала хочешь! Тебе мало сраму! Ты позоришь меня! Я тебе говорю – там доктор!

– Лжешь! Обманываешь! Пусти! Пусти, я кричать буду! Ай, православные! Помогите!!

Но Куликов тащил ее к заводу, почти волоча по мосткам.

Переполох сделался еще больше. Жители выходили из домов и смотрели на сцену.

– Рехнулась баба, топиться вздумала, – бросал Куликов объяснения в толпу.

– Бедненькая! Не в добрый час Петухов повенчал ее, всю зиму сохла сердечная, а теперь рехнулась!

Ганя не чувствовала боли от железных тисков мужа, который, как клещами, впился в ее руку. Не замечала она и сострадательных лиц стоявших по дороге. Почти не переставая, она кричала:

– Доктора, доктора, отец умирает, православные, спасите.

Голос ее охрип, дыхание спиралось, лицо горело ярким румянцем. А Куликов не тащил уже, а нес ее на одной руке. С него катился пот, но он все более и более спешил. Могут помешать в эту решительную минуту, и все погибло! Какой-нибудь полицейский или не в меру участливый человек вмешаются, заве-

дут объяснения, и тогда душегуб будет пойман с поличным.

– Нет, дешево меня не возьмут! Я тащу свою собственную жену, тащу домой, и никому дела нет.

– Бедняга этот Иван Степанович, – говорили соседи Куликова, – сколько возни ему с этой упрямой бабенкой! Ни плеть, ни обух ее не берет! Выродится же такой сатана в юбке!

– Дай ей по шее хорошенько, – крикнул кто-то.

– Смотри, как вспотел, несчастный, а она-то, bestия, упирается.

– Эх, на меня бы! Я бы за такое упорство, кажется, тут же на улице выпорол бы.

До Куликова доносились эти замечания и окрыляли его. Он еще крепче стискивал онемевшую руку несчастной Гани и еще сильнее волочил ее. Наконец-то они добрались до завода. Куликов втащил свою жертву в ворота и захлопнул их наглухо.

– Уф, – произнес он, измученный и, чтобы размять несколько затекшую руку, ударил жену раз пять по шее так, что она каждый раз ударялась головой о землю.

– Постой, ракалия! Я тебя за волосы пове-
шу вместо люстры, я тебе покажу, как с рабо-
чими путаться да мужу скандалы устраивать!

– Отец, отец, – простонала Ганя и, вырвав-
шись из рук мужа, помчалась в дом.

Куликов последовал за ней. Когда он вхо-
дил, Ганя лежала на груди умирающего ста-
рика. Она не плакала, потому что слез не бы-
ло, и не кричала, потеряв совсем голос. Она
вперила в посиневшее лицо отца глаза и за-
мерла.

Тимофей Тимофеевич слабо стонал и терял
сознание. Его страшно корчило, и страдания
его не поддавались никакой силе воли. Он му-
чился сверх сил. Первую минуту он не узнал
дочери и отталкивал ее, но вот сознание вер-
нулось. Широко раскрыл он глаза. По лицу Га-
ни струилась кровь. Волосы походили на вой-
лок. Глаза выражали ужас, отчаяние, близкое
к умопомешательству.

– Ганя, – слабо назвал отец, – это ты?

– Я, я, папенька, а-а-ах! Па-пень-ка!

– Ганя! Откуда кровь! Ганя, опять он!! – Ис-
пуганным взором старик обвел комнату и
увидел стоявшего у двери зятя. И его старик

не сразу узнал. Таким он его не видел. Эти выкатившиеся глаза, горевшие зловещим огнем, показались ему глазами лютого зверя.

– Это ты, Ваня, – произнес Петухов.

– Я, – грубо отозвался Куликов, – не узнали, что ли?

– Не узнал. А это что? Ты опять бил ее?

– Бил.

– Что?! Бил?! Ты?!

Старик делал усилие привстать, но не мог. Хотел поднять руку, но она плетью упала на одеяло.

– Ну, да, бил, сказано вам, чего же еще! Бил, значит, стоила! На то и муж!

– Как ты смеешь со мной так говорить?!

– Отчего же это мне и не сметь?! Я думаю, я муж и хозяин! А вы чего куражитесь? Не больно-то покрикивайте!..

– Вон! Сейчас вон!!

– Потише, не кипятитесь! Не фордыбачьтесь! Не к лицу! Ноги протягиваете, а туда же покрикиваете!

– Уйди, уйди! Доктора дайте мне, священника!

– Хорошо и без доктора! Все равно поми-

рать, а священником я сам для тебя буду!.. Отпускаю тебе все грехи за то, что ты меня полюбил, плясал под мою дудку, исполнял все, что мне нужно было, наградил женой с приданым, да и наследство еще приличное оставляешь! Все грехи твои отпустятся, и ты прямо в рай попадешь!

– Злодей! Так вот кого я выбрал в зятя!!

– Поздно, брат, раскусил! Теперь мне нечего притворяться и перед тобой! Да, я не из джентльменов! Церемониться не умею и целовать люблю плетью!.. Понял?!

Старик слушал зятя, приподнявшись с подушки и пожирая его глазами... Этот цинизм, глумление, этот тон приводили его в бешенство, но в то же время нестерпимые боли и слабость во всем теле парализовали всякую попытку борьбы или сопротивления. Он походил на крыловского больного льва, которого лягал осел. И ужас, леденящий ужас охватывал его при виде Гани, остающейся в руках злодея! А он чувствовал, что умирает. Жгучая боль в желудке распространяется быстро по всему телу.

– Дочь моя, – прошептал он, – беги скорее

за полицией, за нотариусом, я, умирая, должен распорядиться. Позови мне Степанова.

– Успокойся, – грозно произнес Куликов, – никого дочь твоя не позовет, иначе я тут же, на твоих глазах, задушю ее! Степанов, связанный, сидит на замке в амбаре, на заводе мои люди и только мои приказания исполняют. Все предусмотрено, все пути отрезаны. Только твое железное здоровье выносит еще борьбу со смертью! Выпей другой кто – вытянул бы уже ноги.

– А! Так ты отравил меня?! Отравил квасом?!

– Да! Я отравил тебя такой дозой, которой достаточно, чтобы свалить быка. Пора открыть карты! Знай, что я не петербургский купец Куликов, а Макарка-душегуб, тот самый Макарка, который ножом и ядом отправил на тот свет не один десяток человек! Я убивал и грабил на дорогах, в домах, в квартирах. Я мучил и истязал своих жертв, прежде чем задушить их, играл ими как кошка играет мышками! Твоя дочь знает мою школу, она попробовала моей дрессировки и в полгода ты не узнал ее, когда увидел в пер-

вый раз! И тебя я давно уже травил своими лепешками, но ты, старый плут, перестал принимать их, обманывал меня и, благодаря своей хитрости, выздоровел! Тебе давно надо бы лежать в гробу! Но все равно теперь ты не уйдешь из моих рук, и я покончу сейчас с тобой! Дочка твоя тоже не долго проживет! Она поотдохнула около тебя, но я сумею в несколько дней скрутить ее! Не в моих правилах долго возиться с жертвами, а с вами я и так целый год канителю. Довольно! Завтра мы похороним тебя, я заберу все, что можно, и увезу жену на Кавказ. Там мне легче будет развязаться с ней, и концы в воду! Из Куликова я превращусь в Цветкова и буду искать новой невесты! Ведь и твоя Ганя не первая! Вот видишь, я тебе открыл свои карты! Чего же ты еще хочешь?

– Макарка, Макарка, – застонал умирающий, – Ганя Ганя, пойди ко мне!

– Довольно этих нежностей, я терпеть не могу таких сцен, – произнес повелительно Куликов.

Петухов зажал в объятиях дочь.

– Слышите? Довольно! Жена, пошла вон!

Ганя не слышала этого приказа. Дрожащая, она впиалась глазами в потухающий взор отца и замерла на его груди.

Куликов прошелся по комнате большими шагами, что выражало нетерпение. Сцена родственных излияний отца с дочерью бесила его, но он не хотел прибегать к силе. Вот-вот старик должен протянуть ноги, пусть уж потешится! А Петухов все еще крепился и, удивительнее всего, что не терял сознания.

– Макарка, – повторял он, – Макарка... Отравил... И тебя убьет, Ганя, Ганя кричи, кричи, авось нас услышат! Спасите! – Последнее слово старик произнес громко.

– Довольно, наконец, – закричал Куликов и, подойдя к постели, остановился. Посиневший старик корчился и вел сам с собой сверхъестественную борьбу. Лицо его в эти несколько минут осунулось и вытянулось, как у мертвеца. Ни он, ни Ганя не отрывали друг от друга глаз.

Куликов топнул ногой, взял Ганю за волосы и с силой рванул. Обессиленная женщина грохнулась на пол. Злодей ногою выпихнул бесчувственное тело за дверь и, захлопнув ее,

обернулся на кровать. Старик приподнялся с подушек, поднял вверх руки и простонал:

– Ганя!!

Но силы исчезли, и он вытянулся на кровати...

27

Нашли

Дмитрий Ильич Павлов с нетерпением ждал возвращения бродяжек, взявшихся доставить Макарку-Куликова. Из беседы с хозяином постоянного двора он узнал, что Куликов начал хворать и недавно чуть Богу душу не отдал.

– Только бы мне его благополучно в Петербург доставить, – думал Павлов, – а там пусть помирает, развяжет руки жене – несчастная женщина хоть право на помощь получит и от ребят избавится...

Прошло более трех часов. Павлов начинал уже тревожиться, как вдруг хозяин прибежал к его столу.

– Ведут, ведут, еле живого ведут под руки. Вот оттого и долго так...

Добрых пять минут еще прошло, пока компания из трех ободранных бродяжек подошла к постоялому двору. Павлов встретил их как дорогих гостей и, увидев Куликова, не узнал его – так он исхудал и переменялся.

– Спасибо, братцы, вот вам за труды, – произнес Павлов, давая бродяжкам деньги и усаживая расслабленного Куликова.

– Вы меня не узнаете? – обратился к нему Дмитрий Ильич.

– Виноват, не могу признать.

– А помните с чиновником мещанской управы мы были у вас и спрашивали насчет паспорта, который вы продали в этапе.

– Помню, помню. Разве это дело не началось еще?

– Нет еще, и знаете, что вам придется ехать с нами в Петербург?

– О! Я не в состоянии теперь доехать!

– Живого или мертвого мы должны доставить вас в Петербург! В Орле нас ждет чиновник сыскной полиции... У меня извозчик ожидает, едемте сейчас!

– Не могу, не могу! Пожалуйста, спрашивайте что хотите, только оставьте меня здесь,

я даже до Орла не в состоянии дотащить!»

«Новое несчастье, – мелькнуло в голове Павлова, – он действительно очень плох и не доедет до Петербурга!»

– Умоляю вас, дайте мне, пожалуйста выпить водки, – попросил Куликов, – горит в горле, жжется внутри!

– Голубчик, тебе водка яд, постарайся удержаться; нам ведь необходимо тебя везти в Петербург во что бы то ни стало!

– Слушайте, добрый господин! Поверьте мне, дураку! Я пью тридцать три года и знаю хорошо свою натуру! Если вы не станете давать мне водки, я слягу и скоро помру, а если вы будете держать меня постоянно во хмелю, я доеду, пожалуй, и до Парижа! Только не давайте мне опохмелиться совсем! Вот я вторую неделю не пью, целовальник не отпускает больше в кредит, и я болен, умираю. С каждым днем все хуже и хуже! Верьте, господин, что я только и живу, покуда пьян! Сам знаю, что непутевый я человек, злодей семьи своей, но что же могу сделать?! Ну, смотрите вот, какой я работник сейчас! А напьюсь и оживу!

– Напьешься и совсем сляжешь! Доктора...

– Не говорите про докторов! Ничего они в нашей натуре не понимают, потому что они немцы и немецкую науку превзошли! А что русскому здорово, то немцу смерть! Давайте любого доктора, пусть выпьет залпом косушку сивухи в кабаке. Он тут и готов будет, а для меня две косушки порция! Выпил две косушки – и я молодцом! Я не зря вам рассказываю! Тридцать лет пробую на себе. Только вот одно горе: что дальше, то больше водки нужно, а она дорога, проклятая! Прежде довольно бывало две-три косушки в день, а теперь пять-шесть выпиваю – и то не пьян! Вы думаете, я не работаю или ворую деньги на пьянство? Ни-ни! Во как работаю! По двое суток иногда кругом работаю, хорошие деньги зашибаю, а семье помогать не в состоянии: дорога водка! Мало выпью – работать не могу; много выпью – все деньги пропиваю! Вот жисть наша постылая! – Куликов говорил это с увлечением и с таким убеждением, что колебавшийся Павлов приказал наконец подать полуштоф.

«Все равно, – подумал он, – в теперешнем виде его не довезешь до Петербурга, а пьяный, может быть, и в самом деле он бодрее!»

Когда слуга принес бутылку водки, Куликов задрожал весь от радости и потянул трясущиеся руки к столу. Он выпил залпом стакан, другой, третий и каждый раз, чмокая, потирал живот.

– Вот, вот, спасибо вам, вот отлегло, теперь лучше, теперь мне хорошо.

– Вы закусили бы, съешьте что-нибудь!

– Не могу. Я не закусываю. Так лучше.

Он оживился. Потухшие глаза забегали. Руки перестали трястись. Видимо, он сделался бодрее.

– А водку-то вам подали не ту, что мы пьем! Ароматная, мягкая. Дозвольте прикончить бутылочку!

– Не много ли будет?

– Ни в жисть! Этой водки хоть ведро можно выпить! Одно благоухание!

– Пейте, мне не жалко.

Куликов схватил бутылку, с любовью поднял ее в воздух, меряя, сколько там еще осталось влаги, и налил стакан.

– Ах, барин, есть ведь люди, которые сколько хотят могут пить такую водку! Счастливы! А тут и сивухи-то подчас на коленях не

выпросишь! И отчего это наша водка не такая?! Она жжет внутри, воняет и водой отдает, а эта – хрусталь. – Куликов не переставал восхищаться, пока не вылил остатки бутылки в стакан. Печально отодвинул он пустую бутылку в сторону и встал:

– Ну, теперь поедem в Орел, – произнес он, – вот мне и лучше, гораздо лучше. Благодарю вас, очень, очень благодарю.

– Я обещаю вам все время, – сказал Павлов, – пока вы будете ехать в Петербург, давать такую водку, сколько вы в состоянии выпить.

– Благодетель вы мой, нельзя ли с вами за Париж куда-нибудь, на край света уехать! Только, только... – Он утер рукавом своей грязной блузы набежавшую слезинку. – Только семья-то моя верно не евши сидит!

– Не беспокойтесь, я дал вашей жене восемь рублей и, когда мы уедем, дам еще двадцать пять.

Куликов повалился в ноги Павлову.

– Кормилец, благодетель истинный наш, да за что милость такая!

– Встаньте, встаньте, пора ехать. Не стоит

благодарить, я ведь не для вас это делаю!

Они тронулись в путь, все радостные, довольные. Павлов был на седьмом небе: он не рассчитывал на такой быстрый успех поисков; Куликов не мог еще переварить «чудной» водки; извозчик хорошо отдохнул и закусил на господский счет; даже клячонка после долгой стоянки бодрее бежала, мотая головой и размахивая хвостом. Солнышко палило меньше. День давно перевалил за двенадцать, и воздух был свежее, не так было душно. Торжествующий, довольный Павлов вошел в гостиницу. За ним следовал Куликов.

– Чиновник Иванов у себя? – спросил он коридорного.

– Дома нет.

Он вошел в номер.

– Неужели нашли, – встретил их Иванов.

– Еще бы! В лучшем виде!

– Да вы лучше нас производите обыск!

– Еще бы не лучше! Для меня это дело всей жизни, надежда, может быть, счастье, а для вас поручение за номером таким-то и только! Сбыл «поручение» с рук, и дело в шляпе!

– Так это вы Куликов? – обратился Иванов

к блузнику.

– Я, – важно ответил Куликов, выпятив вперед грудь и заложив руки за спину. После выпитой бутылки «чудной» водки, он как-то возгордился, почувствовал себя если не баринном, то во всяком случае человеком с весом и достоинством. Водка в одно и то же время оживила его и воскресила энергию, возбудила нервную систему.

– Так! Только не мешало бы, – обратился Иванов к Павлову, – переменить ему костюм. В таком виде его неудобно везти.

– Разумеется. Мы сведем его в магазин и оденем с головы до ног. А пока нужно отправиться всем вместе в управу для засвидетельствования его личности и удостоверить, что другого Куликова Ивана в составе мещанского общества города Орла не значит.

– Идемте.

– Мне хотелось бы сегодня же выехать в Петербург.

– Едва ли.

– Ваше благородие, – произнес Куликов, вертя в руках фуражку.

– Что? – отозвался Павлов.

– Стыдно мне, но явите божескую милость.

– Чего вам, говорите!..

– Дозвольте один только стаканчик для храбрости, перед дорогой.

– Хорошо, хорошо.

Куликов повернулся на одном каблуке и исчез в буфете.

– Надо за ним все-таки присматривать, – заметил Иванов, – не улизнул бы он от нас.

– Не улизнет! Он так счастлив, что пьет хорошую водку и знает, что семья обеспечена. Вы видите, каким он фертом, а посмотрели бы два часа тому назад, когда его привели под руки; казалось, прямо в больницу надо везти! Удивительно на него влияет водка!

– Это на всех алкоголиков так! Однако поедемте.

Куликов ждал уже их у подъезда. Он облизывался и хитро посматривал на господ; вместо разрешенного стаканчика он выпил за буфетом четыре и повелительно приказал:

– Поставьте в наш общий счет из номера первого.

В управе не встретилось никаких недоразумений.

В присутствии всего состава членов и старосты управы Иванов сделал опрос Куликова.

– Как звали того арестанта, которому ты продал за пять рублей паспорт?

– Макарка-душегуб.

– Как он выглядел?

– Крепкий, коренастый мужик, лет сорока, светлые волосы, глаза навывкате.

– Ты подружился с ним?

– Да, мы сошлись хорошо. Он рассказывал, как зарезал немца, купеческую семью в Петербурге и отрубил голову любовнице, которая хотела его выдать полиции; как в Саратове его нанимали убить старого мужа одной барыни, а он, получив пятьсот рублей по условию, ограбил еще убитого тысячи на полторы. Много чего он рассказывал.

– Как же ты такому разбойнику отдал свой паспорт?

– А мне-то што? Ведь он заплатил пять рублей!

– Заплатил! Ты помог ему бежать, он еще загубил несколько душ.

– Так он загубил, а не я. Мне-то што?!

– Дурень! Если бы ты не поменялся клич-

ками, он не убежал бы.

– Он?! Да он раз двадцать бегал! Не я, так другой поменялся бы. Там желающих за пять рублей было много. Это он из дружбы согласился у меня взять паспорт. Все ведь просили: «Возьми, да возьми». А он мне предпочтение сделал! Спасибо ему!

– Ты после не встречал его?

– Ни-ни. Да где же встретить, я из Орла не выезжал.

– И раньше не встречал?

– Ни-ни...

– А если его теперь показать тебе, ты узнаешь?

– Еще бы! Как не узнать! Почитай два месяца вместе шли, да и рожа-то у него приметная.

Иванов составил протокол допроса, который подписали все присутствовавшие. Затем были произведены выемки из книг. Кроме Куликова Ивана и родного брата его Петра, безвыездно живущего в Орле, никаких Куликовых в составе орловских мещан нет, и последние четыре года управа паспортов на имя Куликова никаких не писала. Очевидно, в

паспорте петербургского Куликова подчищен год или самый паспорт фальшивый.

Члены скрепили выписки из книг своей подписью.

– Теперь все формальности окончены, – произнес Иванов, – позвольте заявить управе, что, согласно предписанию его превосходительства, господина начальника сыскной полиции и в силу данного мне уполномочия, я арестую Куликова для отправки в Петербург.

Куликов, несмотря на хмель, который разом вышел у него из головы, вскрикнул и повалился в ноги Павлову.

– Что же это вы обманули меня?! За что вы меня губите?!

– Кто тебя губит, голубчик, что ты, успокойся! Ведь я тебе говорю, что вместе поедем в Петербург.

– Поедем! Хорошая поездка! Это полгода в этапе идти арестантом.

– В каком этапе? Ты с нами во втором классе поедешь сегодня же с курьерским поездом.

– Вы все шутите, ваше благородие!

– Какие шутки! Пойдем, мы тебя сейчас оденем таким барином, что любо! И водки

еще выпьешь! На, снеси жене 25 рублей.

Куликов встал, все еще не совсем веря Павлову. Они раскланялись в управе и только что хотели идти, как увидели у входных дверей прятавшуюся оробевшую Куликову.

– А вот и жена, отдай ей деньги и прости, – сказал Павлов.

Куликов подошел к жене и, нахмурившись, передал кредитку. Как ни любил он семью, а отдать деньги было жаль. Дадут ему водки или нет, это еще вопрос, а на «бумажку» он мог бы жить целый месяц беззаботно, расплатиться в кабаках, восстановить кредит.

Куликова приняла бумажку тоже нехотя. Она со страхом смотрела на господ. Верно смеются господа, сейчас отымут бумажку и еще ее, пожалуй, в тюрьму посадят. Дети опять останутся голодными. А за что? Она и не просит вовсе. Она знает, что даром никто таких капиталов не бросает. В своей жизни такой большой бумажки она и не держала никогда в руках.

– Простите меня, грешную, – шептала она, – не губите, возьмите назад.

В тюрьме

Елена Никитишна с нетерпением ждала со дня на день решения своего дела. Теперь, когда труп Онуфрия Смулева был найден и похоронен подобающим образом, со всеми христианскими почестями и обрядами, Елена Никитишна значительно успокоилась и молила только о скорейшем рассмотрении ее дела, чтобы в каторжных работах найти полное примирение с совестью. Исход дела, при наличии открытого трупа и при полном ее признании в подстрекательстве и подкупе убийц, казался Коркиной настолько простым, что решение о ссылке ее в каторгу можно постановить в несколько часов. Между тем дни шли за днями, а Коркина не получала даже приглашения к следователю.

О ней точно забыли. В крошечной, полутемной камерке одиночного заключения она сидела под крепким запором и по несколько дней не видала никого, кроме сторожа, приносившего скудную пищу арестантке. Елене

Никитишне разрешили иметь в своей камере Библию и видетъся временами с тем самым священником, которому она поручила устройство похорон Смужева. Это религиозное утешение настолько подкрепило силы несчастной женщины, что она без страха смотрела в будущее и спокойнее относилась к настоящему. Преступление ее тяжкое, требующее жестокого возмездия, и она готова перенести всякое наказание, готова даже войти на эшафот, но совесть ее перестала мучить. Пастыри стада Христова молятся об упокоении души невинно убиенного, труп его мирно почивает под благословением церкви на кладбище, и она ежечасно, ежеминутно возносит к престолу Всевышнего свои грешные молитвы об отпущении грехов без покаяния убитого мужа. Теперь, когда Елена Никитишна беспрестанно поминала и молилась о Смужеве, его кончина от руки наемного убийцы меньше мучила ее совесть. Но зато чаще стал вспоминаться ей живой муж, Илья Ильич, о котором она давно не имела никаких известий. Ведь и этот несчастный тоже ее жертва! Зачем связала она со своею участью судьбу та-

кого доброго и честного человека, как Илья Ильич?! Зачем она погубила его?!

И чем больше она думала о Коркине, тем больше казнила себя! Как могла она прожить несколько лет вдовой, не вспомнив ни разу о роковом холме на берегу Волги? Как могла принять предложение Ильи Ильича, не покончив со своим прошлым?! Ей даже не верится, что она могла тогда успокоиться объяснениями Серикова, а между тем она ведь не только успокоилась, но даже забыла совершенно о Смулеве.

Сериков сказал, что муж уехал, погиб на корабле, а разговор о Макарке-душегубе есть глупая шутка с его стороны, и Елена Никитишна даже не давала себе труда критически отнестись к объяснениям Серикова. В самом деле, мог ли муж уехать, не простившись с ней, после того как он разыскивал ее с родными в саду, нашел бесчувственной, в горячке? Теперь все это так ясно, очевидно, несомненно, а тогда, слушая Серикова, она ни о чем этом не думала! Воистину говорится, что любовь слепа! Умер Сериков накануне почти их свадьбы, и это горе поглотило все ее мысли,

подавило все другие заботы. Опять для памяти Смулева в ее мозгу не осталось местечка. Не успела она примириться со смертью дорогого, любимого человека – подвернулся Коркин со своими настойчивыми предложениями. Конечно, рано или поздно она опомнилась бы и без Куликова, но последний ускорил события, дал им сильный толчок. И раньше, за год еще до открытия «Красного кабачка», она потеряла покой, стала задумываться над прошлым, вспоминала роковой холм с тремя березами, но думы эти были неопределенны, и она не отдавала себе ясного отчета в душевных тревогах. Но достаточно было одного намека Куликова, чтобы тлевшая под пеплом тревоги совесть вспыхнула ярким, неугасимым пламенем. А бедный Илья Ильич ничего не знал и не подозревал.

Елена Никитишна теперь думала о Коркине больше, чем о Смулеве, и не забывала помянуть его в своих постоянных молитвах. Она, сидя в своей крошечной неприглядной камере, большую часть времени проводила за чтением Библии или в тихой молитве. Опускаясь на колени около столика, она кла-

ла голову на Библию, переносила мысли на небо и оставалась в таком положении по нескольку часов. Она молилась не за себя. Нет! О себе она даже не вспоминала никогда. Самые горячие ее молитвы были за Коркина и после него за Смулева. Даже о родителях, родных своих она никогда не молилась. У нее не хватало времени для поминовения еще кого-нибудь, кроме мужей. По временам сильный стук в двери ее камеры выводил ее из небесных высот, заставлял спуститься на землю и... принять от сторожа миску с похлебкой или кружку чаю с куском хлеба. И так каждый раз, когда она становилась на молитву. Она не могла сначала понять, почему это сторож все мешает ей, точно нарочно, но потом сообразила – ведь проходит 4–5 часов, незаметных для нее, но очень заметных для тюремной администрации, потому что все арестанты навещаются не менее четырех раз в сутки и, очевидно, через 4–5 часов сторож должен постучаться к ней.

Однажды к ней вошел, вместе со сторожем, приличный господин с большим портфелем.

– Я ваш защитник, – сказал он.

– Защитник? – удивилась Елена Никитишна. – Какой защитник?

– Поддерживать на суде ваши интересы. Каждый обвиняемый получает по закону защитника.

– Помилуйте, зачем мне защитник, когда я сама обвиняю во всем себя и хочу самого строгого наказания! Нет, благодарю вас, мне не нужно защитника!

– По закону вы имеете право отказаться от защитника, но это делается, когда подсудимый надеется хорошо сам себя защитить или приглашает защитника по соглашению, по выбору, за плату.

– Нет, нет, мне обвинителя пригласить нужно, а не защитника! Вот, если бы вы могли сделать, чтобы меня как можно строже обвинили, я пригласила бы вас...

– Что вы говорите? Я читал ваше дело, и вы непременно будете оправданы! За вас целый ряд свидетельских показаний, и если бы вы не наговаривали сами на себя, то вас давно бы выпустили и прекратили следствие.

Коркина страшно испугалась.

– Оправдают?! – воскликнула она. – О нет, нет, вы ошиблись! Этого не может быть, убийца мужа, нанявшая кинжал Макарки-душегуба, не может быть оправдана! Это была бы вопиющая несправедливость к памяти покойного; это было бы, наконец, слишком жестоко и ко мне! О, Господь милосерден и не попустит такого горя!..

Защитник удивленно смотрел на Коркину.

«Необходимо, – подумал он, – возбудить вопрос о нормальности ее умственных способностей. Очевидно, она не в полном рассудке; ей место в больнице, а не в тюрьме! И кто же даст ей 32 года от роду?! Эта седая старушка одним видом своим убеждает, что суд имеет дело с психически больной женщиной».

– Так вы решительно отказываетесь от защитника, – произнес он вслух.

– Может ли быть даже вопрос об этом?! Повторяю, я охотно заплатила бы несколько тысяч прокурору, чтобы он скорее и подальше сослал меня в каторгу.

– Платить можно только защитнику, а не прокурору.

– Мне все равно кому, только обвинителю,

а не защитнику. Хотите быть моим обвинителем?

– Я убежден в полной вашей невинности и не могу...

– Умоляю вас, не говорите этого! Пощадите меня! Я боюсь, что у меня не хватит сил от одной мысли лишиться последнего утешения. Неужели я так виновна, что не могу надеяться на снисхождение?!

«Совсем сумасшедшая», – решил защитник и поспешил откланяться.

– Еще одна просьба! Попросите ко мне священника, – тихо прошептала Коркина.

– Священника? Может быть, доктора?

– О, я теперь здоровее, чем когда-нибудь! Благодарю вас.

Защитник прошел прямо к председателю суда и обиженным тоном обратился к нему.

– Зачем же вы посылаете меня к умалишенным?

– Как так?

– Помилуйте! Эта подсудимая умоляет о снисхождении. Знаете о каком? О каторге без срока! По закону-де следует двадцать лет, так сделайте ей снисхождение и сошлите без сро-

ка!

Председатель задумался.

– Она совсем не сумасшедшая. Напротив, очень умная женщина! Она ищет примирения с совестью и не идет ни на какие сделки. В моей практике был такой муж, который нечаянно утопил жену, и когда его, несмотря на все ухищрения самообвинения, оправдали, он добровольно ушел на каторгу. Есть такие высокочестные натуры; вспомните тургеневского Герасима – это не вымышленный тип, хотя очень редко встречается среди нас. Вот и Коркина такой тип! Она не может примириться с жизнью иначе как расплатившись за свою вину!

– Да где же вина-то ее? Вы читали следствие?! Ее и обвинять-то нельзя!

– По нашим убеждениям – да, но с ее точки зрения – не совсем. Она согласилась получить и огласить подложное письмо, якобы от мужа; согласилась на хлопоты о подложном списке погибших на корабле «Свифт»; она скрыла от властей разговор с Сериковым, не хотела выдать его; она была его любовницей при жизни мужа. Все это пустяки с нашей

точки зрения, все это невинно, не важно, объяснимо в ее пользу, но... но такая натура, как ее, не мирится с этим.

– Мне все-таки кажется, что она ненормальна!

– С социальной точки зрения – да, а с медицинской – нет!

– Она просила прислать ей священника.

– Хорошо, я распоряжусь.

– Так как же с ее защитой?

– Занесем в протокол, что она отказалась от защиты.

– А жаль, такой богатый материал для защиты редко встречается.

– Да, защита эффективная! Есть струнка для игры!

Облава на Куликова

Сыскная полиция была вся на ногах. Густерин, Ягодкин, несколько надзирателей и агентов работали по следам событий. Убийство камердинера и сбыт бриллиантов графа Самбери, убийство Онуфрия Смулева, исчезновение Гуся, убийство семейства купца Смирнова и Алёнки из Вяземской лавры – все эти злодеяния были сгруппированы вокруг личности зятя Петухова, почтенного коммерсанта Ивана Степановича Куликова.

Густерин все еще колебался сделать решительный шаг, дожидаясь известий из Орла, хотя розыски последних дней дали очень важные результаты. Одному из агентов удалось задержать на Горячем поле девицу Настюшу, которая показала, что бывший лакей графа Самбери Игнатий похвалялся своим близким знакомством с Куликовым и говорил, что может получить с него сколько хочет денег. Это показание само по себе не важно, но когда приказчику немца-ювелира показа-

ли фотографию Куликова и он категорически заявил, что бриллианты сбывал этот господин, то показание девицы приобрело громадное значение. Значит, Куликов не только сбывал вещи, добытые громилами его «Красного кабачка», но и принимал участие в ограблении квартиры графа, потому что иначе он не мог познакомиться с лакеем Игнатием и еще меньше мог находиться с ним в денежных отношениях, да еще «сколько хочешь» давать лакею денег. Значит, и лакей Игнатий вовсе не так безучастен был в убийстве. Все бывшие с девицей подтвердили, что Игнатий ушел к Куликову за деньгами и больше не возвращался. Не возвратился так же, как и Гусь.

Другой агент выследил Куликова, когда он кутил в «салошке» и подметил рабочего, приходившего в «салошку» с тайным докладом. Агент познакомился с рабочим, напоил его в трактире и узнал, что Иван Степанович подрядил его дать тестю какого-то лекарства, за что посулил пятьсот рублей и пятьдесят рублей дал на расходы. Этого же рабочего видели в приемной больницы, когда придушенный

Коркиным Куликов лежал чуть не при смерти.

Один из надзирателей находился при заводе Петухова и наблюдал странные отношения тестя с зятем, причем Ганя, действительно изменившаяся до неузнаваемости, жила у отца отдельно от мужа.

– Неладное что-то там творится, – прибавил надзиратель, кончая свой рапорт.

Ягодкин настаивал на немедленном аресте Куликова, но Густерин отрицательно качал головой.

– Погодите. Все дело в результатах орловских розысков.

– Но показания Настюши...

– Что же? Вы сами знаете, что Куликов кутит в «салашке». Разве он не мог там познакомиться и с Игнатием, даже не подозревая его настоящей профессии.

– А деньги «сколько хочешь»?

– Кто это говорил? Лакей. Он мог прихвастнуть, чтобы иметь благовидный предлог скрыться, не заплатив карточного проигрыша. Наконец, у них могли быть какие-нибудь счета по поводу девиц, певичек. Нет, это не

веское доказательство!

– А лекарство и подкуп рабочего?

– Не наболтал ли пьяный ерунды? Если бы Куликов хотел отравить тестя, зачем ему подкупать рабочего? Он и сам мог это проделать десятки раз, живя вместе с тестем под одной кровлей.

Ягодкин пожал плечами.

– Трудно, ваше превосходительство, отказываться от своих убеждений. Насколько я горячо убежден в самозванстве душегуба и готов положить голову на пари, настолько же вы убеждены в противном и, конечно, желали бы доказать, что вы правы, но...

– Ошибаетесь, – перебил Густерин, срывая с носа пенсне и делая резкое движение рукой, – я вовсе не имею никакого убеждения в этом деле. Я действую только с необходимой осторожностью, как и всегда в подобных делах! Напротив, я теперь почти на вашей стороне, и мне хочется только выждать пару дней, пока получим донесения из Орла. Согласитесь, что пара дней не имеет значения.

– Имеет, ваше превосходительство: в пару дней Макарка может отравить тестя, огра-

бить все деньги и, бросив жену, скрыться. А вы знаете, что поймать Макарку нелегко! Если мы упустим его теперь, можно быть уверенным, что он не скоро явится в Петербурге! С капиталами Петухова и бриллиантами Самбери он легко проберется не только на юг, но и за границу.

Густерин стал крупными шагами ходить по кабинету, что свидетельствовало о его возбужденном состоянии.

– Разве рискнуть, – рассуждал он громко сам с собой, не обращая ни к кому, – арестовать будто бы по заявлению Степанова. Гм!.. Ри-ско-ван-но!..

– Ваше превосходительство, клянусь вам моей тридцатилетней службой, что здесь риска нет ни малейшего! Согласитесь, что я тоже не мальчик, способный увлечься миражами.

– Знаю, знаю, но от ошибок и увлечений никто не гарантирован.

Густерин продолжал шагать по кабинету, когда вошел курьер и подал телеграмму. Он быстро разорвал печать и вслух прочел:

«Доношу вашему превосходительству,

что Куликов разыскан, задержан, и с первым поездом мы везем его в Петербург. Управа выдала удостоверение, что другого Куликова в составе орловских мещан не имеется».

Ягодкин задрожал от удовольствия, и глаза его заискрились, он сдвинул очки на лоб и торжествующе смотрел на своего начальника. В свою очередь и Густерин вздохнул с облегчением.

– Ну, вот, теперь зятя Петухова можно смело взять без всяких церемоний! Это не только не будет произволом, но даже обязанность наша.

– Когда же вы полагаете его взять?

– Разумеется сегодня, сейчас! Теперь нельзя терять ни минуты!

– Не забывайте, ваше превосходительство, что мы имеем дело с закоренелым разбойником, совершившим десятки побегов и умеющим обставлять свои дела с адским искусством. Взять такого преступника не легко! Я боюсь...

– Не бойтесь, я сам буду участвовать в аресте! – Густерин подчеркнул «сам» с такой вну-

пительностью, что Ягодкин замолчал.

– Мы сделаем облаву на дом Куликова и завод Петухова. Надо окружить и занять все выходы.

– Я рекомендовал бы связать злодея по рукам и ногам!

– Связать?! Какие отсталые у вас приемы?! Это пятьдесят лет тому назад городовые водили арестантов на веревочке! Зачем же вязать, делать скандал, когда можно вежливо попросить его в карету и доставить к нам. А отсюда уж он не уйдет!

Ягодкин пожал плечами.

– Да вы уж не заботьтесь, когда я сам буду на месте.

– Слушаюсь.

– Пригласите ко мне всех чиновников, занимавшихся розысками по делу Куликова, и узнайте, сколько у нас свободных лиц.

– Сию минуту. А местную полицию предупредить не прикажете?

– Нет, – сердито ответил Густерин и сел к столу.

Он стал обдумывать план действий.

«Нужно нагрянуть к вечеру и принять»

все меры, чтобы не делать скандала. Положим, основание для ареста у нас есть, но все-таки соблюдение тайны весьма желательно. На сопротивление я не рассчитываю, и поэтому всякий шум был бы излишним скандалом. Вот только что следовало бы, кстати, арестовать и его рабочего-шпиона. Хорошо получить бы сведения, где теперь находится Куликов, но послать если агента, он, пожалуй, спугнет голубка и наделает нам после хлопот. Все равно, отправимся на „ура“!.. Удивительно, как это до сих пор Куликов не подозревает, что за ним целый месяц шпионят! Такой старый, опытный громила и зевает! Это меня больше всего убеждает, что он вовсе не Макарка. Во всяком случае что-то тут есть, а что именно, мы скоро узнаем».

Густерин позвонил.

– Пригласите ко мне дежурного надзирателя!

Через минуту дежурный явился.

– Поезжайте сейчас в резерв и скажите, чтобы немедленно прислали ко мне человек пятнадцать городских и несколько околоточ-

ных. Только чтобы сейчас явились.

– Слушаюсь.

Вошел Ягодкин с целой толпой чиновников. Все почтительно остановились у дверей и отвесили низкий поклон.

– Здравствуйте, господа. Мы все отправимся через два часа в облаву на петербургскую сторону, на постоянный двор Монокина.

Густерин никогда заблаговременно не говорил агентам, где и какое дело предстоит. Он опасался, что в семье не без урода и среди агентов может найтись изменник, который ради личных выгод предупредит об обыске и даст возможность скрыть следы преступления.

– Мы едем не к Монокину, а должны сегодня арестовать Куликова, – начал он, когда все агенты удалились. – Получена телеграмма от Иванова, который везет настоящего Куликова; значит, зять Петухова, если и не Макарка-душегуб, то во всяком случае какой-то самозванец, проживающий по чужому паспорту.

– Нам хорошо бы поспешить, – произнес один из чиновников; – по моим сведениям, на

заводе происходит что-то неладное. Сегодня Куликов вышел из больницы и долго сидел в своей квартире с рабочим-шпионом. Мне обещали дать знать, если случится что-нибудь значительное.

– Но до сих пор известий нет?

– Нет, я ничего не получал.

– Прекрасно. Значит, пока все благополучно, а в начале седьмого мы будем там. Ягодкин возьмет на себя облаву завода. В его распоряжении будет десять переодетых городских и восемь наших агентов. Все три чиновника, производившие дознание, с четырьмя агентами и пятью городскими займут дом Куликова. Им же я поручаю арестовать сообщника Куликова, рабочего. Сам я с двумя агентами арестую Куликова. Приготовьте две кареты. Я предполагаю сегодня же сделать, в присутствии арестованного Куликова, первоначальный обыск в его квартире. Это необходимо для того, чтобы опечатать квартиру и поставить караул. Ягодкин будет помогать мне при производстве обыска на квартире, а трое чиновников займутся обыском на заводе. Ровно в шесть часов мы тронемся в путь.

Городовых и агентов отправьте с одним из чиновников к заставе на конке. Пусть ждут у самой заставы, разбившись кучками по пять человек. Чиновники и Ягодкин поедут со мной в каретах. Остальное я прикажу на месте. А теперь можете разойтись.

Густерин остался один. Он увлекся предстоящим делом и забыл, что еще не обедал.

«Теперь не до обеда! Только бы не упустить пташки, – думал он. – Кажется, все предусмотрено».

И он шагал по кабинету.

Еще далеко до 6 часов на дворе управления сыскной полиции стали собираться участники дела. Первыми пришли городовые и околоточные, которые через полчаса превратились в штатских, одетых в серые пиджаки, черные фуражки и с хлыстами вместо оружия в руках. Собрались и агенты. Один из чиновников оделил всех деньгами; городовые получили по 30 копеек, агенты и околоточные – по 75 копеек.

– Это на конку и на расходы.

Без нескольких минут 6 часов на двор вышел сам Густерин с Ягодкиным и чиновника-

ми сзади. Толпа сняла фуражки. Густерин обошел ряды, остался доволен и скомандовал:

– На конках к заставе! Чиновник Ильин вас сопровождает и отвечает мне за вас.

Агенты переглянулись. К какой заставе? Ведь говорили к Монокину?

Когда Густерин прошел, агенты обступили Ильина.

– Что это значит? Разве не к Монокину!

– Генерал передумал. К Монокину в другой раз, а сегодня на завод Петухова.

– Прошу отправляться! – раздался голос Густерина. И толпа попарно вышла со двора.

– Мы отправимся через полчаса. Нужно дать время прибыть нашим.

Арест злодея

В начале седьмого часа вечера вся армия, участвовавшая в облаве, была на местах. Густерин окружил как завод Петухова, так и домик, занятый квартирой зятя Петухова и бывшим «Красным кабачком». Теперь он послал за местным приставом и понятыми из среды заставных жителей. Страже, охранявшей все входы и выходы, было строго предписано никого не выпускать и не отлучаться ни под какими предлогами.

– Где Куликов? – приказал узнать Густерин.

– В квартире тестя. Старик умирает. Его управляющий заперт в кладовой, Ганя, кажется, лишилась рассудка, на заводе общая тревога.

– Опоздали, – произнес со вздохом Ягодкин.

– Бегите скорее за докторами, вперед, – командовал Густерин, и четыре агента вместе с начальником сыскной полиции быстро на-

правились во внутренние комнаты Петухова. Они прошли прихожую, залу, столовую и очутились в коридоре, ведущем в кабинет и спальню Тимофея Тимофеевича. У порога они увидели распростертое тело женщины. Это была бесчувственная Ганя.

Два агента и доктор бросились поднимать ее, а Густерин с остальными распахнул двери спальни. Ужасная картина представилась их глазам. На кровати корчился в предсмертной агонии посиневший старик Петухов, а около него стоял со сжатыми кулаками и налившимися кровью глазами его зять. При виде вошедших Куликов отшатнулся, побледнел как полотно и опустил глаза.

– Доктора, скорее доктора, – закричал Густерин. Врач, не успевший еще привести в чувство Ганю, подбежал к кровати умирающего. Слабое биение сердца и пульс свидетельствовали, что старик еще жив, но конечности начинали холодеть, во рту появилась пена, глаза ввалились и темная синева окружала веки.

– Он отравлен, – произнес доктор, – и, по-видимому, спасения нет, необходимо скорее

отправить его в больницу.

– В вашем распоряжении карета и люди; везите сами и употребите все усилия, чтобы спасти несчастного, – сказал Густерин.

В одно мгновение Петухова и его дочь унесли и в двух каретах помчали в больницу.

Злодей стоял все время, не шевелясь и не поднимая глаз.

Он не знал и не понимал, что именно произошло, но видел полицию, и остальное ему было ясно. Опять он попал впросак, опять сорвалось у него в критическую минуту, когда все было готово! Что ж?! Конечно, досадно, обидно, неприятно, но... но будет еще видно!

– Господин Куликов, – произнес Густерин, – я вас арестую именем закона и приглашаю следовать за мной.

– Я повинуюсь, – спокойно ответил злодей, – хоть этот торжественный и неожиданный арест меня очень удивляет и смущает. Я не сомневаюсь в том, что здесь кроется роковое недоразумение, ошибка.

– Мы разберем все это в моем управлении.

– А, так я имею дело с полицией, а не с представителем следственной власти?

– Я не считаю нужным рекомендоваться вам и предъявлять свои полномочия. Вы подчиняетесь распоряжению местной полиции. Господин пристав, неужели ли вам взять этого человека под конвой.

– Может быть, вы скажете мне все-таки, в чем меня обвиняют?

– Я не обязан вступать с вами в объяснения, но извольте – я могу сообщить вам. Вы уличаетесь в самозванстве, в нескольких убийствах, в покушении на отравление тестя и в истязании жены. Довольно с вас?

– Макарка-душегуб! – произнес Ягодкин.

Злодей побледнел и зашатался. Этого «открытия» он никак не ожидал. Значит, все погибло! Бежать, сопротивляться невозможно. Выхода нет. Несколько минут он не мог овладеть собой и, как зверь, попавший в западню, испуганно водил по сторонам глазами. Густерин любовался этим эффектом и не сомневался уже теперь, что Ягодкин был прав. Действительно, это Макарка-душегуб.

– Где Степанов? – спросил он. Арестованный молчал.

– Я вас спрашиваю, где Степанов?

– Там... там...

Макарка сам не соображал теперь ничего, и все его помыслы были сосредоточены на этом внезапном, как с неба свалившемся визите. «Не во сне ли я? – думал он. – Как могли они раскрыть все, когда не было никакого повода? Кто это действовал? Как, откуда?»

Но сколько ни думал он, голова только трещала, в висках стучало, в глазах темнело.

– Где ваш сообщник – рабочий, которому вы передали отравленный квас? – продолжал Ягодкин, который наслаждался растерянностью совершенно пораженного злодея.

Макарка водил глазами, сжимал и разжимал кулаки, переминался с ноги на ногу.

– Слушай, Макарка, – грозно произнес Густерин, – я с тобой церемониться не буду, и ты лучше отвечай на то, что тебя спрашивают. Слышишь?!

И он топнул ногой, подступая лицом к лицу к злодею. Тот молчал.

– Ты долго дурачил правосудие и общество! Ты, беглый каторжник, бродяга, душегуб, проник в почтенное сословие, жил как честный уважаемый коммерсант и продол-

жал свои злодеяния! Довольно! Настало время тебе дать ответ! Отвечай же, где Степанов и рабочий-соучастник?

– Там, там, – тупо шептал Макарка, который все еще не мог овладеть собой.

– Да что с ним разговаривать! Ведите его сюда, пойдете на завод и к нему в квартиру.

– Позвольте связать ему руки, – шепнул Ягодкин на ухо начальнику.

– Нет, неудобно, не надо...

Процессия пошла по заводу.

– Управляющий связанный лежит в амбаре, – громко произнесли несколько рабочих.

– Кто? Степанов?!

– Так точно!

– Ведите нас скорее.

– Ключ где? – закричал Густерин, когда они подошли к двери с большим висячим замком, откуда раздавались стоны.

– У них-с, – отвечали рабочие, указывая на Макарку.

– Ключ!

– Не знаю, не помню.

– Ломайте двери!

Несколько ломов быстро сорвали двери с

петель. Степанов с перекрученными руками лежал на кулях и стонал от боли. Когда он увидел Густерина и сзади растерянного, бледного зятя Петухова, он забыл все и бросился к ним.

– Ради бога, спасите Петухова! Он умирает!!

– Успокойтесь! Петухов и дочь отправлены уже в больницу.

– И Ганя?! Он убил Ганю!!

– Пока ничего неизвестно.

Веревки перерезали. Кровяные глубокие рубцы свидетельствовали, что Макарка скрутил Степанова, как опытный каторжник. Степанов не мог владеть руками.

– Не угодно ли и вам отправиться в больницу; у вас может образоваться застой крови.

– Пожалуйста, помогите, невыносимая боль.

Густерин приказал немедленно отвезти Степанова в ту же больницу.

– Каков злодей! – переглянулись Ягодкин с Густериным.

– Да, душегуб настоящий!

– А вы еще стесняетесь его связать?

– Неловко. Ведь мы не душегубы!

– С такими преступниками церемонии излишни!

– Однако нам нужно арестовать еще его сообщника.

– Он арестован уже на дворе, – доложил агент.

– Арестован? Ну, отлично. Идемте к нему на квартиру! Нужно сейчас сделать предварительный обыск и все опечатать.

– На квартиру! – воскликнул Макарка, и глаза его оживились, он сразу преобразился, к нему вернулось самообладание. Рот искривился даже в улыбку. Он откинул голову и посмотрел в упор на Густерина.

– Я надеюсь, ваше превосходительство, что скоро вы пожалеете о своей поспешности!

Ягодкин заметил перемену, происшедшую в Макарке, он почувствовал, что это не к добру, и шепнул Густерину:

– Злодей что-то замышляет. Надо быть осторожнее.

– Пустяки! Его песня спета!

И, обращаясь к Макарке, Густерин произнес:

– Ты не запугивать ли меня хочешь?

– Увидите, ваше превосходительство! Я честный человек, купец. Вы опозорили меня, разоряете и вы ответите за это! – Макарка говорил тем же самоуверенным и спокойным тоном, как всегда. От недавнего конфуза и растерянности не осталось и следа.

– Я-то отвечу за свои распоряжения. Посмотрим, как ты ответишь за свои подвиги! Идемте, господа. Окружите Макарку, чтобы он не вздумал пытаться бежать.

– Меня зовут, ваше превосходительство, Иваном, а не Макаром, и бежать честным людям нет надобности.

– Молчать! – повелительно произнес Густерин и пошел вперед.

Рассказы о событиях на заводе Петухова облетели уже всю заставу, и толпа народа собралась у ворот. Идти приходилось через улицу, сквозь толпу.

– Нельзя ли кругом как-нибудь обойти? – спросил Густерин.

– Можно через огород, прямо...

Они пошли по двору. Арестованный рабочий-соучастник рыдал, как ребенок, и молил

его отпустить. Увидев процессию, он бросился в ноги Макарке:

– Иван Степанович, за что меня взяли? Что я сделал?

– Отправьте его в управление! – приказал Густерин. Рабочий не переставал рыдать и молить.

– Тоже жертва душегуба, – произнес Ягодкин. – Бедняга и не знал, какую бутылку злодей велел ему подать к столу.

– Весьма возможно.

Они вышли на улицу, миновав толпу, и, перейдя на другую сторону, пошли задними фасадами. Макарка шел бодро и спокойно, заложив руки за спину и весело поглядывая на любопытные головы, высунувшиеся в окна. Нельзя было поверить, что это преступник, уличенный в целом ряде кровавых злодеяний. Встречавшиеся соседи почтительно с ним раскланивались, уверенные, что он ведет к себе гостей. Ягодкин не спускал с него глаз.

– Что-то он задумал. Быть беде. И отчего Густерин не скрутит ему рук?!

Вот и домик «Красного кабачка».

– А ключ у кого?

– У Петухова, на кухне.

– Ломайте двери.

Понятые с городовыми быстро исполнили приказание.

– Все ли на местах? – спросил Густерин.

– У каждого окна по два агента, а у дверей по городовому; дом окружен со всех сторон.

– Иди ты вперед, – приказал Густерин Макарке. Арестант развязно вошел в двери и, обращаясь к окружающим, произнес:

– Милости просим!

Одно мгновение... Он проскочил в подъезд, захлопнул вторые двери и повернул ключ...

– Проклятье! – заревел Ягодкин и бросился к двери.

– Ломайте скорее!.. Стража, приготовьте револьверы, смотрите в оба, – закричал Густерин на улицу.

– Выходы все заняты, он не уйдет!..

Дверь подалась и под напором нескольких дюжих плеч распахнулась... Как остервенелый Ягодкин ворвался в квартиру и стал метаться по комнатам... Макарки нигде не было!..

– Все погибло!

– Не может быть, ему некуда скрыться!

– Ах, боже мой, – простонал Ягодкин, – да ведь я докладывал вашему превосходительству, что в этом доме есть какие-то подземные подвалы, откуда слышались стоны. Это старинный дом с тайными выходами! Ищите теперь его!

Все стояли как громом пораженные.

– Чего же вы стоите! Давайте искать! Ломайте стены, полы...

Ягодкин опустил руки.

– Это легче сказать, чем сделать! Стены крепкие, не поддающиеся лому, а мы не знаем даже, откуда начинать!

– Зовите каменщиков, – распорядился Густерин, – ломайте!

Ягодкин покачал головой.

– Ломать бесполезно, ваше превосходительство, нужно искать и найти секретные плиты и скобы. А вот мы не знаем, где выходы. Может быть, подземными коридорами есть выход в поле. Нужно там расставить стражу. Оцепите поле на версту! Вызовите резервных городских, казаков.

– Хорошо. Подпишите приказ моим именем.

– Нет ли кого-нибудь из здешних старожил, которые знают этот дом? Кто жил здесь до Макарки?

– Господин пристав, разузнайте сейчас это!

– Теперь поздно, смеркается, нужно отложить розыски до утра.

– Трудно будет теперь его изловить, – проговорил Ягодкин. – Его хвост не удержим, коли гриву упустили. Связать его было нужно и держать на веревке. С такими разбойниками нельзя соблюдать правил вежливости и приличия!

– И все-таки он не уйдет из наших рук, – твердо произнес Густерин.

Ягодкин недоверчиво покачал головой.

Подземелье

Орловский Куликов был благополучно доставлен в Петербург. Одетый барином, постоянно во хмелю, без вытрезвления, он выглядел каким-то пшютом, с развязными манерами и бесцеремонным обращением с окружающими. Он даже похлопывал по плечу Павлова и все приговаривал:

– О, не беспокойтесь, мой друг! Мы этого Макарку, как пить дать, уличим!..

Павлов улыбался глядя на этого бродяжку, который, благодаря хорошей водке и костюму, так быстро превратился в настоящего денди.

– Хоть сейчас на солнечную сторону Невского проспекта, в нарядную толпу гуляющих.

Иванов донес своему начальству о задержании орловского Куликова и тревожно следил за ним, опасаясь потерять франта где-нибудь в дороге, в буфете. Куликов выпросил «карманных» пять рублей и не пропускал ни

одной станции с буфетом. Он только негодовал, что водка дорога.

– Помилуйте, одна рюмка гривенник! Хорошо еще, что я не закусываю, а то разорение! И почему это они так дерут?!

Из Москвы Павлов телеграфировал Степанову лаконично:

«Везем Куликова».

Эта телеграмма была получена уже после известной читателям катастрофы. Из Москвы наши путешественники отправились с почтовым поездом и на следующий день, в одиннадцать часов утра, были в Петербурге.

Павлову страшно хотелось немедленно ехать на завод Петухова, но Иванов уговорил его посетить сначала вместе Густерина и доложить ему все подробности. Павлов согласился. Едва они вошли в управление сыскной полиции, как им сообщили уже о вчерашнем происшествии. Макарка-душегуб успел отравить тестя, убил, кажется, жену и под носом у Густерина скрылся.

Как громом поразила эта весть Павлова.

– Значит, опять опоздали, – прошептал он,

опустив руки! – Господи! Неужели на роду мне написано всегда опаздывать?!

Сыскное отделение все было на ногах... Густерин со всеми остальными участниками об-лавы отправлялся на обыск в дом мнимого Куликова... Когда ему доложили о прибытии Иванова с задержанным Куликовым, он немедленно их принял.

– Здравствуйте, господа, поздравляю вас. Ну, господин Куликов, расскажите, как вы продали свой паспорт Макарке-душегубу.

– В этапе, ваше превосходительство, мы поменялись кличками... Больше я ничего не знаю.

– А вы узнали бы этого Макарку?

– Узнал бы!

– Посмотрите на эту карточку...

– Он! Он, разбойник, – воскликнул Куликов, смотря на карточку владельца «Красного кабачка».

Зять Петухова никогда не снимался и никому не давал своих фотографий, но, при разрешении питейных заведений, обязательно требуется предоставление в полицию фотографии, и поэтому он должен был сняться.

Эта-то карточка и лежала теперь на столе Густерина.

– Уверены ли вы, что это он?

– Еще бы! Вот эти выдавшиеся скулы, глаза навывкате – других таких не встретишь... И потом у него выжженная метка на левой руке, выше локтя... Метка имеет вид круглой раны. Сейчас можно посмотреть?

– К сожалению, сейчас мы ничего не увидим! Злодей скрылся!.. Во всяком случае, я попрошу вас остаться у нас...

– У вас? Значит, вы меня арестуете?..

– Вы, как лицо, продавшее преступнику свой паспорт и содействовавшее ему к побегу, несомненно, имеете причастность к делу, а, ввиду вашего признания, я вправе подвергнуть вас личному задержанию.

Куликов посмотрел на Павлова и Иванова.

– Они обманули меня, – произнес он грустно.

– Никто вас не обманывал! Вы должны находиться здесь для очной ставки с Макаровой...

Густерин сделал знак Иванову, и он повел арестованного.

– Мои обязанности окончены? – спросил Павлов.

– Разумеется. Может быть, вы хотите присутствовать при обыске?

– Нет... Я хочу повидать отправленных в больницу Петухова с дочерью.

– Как вам будет угодно, вы свободны.

Павлов удалился, а чиновники сыскальной полиции со своим начальником отправились на обыск. Ягодкин с двумя агентами вчера же выразил желание ночевать в квартире Марки, не прерывая розысков. Они не ложились спать и всю белую ночь наблюдали за расставленными пикетами, выслеживали расположение окрестностей, искали возможных выходов, выстукивали стены и полы. Уже под утро, расставив везде новые смены и дав подробные инструкции, Ягодкин прилег на диване, приказав одному из агентов дежурить в квартире. Он сейчас же крепко уснул. Гробовая тишина кругом повлияла и на агента, который вскоре также уснул. Прошло часа три, как вдруг сильный стук в окно заставил спавших вскочить. Они протерли глаза и удивленно озирались... Стражник, стоявший

в окне, махал им палкой и указывал на дверь, ведущую в кухню.

– Что случилось?..

– Вы крепко спали, а Макарка расхаживал по комнатам с топором, – отвечал стражник. – Если бы он не увидел меня у окна, то, верно, разрубил бы вам обоим головы.

– Где же он?

– Ушел в ту дверь, в кухню! Как увидел меня, так и юркнул туда.

– Стража там у окон кухни, на месте?

– Все на месте. Выйти из дому он не мог!

– Хорошо ли видели? Макарка ли это?

– Тот самый, зять Петухова, которого мы арестовали! И платье на нем то же, а топор маленький, английский.

Они вошли в кухню. Топор валялся в углу.

– Этот?

– Этот самый!

– Сомнения не может быть! Злодей здесь, в кухне, но где?! Большая плита, стол, кровать. Пол каменный. Две стены наружных, третья деревянная переборка, выходящая в кабинет, и четвертая тоже деревянная, выходящая в коридор. Значит, тайные выходы могут быть

только в полу. Нужно вскрыть весь пол.

Скоро прибыл Густерин с чиновниками для обыска. Ему доложили о происшедшем.

– Да, разумеется, приступим немедленно к разборке пола! Это облегчает наш труд! Пришлось бы ломать все стены и полы, а теперь мы, без сомнения, ограничимся одной кухней!..

Несколько рабочих начали вынимать плиты. Пол оказался двойной, под плитами лежал деревянный настил и затем уже грунтовая земля. Решили снимать щиты рядами и разбирать настил. Первый ряд, ближайший к наружной стене, был разобран в полчаса, но настил плохо поддавался ломам, пришлось разбивать доски топорами; грунт тоже раскапывали, ограничиваясь верхними слоями земли. Работа двигалась медленно. Густерин оставил при работах Ягодкина и приступил к обыску в других комнатах, начав с кабинета. Первое, что бросилось ему в глаза, была толстая ременная плеть со следами запекшейся крови. Нервная дрожь пробежала у него по всему телу, когда он взял эту плеть в руки.

– Несчастливая жена! Такою плетью не бьют

даже лошадей!

Большой письменный стол был завален разными безделушками, счетами и бумагами завода Петухова. Опытный взор Густерина упал на склянку, с надписью «осторожно». В этой склянке, наполовину пустой, был раствор сулемы.

– Вот чем отравил злодей старика Петухова!

Плеть и склянка были опечатаны и приобщены к вещественным доказательствам.

– При наличии таких данных, – произнес Густерин, – можно передать дело судебным властям! Необходимо сейчас же съездить за следователем.

Обыск продолжался. В камине нашли свежий пепел, свидетельствовавший, что недавно жгли много бумаги. Тщательно агенты вынимали из камина все уцелевшее от огня и складывали бережно в пакет. Слесарь открыл ящики письменного стола; в них хранились груды разных вещей и бумаг; все это выворотили на диван и стали разбирать.

– Что это? Три футляра с графской короной. Футляры пустые, но внутри, на атласной под-

кладке – герб графов Самбери!

Сомнений нет: это футляры из-под бриллиантов, похищенных при убийстве камердинера. Может быть, это футляры от тех самых драгоценностей, которые возил Макарка к немцу-ювелиру. Он сунул пустые футляры в стол и забыл после об их существовании! Улика очень веская.

– А это что? Целая коллекция кинжалов! На многих следы крови. Такая коллекция встречается только у настоящих разбойников! Один длинный кинжал – настоящий быкбойный. На его ручке отпечатались пять окровавленных пальцев, составляющих следы ладони; если к этому следу приложить руку, то можно узнать, чьей руке принадлежит след, до такой степени он хорошо сохранился; по-видимому, кинжал был брошен в ящик скоро после его использования и в таком положении оставался. Если бы ладонь руки Макарки пришлась к этому следу, то улика была бы одна из самых существенных.

Стали перерывать серебро, набитое в нижнем ящике. Массивный портсигар с инициалами «О. С.».

– Неужели эти инициалы принадлежат Онуфрию Смулеву? Неужели сумасшедший Коркин говорил правду в бреде, что в ящике стола Макарки хранится портсигар убитого Смулева?! Значит, Макарка, действительно, сознался ему и сказал правду!

– Ба-ба-ба... золотой образок с надписью: «Храни тебя Бог. Алеше Смирнову от дяди». Да ведь этот образок унесен убийцей, перерезавшим семью Смирнова в 188* году?! Как мог он храниться здесь столько времени?

– А вот и дорожный стаканчик с теми же инициалами «О. С.»!

Прибыл следователь. Густерин в кратких словах ознакомил его с добытыми данными и рассказал об исчезновении Макарки в кухне.

– Раскопки пола через полчаса будут окончены, а пока мы делаем осмотр вещей кабинета. Посмотрите, сколько улик! А как вам нравится эта плеть?!

– Ужасно, ужасно, – произнес следователь. – Когда этот мнимый Куликов был у меня на допросе по делу Коркиной, я инстинктивно угадывал в нем страшного злодея! Знаете ли, опыт доказал, что, чем преступник бо-

лее закоренел, тем он становится наглее с правосудием! Таковым был и Куликов, он до глубины души меня возмутил!

– Вот не угодно ли посмотреть обрывки бумаг, вынутых нами среди пепла из камина. Тут есть кусочки паспортов, каких-то счетов... а это... это...

– Позвольте! Да ведь это рисунок бриллиантовой броши графа Самбери!

– Ах, да, да, помните, ведь ювелир говорил, что господин, приносивший бриллианты, унес у него рисунок, присланный ему из полиции. Вероятно, это тот самый рисунок!

– Конечно. В связи с этими футлярами теперь не может быть сомнения, что Макарка сбывал бриллианты.

– Мы нашли, значит, улики всех трех злодеяний Макарки: убийств семьи Смирновых, Онуфрия Смужева и камердинера графа Самбери! Не нашли мы только самого главного!

– Ваше превосходительство, – раздался крик из кухни, – скорее сюда!

– Пойдемте, похоже, нашли что-нибудь.

Следователь с Густериным направились в кухню.

Пол весь почти был уже снят, и под одной из плит оказалась глубокая яма с чернеющей мглой в глубине.

– Ага, спуск в подземелье! Ну, вот, значит, вход найден! Макарка сюда убежал! Но где выход из подземелья и есть ли еще вход?! Если нет, то мы уморим его там голодом или он выйдет сам добровольно, а если выход есть...

– Мы должны это сейчас же исследовать, пока пикеты в поле не сняты! Нельзя думать, чтобы подземный коридор был велик; но возможно, что выход находится вне дома.

– Легко сказать – исследовать, – произнес Густерин, – но не так-то легко это исполнить! Яма узка, пожалуй, там и фонарь гореть не будет! Дайте длинную палку, надо измерить глубину.

Шест опустили на четыре аршина, и он стукнулся о землю. Стали ощупывать стенки. Пустота оказалась на северо-западе, по направлению к полю.

– Видите! Значит, выход должен быть в поле! Теперь достаньте лестницу, и надо спуститься. Кто спустится первый?

Все переглянулись и попятились.

– Возможно, что злодей притаился в глубине и ждет с кинжалом в руке! – произнес следователь.

– Я иду первый, – твердо сказал Густерин. – Давайте лестницу и фонарь.

– Позвольте мне, ваше превосходительство, – предложил Ягодкин.

– Вы можете идти за мной, если хотите.

– Я пойду с двумя агентами. Вам не следует рисковать.

– Не думаете ли вы, что я боюсь Макарки?! Я застрелю его раньше, чем он двинется с места, но если бы мне и суждено было погибнуть от его руки – пусть! Опасность никогда меня не останавливала.

Лестницу опустили. Густерин взял в руки фонарь и стал спускаться.

В больнице

Положение старика Петухова, отравленного раствором сулемы, было признано врачами почти безнадежным. Целые сутки, несмотря на все принятые меры, он не приходил в сознание, и были моменты, когда его считали уже мертвым. Но на вторые сутки старик стал приходить в сознание. Железное здоровье и необыкновенно крепкий организм выдержали жестокую борьбу с отравой, чему немало способствовали промывание желудка и сильные дозы противоядия. Тимофей Тимофеевич осунулся, похудел, щеки ввалились, глаза потухли, и слабость была так велика, что он не мог ни шевелиться, ни говорить. Безысходная грусть лежала на добром, выразительном лице старика. Вместе с бодростью, силами, здоровьем исчезли присутствие духа, самоуверенность, надежда на будущее. Он считал все потерянным, и первые минуты сознания казались ему новым тяжким наказанием Провидения.

Смутно припомнил он суровую исповедь своего зятя, оказавшегося Макаркою-душегубом, падение избитой, бесчувственной дочери, разорение завода, торжество злодея, давшего ему отраву. После этого все было конечно – он перешел в иной мир, и вдруг... возвращение... Да, несомненно, он вернулся к этой, земной жизни, где у него все, все потеряно и где ничто не ждет его, кроме новых страданий, мучений. Не без ужаса смотрел он на дверь, ожидая появления грозного зятя с его страшными глазами, кулачищами. О, если бы он прикончил его, разбил голову обухом. Неужели долго еще так мучиться?! Нет больше сил, нет и смысла, цели жить!

«Но где я? – думал Тимофей Тимофеевич, оглядывая просторную, чистую, светлую комнату, столик с лекарствами, высокий лепной потолок. – Это не мой кабинет. Неужели я в квартире зятя?»

И он поспешил закрыть глаза. Дверь приоткрылась, сестра милосердия заглянула на кровать и, увидев, что больной спит, опять закрыла дверь. Но старик не мог заснуть. Тяжелые мучительные думы щемили его душу, ле-

жали камнем на сердце. Мысль о погибшей дочери и душегубе-зятке ни на мгновение не покидала его ослабевший мозг. Он сделал отчаянное усилие приподняться, пошевелиться и не смог. Какой-то паралич омертвил все его члены. Ему хотелось кричать, позвать людей, выяснить свое положение, узнать о дочери, но язык точно прилип к гортани. Ни единого звука.

– О, боже! Неужели я так буду жить!!

Сердце щемило такой болью, в сравнении с которой физическая боль казалась шуткой. Единственное движение, доступное ему, было открывать и закрывать глаза. Но открывать он боялся, ожидая снова увидеть у кровати разбойничью фигуру зятя. Шли томительные часы. Вот кто-то вошел. Тимофей Тимофеевич слышит голоса, чувствует прикосновение чьих-то рук. Слава богу! Значит, слух и чувствительность не покинули его, так же как и зрение! Значит, он не совсем еще труп! Что это?! Знакомый голос шепчет:

– Доктор, ради бога, скажите, спасен ли он?

– Еще ничего нельзя сказать. Кризис миновал, но может повториться! Больному нужен

полный покой, – отвечал другой голос, незнакомый.

Чья-то рука стала измерять его пульс. Тимофей Тимофеевич открыл глаза. У кровати стоял Павлов. Глаза старика засветились радостным огнем, слабое сердце учащенно забилось, но язык по-прежнему не повиновался. Он хотел бы закричать от радости, рассказать все другу, спросить у него про Ганю и не мог, не мог даже жестами объяснить! А Павлов схватил его руку и стал покрывать ее поцелуями.

– Дорогой Тимофей Тимофеевич, вы спасены, Ганя тоже, злодей пойман, закован в цепи.

Глаза старика загорелись.

– Не волнуйте больного, не говорите, – остановил доктор, – вы можете убить его.

И обращаясь к больному, доктор прибавил:

– Старайтесь не думать ни о чем и засните: вам нужно укрепить силы, иначе болезнь затянется. Я обещаю вам через неделю полное выздоровление, если вы будете меня слушаться.

Глаза старика забегали, заморгали, и на них появились слезинки. Это были слезы благодарности, слезы радости. Такие слезы не убивают больного, но доктор все-таки погрозил Павлову пальцем.

– Я говорил, что вам нельзя входить!

– Ну, спите, спите, завтра мы опять придем к вам, – прибавил доктор и вышел вместе с Павловым из комнаты, оставив у кровати сестру милосердия.

Они перешли в соседнюю палату, где лежала Ганя.

Положение молодой женщины было также серьезное. Она преждевременно разрешилась мертвым младенцем, и ее со слабыми признаками жизни подняли в коридор и отправили в больницу. Все это, вместе со страшнейшим нервным потрясением и несколькими ушибами от ударов злодея и падения, довело женщину до полного истощения сил. Доктора боялись за нее не меньше чем за отца.

На кровати с белоснежным бельем Ганя лежала с распущенными волосами, искаженным страданиями лицом и походила на жи-

вые мощи, что в гроб краше кладут. Ни протеста, ни стога, ни ропота или жалобы никто от нее не слышал. За последний год она так привыкла к страданиям физическим и нравственным, что ничто уже не пугало, не удивляло и не приводило ее в отчаяние. Силы только подчас покидали ее, и теперь вот она находилась между жизнью и смертью, почти не проявляя сознания. Когда Павлов вошел в комнату и увидел лежавшую Ганю, он обратился к доктору с вопросом:

– А где же дочь Петухова?

– Вот, – указал доктор на больную.

– Нет, вы ошибаетесь! Это не она! Я ведь знаю Агафью Петухову!

– У нас только одна Агафья Петухова, вот эта, – пожал плечами доктор.

Павлов не видел Гани со времени ее замужества и, хотя слышал о пережитых ею невзгодах, но ему в голову не приходило, чтобы двадцатилетняя женщина могла так измениться! Пожелтевшая кожа обтягивала скулы и лобную кость, заострившийся нос вытянулся, рот сделался большим без губ, округленный подбородок исчез. Даже от густой русой

косы остались жидкие космы.

– Ганя, Ганя, неужели это ты? – простонал Павлов.

Все время Павлов мечтал встретить красавицу-девушку, которой он любовался, когда она была девочкой, и вдруг перед ним сухая, тощая, полуживая женщина, лет сорока... Даже следа от прежней Гани не осталось.

Больная услышала свое имя и открыла глаза. Увидев Павлова, она сделала усилие улыбнуться и приподняла свою костлявую руку.

– Здравствуйте, Дмитрий Ильич, – прошептала она, – не узнаете?

И опять болезненная улыбка искривила ее лицо. Павлов бросился к руке и страстно прижал ее к губам.

– Агафья Тимофеевна, неужели вы столько вытерпели?! О! О! Как вы страдали!!

– Отец что? – прошептала она.

– Сейчас я от него; поправляется, а вы как себя чувствуете?

– Пло-хо, Дмитрий Ильич, верно Бог услышал мои молитвы, умираю!

– Ганя, ангел мой, не говори этого, – зарыдал не вытерпевший Павлов и упал к ее но-

гам.

Доктор оттащил его и сердито произнес:

– Как вам не стыдно! Вы не думаете о том, что делаете!

– Ганя, я не могу больше скрывать свои чувства; я люблю тебя теперь больше, чем прежде! Ты несчастна, ты страдаешь, но я вырву тебя из когтей зверя! Он пойман, его скоро казнят, отдайте мне вашу руку! Я сумею сделать вас счастливой, я заглажу, залечу ваши раны...

Ганя уставила на него удивленные глаза. Она не ожидала этого признания, особенно в такую роковую минуту. Павлов всегда нравился ей, но она ни разу мысленно не представляла его своим женихом, хотя Степанов часто делал прозрачные намеки. В эту минуту, когда она ждала, как великого счастья, смерти, признание в любви казалось ей каким-то чудовищным фарсом. Но достаточно было взглянуть на Павлова, чтобы понять, что ему не до шуток. Слова вырывались у него из глубины души и звучали такой болью, что даже доктор отошел и, покачав головой, вышел совсем из комнаты.

Павлов, рыдая, опустился на колени около кровати и не мог оторвать глаз от страдальческого лица своей возлюбленной. Только теперь он ясно понял, как глубоко у него чувство любви, сострадания и уважения к «жене каторжника»! Он сам не подозревал даже, что преступное увлечение чужой женой пустило в его сердце такие глубокие корни! Эта страшная перемена в Гане, превращение красавицы в старушку не только не ослабило, но усилило еще его привязанность. Долго любовался он дорогими чертами мученического лица и видел, что присутствие его влияет благотворно на больную.

У нее появилось отражение того примирения с жизнью, которое обуславливается душевным покоем, столь дорогим и необходимым в теперешнем ее положении. То, чего не могла достигнуть никакими медикаментами врачебная наука, достигалось этой безмолвной сценой. Ганя не давала себе отчета в происходившем, но чувствовала, что ей стало лучше. «Хорошо» было и Павлову, тоже порядочно измучившемуся за последнее время.

Ганя первая прервала молчание:

– Как отец, скажите мне правду?

– Клянусь вам, ему лучше, хоть он и слаб. Я попрошу доктора, чтобы снесли вашу кровать в его комнату.

– Ах, пожалуйста, умоляю вас!

– Это будет лучшее лекарство для вас обоих. А я не покину вас больше ни на минуту. Ганя, Ганя, позвольте мне называть вас так, позвольте говорить вам «ты», ведь вы теперь свободная вдова! Каторжник – самозванец, сделавшийся вашим палачом, а не муж, и он попал в руки правосудия. Он даст ответ за все свои злодеяния!

Ганя с благодарностью посмотрела на своего друга и ласково кивнула ему головой. В эту минуту вошел доктор.

– У нас к вам просьба, – обратился к нему Павлов, – разрешите вне правил перенести кровать больной дочери к отцу и примите меня бессменной сиделкой.

Доктор улыбнулся.

– Это вне всяких правил, но я вижу, что лучшего лекарства моим больным трудно придумать! Извольте, я разрешаю, хотя рискую получить выговор от главного врача.

– О, мы на коленях будем просить за вас господина начальника.

Ганю обложили подушками, так что она села на кровати, и два сторожа с помощью Павлова понесли драгоценную ношу. Ганя улыбалась.

Когда они вошли в комнату Петухова и старик, открыв глаза, увидел дочь, он испустил радостный крик.

– Вот видите, – воскликнул доктор, – наш больной, кажется, хочет говорить!

Кровати поставили рядом, и Ганя, перегнувшись, обхватила руками шею отца. Слезы невольно текли из их глаз. Павлов стоял в ногах и тоже плакал.

– Тимофей Тимофеевич, – произнес Павлов, – ваша дочь позволила мне назвать ее своей. Разрешите мне звать вас папенькой. Она теперь вдова и скоро, быть может, делается опять молодой женой.

Старик недоверчиво посмотрел на Павлова и промычал что-то.

– Папенька, – прошептала Ганя, – Дмитрий Ильич говорит, что давно меня любит. Он и вас любит, он добрый, он много, много для

нас сделал.

Старик учащенно замигал глазами и опять что-то промычал. Павлов поцеловал его руку.

– Я не отойду теперь от вас, папенька, я буду с вами все время до вашего выздоровления.

– А где Степанов? – вдруг спросила Ганя.

– Степанов тоже здесь, в больнице...

– Злодей скрутил ему руки и запер в чулан при мне, я видела. О, боже! Как все это страшно...

– Успокойтесь. Все это прошло и никогда больше не возвратится. Степанов совсем здоров. Душегуб в руках правосудия. Теперь все пойдет по-хорошему. Ваши черные дни миновали.

Ганя вздохнула.

– Смотрите, так ли?

Еще одна жертва

Густерин спустился в подземелье. Духота и мрак ошеломили его. В первую минуту он не видел ничего, а шум в ушах, стук в висках и слабость во всем теле заставили его скорее подняться назад по лестнице, из опасения лишиться чувств.

– Позвольте, ваше превосходительство, теперь мне спуститься с Ивановым, – обратился к нему Ягодкин, принимая фонарь.

Густерин не протестовал, слабость и шум в ушах усилились, так что в таком состоянии пытаться опять спуститься было небезопасно.

Ягодкин и за ним Иванов быстро исчезли в подземелье.

Прошло около четверти часа, когда наконец из отверстия высунулась голова Иванова.

– Мы нашли несколько ящичков. Берите...

И он просунул первый ящик, за ним второй, третий, четвертый. Прошло опять более четверти часа. Наконец, Ягодкин и за ним Иванов поднялись.

– Там тяжелая, железная дверь с массивным висячим замком. Без слесаря ее открыть невозможно. Кроме того, есть круглое отверстие в земле, в которое можно ползком пролезть. Из отверстия идет свежий воздух, так что, несомненно, из этой дыры есть выход наружу и этим выходом бежал Макарка. В погребке никого нет, и, кроме этих ящичков, там ничего больше не осталось.

– Что же вы думаете делать с дверью и с той дырой?

– Дверь необходимо взломать, а круглое отверстие всего лучше исследовать снаружи; оно идет на незначительной глубине, так что раскопать его не трудно, а забираться в отверстие ползком очень рискованно; злодей может нарочно завалить наружный выход, и тогда придется там задохнуться, потому что повернуться в отверстии невозможно и назад не выйдешь.

– Это верно! Необходимо немедленно приступить к раскопкам и вести их по направлению подземного хода. Пристав, – распорядился Густерин, – пригласите человек двадцать землекопов. Давайте вскрывать ящички. Мо-

жет быть, в этих ящиках найдем какие-нибудь указания.

Следователь составил протокол наружного осмотра ящиков, числом пять. Все деревянные, разных размеров, с внутренними замками, довольно тяжелые. Начали вскрывать при помощи долота. Первый ящик оказался набитым процентными бумагами и пачками кредитных билетов.

– Ба! Да здесь целое состояние! Тысяч на сто, если не больше.

– Макарка получил ведь пятьдесят тысяч наличными приданого за дочерью Петухова. Эти деньги подлежат возврату Петухову или его наследникам.

– Но здесь гораздо больше пятидесяти тысяч.

– Остальные – его сбережения и добыча! Во всяком случае все должно быть отобрано от злодея и приобщено к вещественным доказательствам.

Второй ящик был вскрыт, и в нем нашли толстую связку документов. Десятки паспортов, разных удостоверений, открытые листы.

– Все это нужно тщательно пересмотреть, –

заметил следователь, – и занести в протокол.

– Пойдите! Вот паспорт Макара Синева! Это известный разбойник Поволжья, убийца красавицы-дочери одного помещика, Нади Поршевой. Неужели Макарка и есть этот самый Макар Синева?!

– Весьма возможно. Но что это за дело об убийстве Нади Поршевой?

– Возмутительное дело. Синева похитил Надю, которой тогда только что исполнилось семнадцать лет, и ночью увез ее с собой в низовья Волги. Родители подняли тревогу, поставили полицию на ноги, но розыски ни к чему не привели. Спустя полгода Надя вырвалась из плена злодея и вернулась в дом родителей; она рассказала полиции, где и как Синева скрывается, указала места его стоянок и подробно сообщила о своем шестимесячном пребывании в плену. Макар Синева клялся ей в любви, обещал начать новую жизнь, молил полюбить его, но он был ей противен и страшен так, что она ждала только случая бежать. Раза четыре ей удавалось уйти из табора Синева, но каждый раз ее ловили и возвращали. Синева сердился, укорял ее, грозил, но в конце

концов прощал. Только при помощи случайно проходившего мимо их табора конвоя солдат ей удалось вырваться от разбойников и просить охраны конвоя. Ее доставили в Казань, где она и дала пространные указания о разбойнике Синеве и его шайке. Она описала всю жизнь и весь быт Синева, которого тогда уже начали звать Макаркою-душегубом, и многие негодяи искали его защиты и помощи. Рассказ Нади Поршевской мог бы составить любопытный роман, так подробно и картинно рассказала она все, что пережила за полгода. Благодаря указаниям девушки, шайка Синева почти вся была истреблена и переловлена. Один Синев успел бежать и бесследно пропал в окрестностях Казани. О нем стали уже забывать, как вдруг страшное злодеяние заставило всех ужаснуться. Надя Поршевская, объявленная невеста соседнего помещика, однажды утром была найдена в своей квартире с перерезанным горлом. Судя по жестокости и силе нанесенных ран, не было сомнения, что Надя сделалась жертвой мщения злодея. Ее роскошная, золотистая коса была отрезана, а палец с обручальным кольцом от-

рублен. То и другое исчезло. После этого варварского убийства никто ничего не слышал уже более о Синеве, и память о его шайке скоро изгладилась в населении. Только в деревнях можно слышать имя Макарки Синева, которым бабы пугают ребятишек.

– Значит, Синев – это настоящая фамилия мнимого Куликова?

– Да, он родом из Пермской губернии, местный мещанин; его еще мальчиком отдали на уральские прииски, где он и превратился в закоренелого злодея.

– Вот видите, личность Макарки-душегуба начинает проясняться.

– Разумеется, это только предположения, но поищем еще, давайте третий ящик.

Вскрыли третий ящик, в котором оказалось множество ценных предметов.

– Трофеи злодея! Происхождение этих вещей трудно будет найти, хотя нельзя сомневаться, что все это добыто грабежами и убийствами. Неужели Макарка пошел бы в Гостиный двор покупать эти серебряные кувшинчики, которые ему вовсе не нужны, или эти помятые браслеты!

– Конечно. Но эти предметы могут послужить нитью к раскрытию новых, неизвестных еще преступлений злодея!

– Ах, удастся ли нам скоро поймать его! В руках ведь был!!

– Поймаем! У нас теперь много следов!

Четвертый ящик, раскрытый под яркими лучами полуденного солнца, совершенно ослепил присутствовавших и заставил их зажмуриться. Бриллианты загорались всеми цветами радуги.

– Батюшки, – воскликнул Густерин, – да ведь это бриллианты графа Самбери!

– Да, да, посмотрите, тут все фамильные сокровища графа, похищенные при убийстве камердинера!

– Так вот кому достались плоды преступления Антона Смолина. Бедняга теперь идет на каторгу, а его главный сообщник кутил по «салашкам» и душил Петухова с дочерью! И почему он не выдал Макарки? Может, его участие тогда значительно смягчили бы!

– Неизвестно только, как эти бриллианты достались Макарке!

– Не подарок же это убийц! Очень возмож-

но, что...

– Не забывайте, ваше превосходительство, – перебил Ягодкин, – что буфетчик видел своего хозяина с каким-то господином всего в крови. Это было в день убийства камердинера! Едва ли можно сомневаться, что смертельная рана камердинеру нанесена опытной рукой Макарки, а второй господин в крови, был по всей вероятности, Антон Смолин.

– Или лакей Игнатий?

– Если лакей Игнатий, то Антон совсем ни при чем и пошел на каторгу невинно!

– Посмотрим. Можно будет и вернуть его, если точно окажется.

– Ну, господа, пятый ящик.

Когда слесарь приподнял крышку пятого ящика, все отшатнулись и онемели от удивления. В ящике лежал большой портрет красавицы Нади Поршевской, толстая золотистая коса и в небольшой баночке со спиртом палец с обручальным кольцом. Тут же находилась связка каких-то писем и браслет с бриллиантами.

Читатели помнят, что зять Петухова, еще недавно пересматривая свои ящики, не от-

крыл этого ящика и только произнес перед ним загадочный монолог, обвиняя «ее» в своей гибели. Теперь значение этих таинственных восклицаний объяснилось.

– Вот вещественные доказательства того, что я только что рассказывал, – произнес Густерин. – Значит, злодей действительно любил девушку, если только подобные душегубы имеют сердце, чтобы любить. Смотрите, как бережно обложены все вещи ватой, с какой заботливостью хранятся эти памятные предметы!

Задумчиво смотрел Густерин на раскрытый ящик.

– Да! Разгадайте вот человеческую натуру подобных Макарок-душегубов! Поднимает руку, чтобы зверски умертвить неповинную девушку и в то же время бережно хранит сувениры!

– Однако, что же будем делать с дверьми погреба в подземелье? – спросил следователь.

– Необходимо открыть его.

– Ваше превосходительство, – обратился к Густерину Иванов, – позвольте мне пролезть в отверстие подземелья с наружным выхо-

дом. Я возьму конец веревки и, если мне станет худо, дерну ее, тогда вы вытащите меня за другой конец. Раскопки будут очень продолжительны.

– Если вы настаиваете... Я не вправе дать вам такое поручение, но если ваша добрая воля...

– Нужно спросить заключение доктора, – сказал следователь.

– Я совершенно здоров.

– Ну, если здоровы и непременно желаете – с богом!

Иванов почти обрадовался и через минуту был в подземелье. Он завязал веревку себе на пояс и передал другой конец Ягодкину.

– Вы не откажетесь?

– Еще бы! Можете быть покойны. Если веревка окажется короткой, мы привяжем другой конец. Одно только! Если почувствуете духоту, немедленно давайте сигнал, иначе мы не успеем вас вытянуть и вы задохнетесь.

– Хорошо. Я думаю лезть ногами вперед, чтобы легче было повернуться в случае необходимости.

– Да. Это правильный расчет; пожалуй, но-

гами вам легче будет устранять препятствия в дороге.

Ягодкин спустился тоже в подземелье и еще раз осмотрел отверстие; диаметр дыры был не более аршина. Никаких других отверстий, кроме запертой двери, не было.

– Сомнения нет, что Макарка ушел сюда. Одно только – не завалил ли он выхода?

– Но вы чувствуете приток воздуха, значит, выход свободен.

– Пока...

– А вы полагаете, что он сидит у выхода и ждет чего-то? Наверняка его уж и след простыл.

– Во всяком случае, как только почувствуете дурноту, давайте сигнал.

Ягодкин помог Иванову влезть в отверстие. Через минуту тот исчез во мгле.

Обвинительный акт

Жители Саратова устроили целую манифестацию в честь арестованной Коркиной. Никто не хотел верить, что ангельски кроткая и добрая Елена Никитишна могла убить мужа или вообще содействовать убийству. Среди старожиллов города распространилось мнение, будто члены суда и следователи напрасно обвиняют неповинную и томят в темнице жертву судебной ошибки. Откуда взялось это мнение, кто пустил его в обращение – неизвестно, но жители твердо были убеждены, что только судейская волокита томит в тюрьме безвинную Коркину-Смулеву. В один прекрасный день смотритель тюрьмы получил громадный букет из живых цветов и адрес на имя заключенной Коркиной. В адресе друзья и почитатели Елены Никитишны выражали ей чувство своего соболезнования и ободряли ее уверениями, что рано или поздно правда восторжествует. В то же время депутация из несколько лиц явилась к предсе-

дателью суда с просьбой выпустить Коркину-Смулеву.

– Господа, – ответил им председатель, – ваша просьба не только противозаконна, но и нелепа! С такими просьбами вы не имеете права обращаться к суду.

– Но мы готовы отдать наши головы за ее невинность! Клянемся, что она томится без всякой вины.

– Вы не знаете дела и не имеете права вмешиваться в распоряжения правосудия! Я прошу вас оставить мой кабинет, но если вы повторите еще что-либо подобное, то я распоряжусь о привлечении вас к суду.

Импровизированные депутаты вышли от председателя понуриив головы.

Коркина, получив адрес с букетом, была тронута таким сочувствием и в то же время сильно удручена.

– За что мне такая честь? Разве они не знают, какое страшное злодеяние лежит на моей совести?! Нет, нет, я не вправе принять эти знаки уважения; они заблуждаются, они не знают истины.

Коркина пригласила зрителя и возвра-

тила ему подношение.

– Верните, пожалуйста, им обратно; они не знают, что творят!

– Я не знаю, кому вернуть; посыльный принес и ушел.

– В таком случае, отправьте цветы на могилу моего мужа.

– Это можно, но почему же вы не хотите оставить их у себя?

– Не могу. Моя совесть не позволяет мне этого! Подумайте, я – убийца и буду принимать букеты!! После этого где же справедливость?! Тогда и Макарке-душегубу нужно поднести лавровый венок! О! Как вы гуманно обращаетесь со мной, как незаслуженно вы снисходительны к преступникам.

Смотритель ушел, а Елена Никитишна упала на колени и долго молилась. Неожиданное подношение растравило ее наболевшие раны и причинило ей новые душевные муки. Она ясно видела всю глубину своего падения, всю грязь своего гнусного преступления и наряду с этим доброе отношение к ней сограждан, на которое она не имеет никакого права. Она потеряла мужа, семью, покой, мо-

лодость, потеряла церковное утешение, общение с небом, но... теперь оказывается, что она потеряла еще любовь и уважение сограждан, потеряла право на общение с ними!

И еще новые нравственные пытки пришлось переживать Елене Никитишне... Она урод в семье саратовцев, она опозорила их честное имя, а они, вместо проклятий, шлют ей цветы, подносят адрес! Да ведь они не знают!! А узнают, проклянут! Господи, хоть бы скорее, скорее! Долго ли еще все это будет продолжаться!

Смотритель тюрьмы немедленно донес председателю суда о непринятом букете и изложил сущность своего разговора с арестанткой. Председатель только что отпустил странную делегацию и беседовал с прокурором. Сыщик Петров производил розыски Макарки в Саратове, но без видных результатов. Из Петербурга была телеграмма, что в лице зятя Петухова, Куликова, сильно подозревается Макарка, но этот Куликов бежал и, следовательно, розыски остаются по-прежнему в неопределенном положении.

— Что же нам делать с Коркиной? Обще-

ственное мнение возбуждено, арестантка сделалась предметом общего внимания, а, между тем, если ждать розысков Макарки, могут пройти годы, – произнес задумчиво председатель.

– Необходимо, как мы раньше полагали, выделить дело Смалева из всех других дел Макарки и судить одну Коркину.

– Но ведь Макарка уличен и, как сообщает прокурор петербургского суда, имеются веские улики.

– Последняя телеграмма гласит о побеге Макарки. Значит, ждать нечего. Я сегодня же могу представить в судебную палату обвинительный акт против Коркиной, и на днях мы заслушаем дело.

– Но ведь следователь представил дело к прекращению? Не лучше ли, в самом деле, освободить ее? Короче!..

– А чем мы рискуем, передав дело присяжным заседателям? Пусть оправдывают, по крайней мере, меньше толков и разговоров.

– Это так-то, так... Да и сама Коркина просит суда. Ну, отсылайте скорее обвинительный акт. Надо сбросить это дело с плеч.

Прокурор принял все меры к тому, чтобы как можно скорее назначить дело к слушанию. И действительно: на четвертый день после истории с букетом Коркиной вручили копию с обвинительного акта, а на шестой дело было назначено слушание.

В обвинительном акте говорилось, что Коркина дала лично или через посредника согласие Макарке-душегубу на убийство своего мужа, Смулева, и после совершения преступления скрыла следы его от правосудия. Мотивировка обвинения была очень слаба; свидетельские показания почти вовсе не приводились, и единственной уликой выставлялся тот факт, что труп убитого был найден по собственному указанию Коркиной.

«Значит, — утверждал обвинитель, — она знала, где лежат следы преступления, и молчала восемь-девять лет, пока совесть не заставила ее говорить. Если бы она действительно была невинна, как стараются установить некоторые свидетели из числа ее родственников, то ей нечего было бы молчать столько лет. В деле имеются указания, что только шантаж одного петербургского мошенника, в

котором подозревают Макарку-душегуба, заставил Коркину принести повинную, а вовсе не сердечные побуждения проснувшейся совести, как уверяет теперь подсудимая. Вообще, в этом темном деле, осложнившимся отсутствием главного виновника и смертью главного сообщника, есть много невыясненного, запутанного, но тем не менее причастность к преступному сговору жены покойного Смулева представляется доказанной, а потому и на основании таких-то статей жена петербургского купца Елена Никитишна Коркина, по первому мужу Смулева, предается суду саратовского окружного суда с участием присяжных заседателей».

Долго Елена Никитишна читала и перелистывала этот короткий обвинительный акт. Она сама гораздо строже обвиняла себя и добровольно готова была принять самую строгую кару, но когда представитель коронного правосудия сурово, лаконично и жестоко бросил ей в лицо обвинение в убийстве как сообщнице Макарки-душегуба, в ней зашевелилось чувство проснувшейся гордости:

— Нет, я не сообщница Макарки! Будь про-

клят этот душегуб! Я виновна, как попусти-
тельница, я виновна в смерти Смулева, как и
в сумасшествии Коркина, но я не искала их
гибели, я не входила в стоворы с Макаркою, я
не знаю и не хочу знать его! Прокурор не име-
ет права ставить мое имя рядом с Макаркою!
Я не хочу этого! Я пойду в каторгу, я непре-
менно хочу идти на каторжные работы, но не
как сообщница Макарки, не вместе с ним! Бо-
же сохрани! Неужели можно прокурору подо-
зревать честных людей в лжесвидетельстве
потому только, что они мои родственники, и
вместо этого выдвигать неопределенное об-
винение в какой-то сопричастности?! Скажи
прямо, в чем ты меня обвиняешь, что я сдела-
ла, а не говори: «какая-то сопричастность».
Нет я не сообщница Макарки!.. Я кричать бу-
ду!.. За что же у меня хотят отнять и это по-
следнее утешение! Боже, боже, долго ли будут
терзать меня! Неужели так трудно отправить
человека в каторгу, если он сам того просит?!
Разве нужно для этого оклеветать, опозорить
человека?!

Но ведь я сама просила обвинения, вспо-
миналось ей. Может быть, в самом деле, ина-

че нельзя? Что же лучше: выйти оправданной или оклеветанной и обвиненной.

Так Елена Никитишна не ставила еще вопроса. Она не предполагала, что обвинительный вердикт требует непременно ее сообщничества с Макаркой, она полагала, что каторга не находится в связи с потерей доброго имени и чести; ей думалось, что можно сделать ошибку, принять за эту ошибку каторжные работы и все-таки остаться честным человеком, даже еще более честным, чем тот, который сделал ошибку и уклонился от каторги. Только теперь из обвинительного акта она поняла, что это не так! Ей нужно признать себя сообщницей, пособником Макарки, нужно признать, что она искала смерти Смулева, искала случая убить своего мужа, убить для того, чтобы получить свободу и жить с любовником!

— Господи! Да зачем им это нужно?! Я не могу, не могу примириться с этим! Я не могу лгать, клеветать на себя! Я говорю им, как все происходило, говорю, что я прошу за это каторгу! За это, а не за то, что пишет прокурор. Того я не могла никогда сделать, никогда! Вот

пусть судят меня за то, что имела любовника при живом муже, за то, что я выслушала позорное предложение моего любовника и по выздоровлении вместо того, чтобы выдать Серикова властям, разрыть немедленно холм, я позволила себя уговорить молчать и ждать, я поверила рассказу о мнимой гибели мужа на «Свифте». Вот мои преступления, достойные каторги! Вполне достойные каторги! Вполне достойные! Сошлите меня, повесьте, отрубите голову, что хотите сделайте, но только не это! А клеветать на меня, называть сообщницей Макарки, называть мужеубийцей по расчету, приписывать мне тайные сговоры с душегубом я не позволю! Ни за что!!

Коркина попросила прислать ей скорее того защитника, который являлся к ней недавно. До разбора дела оставалось всего два дня, но она успеет рассказать все защитнику.

– Вы просили ведь священника, а не защитника, – заметил смотритель.

– Да, я просила священника, но теперь мне нужен защитник. Я не знала, что мне будут приписывать то, чего я в мыслях никогда не имела! Я не хочу быть сообщницей душегуба.

– Священник ожидает вас, вы не желаете принять его благословение?

– О! Не желаю?! Да разве можно об этом спрашивать! Просите, просите.

Дверь отворилась, и на пороге появился седой, маститый пастырь с ласковой улыбкой на лице.

– Батюшка, – бросилась к нему в ноги Коркина, – новое несчастье свалилась мне на голову! Вот, вот... – показывала она рукой на лежавший обвинительный акт.

– Что? Да ведь ты, дочь моя, сама просила суда.

– Суда, батюшка, но не клеветы! Я убийца, но я не сообщница Макарки, не убийца корысти ради, не убийца заведомая, сознательная! О! Господи! Да разве это можно?! Да разве я тоже Макарка-душегуб в юбке.

– Нет, дочь моя, но ты сама говорила, что хочешь идти в каторгу!

– В каторгу – да. Но не вместе с Макашкой! Я готова на эшафот идти, но за свою вину, а не за Макашкину!

– Успокойся, дочь моя, и предоставь все правосудию...

Коркина зарыдала.

35

Два трупа

Ягодкин остался в подземелье держать веревку и позвал двух слесарей ломать висячий замок на дверях погреба. Он не расстался с веревкой и никому не доверял ее. Судебный следователь с Густериным, понятыми и агентами производили тщательную опись всех вещей и документов, найденных в ящиках подземелья. Веревка медленно подвигалась и так равномерно, что можно было следить, как Иванов полз в проходе. Вдруг веревка рванулась из рук Ягодкина.

«Сигнал», – подумал он и быстро потащил конец к себе. Сначала веревка не поддавалась, потом пошла свободно и скоро весь конец очутился у него в руках. Ягодкин вздрогнул.

– Неужели веревка оборвалась?

Он вышел из подземелья и молча показал конец веревки Густерину. Они молча переглянулись.

– Иванов вышел на свободу или... – Густерин не успел кончить фразы, как они увидели бегущего Иванова.

– Свободный выход во двор соседнего дома, – произнес он, запыхавшись. Его вид напоминал крота: костюм, руки, лицо – все было в земле.

– Где выход? – спросили все в один голос.

– Под навесом во дворе, около самой стены: выход прикрыт сверху сеном. Есть следы недавних шагов там. Макарка ушел, вероятно, на Горячее поле, потому что на дворе его никто не видал.

– Ракалия! Его вряд ли возможно будет теперь взять там! Дебри Горячего поля нам неизвестны, и болота его непроходимы для полиции и солдат! Что делать?! Оцепить поле – невозможно; потребовалось бы несколько полков! Да и пользы мало: бродяги скрываются там годами!

– Этот хвост не удержишь, коли гриву упустил, – опять промычал Ягодкин и произнес громко: – Надо вскрыть погреб. Замок сломан.

– Да, пойдете! Кто спустится? Там более двух-трех человек не поместится.

– Мы с вами и один рабочий, – предложил следователь, обращаясь к Густерину.

– Извольте! Я тоже так думал.

Один из слесарей вышел по лестнице, и вместо него спустились в подzemелье Густерин со следователем. Замок был сломан, пробой вынут. Густерин подошел к проему, взял за скобу и распахнул дверь. Произошло нечто неожиданное. Все трое стоявших у дверей упали без чувств. Густые клубы какого-то едкого смрада быстро наполнили подzemелье и стали подниматься вверх в наружное отверстие. Скоро и кухня наполнилась удушливым смрадом.

Все растерялись. Первым движением каждого было бежать, потому что ошеломляющие газы душили всех и лишали сознания. Но ведь там, внизу, остались Густерин, следователь и слесарь. Нельзя же бросить их там без помощи. Прошло несколько мгновений.

– За мной, – закричал Ягодкин и бросился вниз по лестнице. Через мгновение он показался с бесчувственным Густериным. Два агента помогли вытащить его и сейчас же сами спустились на помощь Ягодкину. Через

минуту все трое были наверху; в кухне находиться оказалось невозможным. Как отравленные, все, покачиваясь, вышли на двор, куда перенесли и пострадавших. Явился доктор. Не без труда привели в сознание задохнувшихся. Страшная головная боль разрывала им всем виски.

– Что это?!

– По всей вероятности, в погребе происходил процесс тления или гниения каких-либо органических веществ. Этот смрад – скопившиеся газы.

– Но это ужасно! Как же теперь попасть туда?!

– Зачем вам туда попадать? Это очень рискованно.

– Нам необходимо попасть.

– Нужно очистить сначала атмосферу, выждать...

Ягодкин не хотел и слышать об отсрочке.

– Этот погреб находится как раз под ледником: почему нам не разломать его сейчас же? Может быть пол ледника составляет крышу подземелья?!

– Это верно! Давайте рабочих, – распоря-

дился следователь.

– Ломайте немедленно, разберите весь ледник, – приказывал Густерин рабочим. – А пока надо завалить выход из подземелья на соседнем дворе. Это нужно сделать на всякий случай!

Все отправились в соседний, смежный дом, занятый рабочими фабрики Петухова. Они заявили, что никого не видали все это время и, так как хорошо знают Ивана Степановича Куликова, то, разумеется, узнали бы его, если бы он очутился на дворе. Дом выходит задним фасадом прямо на Горячее поле и отгорожен невысоким простым дощатым забором. Уйти со двора на поле не только не представляет никаких препятствий, но напротив – очень удобно.

– Что у вас в этом сарае? – спросил Густерин, указывая на сарай, маскировавший подземный выход.

– Ничего.

– Неужели вы никогда не замечали ямы?

– Ни к чему нам... Никто в сарай не ходил: его сломать давно хотели.

– Странно... Посмотрите, какими дощечка-

ми заложен подземный выход! Как мог хозяин и дворник не обратить внимания на зияющую дыру?

– Может быть, и обращали – да ни к чему! Ну, дыра и дыра, пусть ее будет, потребовалось бы, так заложили.

– Вы обязаны были сообщить полиции. Тогда преступник давно был бы уличен!

– Наше дело сторона!

Под наблюдением местного околоточного надзирателя выход из подземелья был засыпан, утрамбован и выложен булыжником, сарай опечатали впредь до особого распоряжения. Покончив с этим делом, власти вернулись в квартиру Макарки, где деятельно продолжалась опись вещественных доказательств, добытых при обыске. Этих доказательств было слишком достаточно для уличения Макарки во всех злодействах, но помимо значения вещей для правосудия они представляли весьма солидную ценность сами по себе: процентных бумаг и денег оказалось 897 000 рублей. Бриллианты графа Самбери оценивались в 52 миллиона рублей и все были в наличии. Золота и серебра в разных ящиках и

хранилищах нашли не меньше полупуда, в том числе много антикварных предметов.

– Этого состояния хватило бы для безбедного существования весьма богатого человека, – заметил следователь, накладывая печати на драгоценные пакеты. – А Макарке все было мало! Он убивал Петухова, чтобы воспользоваться его наследством, изводил жену, чтобы избавиться от лишней обузы. Мог ли такой человек успокоиться когда-нибудь, удовлетвориться чем-нибудь, упитьсь кровью своих жертв?!

Обыск близился к концу. Кроме кабинета, подzemелья и погреба, оставалось уже немного осмотреть: только другие комнаты Макарки и дворовые службы. В зале не нашли ничего подозрительного. Здесь царил хаос после борьбы Макарки с Коркиным, который душил его. Так как Макарка не держал последнее время прислуги, то беспорядок так и оставался; везде пыль лежала слоями. В столовой, в буфете нашли целую аптеку разных лекарственных смесей и, главным образом, ядовитых веществ. Макарка, видимо, имел толк в ядах.

К дому прилегало несколько сараев, ледников, погребов. Все это тщательно было осмотрено, но ничего подозрительного не найдено.

– Ледник снесен, – доложил агент, – можно приступить к разборке пола?

– В нашем присутствии, – отвечал следователь. И вместе с Густериным они перешли опять во двор.

Ледник был набит, и поэтому приходилось разбрасывать продукты и снег, пока добрались до дна. Удары по доскам отдавались глухим звуком, подтверждавшим предположение Ягодкина, что под ледником пустое пространство, то есть погреб. Разобрать старые промерзшие доски было не так легко. Наконец, крайняя доска подалась, и из открывшейся щели понесло теми же смрадными газами. Доски одна за другой были сняты.

Некоторое время ничего нельзя было разобрать. Но вот ветром расчистило атмосферу, и глазам присутствующих представилась страшная картина. Посреди подвала лежал навзничь полуистлевший труп человека в лохмотьях, а на нем, впившись в него зубами, более свежий труп, в костюме барина. В зубах

и в зажатых костлявых пальцах оборванца – куски дерева, отщепленного от досок погребца.

– Господи помилуй, – произнес доктор, – эти люди умерли голодной смертью. Посмотрите, один питался деревом, а другой бросился на труп, хотел его съесть! Какая ужасная смерть!!

– Так вот откуда эти смрадные газы!

Осторожно рабочие спустились на дно погребца и с обнаженными головами, осенив себя крестным знамением, приблизились к трупам. Верхний труп еще не истлел, и в нем Густерин без труда узнал лакея графа Самбери, Игнатия. Истерзанный костюм свидетельствовал о долгих мучениях умиравшего голодной смертью. Здесь, в промозглой атмосфере, наполненной запахом гнившего трупа, Игнатий прожил не менее недели. Более мучительной казни не придумывали во времена инквизиции.

Труп бродяжки только по догадке можно было считать принадлежащим Гусю, который, по свидетельству буфетчиков, исчез в квартире хозяина «Красного кабачка», после чего из подвала доносились стоны и крики.

Через полчаса принесли два неокрашенных гроба и бережно уложили в них трупы. При осмотре платья, в кармане лакея нашли паспорт Игнатия, так что личность этого мертвеца могла считаться вполне обнаруженной; в кармане же оборванца нашлись две записки. Одна, писанная рукой хозяина «Красного кабачка»: «Приходи сегодня вечером для расчета, хочу кончить все», подписанная «И. Куликов»; другая нацарапана каракулями: «Мне нужно 100. Если не дашь, сообщу полиции, кто ты, и выдам тебя головой. Известный тебе Гусь».

Не оставалось сомнения, что истлевший труп – бывший коновод Горячего поля и вожак заставных громил.

Еще не успели гробы с мертвецами поставить на ломовую телегу, как весть о страшной находке разнеслась по всей заставе и толпы народа стали стекаться на двор «Красного кабачка». Со стороны Горячего поля появилась также толпа бродяжек, среди которых выделялась фигура Машки-певуньи с распущенными косами и со слезами на глазах.

– Вот где принял мученическую кончину

наш добрый Гусь, – произнесла Машка, утирая рукавом слезы. – Товарищи, мы должны отомстить Куликову за смерть нашего вожака.

– Отомстим, не пожалеем себя, – ответила толпа.

– Мужики, – обратился к толпе Густерин, – этот Куликов, загубивший вашего Гуся, известный петербургский громила Макарка-душегуб. Ему удалось вчера убежать на Горячее поле! Кто разыщет и укажет злодея, тот получит пятьсот рублей.

– Не надо нам денег! Мы так его поймаем и предоставим вам. Этот злодей наш, мы отомстим за своего Гуся!

День уже клонился к вечеру, когда ломовик с двумя гробами тронулся со двора. Толпа бродяжек пошла провожать импровизированные дроги, на которых рогожа заменяла покров, а возница-ломовик бесцеремонно сидел на крышке одного из гробов.

Усталые, измученные чины сыскной полиции и следователь с утра не выходили с места обыска и ничего не ели; они решили покончить прежде со всеми формальностями, про-

На похоронах

Было хмурое пасмурное утро, каких много в петербургском мае. Утрюмо выглядывали неприветливые болота Горячего поля, и без того представляющего мрачную, печальную картину мертвой пустоты. В такую пасмурную погоду кущи Горячего поля даже на заставных бродяжек наводят тоску и уныние. Но это утро особенно было печально для бродяжек. Пузан Мурманский прощался со своей подругой Маланьей, которая не пережила минувшей зимы и умирала. Умирала она, собственно, давно уже, еще с прошлой осени, когда кашель душил ее целыми ночами, но теперь, видимо, пришел конец. Холодная зима, проведенная в куще у пяти бугорков, и мокрая весна окончательно подорвали силы Маланьи, которая два месяца не могла уже вставать со своего соломенного ложа. Несмотря на свои 27 лет, Маланья считалась старушкой и сама сознавалась, что ей «пора уже уми-

рать», но смерть долго не приходила, хотя надежды на выздоровление не было никакой. Она только связывала руки бедному Пузану, ухаживавшему за нею с полным самоотвержением. Всему бывает конец, пришел конец и Маланьиной болезни. Она в эту ночь раза три отходила. Обрадованный Пузан спешил накрыть ее рогожей, заменявшей саван, и принимался читать «Господи, очисти грехи наша, Владыко, прости беззакония наша», как вдруг Маланья поднималась, сбрасывала рогожу и, испуганно смотря на Пузана, спрашивала:

– Никак ты меня отчитываешь?!

– Отчитываю, Малашка, да помирай же ты Христа ради, извела меня всего!

– Пузан, – вдруг взмолилась Маланья, – свежи ты меня в больницу!

– Эка, надумала, да как же я повезу? Меня заберут, я не могу выходить за полосу[1], а у тебя паспорта нет! Иди сама, коли можешь!

Маланья горько усмехнулась и упала на солому. Наконец, под утро больная в четвертый и последний раз стала отходить. Она потянулась, захрипела, тупо уставила потухшие

глаза на Пузана и несколько раз отрывисто вздохнула.

– Тяжело? – спросил Пузан.

Но Маланья не могла ответить и вдруг перестала дышать.

– Кажись совсем, – произнес Пузан, перекрестился и накрыл покойницу рогожей. – Господи, очисти грехи наша, Владыко... – слышался его монотонный голос.

Несколько бродяжек из соседних кущей пришли отдать последний долг усопшей.

– Вечная ей память!

– А что, Пузан, хоронить будешь?

– Где же мне хоронить?

– Да ты ночью подбрось ее к заставе, полиция похоронит!

– Ишь, бусурман какой! Нешто не знаешь, что с улицы не хоронят; отправят в клинику, к дохтурам, и там распотрошат. За что же ее, сердешную? Мы здесь похороним, на Косом повороте.

– Когда зарывать будешь?

– Сегодня вечером. Надо торопиться, а то, грехом, как бы опять не встала! Вишь, смерть не берет ее! Измаялась совсем, да и меня из-

мучила.

– Ладно, придем на поминки.

Пузан самым добросовестным образом отчитывал весь день свою Маланью и поглядывал, не шевелится ли рогожа. Но Маланья почила безвозвратно. С закатом солнышка стали собираться поминальщики. Впереди всех шла Машка-певунья. Большая часть бродяжек только что проводила Гуся и возвращалась взволнованная, озлобленная.

– Помните, товарищи! Мы должны отомстить Макарке за смерть Гуся, нашего бедного, доброго Гуся, принявшего такую мучительную, страшную смерть. Злодей Макарка не пощадил своей Алёнки и не пощадил нашего Гуся! Он больше не товарищ нам. Он общий наш враг, и мы должны вооружиться против него! Сегодня же ночью мы обыщем все кочки и бугорки нашего поля! От нас ему некуда скрыться! Живого или мертвого мы найдем его и предоставим Густерину!

– Машка, чего ты так озлобилась на Макарку?

– А разве вы все не озлобились? Разве вы не клялись мстить за вашего вожакого? Мне

Гусь мил был как человек только! Я не заставляющая и к Горячему полю не принадлежу, мне все равно, только как человека жаль Гуся! Такого вожакого вам не найти скоро! Долго ли Тумба правил вами?! Небось, при Гусе Рябчик не посмел бы зря человека зарезать, да и меня не тронул бы! А что вышло? Я, девка кабацкая, арестовала вашего вожакого и отдала в руки полиции! Не срам разве?! То ли было при Гусе?!

– Машка, а если мы тебя убьем за Тумбу?

– Хо-хо-хо... не испугать ли вздумали меня?

На, берите, бейте! Где вам молокососам! Вы без меня Макарку не поймаете, а я головой ручаюсь, что он будет в моих руках и я сама поведу его к Густерину.

– Да ты ведь не знаешь его в лицо.

– Макарку-то?

– Еще неизвестно, Макарка ли это... Может быть, Куликов...

– А вот увидим, коли не Макарка, я сама скажу Густерину, что он ошибается! Но зачем Куликову было бы травить нашего Гуся? А Макарке есть расчет. Он с Гусем пополам Смирновых перерезал и обманул Гуся при

расчете! Верно потом Гусь узнал его в шкуре купца и грозил донести, вот он его заманил в погреб и уколошил.

– Разве они вместе резали Смирновых?

– Гусь сам рассказывал, он врать не стал бы!

– Упокой, Господи, душу рабы твоея... – слышалось пение Пузана.

Все перекрестились. Машка вползла в куцу и сняла рогожу с покойницы.

– Надо обмыть ее; дайте воды.

Пузан принес в лукошке воды. Машка сняла с покойницы единственную рваную рубашку, сполоснула ее и, якобы чистую, хоть и мокрую, надела опять на тело умершей.

– Вот по-хорошему. Что ж ты, Пузан, глаза ей не закрыл? Это твое дело.

– А могилу приготовили?

– Кто готовить-то будет?

– Пойдемте миром копать...

– Машка, запевай «Со святыми упокой...»!

Среди гробовой тишины раздался звонкий и сильный голос Машки. Голос звучал такой печалью и унынием, что все присутствующие невольно сосредоточились на «последнем

долге», и на глазах некоторых заблестели слезинки. Даже шелест листьев и крики галок смолкли в эту минуту. Тишина была торжественная. Маланью положили на одну гнилую доску и прикрыли другой, так что получилось подобие гроба. Голову нес Пузан, ноги – Машка. С обнаженными головами бродяжки провожали подругу «в место вечного упокоения». Процессия шла, не разбирая дороги, местами по колено в болоте, и только часа через полтора достигла приготовленной могилы или, вернее, неглубокой ямы. Маланью положили на дно ямы. Машка запела «вечную память»; присутствующие подтягивали, но голос певуны покрывал всех и далеким эхом отдавался в пространстве. Все усиленно крестились.

Крестились громилы, только что вернувшиеся со своих преступных проделок, быть может, недавно еще оросившие свои пальцы кровью неповинных жертв. Они сознавали, что не имеют права креститься, и в обыденной жизни никогда не осеняли себя крестным знаменем, но эти «кресты» всецело относились к покойнице. За нее надо перекре-

ститься. Она не может ведь перекреститься, а ей нужно. Нужно потому, что покойница не могла исповедоваться. У Горячего поля нет священника, как нет и доктора, больницы и т. п.

И вот бродяжки усиленно крестились, клали земные поклоны, но мысленно они были далеки от молитвы, оставаясь сумрачно сосредоточенными на собачьей смерти Маланьи. Воистину смерть собачья, но такая же точно, если не хуже, ждет каждого из них. И жизнь, и смерть одинаково неприглядны, полны лишений, убожества. А предложите им переменить эту жизнь, обещайте им прощение, возврат к честному труду, спокойное, тихое существование под сенью закона, права, церкви... Увы! Все они, как некогда Машка-певунья, скажут:

– Мы не расстанемся с нашим привольным Горячим полем, с полной свободой, нашими излюбленными кущами, попойками, играми, компаниями, сладкими волнениями и тревогами при вылазках. Как воробей не променяет своего крошечного гнездышка на комфортабельную, сытную клетку, так и заставный

громила не пойдет ни в работники, ни в богадельню!

Вот и Маланья когда-то жила в горничных на хорошем месте, а Пузан дворником. Жизнь была полная чаша, и они копили даже деньги, но случайно пришлось им лишиться места. Случайно они попали в «ямы» Обводного канала, оттуда на Горячее поле, и эта среда, эта обстановка засосала их, как топкое болото засасывает ногу, обутую в резиновую галошу. Даже этапное путешествие на Мурманский берег, тяжкая болезнь, постоянный голод и холод ни разу не вынудили их подумать о возможности возврата к прежней «хорошей» жизни. Только за час до смерти Маланья попросилась в больницу, но это потому, что она сознавала близость неминуемой смерти, а умирать ей не хотелось; может быть, больница поможет, мелькнуло у нее в голове, но и эта просьба была произнесена равнодушно.

– Прости нас, Маланья, пошли тебе Господь царствие небесное, – произнесла Машка, бросая ком грязи на гробовую доску.

То же повторили и все, начиная с Пузана. Последний утер рукавом навернувшуюся сле-

зу и, махнув сильно рукой, произнес: «Эх-ма!»

Через четверть часа могилу закопали и поставили на ней из прутьев крест.

– Мертвые, спите сном мирным, а живые – выпьем, – продекламировал бродяга Петр, пришедший на похороны с двумя полуштофами в карманах.

– Помянуть следует, – согласился Пузан, – у меня заготовлена давно уже четвертная.

– Пойдемте, выпьем...

– Да-с! Ну теперь, ребята, надо заняться в самом деле Макаркою! – сказал Петр. – Обещано ведь пятьсот рубликов...

– Обещано, да не нам... Кто нам пятьсот рублей даст, коли мы и явиться-то за получением не можем; один выслан, другой разыскивается, третий осужден. Разве вот Машка получит?

– Получу! Беспременно получу и всем поровну разделю! Только, голубчики, поймайте его проклятого! Полно ему душисть правого и виноватого! Что за душегуб окаянный!

– Что же ловить, так ловить! Давайте делить, кому где искать!

– Надо только до Лиговки брать; за реку

ему не уйти, а в эту сторону до рогатки; вернее всего он в болоте где-нибудь скрылся.

– А не ушел ли он на скотопрогонный двор и оттуда в город?

– Там везде пикеты расставлены, он не рискнет, будет выжидать. Здесь он считает себя в безопасности, и точно полиция взять его в болоте не может.

– Наливайте, выпьем за упокой души Маланьи.

– Лиха была покойница выпить, да и мы не уступим, – произнесла Машка, приложив горлышко полуштофа ко рту. Буль-буль-буль...

– Важно! Вот где жизнь-то настоящая! Пей, пока в яму не зарыли!

Закуски почти не было. У кого кусок хлеба, у кого одна корка, а Петр вытащил два гнилых старых огурца.

– По первой не закусывают. Соси по второй.

Компания скоро опустошила полуштофы и полчетвертной.

– Так, братцы, сегодня же пойдем на поиски! Кто найдет, давай совиный свисток. Одно-

му его не взять, надо собраться всем. Трое в болото, двое за бугорки, один на Рогатку, двое к сизым кочкам, а я буду тереться против скотопригонного, – распорядилась Машка.

– Ладно. Коли не успел уйти в город, от нас не уйдет. Загоним в Корявое болото и крышку сделаем.

– Хвалиться погоди! Макарку взять не Тумбе чета или Рябчику, – перебила Машка, – лучше вы добром да лаской. Будто нечаянно встретились, услуги предложите, а там как руки скрутим – наша будет воля!

– И то! Ой, Машка! Молодчина девка! Ну, соси по третьей! Для куражу хорошо.

Машка тряхнула головой, провела рукой по лбу и, нахмурившись, затянула «Со святыми упокой».

Каторжная музыка

Три месяца уже каторжник Антон Смолин находится в пути. Первый пароход Курбатова с арестантской баржей доставил этап в Пермь, оттуда по железной дороге, через знаменитую резиденцию уральского креста – Талицу, в Тюмень и далее, частью пешком, частью на мелких пароходах в Томскую губернию. Антона первоначально хотели сослать на Сахалин, но, ввиду некоторых соображений тюремного ведомства, отправили его в Сибирь. Путь от Тюмени сам по себе представлял каторжную работу, потому что идти приходилось в кандалах глухими дебрями, часто по малопроходимым дорогам. На людях и смерть красна, говорит народная пословица, поэтому и Антон не принимал близко к сердцу всех тягостей пути. С ним вместе отправлялись в Хабаровск на Амур Рябчик – убийца неизвестного господина, вздумавшего подать помощь Машке-певунье, которую он душил, и Тумба, отказавшийся открыть на суде свое

инкогнито. Антон свыкся уже с мыслью о безвинной каторге, ниспосланной ему судьбою вместо радостной жизни с Грушею.

– Видно, так Богу угодно, – решил он и махнул на все рукой.

– Полно. И в Сибири люди живут, – утешали его товарищи-арестанты.

Антон горько усмехнулся:

– Живут! Живут по грехам своим, за дела свои непутевые, а за что я иду на каторгу?

– Не все ли один шут! Везде нашему брату каторга; а тебя сгубили деньги Сеньки-косоного! Смотри: все, кто разделил его деньги, погубили себя. Ну, чего Рябчик привязался к Машке и потом пустил перо неизвестному? И почему перо сразу на месте положило купчика? А другие? Все в ссылке...

– Да... Эти деньги точно проклятые!

Этап шел по дороге, названной «Трубой». Пробитая в чаще глухого девственного леса, на протяжении нескольких верст, дорога действительно имела вид какой-то трубы или светлой ленты на темном фоне лесной чащи.

Топкая, вязкая грунтовая дорога представляла для пешеходов мучительный путь, но

шагать по такой дороге в кандалах было воистину каторжной работой.

– Оно и лучше, – говорил конвой, потому что в Трубе постоянно происходили побеги, – а как в кандалах-то пошагает, так не больно побежит; довольно прикладом ружья поцеловать, и сядет на месте!

Многие этапные не первый раз шли Трубой и по привычке шагали больше на пятках, чтобы не увязал сапог, или просто просили разрешения разуться и идти босиком, но Антон не мог сделать ни того, ни другого и, обливаясь потом, с большим трудом поспевал за остальными. Он несколько уже раз заикался просить привала, но каждый раз получал быстрый подзатыльник, означавший: «не твое дело, без тебя знают, когда сделать привал». А сил у Антона становилось все меньше и меньше. Непривычный армяк, болтавшийся около ног, забритая наполовину голова (правая сторона), причинявшая боль в темени, кандалы на руках и ногах – все это вместе ослабляло сильного Антона настолько, что он несколько уже раз падал, и только мощная рука Тумбы помогала ему быстро вставать.

Тумба вообще покровительствовал и защищал Антона в этапе; он хорошо знал, что Антон не только неповинен в убийстве камердинера, но вообще не обидел мухи на своем веку и не решился ни на одну кражу, так что ему совсем не место здесь, а между тем ему тяжелее всех. Даже такой циничный коршун, как Рябчик, которому всадить нож в живот – все равно, что выпить рюмку водки, и тот со-страдательно относился к своему случайному сотоварищу.

– Эх, Антошка, дурак же ты, дурак, зачем сознался в полиции, – шутил Рябчик.

Антон не отвечал, потому что сам же Рябчик с Тумбой упрасивали его сознаться, чтобы получить обещанные им облегчения. Конечно, не будь Антон дураком и расскажи сразу все, как было на самом деле, он никогда не попал бы на каторгу, но теперь это дело уже прошлое, вернуть невозможно и, стало быть, нечего толковать! Надо думать только, как бы задать тягу, если не теперь, то по прибытии на место.

– Братцы, – стонал Антон, – силушки моей больше нет идти!

– Иди, а то кнута получишь!

– Ой, упаду!

– Не упадешь, бодрись! Смотри, все ведь идут!

– Ноги подкашиваются, колени трясутся...

– А ты думаешь, у других не трясутся? У всех трясутся – идти надо.

Антон обливался потом, щеки горели, глаза лихорадочно блестели. За последнее время он перестал думать о Груше, о деревне, но в минуты особенно тяжелые, когда ему казалось, что пора умирать, образ веселой, красивой девушки с голубыми глазами и множеством бус на высокой девичьей груди вставал перед ним, как живой, и манил домой.

– Полно, куда ты идешь, зачем. Иди ко мне, – слышался ему певучий голос Груши, – я по тебе скучаю, я приголублю твою курчавую буйную голову.

Антон упал без чувств. Этап остановился. Слышались проклятия.

– На воз его положите.

– Да воз и так едва движется.

– Бросить нельзя, отвечать придется.

– Не сидеть же тут с ним в лесу!

– Чтоб ему пусто было! Резать людей, так есть силы, а идти не может! Неженка тоже!

– Дай-ка ему кнута, может притворяется.

– Какой притворяется! Все одно что мертвец!

– Ракалия!..

Антон бросили в телегу, где лежали узлы арестантов и сидели две бабы-арестантки. Этап двинулся. Идти оставалось еще верст семь до большого пересыльного пункта Кочково, где сортировали арестантов и меняли конвой. Кочково лежало сейчас за лесом.

Начинало смеркаться. Дул холодный, резкий ветер. Несмотря на конец мая, в лесу виднелись еще следы плохо и медленно тающего снега. Среди мертвой, лесной тишины гулко, эхом разносился звон и бряцание ножных кандалов. Почти все шли нога в ногу, так что звон раздавался в такт, равномерно, и назывался каторжной музыкой – единственной музыкой в этих тундрах и тайгах. Бывалых арестантов, вроде Тумбы или Рябчика, эта музыка ободряла, как походные трубы, и они шагали довольно бодро, увлекая остальных. Однако конвойные солдатики тоже измучи-

лись, и привал пришлось сделать в лесу.

– А что, Рябчик, не попробовать ли нам свистуна запустить?

– В кандалах-то?! Что ты!

– Смотри, как все утомились! Теперь темно, за лесом не трудно схорониться!

– Стрелять будут! Да здесь не выгодно и бежать, еще с голодудохнешь!..

Товарищи сидели на краю канавки и пристально смотрели в темную лесную чащу.

– А все на свободе хорошо!

– Хорошо, – согласился Рябчик.

– Бежим?..

– Не дадут! Не стоит; в Кочкове кнутами только отдерут. Потерпим!..

Тумба думал в эту минуту о своей Настеньке, о толстом Тумбачонке, брошенном им на Горячем поле.

Удалось ли им уехать на родину? Верна ли ему Настя? Увидит ли он их когда-нибудь?

И страшная тоска защемила его душу. Злоба против разлучившей их Машки-певуньи душила его. О, с каким бы наслаждением свернул он голову этой Машке!

– Марш в путь! – раздался сигнал. Все ра-

зом стали подниматься.

С быстротой молнии Тумба прыгнул через канаву и исчез за вековыми елями. Рябчик один только уследил этот прыжок и разинул рот от удивления.

Арестанты выстроились. Старший фельдфебель пересчитал пары. Антон лежит все еще без чувств на возу, а его парный?!

– Проклятье, у нас убежал арестант! – закричал фельдфебель.

Поднялась тревога. Арестантов оцепили, и фельдфебель с подручным солдатиком бросились в кусты.

Прошло с полчаса. Они вышли одни. Тумба точно сквозь землю провалился. Стало совсем темно. Надо двигаться в путь.

– Этак еще можно растерять арестантов. И зачем мы привал делали?! Запрещены такие привалы. Теперь под суд идти придется!

Этап двинулся тесной колонной. Все торопились. Рябчику было досадно, что Тумба убежал один. Вдвоем им было бы легче бороться с препятствиями пути. Да и когда еще удастся теперь ему бежать?!

Пятиверстный переход в темноте по невоз-

можной дороге длился часа три. Арестанты после побега Тумбы чувствовали себя бодрее, самоувереннее, тогда как конвоиры начинали трусить.

В лесу, где-то далеко, раздался совиный свист, но все узнали в этом свисте сигнал бежавшего Тумбы. Он прощался с товарищами, и главным образом с Рябчиком. Если бы Рябчик теперь мог убежать, то они легко сошлись бы при помощи сигналов, но как убежать? Солдат с саблей наголо идет рядом с ним и сердито поглядывает на бродяг. Они – каторжники, а он – честный солдат – несет царскую службу и должен переносить одинаково тяжесть пути. Не будь этих бродяг – он сидел бы теперь в казармах сытый, бодрый, готовясь ложиться спать. А теперь шагай, да еще смотри в оба.

Напрасно Рябчик ловил моменты. Солдаты зорко смотрели и торопливо погоняли свое стадо. Антон очнулся в телеге и мучился от нестерпимой головной боли. Бабы дразнили его, что он нарочно захотел забраться к ним и выдыхаться.

Наконец достигли опушки леса. Сигналы

Тумбы замерли вдали. Свободный разбойник, очевидно успевший расковать свои кандалы, точно дразнил конвой.

И близок локоть, да не укусишь. И слышит ухо, да зуб неймет. На темном горизонте стали заметны очертания Кочкова; показались огни, горевшие в окнах. Дорога стала лучше. Конвой ободрился. Еще четверть часа, и этап остановился у высоких ворот с железными оковами. Дежурный часовой поднял тревогу, высыпали солдатики со своим ротным командиром, распахнули ворота, и этап вошел во двор.

– Все ли благополучно, – спросил командир.

– Один арестант ушел в лес. Поиски не привели ни к чему.

– На гауптвахту!

Усталые, измученные солдатики сменились. Арестантов сдали новому конвою и разместили в казарме на ночлеге. Понуриив голову, фельдфебель отправился на гауптвахту ждать завтра разбора дела.

– Арестант Антон Смолин налицо? – спросил командир.

– Болен, в телеге.

– Доставить его ко мне.

Антон не мог еще стоять на ногах. Слабость и головная боль были еще велики. При помощи солдата он слез с телеги, и его под руки повели к командиру.

– Господи! Да чем же я виноват, что не мог идти?! Не мог, при всем желании.

Командир встретил Антона участливо.

– Что ты, голубчик?

– Плохо, ваше высококородие.

– Иди в лазарет. Ты не пойдешь больше с этапом.

Антон удивленно посмотрел на офицера.

– Я получил вчера телеграмму из Петербурга. Там оказалось, что ты невинно осужден, ты не убивал камердинера, настоящих убийц нашли. Тебе хотят вернуть свободу и честное имя! Я отправлю тебя обратно в Петербург с первым этапом. Снять с него кандалы, – приказал командир солдатам.

Антон плохо верил тому, что слышал. Может ли это быть? Разве кто сознается, что его три месяца водили в кандалах, мучили, забили и все это напрасно, по ошибке. Нет ни-

кто не сознается! Он хорошо помнит, как присяжные сказали: «Да, виновен», а суд приказал: «Сослать его в каторжный работы на...» После этого кто же может теперь освободить его?

– Ты как будто и не рад, – участливо спросил командир, видя понуренного Антона.

– Чему радоваться, ваше высококородие, только лишнее ходить придется! Теперь до Питера три месяца, потом назад.

– Да назад тебе не придется! Тебя совсем освободят в Петербурге.

Антон отрицательно покачал головой.

– Меня осудили, ваше высококородие. Видимо, там понадобилось что-нибудь, вот и вернут.

– Какой же ты чудак! Да я тебя совсем мог бы освободить, только тебе делать нечего здесь... Ну, хочешь – я тебя освобожу?

– Пропал я, ваше высококородие, мне теперь все равно.

– Ты вот что: иди в лазарет, поправься, после мы поговорим с тобой.

Антон увели и уложили. Фельдшер дал ему каких-то капель, и он уснул. Когда на сле-

дующий день он проснулся, этап уже ушел и вдали слышалась каторжная музыка. Эта музыка заставила задрожать Антона. У него на руках и ногах не было этих инструментов, хотя глубокие следы свидетельствовали, что вчера еще и он изображал музыканта в каторжном оркестре.

Ужас охватывал его при мысли, что, вероятно, ему сейчас опять оденут страшные инструменты и он пойдет со следующим этапом.

Антон ошибался... Как только петербургский следователь донес суду, что истинные убийцы камердинера графа Самбери обнаружены и Смолин был осужден невинно, суд постановил вернуть арестанта и сообщил свое постановление по телеграфу в Тюмень. Так как этап уже ушел из Тюмени, то телеграмма была переслана в Кочково, где и застала больного Антона.

Никто не поможет Антону забыть пережитых страданий, но молодость восстановит его силы, сбритые кудри отрастут, а красавица Груша все еще вздыхает по нему и ждет...

– Чего же нужно ему?! Только бы дождаться!

А дождется ли он?

38

В больнице

Старик Петухов поправлялся настолько медленно, что врачи все еще не решались сказать, миновала ли опасность. Отравление сулемой поддается лечению трудно, но, с одной стороны, слабый сравнительно раствор сулемы, а с другой – железное здоровье старика Петухова давали возможность надеяться, что он останется жить, тем более что отравление скоро было захвачено и помощь подана вовремя. Однако состояние паралича не проходило, и Тимофей Тимофеевич до сих пор не мог ни говорить, ни двигаться или владеть руками, ногами. Здоровье Гани было в лучшем состоянии. Послеродовой процесс не осложнился и проходил нормально; побои и ушибы, полученные за последнее время, не оставили следа, быстро заживали, и на днях врачи обещали разрешить молодой женщине встать с постели. Весь медицинский персонал, пользовавший отца и дочь, диву давался

железной прочности организма этой здоровой семьи. Десятой доли того, что они перенесли, было бы достаточно для того, чтобы убить обыкновенного петербуржца. Разумеется, эти испытания не пройдут бесследно, легко и долго будут давать себя чувствовать, но с годами все следы могут исчезнуть, если только теперешний кризис минует благополучно, то есть не случится никакого нового, неожиданного несчастья. Третий больной – Степанов – на следующий же день выписался из больницы и теперь энергично приводил в порядок дела завода, где, после всех минувших событий, не только остановились работы, но и произошел полный переполох: рабочие почти все разбежались, машины и станки были брошены; квартира хозяина опечатана полицией; на дворе толпились постоянно посторонние любопытные. Степанов немедленно принялся за водворение порядка, пустил в ход машины, уволил одних рабочих, взял других и привел завод в надлежащий вид. Тут же он узнал ошеломившую его новость о побеге Макарки.

– Господи! Опять все это затянется! Теперь

он исчезнет, и несчастная дочь Петухова будет десять лет считаться законной женой самозванца Куликова! Что станется с Павловым?! А ведь злодей был в руках правосудия!

Соседи в подробностях рассказывали о подземных ходах, погребе и подвалах Макарки и о том, как ловко он выскользнул из рук целой толпы полицейских!

Степанов печально опустил голову и задумался:

– Опять новое горе на голову мучеников!.. Макарка не из таких, которых можно поймать, если он успел бежать! Теперь искать его надо по всей великой Руси, от Питера до Камчатки! Надежды поймать почти нет, а бедняга Павлов мечтал о браке с Ганей, о счастливой семейной жизни. Что же делать?!

Степанов решил повидаться с Павловым и отправился в больницу. Старик Петухов, увидев своего управляющего, усиленно замигал глазами, и на лице его отразилось радостное чувство. Видно было, что он все слышит, понимает, сознает и не может только ничего сказать! А сказать и спросить было много о чем! Павлов, не отлучавшийся ни на минуту

от дорогих страдальцев, привык уже угадывать мысли старика и умел разговаривать с ним по глазам. Ганя не меньше отца обрадовалась появлению Степанова и протянула ему обе руки.

– Дорогой наш, как вы себя чувствуете? Прошли ваши отеки?

– Я совсем здоров, Агафья Тимофеевна; вы обо мне не беспокойтесь, как вы себя чувствуете, что вы делаете, скоро ли встанете, что говорят врачи о папаше?!

– Слава богу, все по-хорошему! Теперь идет на выздоровление! Наш добрый друг, Дмитрий Ильич, не спит дни и ночи, не отходит от нас! Не слыхали, что делается на следствии? Уличили моего мужа? Ведь его арестовали и закованного отправили в тюрьму! Сознался ли он? Скоро ли я буду совершенно свободна?!

– Скоро, скоро, – отвечал сконфуженно Степанов, стараясь не глядеть в глаза своих дорогих друзей, опасаясь, чтобы они не прочли его тревоги. Петухов тревожно ловил взор Степанова, как бы угадывая новое несчастье. И Ганя почувствовала, что не совсем что-то ладно.

Если бы все обстояло хорошо, то Степанов поторопился бы сообщить все детали, подробности, он насладился бы сам этими рассказами, а не ограничился бы лаконичным «скоро».

– Мне нужно еще расписаться здесь в конторе, – сказал Степанов, – не можем ли мы с Дмитрием Ильичом оставить вас на минуту.

– Конечно можете, – грустно ответила Ганя, – я ведь почти здорова.

Едва они вышли, Павлов схватил руку друга.

– Вы нарочно увели меня, чтобы не говорить при них? Новое несчастье: Макарка обманул их и убежал?!

Степанов утвердительно кивнул головой.

– Я так и думал! Густерин остался верен себе: он со своею осторожностью делал все, чтобы дать Макарке свободу! Почему они не связали злодея? Не скрутили ему рук и ног?!

– Ягодкин предлагал, но Густерин не счел себя вправе.

– Право! Право! Какие могут быть «права» с каторжниками-душегубами!! Вот теперь и целуйся с ним; что же они думают делать?

– Не знаю. Я не был у Густерина, нужно бу-

дет повидаться. Трудно поймать Макарку. Горячее поле непроходимо для полицейских, а Макарка знает все ходы и выходы. Он выйдет куда-нибудь за Лигово, и поминай его как звали! Хорошо еще, что успели захватить все его капиталы, вещи, улики.

– Не все ли это равно, когда упустили самое главное?!

– Нет, теперь можно все-таки начать процесс о разводе, о признании брака недействительным, ввиду подложной личности жениха.

Они замолчали, оба хорошо сознавая, что положение сделалось затруднительным и тяжелым. Консистория не примет этих улик для расторжения брака, потому что и сам Густерин со следователем не вполне уверены в личности Макарки-Куликова. Очная ставка между орловским мещанином Куликовым и зятем Петухова не успела состояться; последнего не предъявили никому из знавших Макарку; все улики обличают в зяте Петухова только преступника, убийцу, душегуба, но всего этого еще недостаточно для расторжения брака, как не доказано, что он бродяга

Макарка, или пока его не лишили судом всех прав состояния, если он не лишен уже их ранее; словом, так или иначе, с бегством мужа Гани ее брак остается в силе на неопределенные годы, и мечтам Павлова не суждено осуществиться.

— После убийства Смирновых Макарка бежал и скрывался десять лет. Очевидно, и теперь он не скоро появится в Петербурге. Ганя, Ганя, не суждено тебе быть счастливой! Гарантированы ли мы, что Макарка раньше, чем покинуть Петербург, не посетит ночью семью Петуховых, как он посетил семейство Смирновых. Никакие запоры и стражи не могут уберечь нас от этого страшного разбойника!

— Вы правы. Но что же, что теперь делать?

— Поезжайте сегодня же к Густерину и посоветуйтесь, а теперь пойдем к нашим больным. Они, кажется, угадывают истину. Не лучше ли сказать им, уверив, что на след Макарки напали.

— Как хотите, не повредить бы только.

Они вошли в палату. Ганя сидела на кровати и держала руку отца, из глаз которого тек-

ли слезы. Старик тревожно смотрел на дочь и мычал что-то, тщетно стараясь произнести фразу. Ганя успокаивала его.

– Папенька, только бы нам скорее встать и вернуться домой! Макарка... он ведь сам сказал, что он Макарка! Он не может войти больше в наш дом! Я клянусь вам, что чувствую себя совсем здоровой и вам нечего беспокоиться.

– Что это? Слезы, – воскликнул вошедший Павлов, – ради бога, Тимофей Тимофеевич, что с вами? Чего вы волнуетесь? Разве я не подле вас? Разве вы не благословили вашу дочь на брак со мной? Остальное уже мое дело! Если я сумел освободить вашу дочь, когда она принадлежала другому, то сумею отстоять свою невесту! Неужели вы не верите мне?!

Старик замигал. Павлов приложил голову к его груди: сердце учащенно билось.

– Скажите нам всю правду, – произнесла Ганя, – что случилось? Папенька хуже будет тревожиться!

– Извольте. Макарка выскочил на Горячее поле, и его теперь травят там, как тигра или

льва. Он отбивается кинжалами, прячется в кочках, но его все равно поймают: живым или мертвым – это, надеюсь, для нас безразлично! Вот и все. Степанов советует прямо подстрелить его, но судебные власти хотят взять его во что бы то ни стало живым! Клянусь вам, что я говорю правду и тревожиться нам нечего! Не жаль ведь вам, если бы его и убили? Вот вдова, которая не станет оплакивать смерть мужа! Правда, Ганя? Ну, дайте мне вашу руку! Успокоились?

Старик, видимо, стал спокойнее и закрыл глаза. Из груди его вырвался протяжный стон.

– Боже, хоть бы он скорее начал говорить, – произнес Степанов.

– Доктор говорит, – заметила Ганя, – что через две недели он встанет, если в болезни не произойдет ухудшения. Ему предписан полный покой, а он вот взволновался.

– И взволновался без причины, – добавил Павлов, – теперь все кончено, и Макарка не опасен нам более! Слава богу, пережили все, что нам суждено было! Ганя, верите ли вы, что мы будем счастливы? Верите ли вы мне?

– Я верю вам, Дмитрий Ильич, и не могу

даже выразить, как я признательна вам за все, за все, но... будете ли вы со мной счастливы – это одному Богу известно! Я ведь не та уже, что была до знакомства с Макарьей. Я постарела, изменилась, здоровье и силы надорваны; я чувствую себя инвалидом.

– Ганя, зачем вы это повторяете мне в сотый раз? Вы так огорчаете меня! Неужели же я не понимаю, что все-таки вы лучше и моложе меня, выше душой и сердцем! Ганя, вы после Макарки стали еще драгоценнее! Эта страшная школа превратила вас в женщину закаленную, тогда как раньше вы были дитя своевольное, капризное, избалованное, изнеженное! Правда? – Павлов говорил с жаром, с увлечением и любовался осунувшимся, похудевшим, но все-таки прекрасным личиком молодой страдальицы. Ганя заметно хорошела с тех пор, как перешла к отцу, и ей оставалось только пополнеть, вернуть прежний румянец, чтобы опять сделаться красавицей.

Степанов должен был ехать в сыскную полицию, но ему не хотелось расставаться с друзьями, и он тянул время.

Старик долго лежал с закрытыми глазами,

открывая их на минуту, чтобы посмотреть на присутствующих. Бледное, как полотно, обрамленное седыми как лунь волосами, морщинистое лицо старика походило на лик мученика. Все с благоговением смотрели на него, и каждый в душе боялся.

– Не умер ли он уже?

Павлов тихонько вышел и велел пригласить доктора. Все замолчали.

Через несколько минут вошел врач. Он сразу увидел, что произошло что-то неожиданное, и с укоризной посмотрел на Павлова.

– Я просил ведь вас не впускать посторонних и не нарушать покоя.

– Это наши близкие. Посторонних никого не бывает. Ради бога, доктор...

Старик открыл глаза и имел спокойный вид. Доктор пощупал пульс, приложил руку к голове, послушал сердце.

– Я не вижу перемены к худшему. Напротив, пульс ровнее, и сердце бьется сильнее. Чего вы испугались? Кормили хорошо?

– Да, больной выпил бульон с аппетитом.

– Опасности нет, только, повторяю, не беспокойте его. Всего лучше дайте ему уснуть.

– Я ухожу, ухожу, – произнес Степанов и стал прощаться. Павлов вышел его проводить.

– Нам нельзя здесь встречаться, а мне хочется знать все, что происходит, следить. Пожалуйста, Николай Гаврилович, заходите в контору и говорите, чтобы меня вызвали к доктору. Меня часто вызывают, и они не догадываются. Только давайте мне знать по возможности каждый день. Вы понимаете ведь, в каком я положении!

– Еще бы! Будьте покойны! Вы тоже подумайте, не придумаете ли чего-нибудь.

– Увы! Едва ли тут что-нибудь придумаешь!

– Главное – не теряйте мужества!

Поиски

В управлении сыскной полиции было задержано уже много лиц, причастных к делу мнимого Куликова, оказавшегося Макарко-душегубом. Сидел под арестом рабочий, подавший во время обеда старику Петухову отравленную бутылку квасу; затем настоящий Куликов, привезенный из Орла; приказчик ювелира, упустившего Макарку с бриллиантами графа Самбери; горничная Коркиной, которую Елена Никитишна посылала к Куликову; несколько бродяг Вяземской лавры, знавших хорошо Макарку-душегуба, и другие. Все ожидали очной ставки с бежавшим злодеем.

Сам Густерин похудел и осунулся за эти дни, проводя бессонные ночи в составлении разных планов поимки душегуба. Были приняты самые энергичные меры. Фотографические карточки Макарки-Куликова были разосланы во все билетные кассы железных дорог, всем железнодорожным жандармам и во

все ближайшие города. На трактах, больших дорогах и по окружности Горячего поля были расставлены агенты сыскной полиции, снабженные разными указаниями и инструкциями. Горячее поле от Средней Рогатки до Лигово, а в черте города от Громовского кладбища до заставы и далее до самых скотобоен и скотопригонного двора были оцеплены стражей. Густерин лично ездил проверять, все ли на местах и все ли бодрствуют. Один агент, самовольно отлучившийся на час в соседний трактир, немедленно был уволен и заменен другим. Казалось, сделано все, что только возможно, но Густерину было мало этого. Он понимал, что такое напряженное состояние не может долго длиться; усиленная стража и бдительность полицейских чинов не будет поддерживаться более двух-трех недель, тогда как Макарка может все лето и осень скрываться в дебрях Горячего поля и благополучно после уйти за черту охраны в одну из темных ночей. Необходимо сейчас, немедленно приступить к облове Горячего поля, к поискам в болотах и кустах. но как это сделать? Ни пехота, ни конница не в состоянии пройти там, а

если ограничиться одними агентами, то они рискуют или попасть на ножи бродяг, чувствующих себя там, как дома, или завязнуть в непроходимых куцах, вовсе до сих пор не исследованных.

– Возможно ли допустить, – горячился Густерин, – чтобы у нас, под самой столицей, были такие неприступные и недоступные притоны бродяг?! А что сделать с этим проклятым полем?! Уничтожить его – потребны сотни тысяч, которых ни город, ни уезд не в состоянии ассигновать! Установить же пикеты при теперешнем состоянии поля нет никакой возможности!

Бродяги Петербурга не хуже Густерина знали эти экономические условия Горячего поля и пользовались ими настолько удачно, что задумали устроить там целую колонию. Если бы не гибель Гуся и не ссылка Тумбы, то они выстроили бы в глуши Горячего поля прочные хаты и открыли бы торговлю необходимыми продуктами потребления. Густерину докладывали об этих планах бродяг, но он беспомощно разводил руками.

– Что же я поделаю?!

И в самом деле ему ничего нельзя было поделать, как и теперь, когда Макарка ушел на Горячее поле. Сколько ни думал он, все более убеждался только в безвыходности своего положения.

Судебный следователь, руководивший дознанием, относился к делу более равнодушно.

– Нет – так и нет! Нечего делать! Подождем – попадетсЯ где-нибудь, тогда уж церемониться не станем!

– Ждать! А сколько душегубств он совершит до тех пор?! Нет, во что бы то ни стало необходимо его поймать!

– Следственная власть не имеет в своем распоряжении ни агентов, ни чиновников для розысков, так что я ничего не могу сделать; тем более, что вы упустили Макарку раньше, чем пригласили меня, – вы и ловите!

– В том-то и дело, что, при всем желании, я ничего не могу сделать. Остается последнее средство, которое я решил испробовать, – это устроить облаву и зайти по возможности дальше в дебри. Мы начнем облаву на заре, когда бродяги спят.

– Прекрасно, но ведь мне помнится, вы

объявили премию бродягам за доставку Макарки. Не подождать ли?

– Бесплезно. Они не решатся никогда выдать такого разбойника, да им и не взять его!

– Как знаете, дело ваше. Я занят теперь разбором вещественных доказательств, взятых в квартире Макарки. Улик у нас более чем достаточно!

– Да, действительно; при разборке бумаг мы нашли сорок два паспорта, в том числе на имя Семена Глотова, известного под кличкой Сеньки-косого. Не он ли и Сенька-косой?!

– О, нет, Сенька-косой совсем другой головорез!

– Тогда не убил ли его Макарка, так же как и Гуся.

– Едва ли. Антон Смолин рассказывал, что Сенька-косой убит Тумбой с товарищами. По всей вероятности, этот паспорт подложный или попал к Макарке в те времена, когда они вместе с Сенькой орудовали в Вяземской лавре.

– Во всяком случае, этот вопрос требует разработки!.. Кроме того, есть еще паспорта разных мещан и крестьян, имена которых

встречаются в наших делах. Вероятно, между ними и Макарой есть связь, но как ее обнаружить? Где найти этих людей?

В кабинет Густерина вошел Ягодкин.

– Сейчас получена телеграмма из Тюмени. Смолин отправлен был уже этапом дальше, но на первом переходном пункте его задержали и вернули. Кроме того, сообщается, что на этом переходе бежал опасный разбойник, Тумба.

– Бежал?! Ну, вот, значит, ждите нового визита! Опять возиться с ним! Месяцев через пять-шесть он будет уже на Горячем поле! Кстати, а где его Настенька?

– Я наводил справки на родине, – отвечал Ягодкин, – она еще прошлой осенью вернулась домой, но с наступлением весны уехала в Петербург вместе с ребенком. Вероятно, опять на Горячем поле!

– Хорошо. Мы ее, голубушку, сцапаем! Сегодня ночью, с первыми лучами солнца, мы сделаем облаву в дебри Горячего поля.

Ягодкин удивился, и на лице его отразилась торжествующая радость.

– Я давно настаивал на этом, ваше превос-

ходительство! Нужно было сейчас же броситься туда! Каждый пропущенный день представляет все больший риск упустить злодея!

– Так, пожалуйста, распорядитесь, чтобы все было готово к двум часам ночи.

– Знаете ли, – произнес следователь, – и я готов принять с вами участие в сегодняшней облаве. Если нам удастся взять Макарку, то я дам вам полномочия заковать его в кандалы.

– Прекрасно, мы возьмем с собой на случай кандалы.

– Ваше превосходительство, – произнес Ягодкин, – необходимо потребовать взвод солдат и половину резервных городских и околоточных надзирателей; хорошо было бы привлечь и тюремное ведомство. Мы все соберемся к часу ночи на городских скотобойнях. Позвольте, я объеду всех с просьбой о помощи; городское управление не откажет командировать в наше распоряжение своих всех бойцов, погонщиков и сторожей скотобоев. Чем больше будет народа, тем лучше! Возьмем плотников, землекопов: они устроят нам мостки, где нельзя будет пройти.

– Прекрасно, прекрасно, распорядитесь всем.

– Солдат надо расставить от Лиговки и Средней Рогатки, с тем, чтобы они на расстоянии двадцать сажень друг от друга подвигались медленно, цепью и приближались бы к нам! Предприятие, на которое мы идем, полно риску, но оно доставит огромную пользу в смысле изучения Горячего поля! Ведь стыдно сказать, что у нас Сибирь лучше исследована, чем Горячее поле! До сих пор в глубине поля не ступала еще ничья нога, кроме былых бродяг! Мы даже не знаем, что там есть! Пойманные бродяги рассказывают о куцах, полянках, называют прозвища дебрей, а мы ничего этого доподлинно не знаем!

– Мы с господином следователем сейчас только об этом говорили. Действительно, стыдно, но ничего нельзя поделать, потому что приведение участка земли, называемого Горячим полем, в состояние благоустройства не в нашей власти!

Ягодкин удалился, и следователь собрался уходить.

– Значит, к часу ночи я буду на скотобой-

НЯХ.

– Хорошо-с!

– А дальнейший разбор улик новых злодеяний, пожалуй, в самом деле прекратите! Дальше в лес – больше дров, а результатов действительно никаких. Достаточно и этих: убийство Алёнки, семейства Смирновых, камердинера графа Самбери, Гуся, Игнатия, покушение на отравление Петухова, истязание жены.

– А убийство Смулева в Саратове, а портрет девушки с отрубленным пальцем?!

– Да, да! И так масса! Обидно просто, что такого зверя нельзя повалить! Ну, что ему ссылка?

– И не говорите! А еще обиднее, что пока мы придумываем ему казнь, он, может быть, катит по железной дороге за границу или душит кого-нибудь!

– Брр!..

Они расстались. Густерин весь день и вечер не переставал обдумывать предстоящую облаву. Несколько раз к нему входил Ягодкин с докладами. Военное начальство дало казаков, которые уже были расставлены. Городо-

вые резерва посланы на Лиговку, где, под руководством Петрова и Иванова, они пойдут двумя колоннами от станции и до Средней Рогатки. В скотобойнях было собрано до ста человек переодетых полицейских.

– Было бы желательно, чтобы поисками каждой группы руководили наши агенты.

– Агентов и чиновников я предположил взять всех свободных, ваше превосходительство, а их восемнадцать человек. Этого будет вполне достаточно для всех групп; каждому агенту дается свисток и расписание сигналов, то есть условных разговоров. Если группа попадет в опасность, она дает три коротких свистка; если Макарка найден – долгий, протяжный свисток, повторяемый как можно большее число раз; если группа хочет сойтись с другими ближайшими, она дает отрывочный свисток с промежутками и так далее.

– Скажите, а какую роль вы назначили нам с вами?

– Вы, ваше превосходительство, лучше всего сделали бы, если бы оставались наблюдать за растянутой цепью. Вам подвергать себя риску, забираться в дебри нет никакой надоб-

ности. Не надо забывать, что хотя все мы будем хорошо вооружены, однако опасность получить удар ножом из-за куста или выстрел в спину очень велика!

– Разве вы тоже уходите на поиски?

– Я непременно иду по тому направлению, которое кажется мне более вероятным для встречи с врагом.

– Чем же вы руководствуетесь при выборе направления?

– Этот путь лежит в самом центре и имеет кратчайшие выходы к Средней Рогатке и Лиговке.

– Хорошо. Я одобряю ваш план.

– Едемте на скотобойни.

Они вышли...

Облава

Мирно спит застава. Последние игроки Горячего поля ударили «в банк», бросили карты и, растянувшись на сырой траве кочек, беззаботно захрапели. Тысячное фабрично-заводское население давно уже успокоилось после трудов праведных. Измученные, изнуренные четырнадцатичасовой работой в душной, раскаленной атмосфере, пропитанной пылью и смазочными маслами, труженики-молотобойцы едва дотащились до своих угловых жилищ и после скудного ужина захрапели во всю ивановскую. Ведь к шести-семи часам утра им опять вставать, опять приниматься за тяжелую изнурительную работу, без отдыха и просвета в будущем! Зловоние угловых «фатер», мириады насекомых, теснота и духота заставляют многих из них ночевать летом на вольном воздухе широкого, просторного и приветливого Горячего поля. Проходя по Забалканскому проспекту, мимо роскошного Новодевичьего монастыря, можно видеть,

как на противоположной поляне, от самых скотобоен до заставы, все пространство усеяно невзыскательными ночлежниками, расположившимися без подушек, матрацев, одеял прямо на траве, в одежде, подложив под голову полено или камень, прикрытый фартуком. Бродяжки, считающие себя законными владельцами Горячего поля, шутя называют этих ночлежников своими дачными гостями и никогда не беспокоят их. Зато импровизированных «дачников» часто тревожат полицейские обходы, с требованием паспортов. Ночевать тут никому не запрещается, если паспорт при себе, но беспаспортные, то есть у которых паспорт на заводе или на квартире, рискуют провести несколько дней в мытарствах по участкам, полицейским частям и сыскному отделению.

Чудная майская белая ночь, когда и без солнца около 20 градусов, привлекла особенно много дачников на Вольную поляну, составляющую входные ворота Горячего поля. Бедные дачники и не подозревали, что в эту ночь предстоит генеральный обход Горячего поля, под главенством самого Густерина, так

что всем придется познакомиться с казематами Нарвской, Коломенской и Казанской частей, а большинству прогуляться в Дерябинские казармы, где для забираемых при обходах летом приготовлен сарай на полторы тысячи человек. При заурядных обходах, когда попадаются принадлежащие, очевидно, к рабочему классу (грязный передник, мозолистые черные руки, инструменты и т. п.), то их тут же освобождают, но сегодня заниматься «сортировкой» некогда и все, попавшиеся в руки полицейских, немедленно отправляются с конвоем под арест.

К часу ночи большие залы лаборатории скотобойни были переполнены полицейскими. Нижние чины, то есть солдатики, городовые, сторожа были уже на местах, образовав цепи, за пределы коих они впускали кого угодно, но не выпускали ни под какими предлогами, даже отца родного! Таков строжайший приказ высшего начальства!

В залах шел оживленный говор. Ждали Густерина. Следователь, для которого этот обход представлял много новых и любопытных впечатлений, приехал в числе первых и подроб-

но знакомился с планом Ягодкина.

– Замечательно удачный план! Если он удастся, то Горячее поле будет совершенно очищено.

Ягодкин усмехнулся.

– Надолго ли мы его очистим? Не хотите ли постоять часа три-четыре около Средней Рогатки и полюбоваться, как по Московскому тракту двигаются к Петербургу толпы оборванных, отощавших, полубольных людей. Это все административно-ссылные, самовольно возвращающиеся в столицу и прямо направляющиеся на Горячее поле! Братъ, хватать их? Но тогда они пойдут не по шоссе, а стороной, на Лиговку и все-таки будут на Горячем поле! Ничего нельзя поделать! Вот сегодня мы, вероятно, возьмем тысячи две бродяг и возьмем несколько важных преступников, потому что пойдём в глубину поля, за кладбище, к Рогатке и Лиговке. А то обыкновенно из десяти забранных девять приходится выпускать! Что с ними делать? Рабочие, безместные, голяки, бесприютные, бесписьменные, потому что паспорт денег стоит, а у них больше пятака в кармане не бывает. Ну,

берите их, кормите, поите, давайте паспорт; они не преступники, карать их не за что!

– Это первый такой большой обход?

– Первый. Неизвестно еще, как удастся! Может быть, завязем только в болотах и больше ничего!

Приехал Густерин. На нем был костюм как у спортсмена: высокие сапоги, короткое пальто, шапочка и хлыст в руке. Красивое, умное лицо, с седыми баками и стройная фигура в этом наряде напоминали англичанина-эксцентрика. Он был в прекрасном расположении духа...

– Все готово, все в сборе? – спросил он Ягодкина.

– Все, ваше превосходительство.

– Так двинемся в путь?

– Мы ждем ваших приказаний.

– Ставьте всех на места.

Гурьба вышла из зала во двор. Пройдя несколько загонов и проходов для скота, они дошли до высоких задних ворот и, распахнув их, очутились на поле. Пахнуло утренней прохладой оживившейся природы. Слева, позади монастырской ограды, чуть брезжил луч

готового взойти солнышка.

Густерин со следователем и Ягодкиным с минуту стояли молча перед расстилавшейся перед ними картиной. Им точно неловко показалось нарушать тишину этого величественного, еще не пробудившегося утра. Петербуржцы, годами не видящие настоящей деревенской природы, поражаются каждым обширным зеленым ковром, расстилающимся перед их глазами, без всякого участия увеселительных антрепренеров. Дикая, но обильная зелень Вольной поляны произвела на Густерина впечатление именно своей неожиданностью. Вглядываясь пристальнее в открывшуюся картину поляны, без труда можно было разглядеть фигуры ночлежников-дачников.

– Неужели мы их всех будем забирать?! – произнес Густерин, указывая на черневшие точки на поляне.

– Необходимо, ваше превосходительство, мы не знаем ведь, не найдется ли среди них хитрого Макарки, который перерядится рабочим и замешается в эту толпу.

– Да, но тревожить всех этих бедняков, на-

рушать их ночной отдых!..

– Что делать. Лес рубят – щепки летят. Это не каприз наш.

– Хорошо. Начинайте. Занимайте позиции.

Группы чиновников побежали к своим постам.

Густерин дал пронзительный свисток. Ему ответили с разных сторон. Картина поляны быстро изменилась. Из разных кочек стали вырастать силуэты людей, которых хватили за шиворот и волокли к заставе. Одни бежали, другие покорно отдавались в руки, но что это?.. Ягодкин остановился в недоумении около опушки поляны и делал какие-то знаки Густерину и следователю. Они пошли к нему.

– Смотрите.

На траве, под кустом, лежал труп женщины с обглоданными ногами, руками и расклеванным лицом.

– Господа! Это что?!

– Собаки и вороны нашли себе добычу! Но неужели несчастную съели живую?! А может быть, тут кроется и преступление! Вот подиразыщи теперь, кто она и как ее съели!

– Однако нам теперь некогда заниматься

этим! Смотрите, все ушли уже с поляны, – произнес Ягодкин, – до свидания!

И он с четырьмя людьми скрылся за опушкой. Густерин со следователем пошли к толпе забранных с поляны, которых оказалось до двухсот человек. Густерин постоял около них и приказал отпустить домой около сотни рабочих.

– Бог с ними! Зачем напрасно их таскать по участкам.

Двое цолицейских отправились за извозчиком, чтобы отвезти полусъеденный труп в покойницкую Нарвской части.

– А мы пойдемте на Громовское кладбище, – предложил Густерин следователю.

За ними отправилось несколько сторожей. Кладбище было закрыто. Мертвая тишина ничем не нарушалась. Через открытые ворота они прошли насквозь по мосткам и вошли на другую поляну, еще больше Вольной, но далеко не такую живописную. Это было болотистое, поросшее мелким кустарником пространство. Они стали прислушиваться. Изредка раздавались свистки. Облава шла, точно придерживаясь программы, шестью колонна-

ми, но, увы, две колонны застряли уже перед непролазным болотом и не находили выходов. Они, очевидно, пошли по ложному следу, каких здесь множество. Кто делает эти следы? Умышленно ли их прокладывают бродяжки, чтобы обмануть преследователя, или, быть может, это старые тропинки, сделавшиеся непроходимыми и потому заброшенные. Во всяком случае группы очутились в довольно глупом положении. Вернуться назад, на Вольную поляну – стыдно, стоять у болота – глупо, двинуться в сторону – некуда. Из остальных четырех групп одна, с Ягодкиным, подвигалась очень успешно, а другая с трудом двигалась по чаще мелкого леса. Вдруг раздался протяжный свисток. Он повторился. Чу! Кто-то вышел на след. Ягодкин со своими людьми ясно слышал сигнал, но не мог двинуться в ту сторону, где его отделяло топкое болото. Как быть? Приходилось оставаться немymi зрителями.

Свистки подавались из группы чиновника Протасова, который нашел кущу с тремя обитателями.

– Кто вы и что здесь делаете, – спросил

Протасов.

– Живем мы здесь, а теперь ловим Макарку.

– Паспорта где?

– Нетути, давно нетути.

«Что же с ними делать, – думал Протасов, – нас всего шестеро; послать троих с ними – мало останется для облавы дальше; послать с одним – рискованно, убьют еще дорогой! Свистки остаются без ответа».

– Ну, марш с нами, – приказал он, – идите впереди, будем искать вместе Макарку! Мы также его ищем. А вам зачем?

– Пятьсот рублей обещано, изволили верно слышать.

– А... а... Ну все равно найдем вместе, так вы получите награду! Показывайте дорогу!

– Слушаем-с...

Бродяги пошли бойко вперед. Дорога стала просторнее, удобнее.

– Вот что значит знатоки, – заметил Протасов товарищам.

Они шли с полчаса. Бродяжки прибавили ходу, так что сыщики едва поспевали за ними. Наконец они побежали.

– Тише, – закричал им Протасов.

Бродяжки пустились полною рысью. Еще минута, и дорога оборвалась на краю болота. Бродяжки бросились в болото выше колен и стали перескакивать с кочки на кочку.

– Проклятье! – произнес Протасов. – Это они завели нас.

Между тем бродяжки привычно и ловко подвигались к опушке противоположного леса. Протасов выстрелил вдогонку. Бродяжки еще ускорили прыжки. Опять выстрел. Один из них ранен. Товарищи поволокли его и исчезли в лесу.

– Вот положение, – произнес Протасов, – неужели и нам ползти?

– Невозможно. Увязем.

Они стали давать свистки. Неподалеку слышались ответные сигналы. Протасов решил идти на эти сигналы, и действительно, через четверть часа они увидели другую группу, стоявшую у того же самого болота. Протасов рассказал свое приключение.

– А мы никого не встретили и не знаем, что делать, – ответили те.

– Надо идти обратно.

– Попробуем дать сигналы.

– Не стоит, еще помешаем только другим!

Между тем Ягодкин со своей группой все шел вперед. Вскоре после свистков Протасова он услышал свистки с противоположной стороны. Свистки раздались почти рядом. Ягодкин свернул направо и через несколько минут очутился около группы, подававшей сигналы.

– Машка-певунья! – произнес Ягодкин, увидев стоявшую перед сыщиками женщину.

– Я...

– Ну, убили бобра, – улыбнулся Ягодкин, укоризненно посмотрев на сыщиков, – стоило сигналы давать!

– Господин Ягодкин, – обратилась к нему Машка, зная фамилии всех чинов сыскальной полиции, – прикажите им меня отпустить! Я ищу Макарку, все наши ищут.

– А ты не хочешь с нами вместе искать?

– Нет, вы ничего не найдете!

– Почему? Тебя нашли ведь?

– Я не пряталась, а если бы пряталась, то никогда не нашли бы!

– Так ты помоги нам искать.

- Не могу! Вы только мешаете нам!
 - А ты разве найдешь?
 - Не я, а все мы найдем непременно.
 - Ой ли?!
 - Найдем, ему некуда укрыться от нас! А вы мешаете! Вы и ходите не там, где следует!
 - Пустое ты все болтаешь.
 - Дело ваше, пустите только меня.
 - Куда эта дорога идет?
 - К болоту.
 - Врешь.
 - Соврите вы лучше!
 - А ты куда пойдешь!
 - Не скажу.
 - А я не пущу тебя!
 - Вы не смеете меня не пустить, я не преступница, я свободная, у меня паспорт есть.
 - И все-таки не пущу!
 - Вы насилье тогда сделаете? Да и зачем вам меня держать? Что вы со мной сделаете?
 - Ты скажи, где вы ищете, куда пойдешь?
 - Сказала не скажу! Пустите – я вам завтра приведу Макарку.
 - Ах ты балалайка! Ну, пустите ее.
- Машка, как серна, прыгнула в кусты и ис-

чезла. Ягодкин пошел вместе со второй группой, потому что путь их обоих лежал параллельно. Машка сказала правду. Они не прошли и версты, как уперлись в болото и не без удивления увидели наискось от себя в ста саженях Протасова с другой группой. Ягодкину стало неловко. Пришлось сознаться, что все четыре группы гуляли напрасно. Он не знал еще, что две остальные группы давно уже вернулись на Вольную поляну.

Восемь часов поисков не привели ни к чему и не открыли ни одной сквозной тропинки, ни одного выхода!

К 12 часам дня все опять собрались в залах скотобоев.

– Итак, только напрасно потревожили мирных рабочих?

– Увы, вся надежда остается на Машку-пелунью.

Виновна ли?

Наступил день суда. Елена Никитишна провела уже несколько дней без сна и металась в своей камерке старой губернской тюрьмы. Прокурорский надзор еще раз запросил петербургскую сыскную полицию относительно Макарки-душегуба и получил ответ, что, за всеми принятыми мерами, до сих пор злодея поймать не удалось и даже генеральная облава на Горячем поле не принесла никаких результатов. Тогда дело о Коркиной было выделено и назначено к слушанию отдельно. Впуск в зал пришлось сделать по билетам, которые нарасхват были разобраны. Большинство саратовцев лишены были возможности присутствовать на сенсационном процессе, потому что зал вмещал не более 100–150 человек. В городе только и разговора было, что о Коркиной. В день суда, когда преступницу должны были вести из тюрьмы в зал заседания почти через весь город, на всех углах и площадях толпился народ. У ворот

тюрьмы собралось свыше 300–400 человек. Одни интересовались взглянуть на вдову Смулеву, другие хотели выразить ей заверение, что не считают ее убийцей. Елена Никитишна вообще произвела на саратовцев самое благоприятное впечатление, и рассказы об ее «странном» поведении складывались в целые легенды.

На самом деле Коркина страдала и мучилась эти дни больше, чем когда-нибудь! Она видела, что очутилась в безвыходном положении: если защищаться против ложных обвинений, могут оправдать; признать же себя участницей и сообщницей Макарки-душегуба, сознаться в корыстном убийстве своего мужа она никак не могла решиться! Слишком это позорно и унижительно даже в собственных своих глазах, не говоря уже про мнение близких ей саратовцев, встретивших ее с таким сочувствием. Она покроет позором не только свою голову, но и память ее почтенных родителей, дедов, которые свыше десяти поколений известны были в Саратове за людей высокой честности, порядочности.

Напрасно Елена Никитишна ломала дни и

ночи голову, выхода не было! Сегодня ее поведут в суд, ей надо говорить, а она ничего не знает, защитника у нее нет. Она пробовала воззреть очи свои на небо и искать там защитника, заступника; но больной мозг не повиновался, голова не соображала, не работала, мысли не сосредоточивались.

– О! Я, кажется, сойду с ума, – стонала она и устремляла безжизненный взор в маленькое единственное окошечко ее камеры, выходящей во двор. А там, на дворе, слышалось бряцание сабель жандармов и звон кандалов.

Замок в дверях каморки щелкнул, и на пороге появились жандармы.

– Вставай, пойдем в суд, – обратился к ней один из жандармов.

Елена Никитишна перевела на вошедших все тот же бессмысленный взор и не шевелилась.

– Аль оглохла, вставай.

И жандарм взял её за плечо. Она встрепенулась, вскочила с табурета и, пугливо озираясь, спросила:

– Что вы хотите? Что надо?!

– В суд вести тебя! Поняла?

– В суд?! А, поняла, поняла.

Коркину повели между двух жандармов, взявших сабли наголо.

Не успели они выйти со двора, как толпа их окружила. Напрасно жандарм, шедший впереди, просил честью дать дорогу, напрасно тюремная стража расталкивала толпу: народ тесным кольцом окружил конвой и рвался к преступнице. Пришлось немедленно подать карету и посадить в нее арестантку, но и тут сотни голов тянулись к окошкам, кланялись Кориной, кричали что-то и бросали цветы.

– Она наша, она невинна, она жертва Смужева, а не убийца; мы знаем, спросите нас, мы девочкой еще знали ее, – слышались возгласы.

Карета покатила, а толпа махала платками, кивала головами. На углах народ бежал за каретой, чтобы заглянуть в окошки. Это было настоящее триумфальное шествие. Елена Никитишна краснела и бледнела, руки дрожали, в глазах рябило. Она видела это проявление сочувствия земляков и в то же время вспоминала тезисы обвинительного акта. Эти милые

саратовцы здороваются с сообщницей Макарки-душегуба, с лютой злодейкой, способной нанимать убийц для мужа?! О, нет, нет, ни за что!! Я буду кричать.

Карета остановилась у подъезда большого, старого здания. Несколько сторожей раздвинули толпу и помогли жандармам провести арестантку. Кто-то бросил ей букет, но стражник откинул его обратно в толпу. Когда они скрылись в коридоре, Елена Никитишна вдруг остановилась и схватилась за грудь. Сердце забило так сильно, что она не могладохнуть и лицо покрылось мертвенной бледностью. Сердечные припадки стали делаться у нее часто, но этот был особенно сильный. Если бы не жандарм, шедший сзади, она грохнулась бы на каменный пол коридора.

Припадок скоро прошел и, по-видимому, обошелся благополучно.

Суд был уже в сборе. Прокурор-обвинитель весело болтал с председателем.

— Мы явно кончим без защитника! Мне свидетели вовсе не нужны. Если наша интересная подсудимая признает себя виновной, то можно обойтись и совсем без свидетелей.

– Разумеется.

– Я тоже не задержу; моя речь не займет более четверти часа! Особенно нечего распространяться.

– Давайте начинать. Подсудимая приведена.

Никогда еще саратовский суд не видел в своих стенах такой массы народа. Все места, проходы и коридоры были забиты, несмотря на ограниченное число билетов. Все с напряженным нетерпением смотрели на скамью подсудимых, где сейчас должна появиться «интересная подсудимая».

– Суд идет!

– Введите подсудимую!

В этот момент можно было расслышать полет мухи. Дверь открылась, и на подножке позорной скамьи показалась седая старушка в глубоком трауре.

– А где же Смулева-Коркина? – шептались зрители.

– Это она и есть.

– Не может быть! Она молодая, красивая.

– Объявите суду ваше звание, имя и фамилию, – возгласил председатель.

– Жена купца, Елена Коркина, по первому мужу Смулева, – твердо произнесла старушка.

– Вам двадцать девять лет от роду?

– Да...

– Веры православной?

– Да...

По исполнении всех формальностей, занявших около часа, началось чтение обвинительного акта. Когда секретарь окончил, председатель обратился к подсудимой:

– Признаете ли себя виновной?

– Это ложь и клевета! – почти крикнула Коркина таким голосом, что все вздрогнули.

– Подсудимая, призываю вас к порядку. Расскажите, как было дело?

– Не хочу! Я протестую только против лжи!

Прокурор переглянулся с председателем и удивленно пожал плечами.

– Хорошо, мы спросим свидетелей.

Потянулся скучный, длинный и утомительный процесс. Землекопы рассказывали, как они нашли труп Смулева, понятые описывали формальности составления протоколов, саратовцы подтверждали свое знакомство с супругами Смулевыми и т. д. Ни прокурор, ни

Коркина не предлагали никаких вопросов и слушали совсем равнодушно. Зрители стали скучать.

Но вот важное показание дяди Елены Никитишны, который вместе с ее покойным мужем искал ее в доме.

– Но вы подсудимую так и не нашли тогда?

– Нет.

– А где и когда нашли?

– Утром, в саду, без чувств.

– А Смулева тогда уже не было?

– Не было.

– Значит, подсудимая могла убить мужа вместе с Макарой и после упасть в обморок?

Свидетель молчит.

Коркина вскочила, гордо выпрямилась и произнесла:

– Нет, не могла! Вы, господин прокурор, умышленно сбиваете свидетеля!

– Подсудимая, еще раз призываю вас к порядку.

– Призовите и прокурора к порядку в его вопросах свидетелю. Вы слышали, к чему он привел моего дядю? Разве вы для издевательства вызываете свидетелей?

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что поиски моего мужа и дяди кончились в четыре часа утра, а нашли меня в семь часов, то есть через три часа; между тем врачи констатировали, что я была в обмороке от десяти до двенадцати часов, то есть с четырех до шести часов вечера. Так, господин председатель?

– Да, в деле это имеется.

– Так как же я могла между четырьмя и семью часами утра убить мужа да еще с Макашкой?! Говорите, господин прокурор?

– Не обращайтесь, пожалуйста, к прокурору.

– Судите меня – это ваше право! Но клеветать, издеваться надо мной вы не смеее.

И Елена Никитишна села. Глаза ее метали искры. Прокурор опять переглянулся с председателем. Допрос продолжался по-прежнему скучно, монотонно.

– Скажите, свидетель, вам неизвестно ничего об отношениях подсудимой к одному чиновнику в Саратове? – спросил прокурор домовладельца, у которого жили Смулевы.

– Ничего решительно. И никто в Саратове

ничего до сих пор не знает.

– Я сама скажу господину прокурору, – встала Коркина, – что была любовницей этого чиновника. Да, была! Это мое преступление, за которое я как милости прошу каторги! Еще я виновна в том, что не донесла на этого человека! Он сказал мне про задуманное убийство, и я упала в обморок, после заболела горячкой. Но когда я поправилась через полтора месяца, я должна была донести! А я поверила ему, что муж уехал, как собирался раньше. Да! Вот мои преступления, тяжкие преступления, и я молю у вас каторги!

Допрос кончился только к вечеру. После перерыва началась речь прокурора.

– Господа присяжные! Перед вами жена Смужева, которая, по предварительному стовору с любовником, наняла убийцу для мужа, теперь спустя восемь лет принесла повинную. Страх ли перед угрозами шантажиста, или проснувшаяся совесть руководила ею, для нас безразлично, но во всяком случае раскаяние только смягчает вину, а не оправдывает. – Прокурор подробно развил свои доводы и закончил: – Подсудимая просит у вас ка-

торги. Рисуется она или точно искренно хочет загладить свое преступление – это дело ее, но я также прошу у вас для нее каторги! Пусть смерть Смулева будет отомщена хоть на ней! Сообщник любовник умер, наемный убийца не разыскан, остается одна она, и пусть над ней свершится правосудие!

– Вам принадлежит последнее слово, – обратился председатель к Коркиной.

– Господа судьи, – твердо произнесла подсудимая, – я прошу у вас каторги и не думаю, чтобы вы нашли это рисовкой! Посмотрите на мои морщины и седины – они красноречивее слов прокурора. Рисоваться умеют только профессиональные обвинители, защитники и преступники! Рисовался перед вами и прокурор, который искусно лавирует между правдою и ложью, искусно играет словами! Это его профессия! Он и вчера сидел на этом кресле, и завтра будет сидеть, а я перед вами первый и последний раз! Я умоляю вас еще раз обвинить меня без всякого снисхождения, сослать меня в бессрочную каторгу! Умоляю, как о великой для меня милости, потому что я без того довольно страдала; нет больше сил

у меня! Но я требую у вас, как у судей, совести, чтобы вы сказали прокурору, что я не сообщница Макарки-душегуба, не убийца своего мужа! Кровь Смужева на мне, я виновна, что не донесла об убийстве его, когда поправилась, я пойду в каторгу, но вы засвидетельствуйте, что у меня даже помыслов не было искать его смерти, у меня не было никакого злого умысла!

Коркина села. Она схватилась за сердце и побледнела.

Председатель вручил присяжным заседателям вопросный лист и сказал краткое резюме. Они удалились. Не успела публика выйти в коридоры, как раздался роковой звонок. Все хлынули обратно.

– Виновна ли, – начал читать старшина присяжных, – подсудимая Коркина в том, что по уговору с другим лицом наняла наемного убийцу, который я умертвил ее первого мужа? Ответьте.

– Нет, не виновна.

– Если подсудимая не виновна по первому вопросу, то не виновна ли она в сокрытии преступления, совершенного хотя и без ее

участия, но с ее ведома? Ответьте.

– Нет, не виновна.

– Подсудимая Коркина, объявляю вас свободной.

– Как свободной? Нет, я не хочу! Я прошу каторги! Я не пойду отсюда! Ради бога, пощадите!

С оправданной подсудимой сделался истерический припадок.

– Доктора, скорее доктора!

42

Отъезд

Прошло уже две недели, как бедный Тимофей Тимофеевич лежит в полном параличе, без языка и движений. Врачи не теряют надежды на выздоровление больного, но что несчастный переживает теперь – этого никто ему не вернет! Он все понимает, видит, слышит, но проявить свою волю не может никак! Ни спросить или узнать, ни приказать сделать или подать! А между тем, сколько волнующих его событий! Неожиданное сватовство Павлова, послеродовой процесс болезни доче-

ри, поимка злодея Макарки-душегуба, брошенный на произвол судьбы завод и т. д., и т. д. О всем этом хотелось говорить много, подробно, а тут он не может произнести ни звука, не может шевельнуть рукой, сделать знака, написать свое желание на бумаге. Мучительное состояние особенно было тягостно, потому что больной не знал, долго ли оно продолжится. Правда, врачи громко говорили, что через неделю он будет здоров, но они могут говорить это только для его успокоения. Прошло уже две недели, а выздоровления нет. Были моменты, когда ему казалось, что силы возвращаются, мускулы приходят в движение, но эти моменты проходили и все оставалось по-прежнему. Только безотлучное присутствие дочери и Павлова доставляло ему утешение и некоторое душевное спокойствие.

Он видел, что Ганя быстро поправляется, встала, ходит, на ее лице заметно тихое, кроткое спокойствие, как бы примирение с будущим. Павлов проявлял столько трогательной заботливости к нему и к дочери, что нельзя было сомневаться в искренности его чувств.

Степанов часто навещал их и, хотя в нем видна была заботливость, но он, как и другие, радостно смотрел на будущее. О! Неужели эти тяжкие испытания еще не миновали! Неужели впереди им предстоят новые мучительные тревоги?! Неужели этот проклятый душегуб опять вернется в их дом и протянет к ним свои чудовищные лапы, заставит дрожать их перед страшными, налитыми кровью глазами. Петухов чувствовал холодный пот, выступавший у него на лбу, когда он мысленно рисовал себе эту лоснящуюся, красную рожу, с выдавшимися скулами, искривившимся ртом и блуждающими, дикими глазами. Где он теперь? Пойман ли, уличен ли? Степанов как-то неопределенно говорит: «Сидит». А что если он успел бежать?

Особенно беспокоился старик по вечерам, в сумерки, оставаясь один со своими мрачными думами. Ганя рано укладывалась спать и скоро засыпала; спокойный, крепкий сон укреплял ее силы. Павлов уходил спать в фельдшерские комнаты, и больной чувствовал себя в эти долгие часы совершенно одиноким. Однажды ему показалось, что вот откры-

вается дверь и входит Макарка. Входит таким, каким он помнит его около своей постели, когда он открыл ему свои карты! Макарка сделался еще злее, ожесточеннее, он подходит к нему, протягивает кулачищи. Павлов только что вышел, простившись с ними до утра и пожелав покойной ночи. Ганя уснула. У Макарки блеснул в кулаке нож, глаза его за сверкали, а Тимофей Тимофеевич не может двинуть рукой, не может пошевелинуться, даже закричать. Больной сделал нечеловеческое усилие над собой, чтобы отогнать призрака, и вдруг... закричал «спасите». Ганя вскочила и спросонья не могла понять, в чем дело. Вбежали фельдшер, сестра милосердия. Тимофей Тимофеевич сидел на кровати и тяжело дышал.

– Ганя, – произнес он, – слышишь ли, я, кажется, говорить начал, Ганя!..

Петухов протянул руки и привлек к себе дочь.

Через минуту прибежал Павлов с доктором. Увидев Петухова сидящим и в объятиях дочери, Павлов пришел в неописанный восторг.

– Тимофей Тимофеевич, – воскликнул он, – неужели вы поправились?!

– Поправился, дорогой мой, Господь помиловал меня.

– О, какое счастье!

– А где Макарка? Я видел его окровавленного, с ножом в руке! Или это был призрак? – продолжал Тимофей Тимофеевич. Он говорил медленно, запинаясь, но совершенно ясно и внятно.

– Вы не могли видеть его, Тимофей Тимофеевич, – отвечал Павлов, – он теперь сидит арестованный под запорами и замками.

– Ну, смотрите, дети мои, что-нибудь не так. Мои видения не бывают напрасны. Или он бежал, или умирает теперь, но что-либо произошло. Вспомните мое слово. Я видел его так же ясно, как вот сейчас вижу вас.

– Успокойтесь, Тимофей Тимофеевич, забудьте о Макарке. Радуйтесь вашему счастью! Вы теперь совсем здоровы.

– Благодарение Богу, дети мои, я вынес за эти дни столько горя, сколько не принял за всю свою жизнь. Скажите же мне всю правду, чего мы должны ожидать?

– Мы ничего не скрываем от вас, Тимофей Тимофеевич, но теперь вы скажите, благоговяете ли вы любовь нашу? Ганя запреща- ла мне даже заикаться о нашем счастье, пока вы не поправитесь.

– О каком счастье вы говорите, дети мои, когда до этого счастья еще очень далеко. Муж дочери еще не потерял своих прав на нее, а вы, Павлов, не приняли ведь еще единоверие. Еще Макарка жив, мы все еще не оправились, а вы загадываете уже будущее счастье! Смотрите, не гневите Бога! Далеко еще нам до полного избавления от нашествия врага.

Старик, страшно исхудавший, обессилен- ный, опустился на подушки, не выпуская из рук шеи дочери.

– Ганя, Ганя, моя дочь несчастная, неужели опять этот злодей вырвет тебя от меня?!

– О каком злодее вы говорите? Ганя – моя невеста, и я до последней капли крови буду защищать теперь ее.

– Дорогой мой! Ганя принадлежит теперь вам больше, чем мне! Я погубил ее, а вы спас- ли от гибели! Нет здесь Степанова, мне хоте- лось бы прежде всего, как я начал говорить,

сказать ему спасибо. Да, Степанов доказал свое великодушие и преданность нам! Я виноват перед ним не меньше, чем перед дочерью.

– Ну, теперь, – произнес врач, – мне остается только поздравить вас всех, господа, с выздоровлением! Завтра вы можете выписаться из больницы. Помните только, что обоим больным нужно первое время соблюдать осторожность, беречь себя и пуще всего не волноваться. Я советовал бы вам уехать из Петербурга хоть на месяц.

– Это самое лучшее, – радостно подхватил Павлов. – Поедемте втроем в Москву, я устрою там свой переход в единоверие, и, быть может, мы сыграем свадьбу!

– Ну, пожалуйста, не говорите вы ничего о свадьбе! Грешно и неприлично теперь думать об этом! Бедная Ганя еще не похожа сама на себя, я только что поднимаюсь со смертного одра, а вы толкуете о свадебном пире! Если Бог благословит, то это будет впереди! Нужно еще покончить с первым мужем! Макарка не оставит нас в покое! Ох, предчувствую я недоброе! Упаси Господи и помилуй!

Почти всю ночь они не спали. Только под утро старик уснул, а Ганя и Павлов задремали сидя.

Чуть рассвело, Павлов послал сторожа за заставу привести с завода Степанова. Ганя на цыпочках вышла за Павловым в коридор и остановила его.

– Дорогой мой, скажите правду, неужели предчувствие это верно?! Вы обманываете меня? Макарка убежал?

– Мужайтесь, Ганя! Да, действительно ваш душегуб скрылся, но только его ловят и на верняка поймают.

Ганя зашаталась.

– Увы! Я предчувствовала! Почему вы не говорили мне раньше? Нет, не поймают его, когда из рук упустили! Не таковский он, чтобы опять в руки даваться.

– Он ушел на Горячее поле, которое все оцеплено и охраняется.

– Легче оцепить и охранять город Петербург, чем Горячее поле! Зачем обманывать себя? О, боже, боже! Значит, испытания наши еще не кончены! Отец прав! Рано мечтать нам о будущем! Счастье не для нас!

– Полноте, Ганя! Во всяком случае вы со мной и бояться вам нечего!

– Это убьет опять отца. От него не скрыть этой ужасной истины!

– Необходимо скрыть. Уедем же завтра в Москву.

– Я согласна не только в Москву, но на край света бежать!

Несколько минут спустя явился Степанов, испуганный, встревоженный.

– Что случилось?!

– Ах, это вы! Слава богу, – воскликнула Ганя, – идите, Николай Гаврилович, папенька поправился, говорит, хочет вас видеть; не знаете ли вы что-нибудь о муже? Поймали ли его?

– Разве вы знаете? Зачем Дмитрий Ильич сказал вам? Разумеется, его поймают, если уж не поймали. Вчера была облава всего Горячего поля, вся полиция на ногах! Никогда ему не скрыться!

– Добрый вы, Николай Гаврилович! Вы все видите в розовом свете! Помните, послали меня в церковь венчаться и то уверяли, что свадьба не состоится! У вас еще юношеская

душа! Хороший вы человек!

Ганя говорила не то с легкой иронией, не то наставительно, тоном старшей, более опытной женщины. Истекший год действительно превратил ее в пожилую, опытную женщину.

– Где мои дети? – послышался из палаты голос старика Петухова.

– Пойдемте скорее, отец проснулся.

Они вошли. Увидев Степанова, Петухов протянул ему обе руки и воскликнул:

– Николай Гаврилович, дай обнять тебя и сказать тебе от глубины души спасибо за все! Приди на грудь мою!

Ганя стояла рядом с Павловым и смотрела на трогательную сцену. На лбу ее опять залегли морщинки. Радость за выздоровление отца омрачилась роковым известием о бегстве мужа.

«Полного счастья на земле не бывает, – думала она. – Это было бы уже слишком: выздоровление отца, смерть злодея и любовь Павлова! Чересчур многого захотели!»

Долго длилось радостное излияние старика Петухова.

– У нас, Николай Гаврилович, – произнес Павлов, – есть еще просьба к вам!

– Что такое?

– По совету врачей мы решили сегодня ехать в Москву, а вы останетесь управлять заводом и всеми делами Тимофея Тимофеевича.

– Что ж, поезжайте с Богом.

– Я не думал еще об этом, – произнес Тимофей Тимофеевич.

– И думать нечего! Едем непременно, втроем, в отдельном купе курьерского поезда. Эта дорога не утомит вас, а в Москве мы повидаем всех старых друзей наших.

Ганя улыбнулась отцу, который посмотрел на нее вопросительно, спрашивая мнения.

– Поедемте.

Степанов отправился поспешно на завод, чтобы привезти необходимый багаж, белье, деньги и документы. Павлов ухаживал за стариком, помог ему одеться и пройти по комнате. Ноги еще были очень слабы, и без посторонней помощи он не мог двигаться. Однако бодрость возвращалась к нему заметно, и с каждым часом он чувствовал прилив новых сил.

– Не хотите ли вы, Тимофей Тимофеевич, сами проехать к себе перед отъездом? – спросил Павлов.

– Сил мало. А вот в Казанский собор заехать, молебствие отслужить необходимо! Предадим себя заступничеству Царицы Небесной! Ты, Дмитрий Ильич, хоть по бумагам еще и раскольник, но в душе православный? Правда?

– И вы спрашиваете меня! О, Тимофей Тимофеевич, много горячих слез пролил я за это время перед святыми иконами! Потому-то и верю я так горячо в наше будущее счастье!

– Слава богу! И как не видать во всем, что мы пережили, перста Божия?! Тебя осенила ревность к вере православной, меня Господь воздвиг со смертного одра, Ганю вырвал из когтей зверя хищного. Не погубил нас враг! Не выдал Господь!

После обеда все было готово к отъезду. Тимофей Тимофеевич ел с аппетитом и казался очень довольным. Ганя сумела скрыть свою тревогу и смущение по поводу бегства Макарки. Павлов был на вершине счастья. Степанов провожал дорогих путешественников.

В Казанском соборе было совершено напутственное молебствие. Ганя плакала навзрыд, а Тимофей Тимофеевич горячо молился, и по лицу его текли слезы. Он благодарил Творца за чудесное свое спасение и за избавление от супостата. Как истый христианин, он не желал зла этому супостату и просил Господа смирить душу врага своего.

Курьерский поезд умчал наших страдальцев в Москву.

43

Превращение Густерина

Начальник сыскной полиции Густерин и судебный следователь, руководивший делами Макарки-душегуба, не хотели примириться с мыслью об исчезновении злодея и решили повторить облаву на Горячем поле.

Преступления Макарки составили теперь пять больших томов. Это настоящая «литература» из жизни бродяжного Петербурга и современной уголовной хроники. Тут было все, начиная с кровавых таинственных убийств и кончая головоломнейшими побегам. Благо-

даря искусному, тонкому анализу всех злодеяний Макарки, личность этого разбойника была обрисована во всю натуральную величину. Насколько Густерин был осторожен, осмотрителен, настолько же дальновиден, последователен и обстоятелен. Оставаясь во всем на почве законности и в пределах предоставленных ему прав, он действовал твердо и решительно, не останавливаясь ни перед какими трудностями.

– Живой или мертвый Макарка должен быть в моих руках, – сказал Густерин, – и он будет у меня, но я достигну этого, ничем не нарушив существующих у нас законоположений и не прибегнув ни к какому насилию над личностью или к превышению моих полномочий.

Ягодкин был недоволен действиями своего начальника.

– Благодаря церемониям законности, мы чуть-чуть не дали убить Петухова и вот упустили злодея. Нужно было действовать решительнее, отбросив в сторону все церемонии.

– Я никогда не встану на скользкий путь произвола и насилия, какие успехи этот путь

не сулил бы мне! – произнес с достоинством Густерин. – Точно так же и случайности не могут приниматься нами в расчет. В данном случае, действительно, мы имели дело с разбойником, скрывавшимся под чужим именем, а сколько у нас имеется ежегодно частных жалоб и анонимных доносов? Если по всем этим заявлениям прямо хватать людей, сколько нахватали бы мы невинных?! Пожалуй, тюрем не хватило бы куда сажать!

И Густерин был совершенно прав. Благодаря своему твердому пути законности и правосудия, он стяжал себе почти европейскую известность и огромную популярность, никогда не прибегая к трескучим рекламным фейерверкам. Его боялись, но в то же время и уважали; его распоряжения исполнялись неукоснительно и считались непреложным актом, какими они и были в действительности. В данном случае ему пришлось столкнуться не только с личностью страшного душегуба, против которого бессильны все законы, но и с пресловутым Горячим полем, составляющим такую же аномалию благоустроенного города, как и Вяземская лавра.

Его неуспех только этими исключительными условиями и объясняется, но и теперь, несмотря на неудачу облавы, он не решился изменить своему пути законности.

– Будем бороться, насколько хватит наших сил и средств, – объявил он. – Завтра повторим облаву, усилим везде конвой и стражу, разошлем повторные телеграммы по всем городам, командирuem на Волгу еще двух агентов и так далее. Пока я буду оставаться начальником сыскной полиции, розыски и преследования Макарки будут продолжаться с возрастающей энергией! Я докажу злодею, что закон и правда превыше самого закоренелого душегуба!

– Пока продолжаютя розыски, нам необходимо разобраться в том материале, который находится у нас в наличии, – обратился Густерин к следователю. – Прежде всего у нас более ста тысяч наличных денег и тысяч на сорок бриллиантов; нужно все это ликвидировать.

– Каким образом?

– Бриллианты возвратить графу Самбери по принадлежности. Затем пятьдесят тысяч

кредитными облигациями нужно возвратить Петухову; это приданое, которое он дал девушку за дочь. Остальное придется сдать на хранение в кладовые суда.

– Это мы можем сегодня же исполнить.

– Потом необходимо привести в систему злодеяния преступника. Прежде всего убийство на Волге девушки, портрет которой мы нашли в шкатулке вместе с отрубленным пальцем.

– Я послал уже повестку отцу убитой и местному исправнику. На днях они явятся и обвинение будет вполне установлено.

– Розысков вам не потребуется.

– Да какие же розыски? Вероятно, Макарка не будет отрицать своей виновности. Его знакомство с покойной девушкой, ее преследования известны десяткам свидетелей.

– Да, но неизвестны обстоятельства исчезновения девушки.

– Право, для присяжных заседателей это излишняя подробность, когда нашли отрубленный палец, портрет и прочее.

– Хорошо, значит, это дело мы можем сдать суду, как законченное дознанием?

– Безусловно.

– Теперь убийство Смулева. Коркина оправдана саратовским судом.

– Эта Коркина будет свидетельницей по обвинению Макарки; кроме того, мы нашли при обыске в вещах Макарки портсигар убитого и некоторые вещи с инициалами Смулева.

– Довольно ли этого?

– Довольно, потому что главный свидетель и соучастник, чиновник Сериков, умер. Большого мы и не можем установить!

– Значит, это дело тоже сдаётся законченным?

– Да...

– Дальше. Убийство Алёнки и семьи Смирновых. Это самое слабое обвинение.

– Извините! При обыске мы нашли в числе акций газового общества именную акцию купца Смирнова, похищенную вместе с другими деньгами в ночь убийства. Как эта акция попала к Макарке? А относительно Алёнки вся Вяземская лавра будет свидетелем; соседи, спавшие в одной квартире с Алёнкой, видели Макарку, после того как полиция его

искала и ушла. Какой же нужно еще улики? Это дело тоже можно считать законченным.

– Теперь убийство камердинера графа Самбери. Мы имеем, кроме бриллиантов и трупа Игнатия, очень важные показания буфетчика, видевшего хозяина, приехавшего с Игнатием в крови, и ювелира-немца с приказчиком, узнавшим сбытчика бриллиантов по карточке Макарки; кажется, при наличии таких улик нечего и говорить о его признании!

– А невинно обвиненный Антон?

– Он возвращается из ссылки; его наказание несущественно.

– Относительно убийства Гуся и Игнатия речи быть не может.

– Интересно было бы только установить, при каких условиях злодей заманил их в подземелье. Мы знаем из протокола медицинского осмотра, что несчастные умерли голодной смертью, что они грызли балки с голоду, и в желудке Гуся нашли несколько щепок; Игнатий перед смертью впился зубами в разложившийся труп Гуся, так велики были его страдания от голода! Но как Макарка заманил

их туда?

– Это, разумеется, может рассказать только один Макарка, если пожелает, но для дела это безразлично.

– Остается, значит, самое интересное для нас дело – отравление Петухова и покушение на убийство жены его, дочери Петухова.

– По этому делу допрошен рабочий – соучастник, подававший бутылку квасу с красной ниткой. Рабочий сознался. Остатки квасу в бутылке подвергнуты химическому анализу, и в них найдены следы сулемы; банка с сулемой взята при обыске в квартире Макарки; наконец, за несколько минут до нашего появления перед умирающим стариком Макарка сам объявил, что он отравил его; показание не снято еще с Петухова, потому что он лежит в параличе.

– Имею честь доложить, – вмешался Ягодкин, – что Петухов вместе с Павловым, по совету врачей, уехали вчера в Москву.

– Бог с ними, – произнес следователь, – мы еще успеем допросить их. Истязание бедной Гани не требует даже и доказательств, потому что следы истязаний еще свежи на ней.

– Но вы упустили из виду, господин следователь, что у нас недостаточно еще установлена тождественность личности Макарки-душегуба с временным петербургским второй гильдии купцом Иваном Степановичем Куликовым.

– Ха-ха-ха... Вы смеяться изволите?

– Нисколько. Убить камердинера, Гуся, Игнатия, Петухова, Ганю мог и сам Куликов, не будучи Макаркой!

– А вещи при обыске?

– Случайное совпадение. Вообще, для суда нельзя оставлять сомнения и догадки! Нужно ясно и точно установить это тождество.

– Это невозможно, пока мы не арестуем! Тогда это тождество установит орловский Куликов, Машка-певунья и несколько десятков бродяжек Вяземской лавры и Горячего поля. Вообще этот вопрос нисколько не интересует меня! Если бы мнимый господин Куликов и не оказался Макаркой, чего я не допускаю, то он сам по себе уже будет Ванька-душегуб; ведь им под фирму «Куликов» совершено уже пять кровавых злодеяний, из которых три кончились смертью жертв, а две случай-

но спасены! Так не все ли это равно?

– Правда, но мне хотелось бы передать правосудию не Ваньку, а Макарку-душегуба, по возможности, со всеми его подвигами прошлого. Мой чиновник Петров, командированный по делу Коркиной, доносит, что Макарка давно известен на Волге как разбойник. Мы знаем только двенадцать убийств этого злодея, а быть может, он загубил вдвое больше людей?!

– Не вдвое, а вдесятеро больше! Я почти в этом не сомневаюсь, но повторяю то же, что сказал вам раньше! Довольно и этого! Далее Сахалина не ушлете его!

– Для нас важно сократить число необнаруженных убийств путем уличения душегуба.

– Да ведь убийства им совершались не только в Петербурге; вы за всей Россией уследить не можете!

– Я работаю насколько возможно, не стесняясь районами!

– Нет, пожалуйста, закончите дело Макарки, а то мы в несколько лет не распутаем всех этих дел разбойника!

– Хорошо-с! Итак, значит, дознания по

всем двенадцати убийствам Макарки-Куликова закончены и нам остается только сдать из рук в руки самого Макарку!

– Пожалуй, эта миссия будет наиважнейшей! Без наличности злодея все наши труды останутся безрезультатными!

– Не бойтесь! Найдём! Господин Ягодкин, потрудитесь сдать господину следователю все делопроизводства, документы и бумаги по обвинению Макарки-Куликова, а я на минуту вас оставлю.

Густерин вышел. Ягодкин взял из шкафа две большие связки и по реестру стал передавать дела в синих обложках следователю. Дело оказалось счетом 46, и каждое заключало в себе от 100 до 200 документов и бумаг.

– Однако! Тут особого секретаря нужно, чтобы ориентироваться в этих бумажных ворохах.

– Десятый год этот проклятый душегуб не сходит с нашего горизонта. Неужели нам придется еще исписать столько же бумаги?!

– А вы не надеетесь на поимку?

– Трудно. Может быть.

Они не успели еще переменить по реестру

всех дел, как дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился... какой-то оборванец, с картузом на затылке и папироской в зубах; левая щека была подвязана, под правым глазом синяк; на ногах онучи.

– Это что за личность, – удивился следователь, – пошел вон!

Оборванец не двигался. Ягодкин пристально всматривался в него; следователь начинал сердиться.

– Гоните его вон!

– Ха-ха-ха... – расхохотался оборванец, – и вы не узнали меня, да, кажется, и мой Ягодкин что-то хмурится!

– Ваше превосходительство!

– Т-с! Я теперь не ваше превосходительство, а Федька-косой, приятель Тумбы!

– Ваше превосходительство, – воскликнул Ягодкин, – я ни за что не позволю вам идти одному. Я тоже иду вместе; позвольте мне переодеться.

– Нет, вы останетесь за меня управлять отделением; я беру отпуск на трое суток.

– В таком случае, возьмите Петрова или Иванова, а то обоих.

– Никого! Занимайтесь все своими делами, а меня считайте в отпуску! Я никому не даю отчета в своих сыскных действиях! Убьют меня – похороните, а вернусь, значит, Макарка будет в наших руках.

– Неужели вы сбрили свои роскошные бакенбарды, – приблизился к нему следователь.

– Не думал. Я подклеил их, а для лучшей иллюзии подвязал щеку. Я надеюсь, что в таком виде меня не узнают. Итак, господа, позвольте пожелать вам всякого успеха и благополучия! Я теперь боюсь больше всего наших суровых стражников и полицейских! Как бы они не забрали меня!

– Это было бы, действительно, комично!

– Но еще прискорбнее будет, если они пропустят меня незамеченным! Посмотрим, насколько они бдительны!

Густерин протянул руку, простился и скрылся по черному ходу.

Поймали

Уже неделю, как Машка-певунья блуждает по Горячему полю. С распущенными волосами, заложенными за спину руками, она ходит крупными шагами и все бормочет что-то себе под нос. Если бы ее встретил кто-нибудь посторонний, то принял бы за умалишенную, особенно судя по ее блуждающим глазам; но встретить тут некому, никто не попадет на эти поляны!

Машка-певунья начинала приходить в отчаяние. Обысканы все уголки, осмотрены все болота – Макарки нигде нет. Что же это?! Неужели он успел покинуть Горячее поле?!

Оставалось осмотреть еще одно только место – Пьяный край, примыкающий к Громовскому кладбищу. Это место изобилует густым кустарником и служит главным пристанищем бродяжкам. Особенное удобство его заключается в хорошо прикрытых путях отступления; при малейшей тревоге можно, не торопясь и прячась за кустами, уйти в самую

глубину поля и скрыться в болотах. Пьяный край Машка несколько раз исходила вдоль и поперек, но результата никакого не было, потому что пути отступления не были отрезаны и, следовательно, Макарка, избегая встреч, подавался все глубже. Теперь Машка расставила везде «часовых» и поджидала Ваську с Петькой, чтобы возобновить поиски.

«Откуда начинать, – думала она, – не угодить бы нам на полицейскую облаву, нас же самих и заберут, как прошлый раз Ягодкин!»

Машка начала еще с большим азартом шагать, как вдруг увидела приближавшихся Ваську с Петькой, которые вели третьего.

– Кто это?

– Федька-косой, товарищ Тумбы. На кулак малость наткнулся, ну, да это не беда. Тоже Макарку ищет!

– Макарку? Ишь ведь как насолил всем этот Макарка!

– Нет, он сорвать с него на чайшко хочет! Старые счета у них есть какие-то! Что же, Машка, принять его?

– Пусть ищет, только смотрите, не помог бы он ему бежать?

– Да как он поможет?

– Ладно, пусть идет с нами на Пьяный край! Пойдемте, братцы! Пора.

Они тронулись. Федька-косой шел сумрачно, но из-под нависших бровей сверкал пронизательный взгляд. Как хорошие гончие или борзые, Васька и Петька бросились по кустам. Федька, в котором читатели, разумеется, узнали Густерина, взял направление левее, в самую чащу кустарника. Машка не упустила его из виду, очевидно, плохо доверяя новому товарищу. Федька-косой был старый бродяга, но давно скрывшийся с горизонта, высланный куда-то далеко этапом. Откуда и как он вновь появился? Машка плохо знала его в лицо, но слышала раньше, что есть такой бродяга; заниматься теперь его биографией было некогда, и она махнула рукой.

– Пусть ищет!

И Федька искал, очень старательно, не разгибая спины.

Часа три уже продолжались поиски. Цепь приближалась совсем к кладбищу, становилось рискованно бродить здесь, можно было наткнуться на полицейский обход. Машка хо-

тела было скомандовать назад, но Федька замахал руками.

– Дальше, дальше!

– Смотри!

– Ничего, ничего... Идите!

Еще прошло с час. Вдруг Федька вскрикнул и рванулся вперед. Машка с товарищами быстро его окружили. Под кустом, на бугорке, мирно спал... Макарка-душегуб! Но в каком он был виде?! Черный сюртук, в котором он бежал, весь покрылся слоем болотной грязи; брюки до колен представляли собой грязную кору; сапоги распухли и покоробились; очевидно, этот туалет вовсе не пригоден для Горячего поля! Лицо Макарки похудело, осунулось; сам он, видимо, ослаб, потому что не слышал возгласа Федьки и продолжал спать как убитый; бродяжки не умеют так спать! Макарка отвык от этой жизни, и прошедшая неделя извела его до последней степени.

– Что же мы с ним будем теперь делать? – шепотом произнесла Машка.

Густерин, в образе Федьки, впился глазами в спящего Макарку и пожирал его взглядом, упивался, наслаждался. Никакой любовник

не наслаждался так видом своей возлюбленной, как Густерин, наклонившись над Макарой. Он даже дрожал от волнения, трепетал перед своей добычей! Машка тоже готова была плясать и петь от радости.

– Ведь это пятьсот рубликов! – прошептал, потирая руки, Васька. – Машка, тебе двести и нам по сотне! Смотри, не обижай! С Федьки угощение! Он меньше нас всех искал!

А Федька ничего не слышал и не мог оторваться от спящего. Машка дернула его за рукав.

– Чего ты обрадовался, аль приятель Макарки?

– Приятель, – машинально повторил Густерин.

– Как же брать его, ребята?

– Брать!.. – точно очнувшись, произнес Густерин. – А вот как! За мной!..

В одну минуту Густерин сидел уже на Макарке; одной рукой он душил его за горло, а другой обыскивал карманы.

– Веревку, давайте веревку! – кричал он.

Макарка очнулся, и завязалась отчаянная борьба.

Густерин успел выкинуть из его кармана кинжал и обеими руками душил его. Макарка захрипел. Васька ударил его сзади по ногам палкой и свалил на землю. Связали два пояса и скрутили ими руки Макарки. Только теперь Федька выпустил горло своего «приятеля».

– Ну и лют же ты, – произнесла Машка, глядя с улыбкой на рассвирепевшего Федьку.

– Не даром свои сто целковых получит, – заметил Васька.

Макарка с трудом пришел в себя и озирался.

– Что вы за люди? Где я? Что со мной?..

– Скоро узнаешь!

– Братцы! Чего вы? – слабо простонал Макарка.

– Хорош братец, – грозно произнесла Машка, – по-братски ты уморил Гуся?

– Гуся?! Ах, да, Гуся! Вы же знаете, товарищи, что Гусь сам меня чуть не задушил в подземелье! Я спасался. Клянусь вам.

– Полно клясться; пойдём-ка лучше к Густерину, там разберут!

– К Густерину?! Братцы, умоляю вас, какой хотите выкуп дам!

– Ты дал выкуп Гусю! Спасибо!.. Не отыграешься! Да что у тебя теперь есть?! Посмотри на себя!

– Полтораста тысяч есть! Моих шкатулок никто не найдет в подземелье!

– Будет тебе пиццать! Нас не разжалобишь, сами ведь не младенцы! Ну, пошевеливайся! Федька, давай мне веревку!

– А кто поведет его?

– Я, – проговорила Машка.

– И я, – отозвался Федька.

– Не надо, тебя заберут там, – отозвалась Машка. – Сидите здесь на втором повороте, я принесу вам деньги; не бойтесь, не обману.

– Так вы продавать меня ведете? – вскричал Макарка. – Ну, помните! Я сведу с вами счеты.

– Не пугай! Не из трусливых мы!

– Нет, я пойду с тобой, – произнес Федька, боясь, как бы Макарка не вырвался у Машки!

– Не вырвется! Постой, я перевяжу ему руки.

– Легче! Дай я за горло возьму.

Густерин впился опять пальцами в горло Макарки, пока Машка перевязывала руки.

– Продажные твари, – прошипел Макарка, – не знаете вы, кого продаете! Не выдавать меня, а беречь и холить вы должны были бы!

– Еще бы! Благодетель!..

– Вы и во сне не видали того, что бы я сделал для вас!

– Молчи, душегуб проклятый! – не вытерпела Машка и дала ему такую пощечину, что тот пошатнулся.

– Эге! Ручка не бархатная!

– Бейте, бейте, все это попомнится вам после!

– Ну, шалишь, не скоро ты опять вырвешься на свободу! По новым правилам тебе ручные и ножные кандалы на всю жизнь оденут!

– Видывал я их! Не удивишь меня!

Они тронулись. Густерин шел с Машкою рядом, не спуская глаз с Макарки, а Машка вела его на веревке и помахивала сзади прутом. Васька с товарищами шли издали.

– Ай-да, Машка! Точно бычка ведет на веревочке, – острили они. – Ну, дай ему прутом, пусть пошевеливается.

Идти приходилось густым кустарником, и подвигались медленно. Макарка шел не твер-

до, несколько раз он покушался вырваться от Машки, но Густерин каждый раз хватал его за горло в тот самый момент, когда он делал прыжок. Макарка вперил в него пристальный взгляд.

– Федька, что мне твоя рожа знакома? Ты не из волжских?

– Нет, вяземский.

– Где-то я тебя видел? Ты Алёнку знал?

– Как не знать?! Хоронил даже после твоего ножа.

– Вот как я мщу своим предателям. Она ведь тоже полицию привела, на меня облаву делать. Помни, и тебе то же будет, если выдашь меня.

– Выдам, брат, выдам!

– Федька, отпусти меня, озолочу тебя! Век буду тебе помогать!

– Молчи, иуда! Кто тебе поверит? Что ты с Игнатием сделал?!

– С Игнатием? А ты почему знаешь?!

– А чей палец с кольцом у тебя в шкатулке?

Макарка остановился. Он побледнел.

– Ты и это знаешь? Значит, мои шкатулки

нашли?..

– Иди, иди, – ударила его прутом Машка, – чего вы там разболтались? Федька, пошел вон, а то ты еще отпустишь его.

– Полно, не отпущу.

– Нет, нет, уйди! Я вижу, что у вас дело наговор идет. Отойди, а то я кликну Ваську.

– Изволь, да ты не беспокойся! – Он отошел на сажень.

– Знаем мы вас! Все вы продажные. Одна Машка-певунья бескорыстна. Ну, запоем, что ли?

И она запела «Среди долины ровные». Чистый, звонкий голос далеко раскатился по Пьяному краю. Она пела с таким чувством, что даже Густерин стал вслушиваться и на минуту забылся. Кустарник стал реже – они приближались к кладбищу. Оставалось не более версты. Как дикий зверь, Макарка рванулся. Машка кубарем полетела, но не выпустила веревки. Густерин бросился на помощь и успел схватить веревку.

– Ах ты, бродяга! – произнесла Машка, вставая и отряхивая платье. – Спасибо Федьке, а то удрал бы, разбойник!

– Не уйдешь! – прошипел Густерин, осматривая перевязку рук.

Машка опять взяла веревку и перестала петь. Густерин пошел рядом.

– А Смулева кто зарезал, – тихо начал он, – кто отравил Петухова?

Макарка опять пристально посмотрел на шедшего рядом оборванца.

– Кто ты?.. Теперь я начинаю припоминать...

– Федька-косой...

– Врешь...

Вдали показалось кладбище. Вот и цепь полицейских. Навстречу к приближавшимся поднялись из травы несколько человек. Послышались свистки.

Бледный, как полотно, Макарка сделал последнее усилие, рванул руки и прыгнул. Но было поздно. Один из полицейских наставил против него дуло револьвера, а трое других окружили.

– Надо перевязать веревки, – закричала Машка, – он освободит руки!

Федька опять взял пальцами за горло Макарку, а двое полицейских два раза перекру-

тили ему руки.

– Теперь не уйдет! А вы, бродяги, убирайтесь вон, – обратился полицейский к Машке и Федьке, – доставим его теперь сами.

– Нет, я сама обещала привести его к Густерину, – протестовала Машка.

– Молчать, – крикнул полицейский, – не смей разговаривать!.. Пошла!..

– Не уйду, пойдемте вместе к Густерину!

– Я тебе дам к Густерину! – произнес тот, поднося кулак к лицу Машки.

– Это что? – воскликнул Федька. – Зачем вы ее гоните? Мы все отправимся вместе.

– А ты, рвань, чего захотел? Ты чего лезешь? Убирайся подобру-поздорову, пока цел.

– Да чего вы смотрите на него! – произнес другой полицейский. – Взять его под арест! Пусть посидит, коли на свободе гулять надое-ло.

– Я буду жаловаться Густерину, – плаксивым тоном проговорила Машка.

– Так тебе Густерин и поверил?! Увидала ты его! Тебя завтра же в Петербурге не будет!

– Вот свидетель, – указала Машка на Федьку-косоногого.

– И свидетеля твоего с тобой отправим!

– Густерин сам все знает, – произнес Федька-косой, срывая с себя платок и повязку.

Произошла немая сцена из гоголевского «Ревизора».

45

Макарка ранен

Во все концы России полетели телеграммы. Во том, что известный злодей Макарка-душегуб пойман, арестован и в судебные учреждения, производящие о нем следствия или дознания, благоволят адресоваться по совокупности преступлений в Петербурге.

– Макарка пойман! – радостно повторяли все обитатели заставы, и, как эхо, им вторили сотни разных лиц, слышавших и знавших по двиги душегуба.

Имя Макарки сделалось очень популярным не только среди бродяг, но и в сфере купечества, даже среди аристократии, где после убийства камердинера графа Самбери и невинного осуждения Антона тоже интересовались Макаркою.

Макарка сидит второй день в секретной камере сыскного отделения. И день, и ночь около него находятся два дежурных агента, не спускающих с него глаз. Злодей не потерял присутствия духа и даже не особенно печалился в своей неволе. Его сокрушало только, что шкатулка с драгоценностями попала в руки его врагов. Ведь это плоды многолетних его «трудов», при помощи которых он рассчитывал беспечно прожить старость, когда придется оставить профессию душегуба, потому что не всегда ведь рука будет так молодецки владеть ножом. И вдруг... он опять нищий, как был когда-то в Вяземской лавре, живя с Алёнкой.

– Его превосходительство требует к допросу, – вбежал в камеру чиновник.

Агенты взяли Макарку под руки и бережно, как необыкновенную драгоценность, повели наверх, в кабинет Густерина. Там находились уже судебный следователь, орловский Куликов, Машка-певунья и еще несколько человек.

Макарку ввели и поставили лицом к лицу с Куликовым.

– Что? Он? – спросил Густерин.

– Он, он самый! На левой руке, выше локтя, прожженный знак.

– Оголите руку! – произнес Густерин. Действительно, выше локтя оказалось пятно, описанное Куликовым.

– Ну, Макарка, отвечай, ты купил у него паспорт?

Макарка стоял, потупя голову и смотря исподлобья на окружающих.

– Отвечай!

– Не буду! – глухо произнес он.

– Не будешь? Ну, все равно. Машка, это Макарка?

– Макарка. Тот самый, который Алёнку убил.

– А вы что скажете? – обратился Густерин к другим «скакунам» Горячего поля.

– Конечно, Макарка.

– Достаточно, – сказал следователь, – личность можно считать удостоверенной.

Составили протокол.

– Теперь позвольте, – произнес Густерин, обращаясь к следователю, – передать вам преступника из рук в руки. Дознанием установ-

лены все двенадцать убийств. Злодей уличен, удостоверяется и находится перед вами. Миссия сыскной полиции окончена, наступает очередь правосудия.

– Позвольте поздравить вас, Дмитрий Иванович, с блестящим окончанием дела. Вы проявили геройскую самоотверженность!

Густерин улыбнулся. У него таких подвигов в прошлом немало, и репутация русского Лекока заслужена им недаром.

– Я желал бы только одного, чтобы мне не пришлось опять возиться с этим злодеем! Ради бога, не снимайте с него оков и не оказывайте ни малейших послаблений! Это не арестант, а сам сатана в образе человека! Я не видывал в своей практике подобного супостата!

Макарка за все время не проронил ни единого звука. Он точно замер в своем оцепенении! Да и что он мог сказать? Оправдываться бесполезно, защищаться невозможно, просить пощады смешно! Остается одно – терпеть, а там видно будет! Поживем, увидим! Не первый раз он в таком положении, да, может быть, и не последний!

– Когда позволите доставить вам молодца

в камеру? – спросил Густерин.

– Хоть сегодня. Мы его облупим скоро, благодаря полному и богатому дознанию.

– Чем скорее вы закуете его в кандалы, тем лучше! Только сообщите главному тюремному управлению о необходимости над ним усиленного надзора, когда его повезут на Сахалин! Этот злодей способен с корабля убежать; он в огне не горит, в воде не тонет!

– Ну, до Сахалина еще далеко; как бы он раньше не выкинул какой-нибудь штуки.

– Знаете что?! Не командировать ли к вам для надзора за ним одного из моих агентов? Спокойнее будет!

– Если бы вы были так добры! Это, конечно, очень полезно!

– С большим удовольствием! Я дам вам Петрова, который ездил по делу Коркиной.

Густерин позвонил.

– Дайте приказ Петрову отправиться с господином следователем впредь до особого распоряжения. А этого арестанта под строжайшим конвоем отправьте сейчас в дом предварительного заключения, – показал Густерин на Макарку.

Злодей чуть заметно усмехнулся, но эта улыбка не скрылась от Густерина.

– Не пойти ли мне самому с ним? Право. Кандалы одеть теперь мы не можем, веревкой связать – неудобно, а так, на свободе, его вести очень трудно!

– Не беспокойтесь! Усадите в карету, а там с нашего двора ему не убежать!

– Не придумаешь даже, что он может выкинуть!

Густерин отдал приказания и обратился к Машке:

– А ты получи обещанные пятьсот рублей и можешь разделить их, как знаешь. Мою долю я отдаю тебе!

– Спасибо, ваше превосходительство! Только я не знаю, на что мне эти деньги? Еще убьют меня из-за них! У меня никогда и рубля в кармане не было!

– Отдай в банк на хранение. Ты будешь еще получать рублей двадцать в год процентов. Вот тебе и квартира, обеспеченная на всю жизнь.

– Ваше превосходительство! Положите сами их в банк, я ничего не знаю! Только двести

рублей дайте мне для моих помощников.

– Не надо и тем ничего! Скажи, что я не дал денег!

– Не могу, ваше превосходительство! Я никогда не лгу.

– Ну, пусть сами придут.

– Они не могут. Они ведь «стрелки».

– Не дам, не дам. Приходи завтра и получишь книжку.

Машка вышла опечаленная. Зачем она отказалась взять деньги? Вот теперь скажут, что она обманула товарищей. Ей веры не будет. Хорошо! Завтра она получит книжку, и они вместе пойдут в банк брать деньги назад.

– А тебе, Куликов, – обратился Густерин к орловскому мещанину, – мещанская управа будет выдавать по пять рублей в месяц для семьи, пока вырастут дети. Если бы ты мог перестать пить...

– Не могу, ваше превосходительство! Я помру, если брошу пить. Вы помните, какой я приехал в Петербург, и посмотрите теперь на меня!

Действительно, он имел вид чахоточного накануне смерти. Ввалившиеся щеки, стек-

лянные глаза и смертельная бледность; он едва двигался; руки, ноги тряслись.

– Может быть, тебя в больницу положить?

– Ваше превосходительство! Прикажете лучше дать мне полуштоф, и я сразу поправлюсь! Спросите у господина Павлова.

– Ты теперь свободен. Вот тебе десять рублей. Билет до Орла ты получишь бесплатный. Когда Макарку судить будут, ты можешь отказать приехать – это твое право. Я не хочу тебя задерживать, поезжай с богом.

– Покорнейше благодарим, ваше превосходительство! – И Куликов, поклонившись в пояс, вышел.

– Ну, а с вами что же мне делать? – обратился Густерин к бродяжкам, смиренно столпившимся в углу кабинета.

– Не погубите, ваше превосходительство!

– Да кто вас губит?! Сами вы себя губите! Ну, как я вас выпущу? Куда вы пойдете, что будете делать? Ни угла, ни гроша денег, ни работы! Да и работать вы не станете! Ну, что я поделаю? Не могу же я воров плодить в столице! Вы судились?

– Судились.

– За кражи?

– Да.

– Сколько раз?

– Он восемнадцать, а я одиннадцать; Илья больше двадцати.

– Вот видите! Ну, как же я вас выпущу? Дай вам денег, – вы все равно сейчас их в кабак снесете! Господи, вот наказание – народ! Молодые, здоровые, и ничего с вами не сделаешь!

Густерин позвонил.

– Попросите господина Ягодкина.

Через минуту вошел помощник Густерина.

– Что мы с ними будем делать?

– Вышлем этапом на родину.

– Который раз?

– Илья сорок восьмой раз, а эти двое еще больше.

– Каждый этап с одеждой обходится больше тридцати рублей! Чего они стоят казне?!

Ягодкин удивленно посмотрел на Густерина.

«Что с ним? – подумал он. – Расфилософствовался, точно в первый раз эту процедуру проделывает; каждый год тысяч пятнадцать

высылаем!»

– И себя, да и их жаль, – проговорил Густерин задумчиво. – Погибшие безвозвратно! Ума не приложу! И сколько раз доказывали необходимость рабочих домов, колоний, поселений – и все ничего не создается! А десятки тысяч рублей переводятся на праздную высылку. Возьмите их к себе, – раздраженно произнес Густерин Ягодкину, указывая на бродяжек. – Делайте, что хотите!

Бродяжки не смели возражать и тихо поплелись за Ягодкиным.

– Карета для душегуба готова, – доложил вошедший Петров. – Прикажете отправить его?

Густерин как бы очнулся из неприятного забытья.

– Подана? Постойте, я сам посмотрю!

Он вышел во двор. Душегуб стоял около самой кареты, с тремя полицейскими. На лице злодея играла та же отвратительная улыбка.

– Сажайте, – приказал Густерин.

Макарка вошел в карету; за ним вскочили два агента, жандарм и Петров.

– Так! Ну, теперь не уйдет!

– Ой, смотрите, не рано ли хвалитесь! – прошептал Макарка.

Карета тронулась. Густерин проводил ее взглядом и тихо пошел в кабинет. Он чувствовал усталость. Утомила его эта постоянная тревога за Макарку. С той минуты, как злодей скрылся в своей квартире, Густерин не имел покоя ни днем, ни ночью. А теперь, когда тот в его руках, он тревожится за целостность душегуба.

– Не придумаешь ведь, что он может выкинуть!

Густерин приказал подать одеваться и заложить коляску. Он решил проехаться по островам и оттуда обедать к Елисееву. Нужно немного развлечься, дать отдохнуть нервам.

Все готово. Экипаж у подъезда. Густерин, довольный собой и предстоящей прогулкой, застегивал перчатку и отдавал последние приказания швейцару, как вдруг к подъезду вскачь подъехал на извозчике Петров. Один вид его говорил, что произошло нечто неожиданное, экстраординарное. У Густерина даже сердце замерло.

– Макарка бежал? – закричал он, не давая

Петрову произнести ни слова.

– Имею честь доложить вашему превосходительству...

– Да говорите же убежал или нет? – топнул ногой Густерин.

– Никак нет. Позвольте доложить...

– Ну, теперь докладывайте. Уф, отлегло!

– Подлец Макарка в то время, как стоял здесь на дворе около кареты, успел отвинтить гайку колеса. Едва мы проехали сажен двести, как колесо отвалилось, карета упала на бок. Раньше, чем поняли, в чем дело, Макарка был уже на улице и скрылся в воротах дома. Мы все бросились за ним. Он успел вскочить на каретный сарай и отчаянным прыжком очутился на другом дворе. Еще момент, и он скрылся бы из нашего вида, но жандарм выстрелил, и Макарка, обливаясь кровью, упал. Тут его схватили.

– Рана тяжелая?

– Врач еще не осматривал. Я поехал доложить вам.

– Благодарю. Поедемте вместе.

– Не подстрели его жандарм, наверное, скрылся бы...

– Пожалуй. Одеть его в арестантскую одежду мы не имели права, а в своем туалете он ушел бы. Что за дерзкий злодей?! Днем, в центре города, пытался уйти от четырех конвоиных!

– Скажите лучше – ушел!

– Как вы могли выпустить его из кареты?

– Он ударил в висок агента, так что тот кубарем выкатился, а он через него.

– Негодяй! Агент оправился?

– Да, через несколько минут пришел в себя.

Они подъехали к дому, куда вбежал Марка. У ворот стояла густая толпа. Все знали уже о происшедшем.

– Где он? – спросил Густерин.

– Сейчас отправили в Обуховскую больницу. Рана очень серьезна; пуля засела в позвоночнике.

– Почему в Обуховскую? Там он может уйти! Немедленно нарядите шесть агентов, не отходите от постели, – горячился Густерин, – этот арестант и с пулей в груди уйдет!

– Поедете в Обуховскую?

– Разумеется! Скорее пошлите туда аген-

тов, дайте знать следователю.

– Вероятно, следователя известили.

– Карету, скорее карету, едемте!

И Густерин, забыв скачки, обед, отдых, помчался в Обуховскую больницу.

Одновременно с ним подъехал следователь.

– Арестант тут? – спросил Густерин дежурного врача.

– Здесь.

– Раненый?

– Да.

– Где он лежит?

– В шестой палате. Он очень опасен. Сейчас будет консилиум.

– Славу богу, – произнес облегченно Густерин, – не ушел! Теперь придется самому дежурить до выздоровления, а то опять упустят!

– Мало надежды на выздоровление, – произнес дежурный врач.

– Вы не знаете этой чудовищной природы! Он выживет! Это не простой смертный!

– Едва ли. А впрочем...

– Можно пройти к нему?

– Вам, разумеется, можно. Пожалуйста, я

проведу.

46

В Москве

Павлов с Петуховым и Ганей были встречены единоверцами Москвы с распростертыми объятиями. Павлова принимали как своего будущего сочлена, решившегося покинуть раскол, а Петухов давно пользовался общим уважением, и его семейное горе вызывало искреннее сочувствие в Москве. Когда дошли известия об отравлении Макарой-душегубом своего тестя, в единоверческой церкви было отслужено молебствие о выздоровлении раба Божия Тимофея. Не удивительно, что с приездом в Москву дорогих гостей окружили нежными заботами и попечением. Здоровье Петухова и Гани быстро поправлялось, хотя печать пережитого легла на них неизгладимо! Прежней бодрости духа, крепости, нравственной силы и радостного отношения к жизни не могло уже быть, когда эта жизнь дала им столько горьких и совершенно беспричинных кар! Тимофей Тимофеевич, до-

живший до глубокой старости, не подозревал даже, что без всякой вины или преступления можно получить столько горя, страданий и ужаса! А Ганя, та даже не верила в существование на земле беспричинного зла; ей казалось, что если иногда бывают страдания людей, то непременно по их собственной вине. В своей наивной простоте она не подозревала, что люди могут губить ближних только потому, что они злы, завистливы, жестоки. Потому-то она так храбро пошла, еще девушкой, к Куликову просить его отказаться от ее руки! Она была уверена, что этого визита будет совершенно достаточно для устранения всех возникших недоразумений. Увы! Один год жизни разбил все ее иллюзии и дал ей такой жизненный опыт, что самая жизнь потеряла в ее глазах половину своей прелести. И стоит ли, в самом деле, жить на земле, где могут существовать подобные Макарки-душегубы и где люди живут только для того, чтобы страдать и заставлять страдать других?!

«А Павлов?.. – приходило ей на ум. – Разве он тоже такой? Отчего он не явился раньше Куликова? Может ли она теперь сделаться не

только его, но, вообще, чьей-либо женой?» – Этот вопрос оставался у нее неразрешенным, несмотря на всю трогательную заботу Павлова.

Они остановились у родственников Павлова, где сам он провел свое детство и отрочество, и потому семейство Полониных относилось к Павлову как к своему близкому человеку, а Ганю лелеяли, как его невесту. Петухов и дочь нашли здесь действительно ту тихую гавань, в которой так нуждались после ужасной пережитой бури, едва не стоившей им жизни.

Одно только беспокоило их – как там Макарка?! Неужели он бежал или сумел оправдаться? Степанов писал им почти каждый день, но редко упоминал о Макарке и то как-то неопределенно. Павлов пробовал писать Д. И. Густерину, усердно прося почтить его уведомлением, но управление сыскной полиции не входит с частными лицами в переписку, и потому ответа он не получил. Между тем, у него было в Москве и другое важное дело – переход в единоверие. Это дело требовало религиозного сосредоточения, подготовки и со-

блюдения разных формальностей, тогда как Макарка и Ганя не выходили у него из головы.

Семейство Полониных состояло из стариков – мужа и жены, людей очень зажиточных, ничем не занятых и посвящавших все свое время дому и церкви; они никуда не ходили, кроме своего приходского храма, и невольно влекли за собой своих гостей. Петухов, Ганя и Павлов не стали пропускать почти ни одной службы. В их жизни наступил период религиозного увлечения. Благодетельные сами по себе, они никогда прежде не увлекались делами веры и религии. Вот это «равнодушие» к церкви, – как выражался Полонин, – они и приняли за причину всех их бедствий.

Назначен был день присоединения Павлова к православию на правах единоверия. Как раз в этот день, рано утром, пришла телеграмма от Степанова:

«Макарка, арестованный, пытался бежать, но был постигнут жандармами и опасно ранен. Жизнь его в опасности».

– Вот благословение, которое, как награда, ниспосылается мне Господом, – произнес Павлов.

Петухов, прочтя телеграмму, перекрестился, а Ганя только тяжело вздохнула. Все они горячо молились в церкви, где впервые Павлов присутствовал, как единоведец.

47

Макарка при смерти

– Где он? Где Макарка?! – в один голос произнесли Густерин и следователь.

– Тс! Консилиум решает вопрос об извлечении пули! Сейчас будут делать операцию, хотя надежды почти никакой, – ответил дежурный врач.

– Помните, господа, что это не человек, а душегуб Макарка! С этим злодеем церемонии излишни, я хорошо знаю это по опыту, – возразил Густерин.

Они вошли в палату. На операционном столе лежал обнаженный Макарка. Издали он походил на труп орангутанга, покрытый густыми черными волосами. Только на левой

руке было выжженное пятно. Следы какого-то каторжного знака. Всклокоченная голова, искривленные страданиями черты лица производили страшное впечатление.

– Такого ужасного человека нам не приходилось еще встречать, – говорили врачи-консультанты.

– Такого человека и не бывало еще среди разбойников, – подтвердил Густерин.

– Так это и есть Макарка-душегуб, – удивленно произнес один из врачей, – ну, подлинно, исчадие ада! Сам сатана, воплотившийся на земле! Посмотрите его мускулы, кости, череп! Настоящий дьявол.

Макарка открыл глаза и тяжело вздохнул.

– Не хотите ли сказать что-нибудь, – наклонился к нему врач. – Мы будем делать сейчас операцию, вы можете умереть. Может быть, пригласить священника.

– Будьте вы все прокляты, – прошипел умирающий.

– Оставьте его! Режьте как хотите, – громко сказал Густерин.

Макарка перевел на него глаза и остановил взор, полный ненависти.

– Доктор, – слабо произнес он, – я умираю. Перед смертью я хочу сказать всю правду! Слушайте. Этот человек, начальник сыскной полиции Густерин, украл у меня сто тысяч рублей и на пятьдесят тысяч бриллиантов! Пусть у него отнимут! Я дал ему их как взятку за свободу, но он обманул меня! Моя жена Ганя отравила отца своего и меня хотела отравить, но я не дался! Врать я перед смертью не буду! Еще слушайте! В подвалах моих нашли два трупа – это жертвы Тумбы; я сам ничего не знал! Клянусь вам моею душою, которая расстается с телом; клянусь прахом своим! Верьте умирающему. Мне все равно!

– Приступим скорее к операции. Надо дать ему хлороформа.

Макарка приподнял голову.

– Не режьте меня, прошу вас, я все равно умираю, дайте спокойно умереть.

– Вы священника не хотите?

Он с сердцем махнул головой и начал метаться и скрежетать зубами.

– Какая ужасная сила воли!

Через минуту Макарка успокоился.

– Надо приступить к операции, – произнес

врач.

– Ну, так начинайте.

Врачи засуетились. Густерин наклонился к уху следователя.

– А слышали вы, что он говорил?

– Да. Это клеветает человек, собирающийся перейти в иной мир.

Макарка то и дело судорожно подергивался. Вот он открыл опять глаза.

– Позовите ко мне жену, тестя – я хочу проститься.

– Их нет, они в Москве.

– Так передайте им, что я проклял их раньше, чем испустить дух. Живой или мертвый, я буду сосать их кровь до последней капли! Скажите им...

– Макарка, опомнись! Как тебе не стыдно! Ведь ты умираешь! – подошел к нему Густерин. – Не хочешь ли ты принести повинную. Сознайся, раскайся, еще есть время, пока ты...

Макарка приподнялся и хотел было схватить правой рукой за горло Густерина, но это ему не удалось.

– Мы сейчас начинаем операцию, – заговорили врачи.

– Пойдемте, Дмитрий Иванович; нам дадут знать об исходе.

– Конечно... Мы пришлем к вам дежурного фельдшера. Операция начинается.

Все вышли. Густерин, совершенно оправившийся, вспомнил о своем намерении совершить прогулку по островам и заехать к Елисееву.

– Поедемте вместе, – предложил он следователю.

– С удовольствием, я чувствую себя очень усталым.

Только на Троицком мосту они вздохнули свободнее. Повеяло прохладой. Наступивший вечер обещал быть чудным. Солнце склонилось к западу. На Стрелку ехало множество экипажей. Густерин откинулся на подушку коляски и дышал полной грудью.

– Да, давно не приходилось мне переживать таких тяжелых дней, как с этим проклятым Макашкой!

– Действительно, экземпляр редкостный, но вы таки уходили его!

– А чего он мне стоит? Верите ли, три месяца не сплю, не ем спокойно!

– Верно, верно, сам вижу ведь! Поедемте прямо к Елисееву.

Коляска понеслась по Каменному острову и через пять минут остановилась у подъезда уютной дачи, утопающей в зелени.

Они прошли на верхний балкон, откуда открывался живописный вид на Среднюю Невку с яхтенной флотилией и садами противоположных дач. Везде – масса гуляющих и наслаждающихся прелестью теплого летнего вечера.

Подали водки, закуски. Густерин налил две рюмки и только что успел поднести ко рту, как в дверь тихонько постучались.

– Войдите.

На пороге появился чиновник Петров.

– Имею честь доложить вашему превосходительству...

– Бежал?!

– Никак нет-с. Помирает... Не перенес операции... Врачи оставили...

– Умирает! – воскликнули оба и вздохнули с облегчением. – Наконец-то!..

– Больничная администрация ждет распоряжений.

– Поедемте, – встал Густерин, – надо покончить!

– Идем, что же делать!..

Коляска понеслась обратно в город.

– Вы будете ждать конца? – спросил Густерин.

– Посмотрим... Если не долго...

– Странно... Обыкновенно, когда присутствуешь при акте смерти, чувствуешь что-то щемящее; жутко как-то видеть смерть рядом, а сегодня, напротив, ощущаешь чуть ли не приятное, точно тяжесть какая-то с плеч свалилась, избавились от давившего кошмара.

– Действительно... Приходилось видеть и преступников умирающих, но они умирали не так. Все-таки чувствовалось, что там – люди, а здесь не человек, совсем не человек.

– Именно. Отсутствие человечности во всем, даже в смерти.

Коляска остановилась.

– Где главный врач?

– У себя.

Возвращение Коркиной

Саратовцы почти на руках вынесли оправданную Елену Никитишну. Из них никто и не сомневался, что Коркина будет оправдана, но они спешили выразить ей свои чувства и сколько-нибудь облегчить ее страдания.

– Зачем, зачем... – шептала она. – О, как я несчастна!

Никто из окружающих не мог понять истинного горя Елены Никитишны. Они считали, что все несчастье ее заключается в пережитом позоре, физических лишениях, скандалах и т. п. Между тем Коркина сама шла на все эти неприятности и находила в них единственное утешение; ссылка в каторжные работы была бы для нее настоящим утешением и доставила бы примирение с совестью, душевный покой.

Теперь ей объявили, что она «свободна!». Дело прекращено навсегда, и она может отправляться на все четыре стороны!

Бедная! Ее оставили терзаться между дву-

мя загубленными ею мужьями. Один – в могиле, неотомщенный за свою гибель, несчастный, а другой – умалишенный, тоже умирающий. Если бы Елена Никитишна взглянула в зеркало, то она увидела бы, что и ей все эти события достались не дешево! Она превратилась из молодой, тридцатилетней, красивой женщины, в седую, сморщенную, исхудавшую старуху! От ее правильных черт лица, блестящих выразительных глаз, прекрасного сложения не осталось и следа! В потухших, ввалившихся глазах светится такое горе и уныние, что невольно хватает за душу постороннего! Нельзя поверить, что это превращение совершилось в каких-нибудь 12–14 месяцев.

И теперь вот, перевезенная из тюрьмы в лучшую гостиницу, она ломала в отчаянии руки. Ее уютный, красивый номер был завален цветами, букетами. На столе лежала пачка приветственных, сочувственных писем. От прокурорского надзора она получила документы и деньги принадлежащего ей состояния, простирающегося до 100 тысяч рублей, кроме собственного дома у заставы и запеча-

таннных лавок. Таким образом, она могла бы считаться очень состоятельной женщиной и прожить остаток дней безбедно, в полное удовольствие, но... она ничего не видела и не замечала, кроме мучивших ее призраков Смужева и Коркина!

«Еду немедленно к мужу в Петербург, а там... там...» – думала она. Но сейчас же в ее мозгу выростала фигура Смужева с перерезанным горлом, из которого сочилась кровь.

– А этот?

И руки опустились! Как она уедет к тому, когда этот остался неотомщенным?!

– Но тот еще жив, тот нуждается в помощи, в заботливом уходе, попечении, а этому теперь ничего не надо! Его отпели и похоронили по христианскому обряду, записали вечное поминовение в двух монастырских обителях. Что делать? Воскресить ведь нельзя!

И после долгой, упорной борьбы Елена Никитишна решила ехать в Петербург.

– Если бы я давно вернулась к Илье Ильичу, то он, быть может, не дошел бы до такого состояния! Но могла ли я вернуться? Смела ли я?! О! Есть ли на земле преступницы хуже ме-

ня?! И как могли они меня оправдать? Где же правосудие?! Неужели можно безнаказанно быть убийцей двух мужей?!

Слез давно не было у Елены Никитишны. Слезы облегчали ее прежде, но теперь она не может плакать. Сухие, воспаленные глаза смотрят в одну точку, и щемящая боль в висках стискивает голову, как щипцами. Она не помнит, не видит, не соображает ничего, кроме этих призраков, день и ночь не покидающих ее! О, как бы она была счастлива, если бы этот Макарка-душегуб явился сейчас перед ней, взял все ее капиталы, вещи, имущество и в награду перерезал бы ей горло, как Смулеву. Это сделалось сладкой мечтой Елены Никитишны. О самоубийстве она никогда не думала, считая это таким же преступлением, как и убийство; но если бы ее убили помимо ее воли, убили в наказание за ее грехи, она была бы воистину счастлива!

На второй день своего оправдания Коркина объявила окружающим, что она едет в Петербург к умирающему мужу. Все одобрили это решение, но напрасно уговаривали Елену Никитишну привести в порядок свои дела,

разобраться в документах, ведь второй год все брошено на произвол судьбы: ни она, ни Илья Ильич не могли следить за своим состоянием.

– Зачем мне все это? Один муж в могиле, другой почти в гробу, детей нет, а мне... мне кандалы нужны, а не золото.

И бросив все, Коркина уехала. Местная полиция опечатала номер. Елена Никитишна не сообразила даже, что даром ее не повезут в Петербург, что даром ее везли сюда, как арестантку, этапом, а честных людей, какую ехала она теперь, не возят даром! На пароходе у нее вышла довольно неприятная история из-за билета. А от Нижнего Новгорода придется еще ехать по железной дороге. Там не станут и историй никаких делать, а просто высадят на первой станции. Тут она вспомнила про милую семью Галицкого. Он не откажет помочь ей еще раз. У нее ведь теперь, кроме его семьи, нет никого на земле близкого, родного. Умиравший муж сам требует помощи. А может ли она помочь?

Когда Коркина сказала шкиперу, что едет к А. С. Галицкому и там уплатит деньги, ее

оставили в покое и даже предложили порцию супу. Она не отказалась, потому что вторые сутки ничего не ела и стала ощущать слабость. Пароход шел вверх, против течения тише, чем из Нижнего в Саратов. Елена Никитишна все время проводила на палубе. Чарующие виды приволжских красот действовали успокоительно на ее нервы. Она первый раз после своего оправдания задремала и не слышала, как ее бережно перенесли в дамскую каюту и уложили на диване. Сон был покойный, крепкий. Она проспала около суток, так что пассажиры стали беспокоиться, жива ли она. Но Коркина не только была жива, но значительно подкрепила этим сном свой организм. Она проснулась под самым Нижним Новгородом, бодрая и крепкая, как давно уже себя не чувствовала. Соседи по каюте предложили ей чаю, хлеба, масла. Она с аппетитом поела и как-то отраднее стала смотреть на свет божий. Волга плещет о борт парохода, колеса шумят и гремят, по сторонам расстилаются нивы, с начинающим колоситься хлебом. Трудно представить себе более живописную природу, залитую лучами восходящего

жаркого солнца. Хорошо здесь летом.

Пароход причалил. Елена Никитишна пошла знакомой дорогой по откосу к «божьему домику», как звала она дом Галицкого.

Семья была вся дома. Елену Никитишну встретили как старую знакомую.

– Оправданы! – воскликнул Галицкий.

– К несчастью... – прошептала Елена Никитишна.

– Полноте! У вас есть священная обязанность быть у постели умирающего мужа. Нельзя предаваться так собственному горю.

– Собственному? Разве это мое личное?

– А чье же? Смулев давно не знает никакого горя и никакой нужды, а живого мужа, страдающего, нуждающегося в помощи, вы бросили на произвол судьбы! Я еще тогда говорил вам это.

– Не могу, не могу! Клянусь вам – сил не было.

– А ваши дела?

– Я бросила все и уехала без гроша.

– И не стыдно вам! Как ребенок! Что ж, няньку приставить к вам?

Коркина опустила голову. Ей действитель-

но стало стыдно. Вместо мужества и стойкого искупления своих грехов она раскисла и разнылась.

– Послушайте меня, – продолжал Галицкий, – поезжайте прямо в Петербург, спешите к мужу, может быть, вы еще спасете его. Я дам вам пока пятьсот рублей. Напишите мне доверенность, я вытребую все ваши деньги и документы и перешлю вам в Петербург.

– О, я не знаю, как благодарить вас! Чем я заплачу вам за вашу доброту?!

– Думайте о более серьезном. Посмотрите, как вы себя измучили. Вы еще больше исхудали за это время. Так можно совсем извести себя. А ваш бедный муж! Разве он не имел права надеяться, что его жена будет подле него в такие тяжелые для него дни. А где вы были? Странствовали по тюрьмам и этапам, искали каторги, гонялись за призраками?! Потерянного не вернуть, но постарайтесь не терять больше ни минуты. Поезд идет через два часа. Вот вам деньги, пишите доверенность, и с Богом. Не забудьте только уведомить меня, в каком положении вы найдете мужа и где остановитесь? Его дела брошены так же, как

и ваши, а он имеет ведь личного состояния. Посоветуйтесь там с адвокатом.

– Де-ла, адво-ка-ты, советы... Уми-раю-щий муж, – схватила-сь Коркина за голову, – нет, я не вынесу. Если бы вы знали, как трещит череп, как ломит голову, как стучат виски.

– Еще бы не ломить и не стучать, когда вы умышленно себя изводите, отказываетесь не только от лекарств, но даже от пищи. Что вы ели в дороге? Вы верно голодны?

Жена Галицкого подала завтрак, и Елена Никитишна охотно поела.

– У меня есть успокоительные капли, возьмите их в дорогу и принимайте при головных болях. Помните только одно: вы должны беречь силы, а не расстраивать их. Не забывайте, что на ваших руках больной муж!

– Ах, дорогой Алексей Григорьевич, если бы я была вольна в своих чувствах и поступках! Клянусь вам, я ничего не могла сделать! Я хорошо понимаю вас и немало выстрадала за бедного Илью... но холм с тремя березами задавил меня! Вы не можете понять этого состояния! Вы человек, у которого совесть свободна так же, как и рассудок, а у меня на сове-

сти страшное злодеяние! – Коркина зарыдала. Ей стало легче.

Галицкий смотрел на ее седую голову, на морщинистое лицо, по которому обильно текли слезы, и ему стало ее невыразимо жаль. У него самого выступили на глазах слезы.

– Еще не поздно, – вскочила Елена Ники-тишна, – я еду, еду скорее туда, к нему. Теперь я могу, я должна! Теперь холм не будет меня больше тревожить! За упокой его души мо-лятся два монастыря и я буду молиться. Доро-гой Алексей Григорьевич, не откажите, мне еще в одной просьбе! Помолитесь и вы за него! Ваша святая молитва будет услышана.

– Я поминаю всех в своих молитвах и вас, – тихо ответил Галицкий.

– Спасибо!

Коркина стиснула его руку и, прежде чем он опомнился, громко его поцеловала.

– Спасибо великое, а теперь я побегу.

– Я провожу вас... Возьмите белье на доро-гу, провизию.

– Нет, нет, ничего не надо! Помните раба Божия Онуфрия, безвинно убиенного.

– А вы не забудьте раба Божия Илью, без-

винно страдающего!

– О! Я не забуду его! Верьте! Теперь его очередь! Теперь я вся его! За Онуфрия я буду спокойна, если вы обещаетесь молиться!

– Обещаюсь, обещаюсь! Будьте спокойны.

Галицкий усадил Елену Никитишну в вагон.

– Не забудьте писать мне. Пишите чаще, как найдете время!

– Могу ли я забыть? Ведь кроме вас и его у меня теперь никого больше на земле нет.

Третий звонок. Поезд тронулся. Коркина высунулась из окна и кивала головой Галицкому, который стоял на дебаркадере, пока силуэт последнего вагона не скрылся с горизонта.

– Бедная!.. – прошептал он. – Что-то ждет ее в Петербурге?..

Смерть Коркина

Прямо с вокзала Елена Никитишна поехала в больницу. Ни багажа, ни вещей у нее не было. Остановливаться ей было нечего, хотя она могла поехать в свой дом за заставу и просить полицию о снятии печатей.

– Зачем, – подумала она, – что мне там делать? Разве я отойду от постели больного?!

Ехать ей пришлось через весь город. Коркина покинула Петербург около года тому назад, но он казался ей совсем неузнаваемым, точно она не была в нем лет двадцать. Наконец вот и больница. Сумрачный страж у ворот объявил:

– Еще рано. Прием с двенадцати.

– Мне нужно видеть директора.

– Дилехтура?.. Направо, второй подъезд.

Елена Никитишна со страхом и трепетом переступила порог приемной.

– А вдруг я приехала поздно? Может быть, его похоронили?!

Директор не выходил, и Елена Никитишна

с каждой минутой волновалась все больше. Она готова уже была бежать в палату больного, прорваться через все преграды и узнать роковую истину. Дверь отворилась. Вошел молодой еще, маленький, черненький господин.

– Что вам угодно?

– Я Коркина... Скажите, ради бога, что мой муж? Могу ли я взять его к себе домой?

– Вы Коркина? Извините: я видел жену Коркина, и вы слишком смело позволяете себе самозванствовать!

– Что вы говорите? Могу вас уверить, что я Елена Коркина, жена больного Ильи Ильича.

– Простите, но вы, кажется, желаете меня дурачить? Повторяю – я видел в прошлом году Коркину; она молодая еще женщина, красивой внешности.

Елена Никитишна опустила руки и печально понурилась.

– Увы! Значит, я так сильно изменилась!

Она машинально повернулась к большому простеночному зеркалу и... в ужасе отскочила. Она увидела в зеркале отражение седой, морщинистой, сторбленной старухи.

– Как?! Так это я?! Я...

Несколько минут она не могла прийти в себя. Ей не приходилось видеть себя в зеркале с самого того рокового вечера, когда она в первый раз увидела Макарку – Куликова. Раньше она любила рассматривать свою фигуру в зеркале, устраивала челку, поддвигала на затылке кудри, вглядывалась в свои задумчивые глаза, заботливо рассматривала начинавшие складываться морщинки около глаз. Она отлично знала свои черты лица и каждое пятнышко, но в этот год забыла о существовании зеркал. И вдруг такая ужасная, невероятная, безвозвратная перемена! Такое превращение!

«Не одна ли это из наших больных?» – подумал директор и надавил пуговку электрического звонка.

– Сударыня, – обратился он к ней, – еще раз прошу вас объяснить мне цель вашего посещения.

– Я понимаю, господин директор, что вы меня не узнаете! Я сама сейчас себя не узнала и никогда никому не поверила бы, что это я! Но, тем не менее, я все-таки Коркина и могу

предложить вам сделать хоть сейчас запрос по телеграфу в Саратов. Я прямо оттуда. Меня судили за мужеубийство и оправдали.

– Но ваш муж еще жив, какое же убийство?

– Первого мужа, Смулева.

– Простите, но я не могу ничего для вас сделать. Вы укажите мне кого-нибудь, кто знал бы вас лично, или представьте документы.

– Все мои документы у господина Галицкого в Нижнем Новгороде, он же может меня и удостоверить.

– Галицкого я хорошо знаю и переписывался с ним о Коркине. Если хотите, я спрошу его.

– Пожалуйста, но пока позвольте мне хоть взглянуть на мужа.

Директор написал телеграмму и отдал стоявшему в дверях служителю.

– Пошлите немедленно.

– Господин директор, в каком положении мой муж?

– В очень плачевном. Мы со дня на день ждем его кончины.

– Ради бога, ведите меня скорее к нему!

– Он больше недели уже без сознания. Хо-

рошо, пойдёмте, но я, до получения ответа от Галицкого, не могу разрешить вам ни домой взять его, ни перевезти в другую больницу.

– Хорошо, дайте хоть взглянуть!

Они прошли коридорами на мужскую половину – в отделение слабых. Елена Никитишна с чувством страха и брезгливости смотрела на несчастных безумцев, десятками бродивших по залам и коридорам больницы; их длинные халаты, бессмысленные движения, лихорадочные глаза и жалкий, пришибленный вид производили самое удручающее впечатление. Но вот они дошли до крайней палаты, в которой помещалось восемь кроватей. Ещё издали послышался оттуда стон.

– Вот Коркин, – произнес директор, показывая на лежавший на третьей постели высушенный полутруп.

– Это мой Илья, толстый, живой, веселый? – вскричала Елена Никитишна.

Теперь она переменялась ролями с директором; последний не узнал ее и спорил, а она не узнала мужа и готова была драться.

– Вы ошибаетесь, господин директор, вы перепутали! Покажите мне моего мужа!

Эти пререкания походили со стороны на спор умалишенных, и нельзя было разобрать, кто же из них, в самом деле, здоровый и кто безумный.

– Нет, нет, ни одной черты лица Ильи! Не он, не он, – твердила Коркина. – Это ошибка, покажите мне его.

– Перестаньте, сударыня, вы по себе должны видеть, как болезнь меняет человека. Этот больной много выстрадал.

Елена Никитишна упала к ногам больного и зарыдала.

– Илья, Илья, что сделал с нами этот проклятый Макарка-душегуб! – вскрикнула Коркина.

При последнем слове больной вздрогнул и открыл глаза.

– Илья, мой ненаглядный, бедный Илья, – застонала Елена Никитишна, рыдая.

– Где Макарка? – прошептал больной, приподнимая голову.

– Смотрите, он очнулся, приходит в сознание, – произнес директор.

– Илья, Илья, ты не узнаешь меня?

– Где Макарка? – повторил больной. – Я иду

к нему. – И он сделал движение, чтобы встать.

– Успокойтесь. Тут только ваша жена.

– Жена? Елена?!

– Я, я... – бросилась к нему Елена Никитишна... – Милый!..

– Нет, это белая корова мычит! М-м-му!..

– Осторожней, отойдите от него, – произнес директор.

– Дайте Макарку мне, – произнес больной громче.

– С ним повторяется припадок, отойдите!

– Дайте его, – закричал больной и сел на постели. – Где он?

– Тише, тише...

Больной вскочил и побежал по комнате. Двое служителей стали его ловить.

– Надо надеть рубашку, – произнес директор.

– Ради бога, не надо, – взмолилась Елена Никитишна.

– Не справиться с ним. Укладывайте его скорее!

Между тем больной приходил все больше в ярость и начал неистовствовать. Его повалили на пол, и четверо санитаров с трудом

сдерживали. У него выступила пена изо рта.

– Сильный припадок, очень опасный для больного.

Коркин все бился и, после десяти минут иступления, медленно стал стихать. Его перенесли на постель. Елена Никитишна стояла в ногах со слезами на глазах.

– Ильюша, Ильюша, кто мог бы подумать это!

Больной уставил на нее глаза.

– Нет, не похожа, – прошептал он, – она не придет. Кто она?

– Ильюша! Ведь это я, твоя Елена, я навсегда к тебе пришла! Я не уйду больше!

Больной отрицательно покачал головой.

– Нет, не она. – Он закрыл глаза и тяжело дышал.

– Доктор, – умоляла Елена Никитишна, – скажите, надежда еще не потеряна?

– Почти. В его положении выздоровление более чем трудно.

– Но бывает?

– В моей практике я не помню.

– Вы позволите мне остаться возле него?

– Ни в коем случае!

– Тогда позвольте мне увезти его в частную больницу.

– В таком положении это невозможно. Подождите, если поправится немного...

Звонок возвестил окончание приема, и Елена Никитишна вместе с другими посетителями должна была выйти. Эти два часа, проведенные у мощей Ильи Ильича, открытие, которое она сделала в зеркале относительно себя самой, безнадежность умирающего мужа – все вместе уничтожило без следа тот подъем духа, который привезла она от Галицкого. Опять она дошла до отчаяния, опять ломала руки, тряслась и не находила покоя. Это последнее, что она теряла! Больше терять нечего, но и надеяться не на что! Впереди ничего! Галицкий уверял, что она нужна мужу, но вот, оказывается, что и здесь ей нечего делать.

– Куда же идти?

Елена Никитишна взяла извозчика и поехала за заставу. Ей было решительно все равно, куда ехать. Часа полтора возил ее извозчик, пока она увидела знакомые места. Но какие перемены? Точно после великих собы-

тий. Их дом заколочен, на дверях замки и печати. Дом Макарки тоже запечатан. Дом Петухова с закрытыми ставнями. Словно вымерли все после чумы. Макарка хуже эпидемии опустошил заставу.

Что делать, куда идти? Попробовала Елена Никитишна заходить в несколько мест, но никто не узнавал ее. Рекомендоваться ей не хотелось. Пошла в полицию – там тоже требовали документы.

– Однако, где же я буду ночевать? В гостиницу без паспорта тоже не пустят.

После долгого раздумья Елена Никитишна решила ехать назад к доктору, у которого, вероятно, есть уже ответ от Галицкого. Пусть он позволит хоть в коридоре где-нибудь приютиться поблизости от мужа. Опять поплелся извозчик со странною старухою. Ее почему-то все находили странною, а не просто старушкой. Это еще обиднее. Уже совсем вечерело, когда Елена Никитишна вторично добралась до больницы для умалишенных. Директора не было дома. Дежурный фельдшер разрешил подождать.

– Нельзя ли справиться, как положение

Коркина?

– Плохо, как и прежде.

– А все-таки пошлите справиться.

– У нас не дают справок... Много больных, когда же тут справляться!

Елена Никитишна поместилась в уголке кожаной кушетки и, съездившись, совсем ушла в себя. Кажется, ей теперь еще хуже, чем было до сих пор! Раньше ее мучила совесть и, когда она решилась искупить свои грехи самоистязанием, совесть утихла. А теперь ей было еще невыносимо жаль Илью Ильича, и она ничего не могла сделать, чтобы облегчить его страдания.

– Директор приехал, пожалуйста, – сказал ей сторож.

Она пошла медленной, ленивой походкой наверх в квартиру директора.

– Боже, я, кажется, сама схожу с ума...

– Ответ получен, – встретил ее директор, – и самый утешительный. Галицкий просит сделать все возможное для вас. Если угодно, можете завтра взять вашего мужа в частную больницу, ему там будет лучше.

– Позвольте мне еще раз взглянуть хоть на

мужа.

– Это вне правил, но, в виде исключения, извольте.

– Благодарю вас.

– Сторож, позовите дежурного фельдшера, он вас проводит.

Через минуту фельдшер явился.

– Вы к кому?

– К Коркину, в семнадцатую палату.

– Его уже нет там. Он в покойницкой.

– Как?! Разве...

Елена Никитишна не могла выговорить «умер».

– Скончался.

Елена Никитишна, как подкошенная, свалилась на руки подбежавшего директора.

Труп Макарки

Густерин и следователь вошли к главному врачу больницы.

– Что случилось? – спросили они в один голос еще на пороге кабинета.

– Чудовищный организм у вашего преступника! Представьте, что нет никакой возможности его захлороформить! Мы перепробовали все средства, и, как только усыпим его, приготовимся усыплять, он просыпается и кричит «не режьте меня!». Мы боялись усилить дозу усыпления, чтобы не убить его, и должны были отказаться от операции; без анестезии невозможно сделать операцию, он не перенесет.

– Он умирает?

– По-видимому, да! Но это чертовский организм! Ничего нельзя сказать определенного.

– Еще один вопрос: с такой раной, как у него, может человек жить?

– Условно: если пуля не повредила известных сосудов.

– А у него эти сосуды повреждены?

– Почему же мы знаем? Ведь мы операции не делали!

Густерин переглянулся со следователем.

– В результате, значит, мы ровно ничего не знаем! Я полагал бы перевести Макарку в лазарет дома предварительного заключения и поставить к нему усиленную стражу. Церемониться или миндальничать с ним невозможно! Пожалуй, дождемся еще какой-нибудь штуки!

– Как врач, господа, – произнес главный доктор, – я не могу этого позволить! Это равносильно убийству! Он не перенесет подобного передвижения!

– А вы даете нам гарантии, что он у вас не убежит?

– О! Какую хотите! Это было бы чудом!

– Поверьте, господин доктор, что чудеса случаются с такими исключительно зверскими натурами, как Макарка. Он, например, только что пробыл одиннадцать дней на Горячем поле без всякой пищи; он сам рассказывал, что сосал разные травы и этим существовал; ведь всякий другой на его месте дав-

но бы вышел добровольно из засады, а его мы нашли спавшим безмятежным сном; точно барин у себя в кабинете, развалился на траве и похрапывал. Вот это какая натура! А сколько раз он был ранен и уходил истекавшим кровью?! Все ему ничего! Ни в огне не горит, ни в воде не тонет!

– А все-таки в теперешнем положении его опасно переносить из палаты в палату, а не только через весь город.

– Но ведь мы ответственность берем на себя!

– Хорошо, только я составлю протокол о его смертельно опасном положении и вы раньше подпишитесь, что были предупреждены.

Густерин опять переглянулся со следователем.

– Да пусть тут полежит, – произнес следователь, – все равно больничная администрация отвечает нам за его целостность!

– Отвечает... Что толку в ее ответе!! Она, что ли, будет опять ловить его! Вся ответственность в том, что уволят какого-нибудь сторожа и только! А мы опять неделями

должны мучиться!

– Смешно, господа, слушать ваши рассуждения о человеке, у которого, верно, начался уже процесс агонии! – перебил доктор. – Вы забываете, что при таких ранах, если пуля не вынута, неизбежно делается «антонов огонь»!

– А вы уверены, что рана именно такая.

– Почти уверен.

– Почти! С Макашкой нельзя полагаться на «почти».

– Пойдемте, посмотрите; может быть, теперь я вам скажу точно.

– Пойдемте.

Они тихонько прошли в хирургическую палату. Макашка был один во всей палате, и при нем дежурил сонный фельдшер. Царила тишина и полумрак. Воздух пропитан лекарственными средствами. Макашка лежал неподвижно на кровати, прикрытый белой простыней. Его перенесли с операционного стола и решили дать умереть спокойно. Доктор подошел к умирающему и взял его руку.

– Пульс едва слышен. Посмотрите, под глазами зловещие круги. Ноги начинают холодеть. Скоро должна наступить агония.

Макарка открыл глаза, и губы его исказились.

– Меня звали «душегубом». Нет, это вы настоящие душегубы! Стоят над душой и ждут, скоро ли больной околеет! Эх, вы!.. А еще ученые! Зарезать не пришлось, так задавить рады!

– Уж ты молчал бы лучше, – наставительно произнес Густерин.

– Что я?! Разбойник, злодей, каторжник, а вы высокие, ученые мужи! А по части душегубства со мной конкурируете! Я душил людей один на один, лицом к лицу, а вы напали на умирающего, обессиленного, беспомощного!

– Молчи, негодяй!

Макарка потянулся и закрыл глаза.

– Он едва ли переживет эту ночь, – прошептал врач.

– И надоел же он нам! – ответил так же тихо Густерин.

– Верю.

Они вышли из палаты. У постели умирающего остался тот же фельдшер.

– Что же нам делать теперь? – со вздохом

произнес Густерин.

– Ехать по домам и ждать уведомления.

– Не хотите ли у меня откушать чаю, – предложил главный врач.

– Чтобы побыть здесь лишний час, авось он развяжет нам руки.

– Весьма возможно.

Главный врач, бывший дерптский студент, справивший уже полувековой юбилей своей службы, Карл Карлович, выглядел довольно бодро, хотя старшему его внуку минуло уже 28 лет.

На столе кипел самовар, когда гости вошли в парадную столовую; за столом сидело обширное общество – исключительно семья Карла Карловича. Разговаривали про удивительного Макарку, который загубил такую массу людей и теперь сам умирает.

– Что, умер? – спросили все в один голос, когда Карл Карлович с гостями вошли в столовую.

– Жив еще. Вот и они тоже ждут, – ответил Карл Карлович, указывая на Густерина со следователем.

– Ждут?.. Любезные визитеры у этого Ма-

карки!

– Что заслужил, то и получай!

Густерина засыпали вопросами: как он, переряженный, арестовал Макарку, как они лазили в подземелье, как злодей убил какую-то девушку и отрубленный палец с кольцом хранил в шкатулке. Густерин с улыбкой рассказывал подробности, а Карл Карлович подливал гостям в чай ром. Беседа сделалась оживленной. Молоденькие дамы охали и вздыхали, мужчины делали замечания. Подвиги Макарки давали неистощимую тему для разговора. Вдруг на пороге залы появился заспанный фельдшер.

– Имею честь доложить, что раненый сейчас скончался.

– Умер?! Макарка умер? – хором произнесли все. – Наконец-то!

– Постойте, – воскликнул Густерин, – точно ли умер, расскажите.

– Больной все стонал, – начал фельдшер, – метался, раскидывался и что-то шептал, потом успокоился, точно уснул. Четверть часа тому назад он вскочил и стал рвать на себе белье: это был предсмертный припадок, и

сейчас же началась агония; наконец, он захрипел, вытянулся и испустил последний вздох.

– Карл Карлович, – вскочил Густерин, – я хочу убедиться, точно ли он умер! Не комедия ли все это?

– Хм... Вы, кажется, и покойника продолжаете бояться! Пойдемте, посмотрим. только у нас специалистов для отличия летаргии от действительной смерти нет, так что лучше всего вы, для полного спокойствия, просите сделать вскрытие! Тогда уже не оживет!

– Вскрытие, – возразил следователь, – делают только жертве преступления, то есть убитым, а не убийцам или преступникам. Для чего нам знать, от чего умер Макарка? Нам нужно только знать, что он действительно умер, и прекратить все дела о нем!

– Правда. А все-таки нельзя ли сделать вскрытие? – произнес Густерин.

– Я не могу требовать, – ответил следователь.

– А я не могу без причины вскрывать, – добавил Карл Карлович.

– Жаль! Тогда я был бы совершенно споко-

ен.

– Полноте, вы и теперь можете быть совершенно спокойны! Мертвые не воскресают, а тело Макарки я отправлю в клинику медицинской академии: пусть они воспользуются им для препаратов; я уверен, что мозг злодея представит научный интерес.

– Еще бы! Его стоит описать в медицинской литературе.

– Так пойдемте в палату, составим протокол и прикажем вынести умершего в покойницкую.

– Идет.

Больница уже спала. Был двенадцатый час ночи. Вся больница точно в немой торжественности встречала смерть злодея, покончившего свое земное существование среди этих мирных страдальцев, терпеливо выносящих разные тифы, катары, воспаления. Они вошли в палату и все трое остановились у постели мертвеца. Макарка, вытянувшийся, с закрытыми глазами, ввалившимся щеками, имел еще более страшный вид, чем при жизни. Одна рука свесилась, другая была вытянута.

– Вот конец всех его кровавых подвигов! Теперь он никому больше не страшен. Да будет проклята его память в потомстве! – произнес следователь.

– Дешево заплатил он за все свои злодеяния! Он мало страдал.

– Кто знает, какая расплата ждет его теперь пред лицом Всевышнего праведного суда, – меланхолически заметил Карл Карлович. – Ведь нет существа на земле, которое не только помолилось бы за него, но даже помянуло добром!

– Скажите лучше, что нет существа, которое не проклинало бы его!

– Печальный конец! Не приведи, Господи, никому!

Карл Карлович тяжело вздохнул.

– Так давайте составлять протокол, – сказал он. – Фельдшер напишет на бланке свидетельство о смерти, а мы подпишем.

– Хорошо.

– Вы ничего не имеете против, если мы сейчас же перенесем его в покойницкую.

– Куда хотите! Не все ли это нам равно? Это относительно жертв мы принимаем все ме-

ры предосторожности, потому что там каждая мелочь может явиться впоследствии уликой, а здесь...

– Я отправлю его труп в прозекторскую академии.

– Куда угодно!

– Хорошо-с!

Палата освещалась одной свечой. В полумраке труп Макарки вырисовывался, как восковой, и наводил ужас на доброго Карла Карловича, хотя он не хотел этого показать.

Наконец свидетельство было готово. Фельдшер принес чернильницу с пером, и Карл Карлович подписал траурный акт.

– Теперь вы дайте мне письменное разрешение хоронить.

Следователь составил акт о присутствии их при смерти Макарки-душегуба и отсутствии препятствий к похоронам.

– Теперь все в порядке. Позвольте, Дмитрий Иванович, поздравить вас, – произнес следователь, – с благополучным окончанием проклятого дела в четырнадцати томах.

– И вас также! Не скрою, что эта смерть доставляет мне большое удовольствие.

– Не сомневаюсь! Вы избавились от опасного врага.

– Откланяемся нашему доброму доктору и поблагодарим его за хлопоты.

– Я исполнял только свой долг.

– Тяжелый долг!

– Господин фельдшер, – произнес Карл Карлович, – позовите служителей и прикажите перенести труп в покойницкую, а завтра отправьте его в прозекторскую.

– Пойдемте.

Фельдшер вышел первым, исполнять приказание, за ним Карл Карлович, следовательно и позади всех Густерин. Когда последний был уже в дверях, труп Макарки шелохнулся. Он приподнял голову; на лице была адская улыбка...

– Ха-ха-ха!..

Пропавший труп

На заднем дворе больницы, в стороне от жилых построек, стоит одиноко низенький одноэтажный каменный домик с черным крестом на крыше вместо трубы. Задняя стенка глухая, по бокам небольшие окна, а спереди входная одностворчатая дверь. Внутри часовни – образ, паникадило и катафалки, рассчитанные на тридцать гробов, по десяти в ряд. Тут же в углу, на ворохе тряпок, под саваном, приютился... тридцать первый – живой. Это читальщик над мертвецами, он же сторож покойницей. Псалтирь, который он должен бы читать над покойниками, у него под головой, вместо подушки; пустой полуштоф – в ногах. Он спит мертвецким сном.

А один из мертвецов тихо привстает. Невыносимая боль в пояснице, тяжелое дыхание, слабость во всем теле, свинцовая тяжесть в голова – все это преодолевает мощный организм и железная воля Макарки-душегуба! Злодей, тяжело, почти смертельно ра-

ненный, без особого труда прикинулся умершим. Он, и в самом деле, был почти мертв, но... в умирающем теле билось ясное и твердое сознание.

– Завтра утром меня отправят для анатомирования! Или я заживо буду изрезан, или перевезен в больницу дома предварительно заключения. В обоих случаях – гибель! Спасение есть только теперь! Теперь или никогда!.. Макарка, вспомни старину! Не первый раз ты умираешь и никак умереть не можешь.

И он привстал. Еще усилие и... и он, как пьяный, встал на ноги.

– Ничего... Стоять могу. Времени терять нельзя. Скоро светает. Утро должно меня встретить на Горячем поле! Искать меня больше не будут! Дорога к Москве скатертью! Эй, Макарка, не все еще погибло!

Он прошелся вокруг катафалка. Мирно почивают непробудным, вечным сном его 23 товарища! Почти все они голые, как и он сам! В таком костюме бежать невозможно. Макарка с трудом надел на себя лежавшее около спавшего читальщика его платье, сапоги и

фуражку. За немногим теперь только остановка. Острая боль в спине не дает ступить, давит грудь, мешает дышать.

– О! Если бы не эта пуля, показал бы я вам, друзья, как мстит Макарка-душегуб!

Бледный, как саваны мертвецов, злодей постоял с полчаса, затем сделал над собою усилие, взобрался на подоконник, раскрыл окно и... В покойницкой опять все стало тихо, по-прежнему храпит читальщик и так же, как восковые, лежат мертвецы.

Наутро сторожа больницы растолкали читальщика.

– Пора!.. Вставай, – сейчас отправлять будем наших постояльцев, кого на Преображенское, кого в клинику, – произнес сторож Пахом.

– А сколько у нас всех? – спросил другой сторож, Прохор.

– Две дюжины ровно!

В это время к ним подошел пузатый, с рыжеватой бородой, мужичонка лет сорока пяти. Это был присяжный гробовщик больницы Федулекин, обязанный хоронить всех покойников.

– Здорово, ребяташки!.. Как нонеча улов?

– Две дюжины «товарцу» и ни единого, как есть, обстоятельного! Одна шантрапа!.. – развел руками Прохор.

– Неужели и сродственников никого?

– Ни-ни! Просто голь перекатная! Одно слово – с барок, да с Никольской площади!

– Вот оказия-то! Ну, выручайте, братцы, сплавляйте в клинику; по крайности савана не надоть и гроба!

– Всех нельзя!.. Половинку!..

– Подсыпьте хоть восемнадцать...

– Много будет!

– Не беда!

Во двор больницы въехал фургон в виде большого ящика на колесах, с выдвигной задней стенкой. На передке ящика сидел и правил лошадьё молодой парень Степка.

– Есть? – закричал он издали еще.

– Есть, есть, въезжай! Чего другого, а этого товару никогда отказу нет!

– Пойдем нагружать, – обратился Пахом к Прохору.

– Пойдем.

– Пахом, – воскликнул товарищ, войдя в

покойницкую, – мотри!

– Чего?

– Покойник ушел!

– Врешь!

– Чего врать-то! Мотри – пустое место!

– Переложили, верно.

– Считай!.. Двадцать три!..

– А сдадено нам двадцать четыре. Вот оказия-то! Грехи!..

– Слышишь, – никому не надо сказывать! Сейчас отправим семь, да с другим фургоном восемь, а скажем, что две поездки по восемь! Никто и не узнает!

– Знамо дело, а то отвечай тут после! И кто мог бы унести?

– Чудное дело! Ума не приложу!..

– Ошибка верно какая-нибудь?

– Непостижимо!..

– Так смотри, никому ни слова! Знать ничего не знаем и ведать не ведаем!.. Надо Степке стакану два поднести, а то не заметил бы.

– Поднесем!

Уехал второй фургон и за ним ломовик с нагруженными гробами для отправки на Преображенское кладбище. Покойницкая опусте-

ла, но вскоре в нее принесли следующие тела очередных покойников. Никто, кроме Прохора с Пахомом, не заметили одного исчезнувшего трупа. Одного!!

Стоит ли говорит об одном там, где их сотни и тысячи?! Да и какую же для кого-нибудь ценность представляет труп?!

– Пустое!.. – сказал Пахом.

– Знамо дело!.. – подтвердил Прохор.

Эпилог

В нескольких верстах от Новгорода находится один древний женский монастырь. Этот монастырь был сооружен в XIV веке, в самую светлую эпоху Великого Новгорода; но в 1570 году, несмотря на защиту архиепископа Пимена, он сделался жертвой разгрома Иоанна Грозного. Вышло повеление: игуменов и монахов, которых раньше поставили на правож, бить палками до смерти, и трупы развозить по монастырям для погребения. Новгородцев жгли, пытали, привязывали к саням, волокли к мостам и оттуда брасали в реку; царские опричники разъезжали в лодках и кололи пиками тех, которые выплывали; монастыри и церкви грабили. Монастырь, совершенно опустошенный, сожгли. В конце XVI века монастырь был возобновлен.

Теперь он привлекает множество богомольцев, напоминая нам – русским – почти всю нашу историю. Старинные иконы, древние архитектурные украшения, разные сосуды, утварь и прочее носят следы времен не только Грозного, но и шведского владыче-

ства, умиротворения Михаила Феодоровича, реформ Петра Великого, внимания к Новгороду Екатерины Великой и, наконец, забот православных последних времен. Особенно украсился он недавно: отлиты новые колокола, позолочены купола, отремонтированы все постройки, службы...

Однажды в числе многих путешественников, осматривавших новгородские древности и святыни, посетила вышеупомянутый монастырь молодая супружеская чета из Петербурга. Благочестивые, скромные и сведущие в русской церковной старине, они очень понравились матери-игуменье, которая подробно показывала им все достопримечательности. Когда они вошли в главный храм, где в то время служилась вечерня, они увидели прижавшуюся в уголку старушку-монахиню, которая на коленях горячо молилась.

– Вот наша благодетельница из Петербурга: больше шестидесяти тысяч вложила в наш монастырь и обновила всю обитель.

– Из Петербурга?! – удивились путешественники. – А как фамилия?

– Ее фамилия Коркина, а теперь она мать

Анастасия.

– Коркина!.. – воскликнул господин. – Это, верно, мать Ильи Ильича Коркина?!

– Нет, у нее детей не было.

– Так, может быть, тетка или родственница. Нельзя ли с ней побеседовать? Она, может быть, знает про судьбу несчастной вдовы Ильи Ильича.

– Пожалуйста. Я попрошу ее к вам.

Игуменья подошла к молившейся старухе и сказала ей что-то на ухо. Та покорно встала и подошла к путешественникам.

– Скажите, матушка, не знаете ли вы что-нибудь про Елену Никитишну Коркину.

Старушка отшатнулась.

– Мне кажется, вы дочь Петухова! – воскликнула она.

– Да. А это мой муж Павлов. Но откуда вы меня знаете?

– Я и есть Елена Коркина!

– Возможно ли?! Вы Елена Никитишна?!

– Да. Вот второй год уже, как я приняла постриг под именем Анастасия. Я нашла здесь, в этой тихой обители, то душевное утешение, которое напрасно искала в светской жизни.

Хорошо здесь, особенно зимою, когда высокие снега занесут наш монастырь и мы не видим ничего, кроме неба. Точно в гробнице, заживо погребенные!..

– Значит, вы нашли свою последнюю долю?

– О! Я только и мечтаю теперь скорее предстать к подножию престола Царя Небесного! От жизни мне нечего ждать! Я надеюсь, никто не вырвет меня из этих крепких стен.

– Но кто бы подумал, что четыре года тому назад вы блистали в обществе красотой и открывали всегда бал в первой паре мазурки?!

– Не будем вспоминать прожитое! Расскажите лучше про себя: вы тоже пережили немало.

– Макарка-душегуб умер в больнице от раны, полученной при попытке бежать. Через год я вышла вот за него, и мы теперь так счастливы, как только можно быть счастливыми на земле! Господь благословил наш брак сыном, которого теперь нянчит дедушка, пока мы с мужем путешествуем.

– Тимофей Тимофеевич здоров?

– Да. Он совершенно поправился и выгля-

дит теперь бодрее прежнего.

– Дай бог вам всего хорошего! Вы хорошие люди и много выстрадали! Этот Макарка-душегуб погубил и моего бедного мужа, но я не проклинаяю его, хотя, при всем христианском смирении, не могу молиться за него. Впрочем, я не уверена, умер ли он больнице.

– Он умер на глазах самого Густерина, начальника сыскной полиции, и в этом не может быть сомнения.

– Простите, мои дорогие! Да благословит вас Господ!.. Мне некогда: я очередная и должна читать часы. Прощайте, вероятно, навсегда!

– Прощайте! – произнесла Ганя, в голосе которой дрогнула слеза: «Эта женщина тоже ведь жертва Макарки!»

Ни Ганя и никто из окружающих не называли Макарку мужем дочери Петухова, хотя брак этот, благодаря смерти самозванца, не был официально расторгнут и по бумагам Ганя числилась вдовой.

В селе Денисовы Горки по первопутку справляли свадьбу. Целый поезд из троек, разукрашенных лентами и бубенчиками,

мчал молодых из церкви по ослепительно белому ковру, расстилавшемуся по всему видимому пространству. Седой лес, высокие белые холмы встречали по пути поезд и разносили веселое эхо молодецких песен, ухарских гармоник. Мороз Красный Нос разрисовал пурпуром радостные, здоровые, молодые лица поезжан. На первой тройке молодой крепко обнял и прижал к себе красотку, которую он впервые назвал женой.

– Груша! Ангел мой!.. Наконец-то мы с тобой!

– Уж и стосковалась же я по тебе, Антоша! Насилу отбивалась от женихов! Твой Антон Смолин, говорили, в каторгу сослан за убийство! А я не верила!..

– Что прошло – миновало! Господь не дает на Руси погибнуть невинному! Ошиблись генералы в суде малость, ну, да не беда: зато наградили! А мы с тобой еще проживем!..

– Поживем, Антоша!..

И ветер подхватил звонкий, сочный поцелуй.

А Горячее поле?

Вернувшийся из ссылки Тумба не нашел

на поле ни Насти, ни Тумбачонка. Молодая, красивая Настя опять ездила в ландо и жила в бельэтаже на Морской. Тумбу она забыла, а Тумбачонка поместила в один из приютов. Тумба с горя запил, попал в одну из больниц и там умер от белой горячки.

Одна Машка-певунья по-прежнему бродит по Горячему полю и распевает свои песни. Она теперь богачиха. У ней в «банке» лежит столько денег, что каждый день «кто-то» платит за ее угол и выдает ей по три целковых в месяц на харчи! Ей жить не прожить!..

– Удивительная эта «банка», – рассказывает она, – и за что она платит деньги?

– Господа выдумали такую «банку»! Ведь курица носит яйца, вот и «банка» вынашивает деньги!.. – отвечали ей.

– Дай бог здоровья этим господам! По крайности побираться теперь не надо!..

Старик Петухов не разлучался уже со своими дорогими детьми и внуками. Павлов окружил нежно любимую Ганю и старика отца такую заботливостью и таким трогательным вниманием, что жизнь их была настоящим земным раем. Степанов сделался членом

их семьи, поставил завод в блестящее положение и дал возможность Павлову заниматься другими делами. С благословения епархиального начальства и с полного согласия тестя и жены, Павлов горячо и всецело отдался просвещению раскольников, у которых он раньше был начетчиком. Красноречиво, убедительно, словами и примером он убеждал «братьев и сестер» бросить раздоры, забыть свое слепое заблуждение и просить у святой церкви прощения за свои великие прегрешения. Благодаря трудам Павлова, которому усердно помогали Петухов и Ганя, не одна сотня заблудших овец стада Христова вернулась в лоно святой православной церкви.

А какова была судьба Макарки-душегуба? По далекой Владимирской дороге, идущей от Москвы до Владимира, подняли в бесчувственном состоянии какого-то бродягу. Он свалился в изнеможении. На спине у него была незажившая огнестрельная рана: сам высох он, как скелет. Бродяга не объявил своего имени, но, умирая, сказал:

– Я Макарка-душегуб.

Когда анатомировали труп злодея, то на-

шли пулю, засевавшую около слепой кишки. Врачи, делавшие вскрытие, были изумлены живучестью организма бродяги. Самый процесс смерти принадлежал к числу выдающихся. Агония длилась около трех суток! С окоченевшими уже ногами и руками злодей жил еще около восьми часов. Он почти все время был в полном сознании, но, когда бредил, рассказывал чудовищные вещи. То ему казалось, что бьёт плетью Ганю; то душил старика Петухова; то режет какого-то камердинера; отрубает голову Алёнке; закапывает заживо в землю Лизу; морит голодом какого-то Гуся и Игнашку. Бриллианты, золото, подземелье, три березы на берегу Волги, этап, бродяга Куликов – все это перемешалось в какой-то винегрет и почти дословно записывалось врачами, дежурившими неотлучно при умирающем... Когда умирающий приходил в сознание, ему напоминали его бред, но он, делая усилие, чтобы улыбнуться, тихо говорил:

– Вздор!.. Бред!.. Не имею понятия! Оставьте меня!..

Умирающий страдал страшно. У него сделался «антонов огонь», и он медленно разла-

гался. По отзыву врачей, им не приходилось наблюдать более страшной смерти.

Когда все подробности этой неслыханной смерти бродяги, назвавшего себя перед смертью Макашкой-душегубом, дошли до Петербурга, то все были поражены, начиная с Густерина.

– Судя по всем подробностям, это наш Макашка – Куликов. Но ведь мы сами похоронили его здесь, сами видели его мертвым?!

Спустя некоторое время один из сторожей покойницкой как-то подвыпил и проговорился о бежавшем покойнике. И тогда сомнения о вторичной смерти исчезли сами собою. На могиле Макашки вне кладбищенской ограды был поставлен крест с лаконичной надписью:

«Бродяга Макашка, прозванный душегубом».

Рассказывают, что над этой могилой постоянно видели крутившиеся стаи коршунов.

Легенды о Макашке-душегубе до сих пор сохранились на Волге, и старушки няни часто пугают им ребятишек.

Примечания

Черта облаты. – *Примеч. автора.*

[^^^]